

Леонид
Сергеев

**ОСОБНЯК
В ГОРОДЕ**

Рассказы

Москва
Московская городская организация
Союза писателей России
2013

УДК 82-3
ББК 84(2Рос=Рус)6.44
С 55



ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Л.А. Сергеев
С 55 Особняк в городе. Рассказы. – М.: Московская городская организация Союза писателей России. ИПО «У Никитских ворот», 2013. – 480 с.

ISBN 978-5-91366-659-8

Сборник составлен из рассказов о москвичах самых разных возрастов и профессий. Читателю предстоит познакомиться со многими героями, узнать необычные романтические и неромантические истории.

В рецензиях на рассказы известные писатели и критики отмечают проникновенное внимание автора к человеческим судьбам, лирический тон и юмор.

УДК 82-3
ББК 84(2Рос=Рус)6.44

ISBN 978-5-91366-659-8

© Л.А. Сергеев, 2013
© РОО «МГО СП России», 2013
© Оформление
ИПО «У Никитских ворот», 2013

МОЙ ВЕЛИКИЙ ДРУГ

И на многолюдной улице, и в тиши двора — всюду он был значителен одним своим присутствием, всюду был хозяином положения, всегда говорил напрямик, и слова его были весомые и четкие, как отливки из металла. От него исходила властная подъемная сила, некий магнетизм, который будоражил окружающих. Несговорчивый бунтовщик, лидер по натуре, он заражал своей энергией, за ним шли, ему верили; бывшие фронтовики меж собой звали его «командир», «крутой мужик». Неутомимый непоседа, он вечно спешил, точно экономил время, хотел не просто побольше сделать, а выжать из жизни все, что можно выжать в его положении. Его несгибаемость была ответом на вызов судьбы. И самое поразительное: несмотря на увечье, он сохранил светлый взгляд на мир и ко всяким бытовым неурядицам — а их хватало в то послевоенное время — относился весело, не разухабисто-весело, а иронично-весело, чем снимал у людей раздражительность и злость; правда, иногда его ирония отдавала горечью. Таким я запомнил фронтовика «командира» дядю Колю, безногого инвалида, передвигавшегося на каталке с подшипниками.

Широкогрудый, широколицый, всегда гладко выбритый, он, в отличие от других фронтовиков, носил китель без наград и нашивок за ранения и никогда не говорил о войне. В то время инвалиды с утра до вечера торчали в пивной; многие из них опустили: ходили небритыми, оборванными, изъяснялись без всяких ограничений — через слово пуляли матом; особо запойные дебоширили, дрались друг с другом костылями, а разбредаясь по домам, орали во всю глотку и швыряли камни в окна со слепой незатухающей ненавистью. Страх, сокрушающий все ужас, катился перед пьяными инвалидами... Кстати,

по слухам, некоторые из них и не были на фронте, а получили увечья под колесами поездов и трамваев. В самом деле, кое-кто из инвалидов так афишировал свои подвиги и бравировал наградами, что это вызывало подозрение. Говорили, что эти «герои» купили ордена и медали на барахолке (что действительно практиковалось). Днем некоторые инвалиды просили милостыню у церкви, выставляли напоказ обрубки рук и ног и пели матросские песни, вроде: «...морская пучина была нам могилой... и дно!». Им подавали — известное дело, народ наш всегда отличался состраданием и доверчивостью. Говорили также, что кое-кто из этих нищих держит в матрацах тысячи, но в это мало верилось: богатство и беспробудное пьянство — мало совместимые понятия.

Дядя Коля тоже выпивал, но делал и это красиво, с достоинством, решительно не принимая никакого сочувствия, не допуская к себе жалости. Всем видом и поведением он как бы подчеркивал огромную дистанцию между падшими пьяницами и теми выпивающими, которые всего лишь «снимают дневное напряжение, а вообще-то сильнее всех обстоятельств». Первых он не терпел, считал, что они «сломались, погрязли в пессимизме, заливают водкой боль и тоску»; а такие, как он, выпивают только для того, чтобы «получить новый заряд для работы».

Его появление в пивной производило сильное впечатление. Он въезжал на каталке, приветствовал всех возгласом:
— Здорово, орлы!

Расстегивал ремень, державший обрубки ног на каталке, и легко вскакивал на табурет, при этом твердым жестом оставив тех, кто бросался на помощь. Пока буфетчик наливал и подносил к столу стакан водки, дядя Коля отвечал на многочисленные «за тебя, командир!»: улыбался и скидывал кулак, что означало — «так держать!». Но иногда хмурился, если замечал в углу не в меру разгулявшихся собутыльников.

— Эй, там! — грозно одергивал разгулявшихся. — В чем дело? Разговаривать в нормальном режиме! Делай, как я сказал!..

И под его пристальным повелительным взглядом чрезмерно разгулявшиеся умолкали и съеживались — никто не мог противостоять его тяжелому взгляду. В пивной он держал власть крепко, и все это знали.

Опрокинув стакан, дядя Коля тут же прощался:

— Наметил на сегодня еще кое-что сделать.

Он получал пенсию и вполне мог бы не работать, но никогда не сидел без дела: с усердием, искусно паял, лудил кухонную утварь соседям; как надомник, чинил плитки и керосинки из мастерской, а одно время даже работал электриком, катал от дома к дому с монтерской сумкой и складной дюралевой лестницей за плечами.

— Дел невпроворот, — подмигивал встречным. — Мне повезло, что здесь живу, — в домах проводка гнилая, розетки на ладан дышат, так что работы по горло.

Он «брал дома штурмом», и все делал добротню, на совесть, по собственному графику; выполнял намеченное, тут же забывал о победе и шел дальше — ставил новую цель. И ничто не выбивало его из колеи: ни отсутствие материалов, ни обесточивание сети, когда вырубали электричество, и приходилось работать вслепую, ни промозглая погода, когда давали о себе знать раны... Никто никогда не видел его в унынии, в упадке сил, казалось, он сделан из железной арматуры, особо прочных сплавов. Глядя на него, думалось, что мужество есть не что иное как умение справляться с трудностями. Кстати, у него и фамилия была крепкая — Каменщиков...

Дядя Коля обитал в пристройке к нашему общежитию, жил одиноко, но явно был сильнее своего одиночества. В его каморке царила благородная нищета: над диваном, изъеденным молью, висели фотографии боевых товарищей и среди них ярмарочные картины — репродукции Кустодиева. На столе, среди ждущих ремонта дырявых самоваров, кастрюль и чайников, возвышалась стопка книг; а под столом находился предмет всеобщей зависти — трофейный аккордеон. В помещении даже не было шкафа — сплошная пустота, но торжественная пустота, в которой витал творческий дух.

По слухам, до войны у дяди Коли была невеста; она ждала его всю войну; но, вернувшись калекой, он сам отказался от нее, «чтобы не портить ей жизнь, не обрекать на незавидную долю».

В те годы слухи были трех родов: несерьезные, из очереди — «обс» (одна баба сказала); эти слухи дядя Коля называл «сплетнями, к которым настоящий мужчина не должен прислушиваться». Были слухи серьезные, исходящие из до-

стоверных источников, и опасные слухи, которые просочились в народ неизвестно каким способом. Последние слухи несли важную предостерегающую информацию, их передавали шепотом, за них могли и посадить. Известное дело, в системе, где народ рассматривается как стадо баранов, и все построено на строжайшей секретности, опасные слухи множатся и распространяются с невероятной скоростью. В нашем провинциальном городе слухи всех этих разновидностей постоянно носились в воздухе.

Для нас, подростков, дядя Коля был самым близким другом, а некоторым заменял и отца... Несмотря на занятость, он ежедневно выкраивал время специально для нас и относился к нам с повышенными требованиями, жестковато, без всякой скидки на возраст. Чуть что восклицал:

— Я здесь! В чем загвоздка?

Дотошно, с испытующим взглядом выспрашивал про занятия в школе и все остро воспринимал, ему до всего было дело. Сурово распекал двоечников:

— Эх ты, не мог осилить такой предмет! Я здесь! Возьми себя в руки, и чтоб на днях все исправить! В нормальном режиме!

И наоборот, щедро хвалил за хорошие отметки:

— Молоток! Нормальный ход! С тобой хоть в разведку! Я здесь!

Дядя Коля прямо-таки навязывал нам книги, которые брал в заводской библиотеке, а потом спрашивал, «что понравилось, что нет», и подробно объяснял идею, которую проводил автор.

Он помогал нам мастерить летние и зимние самокаты, играл с нами в «чижа» и «городки», причем сам изготавливал лопатки и биты. Поощрял и другие игры, кроме картежных и «расшибалки», — тем самым вселял в нас определенные нравственные понятия.

— В игре должен быть спортивный интерес, достижение, — говорил он. — А в картах один азарт и ни шиша больше. Я здесь!.. А «расшибалка» — это вообще черт-те что! Корысть одна. Ради интереса на деньги не играют. Так чтоб с этим было покончено. Нормальный ход! Делай, как я сказал! Уважай мою лысину! (он лысел и, по моим наблюдениям, гордился этим)...

Кстати, нам дядя Коля казался почти пожилым, а ему было-то всего двадцать пять, от силы — двадцать семь лет.

Что особенно ценно, дядя Коля не просто скрашивал нашу жизнь — он, бывалый, всезнающий, личным примером как бы обозначал для нас четкие ориентиры на будущее. И в этом смысле он, калека, был несравненно выше многих здоровых людей. Среди этих здоровых попадались и нравственные уроды, которые жили только для себя, занимались спекуляцией и накопительством, а то и служили доносчиками (добровольными осведомителями). Кстати, именно такие нас всерьез не принимали и называли «уличной шпаной»... Естественно, рядом с такими уродами отчетливо вырисовывалось мужское величие дяди Коли, его превосходство.

Иногда мы играли в волейбол; сеткой служил старый, полустлелый бредень, мяч заменял резиновый «дутик» (о настоящем, кожаном только мечтали), тем не менее, наши матчи проходили боевито, на почти профессиональном уровне (даже собирали зрителей), чему способствовало судейство дяди Коли. По слухам, вполне серьезным, до войны дядя Коля был отличным спортсменом; выступал за заводскую волейбольную команду, взлетал над сеткой выше всех и «гасил» мячи на передней линии, «ставил мертвые колы».

Но, конечно, главной нашей игрой считался футбол, и здесь дядя Коля проявлял себя в полном блеске... Долгое время вместо мяча мы гоняли шапку-ушанку, набитую газетами, но в одно прекрасное воскресенье дядя Коля вкатил во двор в обнимку с настоящим футбольным кожаным мячом.

— Купил на барахолке за бешеные деньги, — с видом триумфатора объявил нам. — Я здесь! Нормальный ход! Собирайте команды, устроим матч века!

Дядя Коля защищал ворота и как игрок был великолепен. Одна его экипировка чего стоила! Оголенный по пояс, в черных перчатках и черной кепке, нахлобученной до бровей, он выглядел в воротах как пантера в клетке: мощными рывками, со вздутыми жилами на теле, он метался от стойки к стойке, взмахивал руками и страшно гримасничал, переживая каждый трюк полевого игрока, то и дело кричал команды:

— Пас налево! Откинь назад! Дай на выход! Я здесь!

Задолго до знаменитого Яшина, дядя Коля руководил игрой всей команды и расширил функции вратаря: стреми-

тельно выезжал за границы вратарской площадки на перехват пасов противника и отбивал мяч культами. Случалось, мяч задевала каталка, и он резко менял направление. Мы относились к этому с бою с пониманием, но дядя Коля мгновенно вскидывал руку и безжалостно назначал себе штрафной.

А в пределах вратарской площадки дядя Коля вообще творил чудеса: каким-то невероятным образом, отталкиваясь руками от земли, зависал в воздухе вместе с каталкой и «вытягивал» даже пушечные верные «девятки»... Низовые мячи вообще брал без особого напряжения — мы только и успевали заметить мелькнувший могучий торс, деревянный квадрат да вращающиеся с визгом подшипники...

После игры спускались к реке, устраивали заплыв по течению, и вновь дядя Коля показывал класс: на одних руках опережал всю нашу ватагу.

Возвращаясь с реки, поднимались по сыпучей круче, и каталка дяди Коли увязала в песке. Бывало, кто-нибудь из ребят заикнется:

— Не помочь ли?

Но дядя Коля сурово бросал:

— В чем дело? Это мы берем с ходу, штурмом! А ну, братва, выкладывайся до конца! Я здесь! — и с каким-то ожесточением взбирался наверх; он был двужильный, не иначе...

Как правило, после футбола и вылазки на речку, дядя Коля приглашал нас к себе; раздавал книги, угощал чаем, заваренным шиповником, а после чаепития доставал аккордеон и под мягкие звуки негромко пел довоенные песни; только довоенные, оптимистичные и радостные, и никогда не пел песен времен войны. Много раз ребята выпрашивали дядю Колю про войну, про его боевые дела как танкиста (он служил водителем «тридцать четверки» — это было известно доподлинно, это был самый серьезный слух), но каждый раз дядя Коля обрывал спрашивающих:

— Жизнь продолжается, и нечего теребить прошлое! Я здесь! — и, широко раздвинув меха инструмента, затягивал «Крутится, вертится шар голубой...» или «На рыбалке у реки тянут сети рыбаки»..

Закончит песню, хлопнет по аккордеону ладонью:

— Все, баста! Хватит наяривать! Отбой, братва! Все по домам! Делай, как я сказал!..

В те дни я никак не мог понять: почему все, связанное с войной, являлось для дяди Коли запретной темой? И только повзрослев, понял и в полной мере оценил твердость его духа, его железный характер и жестокость к самому себе.

Однажды, встретив меня во дворе, дядя Коля сказал:

— Есть боевое задание! Зайди вечером...

Надо сказать, меня дядя Коля несколько выделял из общего мальчишеского клана, благодаря моему дяде, который работал слесарем и рассчитывал, что и я пойду по его стопам, а дядя Коля испытывал особую симпатию к представителям этой профессии, поскольку до войны сам слесарил (без всяких слухов, он это сам подтверждал).

Вечером, когда я пришел, дядя Коля спросил:

— У тебя на завтра какие планы?

Какие у меня могли быть планы? Стояло лето — избыток свободного времени, и я с утра до вечера слонялся во дворе.

— Мне нужен напарник, — продолжал дядя Коля. — В одном доме неважнецкая проводка. Надо заменить, сделать правильный порядок вещей, нормальный ход!.. Задание ответственное, и одному сложновато справиться. Придешь на подмогу?.. Я здесь!

И вот в тот день, когда мы меняли проводку, вернее, после того, как закончили работу, дядя Коля впервые заговорил о войне, открыл мне свою тайну. По пути к «общаге» он заглянул в пивную, опрокинул стакан водки, мне вынес бутерброд и беззлобно хмыкнул:

— Слизняки, а не мужики, сдвинулись по вертикали. Малодушные, и пить не умеют... Хмелеют от стакана, разваливаются, лясы точат, а дела стоят. Я здесь! «Жизнь, — говорят, — невоготу». А что невоготу-то? Сам делаешь свою жизнь. Своими руками, своей башкой... В моем экипаже «тридцать четверки» был парень наводчик. Леха... Его фото у меня на стенке... И вот, значит, раз по нам ударили из гаубицы, и башня отлетела, как спичечный коробок. Я здесь! И Лехе выжгло глаза. Да-а... Потерять зрение, скажу тебе, тяжелое испытание для человека. Но Леха не сдался. Это по мне. Он, понимаешь ли, стальной парень... И щас работает на заводе, собирает схемы. Нормальный ход! Живет в Саратове. Мы переписываемся. Ну, его мать мне пишет, с его слов.

— А вы, дядь Коля?.. — выдохнул я. — Вас тогда же?..

— В другой раз. Подорвался на mine... Мы горели, я вылез из люка. И прыгнул с машины прямо на нее, милую... Не стоит об этом! Я здесь! Стоит сказать о другом. Когда мне оттяпали ноги, я понял, что попал в затруднительное положение. Даже подумал: «А не пустить ли пулю в лоб?». Потом взвесил: «Ну, допустим, предположим, меня уже нет. Кому это на руку? А ведь я могу еще кое-что сделать дельное. Жизнь продолжается, — сказал себе. — Я здесь! Мы еще поборемся и просто так не сдадимся».

В тот день я понял, почему дядя Коля всегда спешил на работу, — он как бы шел в очередной бой.

И был еще один день, который врезался в память... Я почему-то оказался в центре города у магазина «Рыболов и охотник»; кажется, рассматривал всякие принадлежности, прикидывал, что куплю, когда стану слесарем и разбогатею. И вдруг случайно увидел на противоположной стороне улицы дядю Колю. Он явно прятался за дерево и украдкой наблюдал за кем-то в сквере. Я посмотрел туда же и увидел молодую женщину — она играла в мяч с малышом.

Я ринулся через улицу и уже хотел окликнуть дядю Колю, но, не добежав нескольких шагов, разглядел... слезы в его глазах. Это было настолько неожиданно, так не вязалось с ним, что я застыл, как вкопанный... Долго я стоял, и все это время дядя Коля, не отрываясь, смотрел в сквер, смотрел как-то тускло, с гримасой боли. Потом тяжело вздохнул и, опустив голову, медленно покатил по тротуару; проехал в двух шагах от меня и даже не заметил...

В тот же вечер мы играли в футбол, и дядя Коля, как всегда, был весел, в отличном настрое, и я подумал: там, на улице, мне просто что-то показалось.

Дядя Коля исчез из нашего двора совершенно неожиданно... По одним маловероятным, несерьезным слухам (из области «обс»), его видели в других районах города, то тут, то там; будто бы он поменял местожительство. По другим, непроверенным, смутным слухам (появилась и такая разновидность), он разнимал дерущихся инвалидов, и его вместе со всеми увели в милицию, а потом посадили за хулиганство. По третьим, опасным слухам, его увезли в дом инвалидов; будто бы вышел указ: «Отловить и изолировать инвалидов, поскольку они не вписываются в общество, строящее светлое

будущее». Этот последний слух выглядел наиболее правдоподобным.

Без дяди Коли наш двор опустел, и игры потеряли всякий смысл. Мы, конечно, продолжали играть и в волейбол, и в футбол, но уже без прежней страсти, без вдохновения и азарта — всего того, что исходило от нашего «командира» и захлестывало игроков и зрителей. Игры потеряли свой накал — все уже было не то.

Я испытывал особую тоску. Бывало — безоблачный солнечный день, а мне кажется — небо пасмурно; вокруг прохлада, свободная циркуляция воздуха, а я задыхаюсь от духоты.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАЛОЙ ДУШИ

Подмечено, что в крайностях нет полноценной жизни, что только между ними время струится, как ему и положено, — не слишком быстро, не слишком медленно, что только это усредненное пространство насыщено многоцветьем, а не одними черно-белыми красками, в нем уравновешиваются добро и зло, радостные и горестные события.

Жена портного тетка Эльза имела мятежный, напористый дух, жила беспокойно, суетливо, во все дела совала свой нос, и некогда ей было осмотреться, задуматься, взглянуть на себя со стороны, потому и наделала массу глупостей в жизни.

Ее муж, наоборот, был наделен тихим, приглашенным духом. Инфантильный от природы, он ничем не интересовался, кроме своей работы и рыбной ловли, и вел, по понятиям жены, «страшно ограниченный образ жизни» (у нее было сорок претензий к мужу). Тем не менее, в том приморском городке он слыл отличным мастером, весьма уважаемым, даже влиятельным человеком — известное дело, портные нужны всем, и потому имеют обширные связи. Что касается его увлечения рыбной ловлей, то здесь он, по всеобщему признанию, достиг исключительных успехов, его так и звали: «гений рыбалки».

У портного было трое детей, и, поскольку в доме царил дух, детям постоянно приходилось лавировать между ними. Детский, еще еле различимый, неокрепший дух метался от отца к матери, не в силах решить, к кому примкнуть. Мать, вроде, считалась главой семьи; дети побаивались ее и кое в чем ей подражали. С другой стороны, в отце привлекали спокойствие, мастерство в работе и, конечно, вылазки к морю.

Двум разным духам в семье ужиться крайне трудно. Довольно часто мятежный дух выходил из себя: его раздражали

невозмутимость и беспечность тихого духа, и тогда в семье случались ссоры угрожающих размеров.

— Что волноваться, о чем беспокоиться, когда зашоренный взгляд на жизнь?! — возмущенно восклицала тетка Эльза, склонная к замысловатым, вычурным фразам.

Недогадливым выражала свою мысль яснее:

— Мой муж отгородился ширмой от нужд и забот семьи, и вообще от всего на свете.

Полным тугодумам объясняла предельно конкретно:

— Ему абсолютно на все наплевать!..

Ссоры в семье, как правило, не переходили границ словесной перепалки, но после них супруги несколько дней не разговаривали, только писали друг другу записки: «Купи хлеб и овощи»; «Пошел на рыбалку».

С портным и его женой во дворе соседствовала чета бухгалтеров. В их семье царил ровный дух; и бухгалтер, и бухгалтерша имели мягкие характеры, одинаковые взгляды на жизнь, одни и те же надежды и мечты, и даже внешне были чем-то похожи – оба маленькие, изящные, улыбчивые. Конечно, и у них случались размолвки, но в легкой форме, в ничтожных размерах, да и они происходили с некой вялой нежностью, а, в общем, их жизнь текла размеренно, без потрясений.

Бухгалтер считался одним из самых добросовестных людей в городке, человеком, предельно собранным, педантичным на работе, но несколько «не от мира сего» в житейском плане: чрезмерно беспомощным в быту (чтобы приготовить завтрак, ему требовалась целая вечность), наивным и доверчивым к окружающим. В противовес ему, бухгалтерша прекрасно разбиралась в людях и не раз предупреждала мужа о недостатках в тех, с кем они общались. Несмотря на мягкость и улыбчивость, при первой же угрозе семье она, словно тигрица, готова была защищать свой дом и детей. И честь мужа. Стоило кому-то нелестно отозваться о нем, она тут же разносила обидчика в пух и прах.

Все в этой семье шло хорошо, если не считать, что бухгалтерские дети, наперекор природе, росли взбалмошными, драчливыми и «презренными лгунами» — по выражению тетки Эльзы. Из-за стычек между бухгалтерскими детьми и детьми портного иногда и взрослые дулись друг на друга

и перекидывались словами с несколько большим жаром, чем того требовало элементарное приличие. Но это происходило крайне редко, в основном семьи жили дружно, а по праздникам всегда устраивали общее застолье — что было обычаем для соседей той местности.

И жил в том дворе бывший фронтовик Игнат, хромоногий, со скрюченной, «полурабочей», как он говорил, левой рукой. Игнат работал сторожем в продовольственном магазине, был горьким пьяницей, о чем бы ни рассказывал — в каждой истории присутствовала выпивка, и в основном жил за счет того, что собирал и сдавал бутылки, «жил на хрустале», по меткому замечанию тетки Эльзы, и по ее же определению «являлся носителем никчемного, падшего духа». Несмотря на пристрастие к горячительным напиткам, Игнат пользовался некоторым уважением соседей за добродушный характер и любовь к детям. Бухгалтеры даже считали, что он не лишен благородства, поскольку время от времени ездил примирять свою бывшую супругу с новым мужем. А однажды Игнат всех поразил, удочерив восьмилетнюю детдомовскую девочку.

— Я всегда мечтал иметь дочку, — объявил он соседям и резко бросил пить.

С этого момента события во дворе развивались с невероятной скоростью. Первое время соседи умилялись, глядя, как Игнат трогательно заботится о девочке: готовит завтрак, провожает в школу. Она в ответ с огромным энтузиазмом убиралась в доме, ходила в магазин и все время пела незатейливые детские песни.

— Главное в ребенке — грация души, — говорила тетка Эльза и награждала девочку весомыми эпитетами: — Она чувствительная, впечатлительная, музыкальная — точь-в-точь мои дети, — и добавляла нечто причудливое: — А ее песенки — прямо колыбельная для усталой души.

Но через два года, когда девочка подросла, соседи заметили некоторые странности в поведении Игната и его дочери. Гуляя по набережной, они непременно держались за руки и посматривали друг на друга далеко не по-родственному, а то и без наигранного жизнелюбия устраивали непонятные игры: кто быстрее разденется и вбежит в море; на мелководье они вытворяли всякие акробатические этюды — только

что не целовались. Направляясь в кинотеатр, они шли без стеснения в обнимку, в зале шептались, хихикали, а после сеанса Игнат покупал девчужке мороженое и преподносил его без всякого дурачества, жестом пылкого юноши, а пигалица в ответ чуть ли не делала реверанс и пела уже далеко не незатейливые песенки, а песни с романтическим уклоном.

Эти удручающие, невыносимые наблюдения приводили соседей (в основном соседок) в невероятное возбуждение. Еще бы! Такие сцены противоречили общепринятым нормам поведения, расшатывали устои городка, и с точки зрения пристойности, и со всех других точек зрения, выглядели отвратительно.

— Фу, как вульгарно! Какое бесстыдство! — горячилась бухгалтерша, бросая на Игната и девчужку ревнивый взгляд.

— Между ними нет пафоса дистанции! — полыхала тетка Эльза, как всегда, употребляя витиеватые обороты.

Но что сомнительные прогулки, купания, фильмы и мороженое в сравнении с тем, что происходило по вечерам на крыльце дома Игната! Они выносили патефон и, сидя на ступенях и слушая пластинки, обнимали и гладили друг друга! При этом Игнат прямо-таки млел от счастья, а глаза девчужки мерцали совершенно взрослым блеском!

Самое ужасное начиналось дальше: их легкие невинные ласки плавно переходили в другие ласки, более серьезные, утонченные, с явной сексуальной окраской. На лице Игната появлялось выражение осоловелою торжества, а мерцанье глаз девчужки перерастало в сияние! Порочное сияние!

Глядя на эту парочку, бухгалтерша раздраженно пфыкала:

— Дикость какая-то! И все напоказ!..

А тетка Эльза просто бурлила от негодования, ее возмущение достигало крайних пределов:

— Я всегда чувствовала — у Игната никчемный, падший дух, с налетом низменных, подлых поползновений, — дальше кровь в жилах тетки Эльзы начинала носиться словно ток по проводам: — У него нездоровый бзик! Все ущербные мужчины помешаны на женщинах, но низменные поползновения к ребенку!

Мужская половина двора реагировала на события более сдержанно. И портной, и бухгалтер смотрели на музыкальные посиделки с довольно рассеянным вниманием и осужда-

ли Игната про себя, объясняя его поведение частичной случайностью, хотя, кто знает, может, втайне ему и завидовали. Во всяком случае, тетке Эльзе приходили в голову такие отчаянные мысли — иначе почему, когда она распекала Игната, ее муж отмалчивался, увивал от ответов?! Впрочем, она быстро успокаивалась, вспомнив, что он вообще не отличался разговорчивостью, и это у нее тут же вызывало горячие мысли обратного рода.

— Тюфяк, а не мужчина, — насмешливо хмыкала она. — Его абсолютно ничего не интересует, кроме лоскутков и рыбок. Какие там женщины! Он и на меня-то смотрит как на дерево.

Тетка Эльза представляла себя в образе цветущего дерева, какой-нибудь магнолии, и слезы наворачивались на ее глаза. В эти минуты она совершенно забывала, что имеет от мужа троих детей и что могла бы их иметь гораздо больше, но сама не захотела. Такой она была противоречивой, агрессивной и сентиментальной одновременно.

А жизнь во дворе текла своим чередом. Когда девчужке исполнилось пятнадцать лет, Игнат устроил ее в медицинский техникум, и там она нешуточно увлеклась одним сокурсником, и ее романтические песни приобрели грустноватую окраску.

После этого знаменательного события, соседи (в основном соседки) наблюдали непонятное шествие: девчужка — уже почти сформировавшаяся девушка цветущего вида, неизменно шла между Игнатом и поклонником, обоих держала под руки, но смотрела на них по-разному: на Игната — по-прежнему открыто, восторженно, на парня — робко и смущенно. Эта тройца гуляла по набережной, ходила в кино, по вечерам слушала пластинки, правда, теперь Игнат не сидел на крыльце, а прохаживался взад-вперед по двору и с наступлением темноты прощался и исчезал в доме, а молодые люди засиживались до полуночи, но сидели вполне целомудренно, даже на некотором вполне пристойном расстоянии.

В эти дни соседи, вернее соседки, недоуменно смотрели во двор и испытывали растерянность и замешательство такой силы, что, казалось, на них внезапно обрушилась огромная морская волна.

После окончания техникума парень предпринял решительный шаг — объявил Игнату, что «давно любит» его дочь и с размаху попросил ее руки. Игнат расчувствовался до всхлипов, благословил молодых людей на брак и в качестве свадебного подарка купил им пианино, «чтобы обучали детей музыке». (С появлением инструмента волнение соседок заметно улеглось).

На свадьбе, которую Игнат устроил во дворе, естественно, присутствовали соседи. Портной и бухгалтер, изрядно нагрузившись вином, похлопывали Игната по плечу, клялись, что всегда относились к нему с глубочайшим уважением, желали десяток внуков и долгой жизни — под сотню лет.

Тетка Эльза и бухгалтерша поздравляли молодоженов, обещали всяческую помощь в воспитании детей, ссылались на собственный немалый опыт, а об Игнате наедине судачили: и такой-то он, и сякой, но в конце концов пришли к единому мнению, что он «в общем-то неплохой человек».

— Налицо его перерождение... или мы заблуждались, — констатировала бухгалтерша и то ли облегченно, то ли разочарованно вздохнула, словно зритель после интригующего фильма, в котором многое так и осталось загадкой.

А языкастая тетка Эльза произнесла одно из своих самых замысловатых изречений:

— Похоже, высокий дух победил низменного духа. Так бывает, правда, чаще бывает наоборот.

ЗВЕРИНЕЦ В УГЛОВОЙ КОМНАТЕ

Эта немолодая женщина жила обособленно, замкнуто в угловой комнате на втором этаже; ее балкон отличался от других обилием цветов. Сквозь балконную решетку я часто видел склоненную голову с седыми буклями — женщина что-то шила. С соседями по квартире и жильцами дома она только учтиво здоровалась, но бесед не вела и не принимала участия в общественных мероприятиях, и тем более не примыкала ни к каким группировкам — тот дом четко делился на сплетников (в основном из числа старожилов), собачников, кошатников и доминошников-алкашей (из числа лимитчиков). Ее можно было бы отнести к прослойке интеллигентов, но и с теми она держалась особняком. Она всегда была опрятно одета: летом — в темно-лиловом платье с розовой камеей у ворота, зимой — в потертом полушубке с муфтой, в шляпке с вуалью и ботах «прощай молодость». Семь лет мы жили в одном подъезде, и я ничего о ней не знал; слышал, что она бывшая костюмерша, работала в театре — и все. Както мы столкнулись в подъезде, и, пропуская ее, я придержал дверь, но она посторонилась и с полуулыбкой сказала:

— Нет, нет, пожалуйста, вы проходите. Вы — молодой человек, у вас масса дел, а я никуда не спешу. К тому же, у вас ценная ноша (в то время я работал экскурсоводом в историческом музее и не расставался со связкой книг).

Мне понравилось, что она сказала, особенно — что я молодой (мне уже перевалило за сорок).

— Не такая уж и ценная, — я кивнул на книги. — Всего лишь справочники по истории.

— Если вас интересует историческая литература... У меня осталась от отца неплохая полубиблиотека... Заходите, может быть, это будет интересно для вас.

В один из вечеров я воспользовался приглашением и отправился на второй этаж.

В ее комнате стоял зеленоватый полумрак — от настольной лампы с плоским зеленым плафоном струился слабый свет; плафон напоминал весеннюю луну. Я разглядел кожаный диван, над спинкой которого находилось два шкафчика, а между ними на полке фарфоровые статуэтки. По одну сторону дивана стояла швейная машинка «Зингер», по другую — черный шкаф, в котором виднелись корешки книг. Хозяйка встретила меня приветливо, назвалась Эвелиной Викторовной и показала на диван.

— Пожалуйста, присаживайтесь, — и, обращаясь к большой игрушечной собаке, которая занимала половину дивана, полушутливо, полусерьезно сказала: — Женя, подвинься!

Себе Эвелина Викторовна принесла из кухни табуретку и, накинув полушубок, присела к столу.

— В этой угловой комнате все время дует то из окна, то из-под двери. И у меня нет ни одного стула, — как бы извиняясь, пояснила она. — Мы с мамой их сожгли во время войны в «буржуйке». Ведь был холод и голод... Представьте, а здесь рядом находилась кондитерская фабрика, и оттуда пахло шоколадом. Мы грызли сухари, и они казались шоколадом... Но книги я сохранила в память об отце. Он был профессором университета...

Сидя на диване, я слушал Эвелину Викторовну, рассматривал книжный шкаф, но вдруг почувствовал — из противоположного угла кто-то за мной наблюдает, множество чьих-то желто-зеленых глаз.

— Посмотрите книги, — сказала Эвелина Викторовна. — Если вас что-нибудь заинтересует, не стесняйтесь, берите, читайте.

Она включила верхний свет; бронзовая люстра осветила комнату, и я увидел в углу необычных зверей — огромные самодельные игрушки; на полу, в довольно раскованных позах, замерли тигр и лошадь, похоже, сделанные из старого одеяла, обезьяна и коза — из какого-то тулупа, и змея — из серебристой парчи; у животных вместо глаз блестели пуговицы, но они смотрели на меня вполне осмысленно, во всяком случае, так мне показалось.

Я отобрал несколько книг, вновь взглянул на зверинец и, несколько бестактно, спросил:

— Эвелина Викторовна, чьи это игрушки?

— Мои, — как-то удивительно просто ответила она и, спохватившись, встала с табуретки. — Я забыла вас представить... Ну, Женю, Евгения Павловича, вы уже знаете... А это Федор Иванович, — она подошла к лошади и погладила ее гриву. — Тигра зовут Игорь, он еще юноша, обезьянку — Вероника, козу — Зинаида, а змея — это я. По восточно-китайскому гороскопу.

— Занятно, — произнес я.

— А вы кто по гороскопу? — спросила Эвелина Викторовна.

— Не знаю.

— В каком году вы родились?

Я назвал.

— Так вы крыса! Вы родились под знаком шарма и агрессивности. У вас опасное очарование. Крыса эгоистична и честолюбива, в гневе топчет всех, кто на ее пути.

— Насчет этого совершенно справедливо, — усмехнулся я. — Затоптал кучу людей, но, видимо, зря — ничего особенного не добился.

— Добьетесь! Крыса способная, — Эвелина Викторовна протянула мне руку. — Заходите еще, мы будем рады, — она обвела взглядом зверей, и на ее лице вновь появилась полуулыбка.

— До свидания! Спасибо за книги! — я пожал ее руку и, исходя из вежливости, подыгрывая хозяйке зверинца, еще пожал лапу тигру.

«Странная женщина, — подумал я, возвращаясь в свою комнату. — Полушутки, полуулыбка. И полумрак, полушубок, полубиблиотека — какая-то полужизнь. И эти полужвери! Какое-то искаженное видение мира. Наверно, просто старомодные штучки», — заключил я и больше об этом не думал.

Через несколько дней, прочитав книги, снова пришел в угловую комнату.

— Вы ничего не замечаете? — загадочно спросила Эвелина Викторовна, пока я копался в шкафу, отбирая новую партию книг.

Я посмотрел в звериный угол и заметил новую игрушку — крысу, мастерски сделанную из сукна, крысу внушительных размеров. Она стояла впереди всех зверей, как бы возглавляя стаю.

— Это вы. Крыс Алексей, — сказала хозяйка зверинца. — Вернее, ваш двойник, как моя змея Эвелина...

Крыс был явно без всякого шарма, о котором упоминала его создательница, но в вытянутой морде с торчащими усами недвусмысленно проглядывала агрессивность, наверняка, для достижения своих целей этот тип мог затоптать кого угодно. Я условно обозвал его «агрессор» и догадался: мне в комнате отводилась центральная роль, вокруг которой станут крутиться остальные звери. Это ко многому обязывало, и прежде всего — включиться в игру со всей серьезностью. Желая угодить Эвелине Викторовне, я сказал:

— Привет, двойник! Надеюсь, мы подружимся. И веди себя прилично, когда я уйду.

— Крыса великодушна к тем, кого любит, — откликнулась Эвелина Викторовна. — А змею все почитают за мудрость, — этим добавлением хозяйка зверинца дала понять, что все-таки центральная роль принадлежит ей. — Представляете, когда у меня плохое настроение, она тоже грустит, а если мне весело, радуется больше меня...

— А как это проявляется? — вылетел у меня дурацкий вопрос.

— Господи! — всплеснула руками Эвелина Викторовна. — У нее меняется выражение на мордашке!

Я внимательно посмотрел на Эвелину Викторовну, но она не заметила моего взгляда и продолжила:

— Вот сейчас лежит, свернувшись клубком, а головку приподняла, прислушивается к нашей беседе. А когда грустит, головку прячет... А если радуется, подползает, извивается кольцами... Ведь змея крайне чувствительная, она больше доверяет впечатлениям, предчувствиям, нежели фактам... И, конечно, змея изящная, одевается изысканно... — Эвелина Викторовна мельком взглянула в зеркало, поправила букли, как бы убеждаясь в своем изяществе, и добавила: — Но змея собственница и ревнива... Если влюбится, обовьет и не оставит свободы, — после этих безрадостных слов Эвелина Викторовна заметно взгрустнула.

Я посмотрел на змею, и мне показалось, она немного опустила голову, ее взгляд потух. Чтобы взбодрить обеих, я сменил тему:

— А почему пес Женья благодушествует отдельно?

— Нет, он дружит со всеми, но у него чувство вины перед Эвелиной... Я могу вам приоткрыть тайну, при условии, что вы никому об этом не расскажете. Я верю в вашу порядочность.

Я дал слово хранить тайну и услышал заурядную историю любви.

—...Видите ли, Женья, Евгений Павлович – муж Эвелины перед Богом. Он морской офицер. У него величие духа, как у всех собак. И много благородных черт: он преданный, верный, все делает для других... Когда-то Эвелина полюбила его. И он ее. Они были молодые, это было давно. Смотрите, Женья седой, и у Эвелины, взгляните, кожа уже не та...

Пес безучастно смотрел в окно, в океанские просторы; смуглый, седомордый — вылитый морской офицер, только что без погон.

—...Женья был женат, вот в чем несчастье. А для него чувство долга превыше всего... Самое нелепое — его жена дракон. Они совершенно не подходят по знакам, но вот так получилось... И до сих пор живут вместе... Сейчас ее временно нет...

Я подумал, Эвелина Викторовна скажет: «Я ее выставила», но она благоразумно закончила любовную историю:

— Она поехала навестить родителей...

— У них есть дети? — спросил я, чтобы просто поддержать разговор.

— Да, двое. У них уже свои семьи...

— Кто же ему теперь мешает... — начал я, но тут же осекся.

— Я же вам сказала, для Евгения Павловича чувство долга превыше всего... — Эвелина Викторовна притихла, но вдруг укоризненно посмотрела на собаку. — Хотя, может быть, вы и правы...

Полминуты спустя, она присела к своему «мужу от Бога» и прижалась к нему.

— Все-таки он хороший...

Пес стеклянными глазами продолжал невозмутимо смотреть в океанские просторы; по-моему, ему было абсолютно начхать на то, что говорила любящая женщина, и мне захотелось дать ему по морде; но игра зашла слишком далеко,

и надо было что-то предпринимать — Эвелина Викторовна уже гладила собаку, украдкой смахивала слезы и повторяла:

— Очень хороший...

Какая-то неподдельная чистота была в этой неразделенной любви, мне стало по-настоящему жаль несчастную женщину. «Возможно, моряк не существует на самом деле, он — плод болезненной фантазии, — подумалось, — но не стоит разрушать этих иллюзий, ведь они, наверняка, ее единственная радость».

— По нему видно, что он любит вас и страдает, — сказал я, имея в виду Женю.

— Да, я знаю, — поспешно согласилась Эвелина Викторовна, отстраняясь от собаки. — Потому и не злюсь на него... Бог с ним! Видимо, не судьба... — она глубоко вздохнула, поднялась, и полуулыбка снова осветила ее лицо. — Хотите чаю? Давайте пить чай!

— Эвелина Викторовна, у вас есть родственники? — осторожно спросил я за чаем.

— Нет... Моего отца арестовали в тридцать седьмом году и отправили на Колыму. Он был самым талантливым профессором в университете... Нас с мамой тоже хотели выслать, но потом оставили в покое... Приходили ночью, делали обыски, допрашивали... Я все отчетливо помню, мне уже было девять лет... Ведь эта квартира вся принадлежала нам. Это потом, после смерти мамы, вселили жильцов... Мама умерла в шестьдесят первом году. И, представляете, всю жизнь посылала отцу посылки в лагерь, а его уже не было в живых. Он умер через год в ссылке, и вскоре я узнала об этом, но маме не сказала...

Теперь мне стала понятна причина ее болезненного воображения, да и как можно столько пережить и остаться в здравом уме? Я подумал: «Надо бы помочь одинокой женщине». Но как я мог помочь, если сам еле сводил концы с концами и снимал в том доме комнату, а всеильных знакомых у меня не было; оставалось одно «книжное» общение и участие в кукольной игре. Чтоб отвлечь Эвелину Викторовну от мрачных воспоминаний, я сказал:

— Самый симпатичный из ваших зверей — тигр, этакий гигант с нежной душой. Он мне понравился с первого взгляда. Даже, по-моему, мы оба понравились друг другу.

Он мне — за открытый честный взгляд, а за что я ему — не знаю.

Тигр с непроницаемой мордой уставился на меня, как бы вопрошая: «О чем это ты?».

— Его зовут Игорь, — напомнила Эвелина Викторовна. — Он, действительно, честный и смелый... Немного вспыльчивый, но быстро отходит...

Я встал, поблагодарил Эвелину Викторовну за чай и книги и, попрощавшись, крепко, как и в первый раз, пожал лапу тигру.

На следующий день я встретил Эвелину Викторовну во дворе, она была необычно возбуждена.

— Заходите вечером, — заговорщически проговорила она. — У нас свадьба. Федор Иванович сделал предложение Зинаиде, и она с радостью объявила, что выйдет за него замуж, — полуулыбка на лице Эвелины Викторовны уступила место полноценной улыбке. — Федор Иванович просил меня пригласить вас.

Я собирался дома поработать, но и обижать несчастную женщину не хотелось. К вечеру, купив торт и сорвав в сквере какой-то цветок для «невесты», я поплелся «на свадьбу». По пути пытался вспомнить, кто Федор Иванович, кто Зинаида? Так и не вспомнив, решил разобраться на месте.

Звери восседали за столом на диване, в центре — лошадь и коза, оба нарядные — хоть куда! На шее лошади сверкал медальон, на козе красовалась марля — что-то вроде фаты. Перед каждым животным стояла тарелка с вилок и рюмка. Эвелина Викторовна в переднике семеняла из кухни в комнату.

— Поздравляю! — сказал я, обращаясь к жениху с невестой, и протянул козе цветок, а для большего впечатления, хотел поочередно поцеловать молодоженов, но Федор Иванович встретил мою попытку свысока, а Зинка и вовсе оказалась невоспитанной особой — даже не повернулась в мою сторону, впрочем, быть может, мне помешал стол — до молодоженов было сложно дотянуться.

Но для Эвелины Викторовны мой порыв не остался незамеченным, она благодарно поклонилась мне и сказала:

— Присаживайтесь на край дивана, рядом с Игорем. Он уже заждался вас, все спрашивал: «Когда же вы, наконец, придете?»

Тигр сидел, уткнув морду в тарелку, и вообще не заметил моего появления; чтобы не ставить Эвелину Викторовну в неловкое положение, я приподнял его морду и чмокнул в огромный нос.

— Здравствуй, Игорек! Ты уже поздравил молодоженов?

Как бы кивнув, тигр снова опрокинул башку в тарелку.

Эвелина Викторовна принесла из кухни кастрюлю с варениками, разложила их по тарелкам, разрешила мой торт и всем положила по куску, затем достала из шкафа бутылку ликера и протянула мне:

— Откройте, пожалуйста, можно начинать торжество.

Я вынул пробку из бутылки и, в некотором замешательстве, взглянул на Эвелину Викторовну: наливать зверям или нет? Она поняла мой вопросительный взгляд.

— Совсем чуть-чуть. Чисто символически.

Я разлил ликер, и Эвелина Викторовна произнесла замечательную речь. Умиленно глядя на молодоженов, она просто сказала:

— Будьте счастливы, Федор Иванович и Зиночка!

— Отличная парочка, — возвестил я, выпив отличный, в общем-то, ликер.

— Вы знаете, они очень подходят по знакам, — подтвердила мои слова Эвелина Викторовна. — Конечно, Зинаида немного капризная, но в то же время послушная, нежная... Любит музыку. Мы с ней часто слушаем Моцарта. Она очень любит Моцарта.

— Почему именно Моцарта? — брякнул я, бесцеремонно наливая себе ликер.

— Ну, как же! — Эвелина Викторовна поразилась моему невежеству. — Это же религиозная музыка, а Зинаида очень набожна. Вон ее икона, — она показала на звериный угол — там маячил небольшой образок.

На минуту я увидел себя и Эвелину Викторовну со стороны и подумал: «Взрослые дети играют в куклы. Впрочем, а почему и не поиграть?» Дальше я ударился в вольные рассуждения, и после третьей рюмки мне, и вправду, показалось, что звери развеселились вовсю. Федор Иванович то и дело принимал позы: разгибал спину, выпячивал нижнюю губу — воображал себя Наполеоном, не иначе. Его невеста раскачивала головой; только теперь я заметил, что у нее одно ухо

длиннее другого и она сильно косоглазит, впрочем, может, это уже я окосел. Обезьяна, которая долгое время завистливо смотрела на молодоженов, вдруг завертела хвостом и опрокинулась на спинку дивана. «Напилась», — подумал я, но Эвелина Викторовна пояснила:

— Вероника взбалмошная. Это она так одурачивает нас... Она и раньше разыгрывала обмороки... Дело в том, что у нее нет кавалеров...

Я снова усадил Вику за стол, давая понять, что она ведет себя не совсем пристойно, и перевел взгляд на мужскую половину компании. Мой двойник пребывал в довольно вызывающей позе — прямо с лапами залез на стол. Пес, как всегда, смотрел вдаль, в бескрайние океанские просторы; столь созерцательное настроение наводило на мысль, что свадьбы для него не в новинку. Мой непосредственный сотрапезник тигр занимался гастрономическим делом — изучал еду в тарелке и делал это открыто и честно, словно вдрызг пьяный гость. Чтобы он очухался, я толкнул его локтем в бок, но реакции не последовало — он даже бровью не повел. Выпив ликер, я незаметно опорожнил и рюмку тигра, подлил себе еще и крикнул:

— Горько!

После чего обошел вокруг стола и чокнулся со всеми присутствующими; когда прикоснулся к рюмке обезьяны, она отвесила мне поцелуй, как вознаграждение за находчивость. В этот момент у меня в голове мелькнуло: «А не жениться ли на какой-нибудь обезьянке, разумеется, не обморочной?» Я тут же прогнал эту глупую мысль, но на всякий случай поинтересовался:

— Эвелина Викторовна, а как складываются отношения у крыса с обезьяной?

— Прекрасно! Лучше не бывает! — но сразу же она настоужилась и надолго задержала на мне взгляд. — А почему вы об этом спрашиваете?

— Да так, — уклончиво ответил я.

Свадьба удалась, Эвелина Викторовна была счастлива и, когда я уходил, особенно тепло попрощалась со мной.

Вернувшись домой, я с изумлением обнаружил в двери приглашение на настоящую свадьбу — женился мой друг, закоренелый холостяк. Я от души рассмеялся, истолковав это событие случайным совпадением. Но каково было мое удив-

ление, когда я увидел невесту друга: у нее были на редкость большие уши и... раскосые глаза. Это уже было, по меньшей мере, странно. Сгорая от любопытства, я спросил у нее:

— Кто вы по гороскопу?

— Коза!

Я бросился к другу.

— А ты? Ты кто по гороскопу?

— Не помню. Кажется, лошадь, — бросил он.

Это уже была мистика. Весь вечер я не мог отделаться от мысли: «А что, если кукольное государство Эвелины Викторовны — некий отраженный мир людей? Что, если в тряпичные чучела и впрямь переселяются наши души?». Мою догадку подтвердили дальнейшие события.

Через неделю рано утром в квартире раздался звонок. Я открыл дверь и увидел на пороге Эвелину Викторовну.

— Что с вами случилось? — встревожено спросила она.

— Что? — не понял я.

— Как вы себе чувствуете?

— Да, вроде, неплохо.

— Но крыс заболел. Еще вчера расхандрился, отказался от еды, а сегодня слег... Я за вас боюсь... Берегите себя...

Я успокоил, как мог, Эвелину Викторовну, но, прежде чем уйти, она настойчиво упрасивала меня принять лекарства. Закрыв дверь, я вслух пробормотал: «Что за беспочвенные фантазии?! Задурила мне голову! Надо заканчивать эту игру — так недолго и спятить».

Весь день я нервничал и злился, а к концу дня почувствовал себя неважно: поднялась температура, стал трясти озноб. «Только этого еще не хватало! — буркнул я и бросил вызов судьбе: — Ну, что за болезнь мне предназначена?»

Болезнь оказалась нешуточной — я умудрился где-то схватить воспаление легких и провалялся в постели около месяца. Эвелина Викторовна навещала меня: приносила горчичники, куриный бульон, книги... Однажды радостно объявила:

— Дело пошло на поправку. У крысы появился аппетит, и какой! Его невозможно оторвать от тарелки!

После болезни я отправился к Эвелине Викторовне, чтобы выразить признательность за сочувствие и помощь. Я появился с тортом (над подарками я никогда не ломал го-

лову — на все торжества неизменно тащил торт, и он оказывался как нельзя кстати). Увидев зверей, я внезапно почувствовал, что соскучился по ним; каким-то странным образом Эвелине Викторовне удалось вселить в меня смуту — я уже и сам толком не знал, что у них внутри: опилки и вата или человеческие души?

— Вы даже не представляете, как мы все переживали за вас, — трогательно сказала Эвелина Викторовна. — Всем семейством лечили крыса (воздух в комнате, на самом деле, был пропитан лекарствами).

Я посмотрел на своего двойника; он, как всегда, стоял впереди зверей, худой, с ввалившимися боками, но взгляд у него был ясный, четкий и агрессивных намерений — хоть отбавляй! Я даже немного отошел в сторону.

Мы пили чай, ели торт и вели пустяковые разговоры, и все было бы хорошо, если бы я не заметил, что лошадь с козой друг на друга дуются. Я не стал выпрашивать у Эвелины Викторовны, как живут супруги, не хотелось ее расстраивать — вдруг мои наблюдения оказались верными? Но в тот же день позвонил женатому другу, бывшему закоренелому холостяку, хотел убедиться — подобные домыслы лишены всяких оснований.

— Как жизнь молодая? — бодро спросил я в трубку.

Но в ответ услышал далеко не бодрый голос:

— Да, так... Ссоримся, выясняем отношения...

— Семейная жизнь — сложная штука, — изрек я и дал другу бесценный, на мой взгляд, совет: — Главное, уступить друг другу.

Это был чисто теоретический совет — друг прекрасно знал, что я никогда не был женат, и, наверняка, пропустил мои слова мимо ушей. А вот я за его слова уцепился и сделал очевидное, бесспорное заключение: куклы — живые существа. Последнюю точку в этом вопросе поставил случай, произошедший в середине лета.

Эвелина Викторовна зашла ко мне и, с горечью в голосе, сообщила:

— У нас неприятность. Зинаида хочет развестись с Федором Ивановичем, говорит, разлюбила его...

— Что за легкомыслие?! — возмутился я. — О чем она раньше думала?

— Я не хотела вас огорчать, но сразу же после свадьбы... В общем, у Зинаиды, как у всех коз, несносный характер, она вечно чем-то недовольна...

— Кажется, вы говорили, она послушная, — неуверенно возразил я.

— Да, когда ей это выгодно. Она умеет приспособливаться к обстоятельствам... В общем, теперь она живет отдельно. Всех нас огорчила...

— Но вы говорили — они подходят по знакам, — уже твердо напомнил я.

— Да, подходят. Но, видимо, и в гороскопе есть изъяны... Ведь ничего нет совершенного на свете...

— Может, еще помирятся, — протянул я; в голове уже прыгала невеселая мысль: «Плохое предзнаменование».

Кое-как успокоив Эвелину Викторовну (за счет неблагодарной козы и остального благодарного зверинца, который никогда так гнусно не поступит), я проводил ее на второй этаж, а вернувшись, набрал телефон друга, но никто не ответил. И еще два дня телефон молчал. А на третий день друг позвонил сам.

— Надо бы встретиться, посидеть за бутылочкой, есть о чем поговорить... От меня жена ушла.

К концу лета всех работников музея отправили в отпуск (начался ремонт прогнившей сантехники), и я решил отдохнуть в деревне. Перед отъездом зашел к Эвелине Викторовне, предварительно купив торт.

Она сидела на диване, закрыв лицо руками. На мой вопрос «Что случилось?» только покачала головой и беззвучно заплакала. Я осмотрел зверинец. Федор Иванович, Игорь, Вероника и мой двойник сидели, съежившись, в углу; Зинаида одиноко выглядывала из-под швейной машинки; Жени нигде не было.

— Что-то случилось с Женей? — спросил я.

Эвелина Викторовна молча кивнула, потом, всхлипывая, нервно проговорила:

— Случилось несчастье! Вчера пропал Евгений Павлович. Исчез, и все... Я заходила к соседям, перерыла всю квартиру, не знаю, что и подумать... Вся извелась, ночь не спала, принимала таблетки от сердца... Я уверена, он жив, но что-то произошло. Что-то страшное...

Она была в отчаянии, и никакие мои слова не смогли ее успокоить.

В деревне отдыхалось неплохо, но по вечерам я вспоминал Эвелину Викторовну и тревожился за нее. И невольно вспоминал зверинец; почему-то, глядя на животных издали, отстраненным взглядом, я понял — они уже стали мне близкими друзьями.

Я вернулся из деревни, когда уже шли осенние дожди, и прямо с дороги, сбросив в комнате рюкзак, пошел к Эвелине Викторовне. На звонок дверь открыла соседка.

— А Эвелина Викторовна умерла!

— Как?!

— Врачи сказали «сердце», а наемники приходили смотреть комнату из жэка, сказали — «отравилась». Кто их разберет. Все изоврались. Я никому не верю. Могла и отравиться, ведь она была не в себе. Сумасшедшая.

— Дай Бог, всем быть такими сумасшедшими, — процедил я и прошел в угловую комнату.

Комната была полупустой; стояли только стол и диван; ни шкафа, ни швейной машинки уже не было. И не было зверей.

— Кто ж все растащил? — обратился я к соседке.

Она пожала плечами:

— Нашлись охотники до чужого добра. Приходили какие-то, сказали знакомые.

— А где звери?

— Какие звери? Ее игрушки, что ли? Да их выкинули на помойку. Небось, там и валяются.

Я побежал за дом к черному ходу, где находилась помойка.

Федор Иванович и мой двойник лежали в мусорном ящике, у черного хода в луже мальчишки пинали Игоря и Веронику, змея Эвелина валялась в стороне, мокрая, безжизненная, словно старый пожарный шланг. Отогнав ребят, я собрал зверей, принес домой, очистил от грязи, поставил сохнуть к батарее. Затем съездил на кладбище и рядом с могилой Эвелины Викторовны закопал змею.

ТОТ САМЫЙ ЧУДАК

Учительница немецкого языка была прямо-таки небесным созданием. «Доброе утро!» — произносила она ангельским голосом, входя в класс и внося с собой запах свежести, просветленность, дух интеллигентности и нравственной чистоты. В строгом английском костюме, с изящными манерами и таинственно-печальной улыбкой, она казалась нам королевской бабочкой, не иначе.

— Не важно, где и как мы живем, — говорила она во время урока. — Главное, что в нашей душе. Мы живем там, где наша душа.

Эти туманные сентенции еще больше возвышали ее в наших глазах. Было ясно, что ее-то душа витает в облаках, а не бродит по грешной земле вместе с нашими безалаберными душами. Это становилось еще яснее, когда она читала немецких поэтов, и на ее лице появлялось выражение мечтательного счастья.

— Всего наилучшего! — произносила она по окончании урока и с неизменной улыбкой добавляла: — Не забывайте о душе.

Она исчезала, и класс мгновенно тускнел. Кстати, слово «душа» звучало небезопасно в то антирелигиозное время, и ученики ценили мужество учительницы, ведь суммарная направленность всех ее высказываний преследовала определенную цель — взывала к Богу. Впрочем, некоторые, и я в том числе, считали, что это и не мужество вовсе, а некое простодушие неопытного учителя, юной невинной женщины, и рано или поздно ей за это влетит.

Она учительствовала первый год, сразу после окончания института, и внешне выглядела как подросток, чуть старше нас, девятиклассников, но манерой держаться и своими зна-

ниями с первого же урока установила между нами дистанцию немалых размеров. Мы и восхищались ею, и побаивались ее, как, собственно, большинство мужчин боится женщин, которые им особенно нравятся. Ко всему, такие, как я, осваивающие иностранный язык с превеликим трудом, ожидали урока немецкого с двойным страхом.

Но странное дело, к моим неспособностям «немка», как за глаза прозывалась учительница, относилась довольно снисходительно. Даже когда я в каждой фразе делал уйму ошибок, она спокойно поправляла меня и «натягивала» тройку. Я слыл крепким троечником и в этом смысле был спокоен за свой аттестат — иностранный язык при поступлении в институт во внимание не принимался, чем, кстати, и объясняется теперешняя беспомощность в языках большинства из моего поколения. Впрочем, при «железном занавесе» язык был и не нужен — иностранцев к нам не пускали, их радиостанции глушили, а непереуведенные книги находились в спецхране библиотек, куда выдавались пропуска, и всех посетителей брали на заметку.

«Немка» великодушно относилась ко всем нерадивым ученикам, кроме толстяка Салихова из параллельного класса — подростка, которого никто не воспринимал всерьез и с которым никто не дружил. Да и как можно было общаться с тугодумом, который вечно безучастно сидел за партой, все пропускал мимо ушей, при этом постукивал пальцами, покачивал ногой; его отсутствия в классе никто не замечал, как, впрочем, и присутствия. А на перемене он то восторгался какой-нибудь ерундой, то впадал в ярость по малейшему пустяку. Он считался придурковатым простаком, которого легко перехитрить, правда, распознав хитрость, он мог нешуточно надуться и выкинуть какой-нибудь дикий номер. Единственно, что у нас вызывало в Салихове зависть, — это его усы; в отличие от нашего пушка на верхней губе, у него явственно проступала темная растительность... Так вот, этому Салихову от «немки» доставалось: раз в неделю она устраивала ему дополнительные занятия, после которых он весь следующий день сидел на уроках красный, потупившийся и на все вопросы отвечал невпопад.

Моим соседом по парте был Старик — Левка Старостин, невероятно способный парень, которому все давалось легко.

Старик учился на круглые пятерки — тянул на медаль, но делал это без видимых усилий, даже как-то играючи, и, что особенно важно, при этом оставался балагуром и весельчаком. Мы со Стариком были закадычными друзьями и заядлыми рыбаками и на глазах всего класса радостно выражали свой союз.

Однажды на наше шестнадцатилетие, после получения паспортов, Старик сказал:

— Давай отметим это событие на рыбалке. И пышно — купим бутылку портвейна. Ведь теперь мы стали взрослыми.

До этого я несколько раз пробовал вино: случалось, по крупным праздникам родители наливали мне глоток легкого вина, но каждый раз это сопровождалось массой нравоучений о вреде алкоголя и всяких назиданий на будущее. И вдруг — целая бутылка портвейна, вдвоем на природе! Это была гениальная мысль, и она могла прийти только в голову Старика.

Деньги мы взяли у родителей, как бы на кино и рыболовные принадлежности, бутылку спрятали в надежном месте, но накануне рыбалки Старик неожиданно омрачил мое радостное ожидание праздника.

— Ты не возражаешь, если к нам присоединится Ахмет? — спросил он.

— Какой еще Ахмет? — удивился я.

— Ну, Салихов. Тот самый чудак из «А», бедный мученик, которого «немка» оставляет на дополнительные занятия.

— Вот еще! Он все испортит, — я почувствовал острое раздражение.

— Да не испортит. Жалко его. Все его сторонятся, а, помоему, он неплохой парень. Немного тронутый, но это чепуха... Вчера сообщил ему о наших с тобой планах, так он прямо взмолился: «Возьмите и меня. Я тоже получил паспорт, а отметить не с кем». Жалко его стало. «Ладно, — говорю, — возьмем, но только с бутылкой портвейна». Так что давай возьмем его и отметим как следует, как положено, на троих, — Старик засмеялся и обезоруживающе хлопнул меня по плечу.

Ахмет основательно подготовился к нашей вылазке на природу — не только не отстал от нас (в смысле подготовки), но даже превзошел: кроме портвейна, взял банку консервов и десяток огурцов, и его рыболовные снасти выглядели вполне

прилично. Мы встретились на станции, и в ожидании пригородного он подробно рассказал, как покупал вино и как удрал из дома, забросив учебники и домашние задания. Он в самом деле оказался неплохим парнем. Слушая его, я даже обнаружил некоторое сходство с ним — в отношении к учебе.

В вагоне он оживился еще больше: поведал нам, что хотел купить и папиросы, но не знал, как мы к этому отнесемся.

— Зря не купил, — сказал я, уверенный, что выкурив первую папиросу, окончательно возмужаю.

Старик насмешливо хмыкнул и тем самым молчаливо поддержал меня.

Мы сошли с поезда в полдень. День был адски жаркий, и, когда подошли к речке, изрядно взмокли. Первым делом окунулись. Потом недалеко от деревни застолбили поляну, обрамленную редкими деревьями, насобирали сушняк для костра, соорудили шалаш, хотя дождя не предвиделось, — соорудили просто так, чтобы занять время до вечернего клева. Мы заранее условились, что начнем торжество, когда стемнеет, у костра.

Рыбалка не клеилась — бутылки портвейна, как будоражащий фактор, не давали покоя, мы пребывали в слишком возбужденном состоянии и, конечно, распугали крупную рыбу. Старик и я поймали всего по паре ершей, но Ахмет опять удивил, выловив плотву больше ладони, на что Старик заметил:

— Ты всех перехитрил. Нарочно плохо учишься. Зачем тебе учиться, если ты уже законченный профессиональный рыболов.

— Просто повезло, — смутился Ахмет, невероятно довольный своим везеньем и вообще тем, что, наконец, приобрел друзей.

Близился вечер; отступал в темноту силуэт деревни, за речкой в неясной полутьме появились желтые огни станции. Мы разожгли костер и открыли бутылку портвейна.

— Поздравляю вас и себя! — сказал Старик. — Теперь мы официально взрослые, самостоятельные. Теперь перед нами открыты все двери. Можем голосовать и, кажется, даже жениться...

— Можем бросить школу и пойти работать на завод, — вставил Ахмет, и я кивнул, в знак совпадения наших мыслей.

— Я давно хочу заработать деньги и отправиться в далекое путешествие, — продолжил Ахмет, когда мы выпили полные кружки; от полнейшей неопытности или, вернее, мальчишеской бравады, выпили без остановки, как газировку, не думая о последствиях.

— А я купил бы мотоцикл, — сказал я, чувствуя, что начинаю хмелеть; во всяком случае, деревья вокруг поляны стали шататься.

— Главное, чтобы была мечта, — нетвердо сумничал Старик.

Нам бы передохнуть, развить тему своего необозримого будущего, а еще лучше — спеть про «пикирующий бомбардировщик», модную песню того времени: не зря подмечено, что поющий быстрее трезвеет — выходит алкоголь, но Ахмет сразу же достал свой портвейн и совершенно искренне признался заплетающимся языком:

— Давно хотел выпить... Надоели родители. То нельзя, это нельзя... Опекают, будто я маленький...

— Родители... всегда правы, — сбивчиво проговорил мудрый Старик. — Как ни крути, а школу... заканчивать надо... Так что поднатужьтесь... Осталось немного...

После второй бутылки мы уже разговаривали совсем бесвязно, а деревья вокруг поляны ходили ходуном, словно налетела буря, хотя стоял полный штиль. Известное дело, большинство мужчин, когда выпьют, говорят о женщинах, и мы не стали исключением.

Первым о девочках заикнулся Старик. Он рассказал, как одно время встречал из школы свою соседку:

—...Я все думал: «Так много девчонок, а она единственная»... А она относилась ко мне как к соседу... говорила про каких-то мальчишек, которые ей чего-то там дарят... Ну, в общем... так, что я решил: «Нет, она не единственная девчонка на свете, о которой надо все время думать»...

Затем похвастался я — с легким преувеличением рассказал, как однажды поцеловал одну нашу поселковую девчонку. На самом деле я только пытался ее обнять, за что схлопотал пощечину.

Надо сказать, что мы с девчонками учились в отдельных школах, и потому женский пол для нас был почти недостижим. В результате этого нелепого барьера мы росли не только

грубоватыми, но и в какой-то мере ущербными: не имели навыка общения с прекрасной половиной населения, не научились танцевать, ухаживать, проявлять нежность, все это впоследствии дало себя знать, когда мы, одичавшие, бросились в пучину страстей и потерпели массу поражений. Впрочем, были и победы. Но, главное, мы делали какие-то запоздалые открытия, и что еще хуже — рассматривали увлечения чуть ли не как основу жизни, ее сущность.

Но вернусь к костру. Неожиданно я заметил: как только мы со Стариком заговорили о девчонках, Ахмет сник и сидел понурив голову. Судя по всему, его не меньше нас волновал романтический вопрос, но здесь он, толстяк, явно понимал — у него было мало шансов. Я видел на его лице страдание от своей неполноценности и про себя посмеивался над ним, правда, с долей жалости.

Ахмет долго сидел насупившись, потом вдруг вскинул на нас глаза и тихо проговорил:

— Дайте слово, что никому не скажете...

— О чем ты? — переспросил я, предугадывая маловажное сообщение.

— Дайте слово, что никогда... никому не скажете...

— Даю слово! — поднял руку Старик.

— Даю слово, — автоматически повторил я, немного озадаченный.

— Я сплю с «немкой», — выпучив глаза, выпалил Ахмет, пугаясь собственных слов.

На несколько секунд мы со Стариком онемели от такой беспардонной, наглой лжи, но я быстро собрался и бросил угрожающим тоном, требуя разоблачения:

— Что ты мелешь?!

— Сплю с «немкой», — отчетливо произнес Ахмет и опустил голову.

— Врешь! — я чуть не замахнулся на него.

— Не верю! — встрепенулся Старик. — Жалкий обман.

— Сплю! — вздохнул Ахмет с каким-то глубоким сожалением — видимо, вспомнил о своей душе.

И в этот момент, неизвестно почему, я с ужасом понял — он говорит правду. И Старик это понял. Мы почувствовали себя ранеными в сердце; нас одновременно затрясло. Я от-

вел взгляд в сторону и увидел — в воду упало ближайшее к поляне дерево.

У Ахмета еще была возможность взять свои страшные слова назад, все поправить, опровергнуть смелое, но ненужное признание, чтобы с наших душ свалились камни. Старик потянул за спасительную нитку:

— Как?! Этого не может быть! Наша «немка»!..

Но несчастный великомученик Ахмет уже думал только о своей душе, он решил исповедаться до конца и безжалостно убил нас наповал.

— Ну, вы же знаете... мы проводили дополнительные занятия... Вначале в классе... потом у нее дома... Ее муж... часто в командировках...

Ахмет на минуту замолчал, как бы не решаясь очистить душу полностью.

А в воду уже рушились и дальние деревья. Одно за другим.

Ахмет шмыгнул носом, глубоко вздохнул:

— Она вначале меня гладила... потом целовала... ну, и... — он отвернулся и чуть не заревел от своего грехопадения.

Я тоже отвернулся и тупо уставился на речку: она прямо на глазах вставала на дыбы, правда, вскоре снова вошла в свое русло, и деревья встали на свои прежние места — слишком отрезвляющей была исповедь Ахмета.

...Утром по пути к станции мы угрюмо молчали; со Стариком я еще перекинулся несколькими словами, а в сторону Ахмета даже не посмотрел. Да и он плелся намного сзади — сам понял, что стал чужим, слишком взрослым для нас, что ли.

ЗАКОЛДОВАННАЯ

Психоневрологическая больница имени Кашенко находится в бывшем монастыре, стоящем на возвышении около Старого шоссе. Я не раз слышал от стариков, что в былые времена место для монастырей искали юродивые — они чувствуют выход энергии из земли, и поэтому полезно постоять около монастырских стен, особенно в вечерние часы: заряжаешься этой энергией. Недаром же говорят: «Сходил в церковь — полегчало». Иногда я думал: может, неспроста и больницу для умалишенных устроили в монастыре, ведь считается, что душевнобольные потеряли связь с землей, у них нет своего энергетического поля.

С одной стороны к больнице подступает пустырь с новостройками, с другой — Даниловское кладбище. Может, и это не случайно? Больные видят нормальных людей, их тянет к ним, но дома от больницы отделяет озеро, а известно — «незаземленные» боятся воды, и мало кто из них преодолевает этот страх. Зато переплывшие озеро становятся «заземленными» — такими, как все. А соседство кладбища без всяких намеков показывает, куда ведет более легкая дорога. Обо всем этом я думал по пути в больницу. Иногда такие мысли уводили меня еще дальше. Я, например, рассуждал: а что, если количество энергии в природе уравновешено; то есть, если в одном человеке ее больше, то в другом — соответственно должно быть меньше. И тогда получалось, что многие старухи, сидящие перед домами и осуждающие молодежь, живут как раз за счет рано умерших молодых людей. Я приходил и к еще более сомнительным выводам, пока ходил от трамвайной остановки на Старом шоссе в гору, к воротам монастыря. Чего только ни придет в голову за эти минуты! В самом деле, психика — туманная область, врачи и те не могут разобраться.

Каждое воскресенье к больничным корпусам тянутся цепочки людей с коробками и сумками. Вдоль аллеи стоят старухи, продающие цветы, шитье и карамели. Между корпусов в полосатых халатах прогуливаются больные. Некоторые из легкобольных помогают обслуживанию около котельной и кухни.

Двенадцатое отделение, где лежала моя сестра, занимало самый дальний корпус. Здесь находились шизофреники-хроники. Во время свиданий посетителей впускали в холл; они располагались на стульях за столами и у подоконников, доставали из сумок еду, раскладывали на салфетках и газетах, открывали бутылки с соком и лимонадом. В палату вела дверь с застекленным окошком. Около двери стояла медсестра с квадратным ключом-ручкой, она по одному впускала больных в холл; остальные больные нетерпеливо вглядывались в окошко.

В двенадцатом отделении лежали разные больные: с плохой наследственностью, перенесшие тяжелые душевные травмы, старые девы, «заучившиеся» девчонки... Я помню бывшую балерину, которая помешалась, оттого что начала полнеть. К балерине ходил отец, семидесятилетний старик. Обычно она ничего не ела из того, что он приносил.

— Я тебя, папа, совсем не это просила принести, — заявляла и начинала танцевать по холлу, раздавая больным фрукты.

Время от времени она крутилась на одной ноге или застывала, раскинув руки, и улыбалась, потом подбегала к медсестре и восклицала:

— О-о! Ну, когда же за мной придет машина? Мы поедем в аэропорт, да? Мы полетим в Париж, да?

— Да, полетим, — успокаивала ее медсестра. — Сядь, не прыгай!

Помню кассиршу, которая, как говорили врачи, помешалась после того, как от нее ушел муж. Кассирша выглядела спокойной женщиной с умным лицом. Ее муж был архитектором-неудачником; он быстро всем загорался, но так же быстро ко всему охладевал и отчаивался. Много лет кассирша с ним нянчилась: то утешала, то подогревала его честолюбие, заражала желанием работать. В конце концов, он по-настоящему увлекся каким-то проектом, получил за него премию, стал известным, купил машину и... начал навещать к незамужней сестре кассирши, а позднее и совсем переехал к ней. Кассиршу изредка навещала соседка.

Больные меня любили — я подыгрывал им, видел их такими, какими они хотели быть. Когда балерина танцевала, я подходил к ней и хвалил ее «партию», и она краснела от удовольствия, а через минуту танцевала только «для меня»... Одна девушка всегда бросалась мне на шею и шептала:

— Наконец-то ты пришел! Я заждаюсь. Ты написал мой портрет?

Рыжей девушке я приносил конфеты, а однажды и сделал ее портрет цветными карандашами.

Наверно, я поступал неправильно, поддерживая иллюзорный мир сломленных людей. «Но, с другой стороны, — размышлял я, — они очертили вокруг себя определенные круги и по-своему счастливы. Разбей эти круги — лишишь их единственной радости». Говорили, общаться с нервно-больными вредно: они забирают часть энергии здоровых людей, будто бы после больницы чувствуешь себя разбитым. Я этого не замечал, — наверно, от природы толстокожий. Но мне становилось грустно и больно за этих людей, лишенных радостей жизни.

Мы с сестрой обычно пристраивались в углу, около кадки с пальмой. Пока сестра ела, я расспрашивал ее о самочувствии, о подругах, о производственных мастерских, где они делали бумажные цветы, коробки, заколки.

Сестре исполнилось тридцать пять лет, половину из них она провела в больницах; из красивой девчушки превратилась в старуху с лицом землистого цвета; ее взгляд остекленел, руки мелко дрожали, она все время что-то бормотала, издавая нервный приглушенный смешок. Долго со мной она не разговаривала; съест пару яблок, односложно ответит на вопросы, потом вздохнет:

— Ну, я пошла.

Я ставил в ее ящик фрукты, и мы прощались.

...Как все началось, теперь трудно вспомнить. В нашей родне не было подобных больных, и в кого она — непонятно. Она всегда отличалась странностями. Еще до войны, когда ей было всего четыре года, я заметил, что она не такая, как все. Мы жили тогда в подмосковном поселке, на станции Правда. Отец и мать работали в Москве, отец — инженером, мать — чертежницей. Утренней электричкой они уезжали в город и возвращались поздно вечером; целыми днями мы

с сестрой были предоставлены самим себе. Мне, как старшему, поручали подогревать обед, поливать грядки, следить за курами. Сестра во всем помогала мне. И вот в те дни я и заметил ее необычность.

Она всегда была очень тонкая, словно тростинка, с голубыми волосами — голубыми от природы! — и зеленоватыми, прозрачными, как льдинки, глазами. Но однажды я заметил, что она еще и какая-то прозрачная: от нее не было отражения в воде, и даже в солнечные дни не падало тени. Это заметил не я один. Бывало, вокруг нее соберутся ребята и смеются:

— Нинка-то прозрачная!

А она растерянно смотрит по сторонам, ищет рядом с собой темное пятнышко... И ходила она странно: под ней не приминалась трава, не оставалось следов на песке и снегу. Как и все ребята, летом она ходила босиком, но ее ноги всегда были незапыленными. Она не шла, а порхала над землей, невесомая, хрупкая. В дождь на нее не падали капли — казалось, вокруг нее защитное облако, невидимый стеклянный колпак, казалось, сама природа оберегает ее от напастей. Стоило ей дотронуться до бутонов цветов, как они сразу распускались, стоило поднять бабочку со сбитой пыльцой, как та улетала — она все оживляла, точно волшебница... Она ходила медленно, плавно и тихо, даже наша скрипучая дверь не издавала звуков, когда она открывала ее; казалось, она не входит, а влетает, и не уходит, а растворяется, словно невидимка.

Ночами она частенько исчезала из дома, выходила в сад, и к ней сразу слетались светляки. Случалось, ночами гуляла и по поселку, и тогда к ней сбегались собаки и кошки. Любили ее. Жалели, что ли?.. Говорили, у нее «лунная» болезнь, будто она родилась в полнолуние. Говорили также, что ее ночные прогулки — последствия жуткой грозы, в которую она попала в двухлетнем возрасте... В тот день она играла перед домом, а я на окраине поселка запускал змея. Гроза налетела внезапно; молнии сверкали одна за другой, от грохота дрожали дома... Я долго искал сестру — оказалось, она пряталась в собачьей будке.

Мать не верила ни в «лунатизм», ни в последствия грозы и позднее говорила:

— Во всем виновата война.

Действительно, когда началась эвакуация, наш эшелон бомбили, и во время налетов сестра плакала и испуганно забивалась под лавку. За полтора месяца, которые эшелон тянулся на восток, товарные вагоны сильно продувались, и когда мы прибыли в Казань, у сестры обнаружили нефро-зонефрит; ее, распухшую, положили в больницу. В больнице детей кормили плохо, но два раза в день давали по двадцать граммов молока-суфле. Наливали в баночки, которые ставят при простуде. Чуть ли не каждый день в палатах умирал ребенок. Женщины уже не плакали, только крестились — дети избавились от голодной смерти. Мать решила не сдаваться: не отходила от сестры по два-три дня подряд; с разрешения врача спала в коридоре. Ночами сестра бредила:

— Это не мама, а кто-то с рогами. Я боюсь.

Нужно было где-то достать продукты, и мать отправилась в деревни менять вещи: уложила в мешок перешитые и заштопанные кофты, туфли, покрывало. На другой день привезла масло, картошку, хлеб. Вскоре сестру выписали из больницы, но она была слаба и с кровати не вставала, а во сне все время плакала.

Мы жили в бывшем студенческом общежитии, в темных комнатухах, переделанных под жилье из туалета и ванной. На холодном кафельном полу стояла печурка «буржуйка» — единственная семейная ценность; для нее собирали щепки по всей окрестности. Отец и мать работали на эвакуированном оборонном заводе, и снова мы с сестрой подолгу оставались вдвоем. Я возвращался из школы в час дня, разогревал на печке какую-нибудь чечевичную похлебку или кулеш — мучную кашу, мы с сестрой обедали, потом я читал ей книжки. Как-то сестра захотела порисовать, и я дал ей бумагу и цветные карандаши. Она протянула тонкую руку и с мутным взглядом стала как-то странно ощупывать карандаши; потом вдруг заплакала:

— Я не знаю, где красный... И какие еще есть. Это только палочки!

Вернувшись с работы, мать завернула сестру в одеяло, и мы пошли к врачу, который жил на нашей улице.

За дверью с табличкой «Профессор Черников» слышались крики. Дверь открыла домработница. Из комнаты доносилась визгливая, захлебывающаяся ругань женщины:

—...Нахал. Взрослые дети, а ты заводишь любовницу!

Из комнаты вылетел пожилой мужчина с красным раздраженным лицом.

— Что у вас? — бросил не глядя.

Мать попросила осмотреть сестру. Мужчина нехотя впустил нас в комнату. В кресле, обложенная подушками, сидела красивая старуха и изливала поток оскорблений. Она кричала и смотрела мимо нас, точно выискивая кого-то за нашими спинами.

— У нас пациентка, — остановил ее профессор, и старуха моментально осеклась.

Я часто встречал профессора и старуху на улице, вечерами они прогуливались под руку.

Осмотрев сестру, профессор сказал:

— Ее не долечили. Больницы переполнены, и всех выпиывают раньше времени. Она сейчас не видит, но это должно пройти.

Он выписал направление в больницу. Прощаясь, мать отдала профессору последние деньги.

Позднее мать говорила:

— Несчастья, как правило, выбирают самых незащищенных. В нашей семье они выбрали Нинусю, самую чувствительную, ранимую.

Те военные годы в памяти остались как запыленные, темные картины: мрачные коридоры общежития, коптилки, сухари, жмых, клопы и мыши, худые усталые лица, похоронки, которые приносил почтальон, слезы, отчаяние... Помню, собирали крапиву и моллюсков на Казанке; из них мать варила щи-«фантазии».

Как-то мы с сестрой были на реке — собирали створки моллюсков, и вдруг над нами низко пронесся коршун. Сестра испугалась, и, чтобы спрятаться под кустом тальника, не вбежала, а каким-то странным образом перенеслась на край обрыва, по которому все ребята обычно долго карабкались; я и моргнуть не успел, как она очутилась наверху, словно ее подбросили гигантские качели.

В другой раз сестра пожаловалась мне:

— Девочки из общежития забрали всю красоту. Увидят что-нибудь красивое и сразу кричат: «Мое!». А я не успеваю. Все красивое разобрали, а мне ничего не осталось.

В школу ходили далеко, классы не отапливались — занимались в пальто, при свечах, писали на оберточной бумаге, один учебник выдавали на троих. Единственная светлая картина того времени — спектакли в общежитии. Мы устраивали представления: из обрезков фанеры сколачивали декорации, разрисовывали их акварелью, делали костюмы из разного тряпья. Ставили «Золотой ключик», «Хижину дяди Тома». Лучше всех выступала сестра: пластичная и легкая, она отлично танцевала, свободно делала кольцо и шпагат, а главное, так искренне входила в роль, что и после спектакля подолгу не выходила из образа: идет, пританцовывая, по коридору общежития, напевает, улыбается, разговаривает с невидимыми героями. Бывало, неделями не возвращалась в реальность. А по утрам рассказывала мне свои «цветные» сны — какие-то сказочные картинки, потом бежала за общежитие, втыкала палки в снег и танцевала среди «деревьев». За общежитием простирался пустырь, а она помнила станцию Правда и наш дом на опушке леса.

— Твоя сеструха-то того, с бзиком, — усмехались мои приятели и крутили согнутым пальцем у виска.

— Ерунда! — злился я, а у самого внутри начинало как-то щемить.

— Заколдованная девочка, — качали головами старухи, завидев сестру.

— Нина! Опустись на землю, — тревожно говорила мать.

— Мамочка! А зачем?

И правда, зачем? Если все живут на земле, ведь кто-то должен жить на небе. Как оскудела бы жизнь, если бы не было незаземленных людей.

После войны мы переехали на окраину Казани, в маленький поселок Аметьево, около железнодорожного разъезда. Летом в поселке работали в саду и огороде, сколачивали разные постройки, по воскресеньям ходили в лес за грибами. Пожалуй, то время было лучшим для нашей семьи. Конечно, не обходилось без размолвок — отец часто впадал в уныние и выпивал (на фронте погибли все его друзья), а мать постоянно нервничала из-за Нины. Зимой, когда завьюживало, становилось тоскливо; город был далеко, ни в театры, ни в кино не выбирались. Случалось, рвались провода, и по вечерам снова, как в общежитии, сидели при коптилках.

Единственное, что в то время нас связывало с миром, — это радиоприемник.

Сестра все вечера напролет просиживала около нашего старого «Рекорда»; прислонится щекой к радиоприемнику, слушает музыку, улыбается своим красочным фантазиям, неотвязным плавающим мыслям... Музыка всегда была с ней: идет ли в школу, помогает ли матери на кухне или окучивает грядки — напевает, останавливается, замирает, прислушивается к звучащим мелодиям... Музыка околдовывала, парализовала ее чувство реальности.

Иногда сестра представляла себя пианисткой, играющей в светлом зале, где танцевали принцы и Золушки. В такие минуты ее глаза стекленели, а пальцы бегали по невидимым клавишам. Но вот голос матери или отца разбивал прозрачную скорлупу, бумажный замок рушился, мелодия исчезала, и перед глазами — сеновал, кувшин из необожженной глины, огороженный угол с незрелыми помидорами, поленья у печки...

Еще когда мы жили в общежитии, мать отвела сестру в музыкальную школу, у нее нашли редкие способности, но школа находилась в центре города, к тому же не было денег, чтобы платить за учебу, — сколько я помню, мы никогда не вылезали из долгов. Но мать не теряла надежды приобрести инструмент и найти на окраине учителя музыки.

Одно время у меня была морская раковина; я постоянно таскал ее в кармане, то и дело доставал, прислонял к уху и слушал отдаленный морской гул. Но однажды сестра сказала с таинственной улыбкой:

— А столбы слушать интереснее!..

— Какие столбы?

— Телеграфные. Прислонишь ухо, и можно послушать музыку. Побежали, слушаем... Там еще красивые тени!..

Она привела меня на пустырь за поселком, где к кирпичным заводам тянулся железнодорожный путь и телеграфные провода. Провода висели на старых столбах, потрескавшихся, сучковатых. Мы подбежали к первому столбу, прислонились с разных сторон и стали вслушиваться. Вначале я только смотрел на источенный короедом ствол и ничего не слышал, кроме монотонного гуденья, но постепенно заметил, что гудение меняется, становится то высоким, то низким. После

каждого такого музыкального перехода, сестра выглядывала из-за столба и с серьезным видом шептала:

— Слышал, слышал?

Через некоторое время, когда у нас затекли руки и ноги, мы отошли от столбов и присели на насыпи. Я перебирал гальку, сестра пыталась воспроизвести мелодию, которую только что слышала; она пела знакомую песню, но мне казалось, я и на самом деле слышал ее.

— У этого столба я слушаю песни. Он песенник. Видишь открытый рот? — сестра кивнула на дупло. — А вон болтунишка, — она показала на второй столб, на котором сучки образовали смешную маску. — А за ним принцесса! Там вальсы!..

Сестра и меня сумела заразить своей выдумкой. До позднего вечера мы бегали от столба к столбу. Сестра чаще всего останавливалась около «принцессы», а я облюбовал себе корявый белесый ствол — точь-в-точь голова старика. Стоило только прильнуть к «деду», как в ушах раздавалось что-то наподобие марша; я отчетливо различал высокие звуки трубы, удары барабана; звуки постепенно усиливались, и я прямо глух от грохота и уже видел, как мимо меня, сверкая медью, вышагивает оркестр. Я пристраивался к оркестрантам, вторил бравурным звукам... С того дня мне стало не до раковины, она померкла перед старым телеграфным столбом.

Сестра всегда была со странностями, которые делали ее и счастливой, и несчастной. Счастливой — потому что она жила в выдуманном интересном, как ей казалось, мире, а несчастной — потому что она не находила контакта с окружающей действительностью, никак не могла связать свой маленький мир с остальным огромным миром.

В школе до восьмого класса сестра была отличницей. После занятий ходила в районную библиотеку, читала Блока, Тургенева, Тютчева. Дома по радио слушала Рахманинова, Глинку, Чайковского, и... переносилась в прошлый век: носила длинные платья с рюшами и шляпы с лентами, музицировала, каталась в каретах, гуляла с подругами в парках под зонтами от солнца.

Девчонки считали ее воображалой, за незаземленность и замкнутость звали «цыпочка»; мальчишки были еще откровенней:

— Она чокнутая!

Чтобы оградить сестру от насмешек, мать часто посылала меня встречать ее из школы. Я должен был выполнять роль телохранителя, но по пути к дому сам не раз отчитывал сестру за «всякие закидоны». В то время поведение сестры мне казалось какой-то затянущейся игрой, я всерьез думал, что она вполне может быть такой, как все, просто не хочет. Где мне было понять, что есть невозможные вещи.

В восьмом классе сестра стала учиться хуже, и мать не раз вызывали в школу. Вначале говорили, что замечают у Нины какие-то отклонения от нормы, потом — что «ее странность переходит все границы»: на уроках рисует принцесс, сама с собой разговаривает, ни с того ни сего смеется, «все делает не как все, ведет себя ненормально, постоянно оригинальничает».

— Она немного необычная девочка, — защищала мать Нину. — Впечатлительная, хрупкая, тонкая. Потом, знаете, переломный возраст.

Дома мать возмущалась:

— Что они говорят! Странная, странная! Вся жизнь странная! А кто сейчас не странный?!

Все чаще я заставал сестру у окна — она подолгу смотрела на железнодорожную колею и таинственно улыбалась, точно знала разгадки всех тайн мира.

А во сне она по-прежнему плакала. Иногда слышались только всхлипывания, а иногда нас будили горькие рыдания. Мать с отцом никак не могли понять, что ей видится по ночам, какие обиды переполняют ее маленькое сердце. В родителей вселялась смутная тревога за будущее дочери, в ее ночных плачах они видели определенное предзнаменование, отголоски уготовленной судьбы.

Как-то мы около часа звали сестру ужинать. Мать отыскала ее в палисаднике — она рвала цветы и пряталась за букеты, ее глаза то вспыхивали, то угасали как светляки.

— Что ты делаешь? — поинтересовалась мать.

— Прячусь от плохих людей! И почему они все как-то смотрят на меня? Иди, мамочка, сюда, спрячемся вместе, и нас никто не увидит!

Чтобы успокоить дочь, мать подыграла ей; присела и, смахивая слезы, зашептала:

— Да, да... Нас никто не увидит.

— О Боже, какие люди неискренние, мамочка... Все играют в жизни и говорят неправду, но мне правду говорят сны.

В тот же день сестра сообщила мне, что «нельзя наступать на тени животных — они могут умереть».

Теперь-то странности сестры мне не кажутся странностями. Я даже подумываю: может быть, как раз такие, как она, нормальные, а мы все странные. Но тогда... Как-то сестра вполне осмысленно смотрит мне прямо в лицо и говорит тихо, еле шевеля губами:

— Посмотри, наша мебель на меня надвигается, — и прячется за дверь и съезживается.

Она и плакала-то не как все — без слез, только дергалась и всхлипывала.

В другой раз она сообщила, что «часы останавливаются, когда на них смотрю», потом ее хотел «клюнуть» кипящий чайник — она становилась все более незащищенной, потерянной. И постоянно нервничала: разговаривая со мной, все время дотрагивалась до моей руки — то ли снимала напряжение, то ли устанавливала контакт для большего взаимопонимания. Я отмахивался от сестры, считал, что ее слова — всего лишь нарочитое умничание, а поведение — дурацкая причуда, и покрикивал на нее, поучал, чем надо заниматься... только однажды заметил ее настоящую необычность.

Она часто выбегала в сад, собирала опавшие соцветия, танцевала среди деревьев или вставала на цыпочки и отчаянно махала руками, пытаясь взлететь. Иногда она подпрыгивала, и каким-то странным образом ей удавалось зависнуть в воздухе. Я считал, что это происходит из-за ее невесомости. Но все-таки она всегда быстро опускалась, а в тот день я увидел, как она оторвалась от земли и — то ли мне померещилось, то ли на самом деле — некоторое время зигзагом, словно раненая птица, летела среди наших вишневых деревьев, и ее голубые волосы развевались за ней, как водоросли по течению. От страха я закричал. Крик, точно выстрел, сразил сестру, и она упала. Когда я подбежал, она лежала около изгороди и тяжело дышала. Спутанные волосы падали на тревожные, испуганные глаза.

Помню точно — в раннем детстве она боялась высоты. Стоило нам с ней влезть на дерево, как она жаловалась, что «перед глазами плавают точки, и голова стала тяжелой».

Даже на крыше сарая ее тошнило. Она опасливо подходила к краю оврага, а мост перед общежитием перебежала закрыв глаза. С годами у нее прошла боязнь высоты. Она бесстрашно влезала на деревья и раскачивалась на гибких ветвях или вбегала на мост и, перегнувшись через перила, спокойно смотрела вниз.

В подростковом возрасте она вдруг полюбила бегать. Бегала по лугу, за нашими домами, быстро, легко и красиво, далеко выбрасывая ноги, широко раскинув руки и запрокинув голову. Она обгоняла всех девчонок и мальчишек в поселке и всегда, когда бежала, улыбалась. Бег доставлял ей радость. Видимо, там, среди сочного цветотравья, она вбирала в себя какую-то питательную, живительную силу.

Теперь, по прошествии многих лет, передо мной все чаще встает именно эта картина: сестра бежит по яркому лугу, и стебли не мнутся под ее ногами — кажется, она просто скользит по травам и головкам цветов.

Однажды, когда мать была в командировке, отец пришел с работы раньше обычного, выпивши. Войдя в комнату, он заметил, что Нина, прислонив ухо к радиоприемнику, улыбается, хихикает и... разговаривает сама с собой. Отец быстро вышел на кухню — рот перекошен, в глазах страх.

— Иди посмотри, что с Ниной творится! Она совсем помешалась. Какие-то выдумки, бред... Давай отведем ее в больницу, надо показать ее врачам.

Сестра с радостной нервной поспешностью согласилась пойти в больницу; по дороге рассеянно и неопределенно улыбалась, чмокала губами, запутывалась в разнонаправленности своих мыслей.

— Я гуляла... встретила Татьяну Ларину. На ней было черное платье! Одежда ведь часть души женщины... У каждой вещи есть душа: у расчески, у чашки. О Боже! Их нельзя обижать...

Мы пошли в Красные дома — «дурдом», как его называли.

Красные корпуса больницы стояли на высоком берегу Казанки. Мы часто видели «психов» в полосатых халатах — они окучивали рассаду капусты. Говорили, «психи» боятся воды и что в реке около «дурдома» постоянно находят утопленников. Ходили также слухи, что одна комната всегда пуста — комната Лобачевского, что она исписана формулами, над

которыми до сих пор ломают голову математики. Таинственность и страх окружали Красные дома, мы старались не подходить к ним близко.

Врач-консультант задал сестре несколько вопросов:

— Как зовут? Сколько лет? Спишь плохо? Просыпаешься с трудом? Аппетит плохой?

Записав ответы, врач попросил подождать в приемной.

— И что он говорит со мной как с дурой? — удивилась сестра, когда мы сели на кожаный диван. — Что ж я, имя свое не помню, что ли?

— В самом деле, — шепнул мне отец. — Да и я плохо сплю и встаю с трудом... Как-то он не так с ней говорил. Мне кажется, врач должен быть актером, незаметно, в задушевной беседе узнавать все, а не так графаретно.

Из кабинета врача вышла медсестра и громко, на всю приемную, в которой находилось еще несколько посетителей, обратилась к Нине:

— Больная, пойдем со мной в палату. А вы, — она кивнула отцу, — подождите, заберете ее вещи.

— Пап, как больная? — повернулась сестра к отцу. — Разве я больная?

Отец встал, взял сестру за руку:

— Иди, Нина, иди. Тебе дадут несколько таблеток, и все.

Когда медсестра с Ниной исчезли в коридоре, мы с отцом снова зашли к врачу.

— Простите, вы так и не сказали, что с моей дочерью. И потом... медсестра сразу заявила: больная! Девушка первый раз здесь, на нее все может это подействовать... Простите мое невежество, но, может быть, вы просто выпишите какие-нибудь таблетки?

— Это обывательский взгляд, — сказал врач. — Ваша дочь больна. У нее депрессия. Запущенная. Ее срочно надо лечить. Иначе будет поздно. И только в стационаре.

Через день мы с отцом навестили сестру, она плакала и просилась домой.

— Папочка, возьмите меня отсюда. Здесь так ужасно! Двери запирают, как в ловушке. И, говорят, отсюда никого не выпускают. Я боюсь.

— Нина! Тебе надо подлечиться. Через недельку-другую мы обязательно тебя возьмем. Я даю тебе слово.

— Ну, я очень прошу тебя. О Боже! Здесь настоящий ад! Полежал бы сам, тогда узнал бы.

— Первое время все бунтуют, — лениво заметила толстуха няня.

Больные в отделении сестры делали заколки для волос и раскрашивали сувениры из артели инвалидов. Нина, по ее словам, «рисовала яблоки на лошадках».

Когда мать вернулась из командировки и узнала, что Нина в больнице, она начала глотать ртом воздух; потом нервно прошла по комнате.

— О Господи! Прямо земля уходит из-под ног!

Полчаса она курила одну папиросу за другой.

— Нину нужно оттуда немедленно забрать. Там она действительно может сойти с ума. Это окружение... Таких, как она, полно. Любого можно брать с улицы и лечить. В определенные моменты у каждого бывают заскоки... Да, война исковеркала нашу жизнь... Нину нужно оттуда забрать. Завтра же... И нужно перебраться в Москву, иначе все это кончится трагедией.

— Бесполезно, — вздохнул отец. — Меня с завода никто не отпустит, да и кому мы там нужны?

— Да плевать мне на твою работу! — почти крикнула мать. — Здоровье ребенка дороже... И почему мы не можем жить там, где родились!.. Господи! Неужели каждому отпущен лимит счастья, и мы свой исчерпали? Нет! Я просто так не сдамся.

Мать под расписку забрала Нину из больницы, сходила в дирекцию завода, и ей пообещали устроить отцу перевод на работу в Подмоскowie, но дальше обещания дело не пошло.

Вскоре мать нашла пианистку, жившую на окраине города, и договорилась с ней об уроках музыки для Нины.

Пианистка Галина Чигарина была одинокой эвакуированной ленинградкой, с доброжелательной улыбкой и мягким голосом. Она была некрасивой женщиной, но ходила как королева, с балетной осанкой, и никогда не смотрела по сторонам; за ней всегда тянулся шлейф резкого запаха духов.

Сестра сразу влюбилась в Чигарину и прибежала домой радостная:

— Mamочка! Я узнала Галину Петровну в толпе по ее духам и по ее рукам! По ее необыкновенным рукам! Мы зашли

к ней... Она такая тонкая, интеллигентная... и инструмент у нее живой. Когда Галина Петровна в хорошем настроении, он сам звучит, а когда не в духе, он прямо плачет.

Увлечись музыкой, сестра потеряла интерес к занятиям в школе. В десятом классе у нее только по литературе и русскому оставались пятерки, по всем остальным предметам появились четверки и тройки. Все чаще на уроках у сестры болела голова. Дома она жаловалась:

— Мамочка, что со мной случилось? Я ничего не могу запомнить?

Врачи посоветовали временно оставить школу.

— Может быть, Нине пойти где-нибудь поработать? — предложила мать отцу. — Новые люди, новая обстановка немного встряхнут ее.

— Если только ненадолго, — согласился отец. — Нужно закончить школу. Не для того мы мучились, чтобы наши дети были без образования. Они должны учиться в институтах.

Мать устроила Нину на автобазу выписывать наряды, но вскоре сестра заявила, что «на работе все люди грубые и ругаются»; ее самочувствие резко ухудшилось, и снова пришлось обратиться к врачам.

А потом я ушел в армию и, демобилизовавшись, обосновался в Москве. В Казань заехал всего на несколько дней. Помню, поезд прибыл поздно вечером, и к поселку я подошел в темноте. Иду, вдруг вижу: от фонаря к фонарю вышагивает сестра и... читает книгу, светлые пятна высвечивали ее зыбкий, уплывающий профиль. Как и раньше, над ее головой вились светляки, молчаливо кружили птицы; за ней плелись собаки и кошки — брели молча, понуро опустив головы, как маленькие стражники, ведомые какой-то непонятной привязанностью. Сестра стала уже девушкой: высокая, с округлившейся, почти женской фигурой. Я окликнул ее, она вздрогнула, потом улыбнулась, подошла и прижалась ко мне. Взгляд у нее был пуливый, болезненный, а улыбка — робкая, незащитная.

В семье ничего не изменилось. Отец много работал и на заводе, и дома — по вечерам чертил за доской, подрабатывал на других предприятиях. Раза два-три в неделю отец заходил в пивную, и тогда дома случались скандалы. Мать время от времени устраивалась на отцовский завод чертежницей, но как только сестра чувствовала себя хуже, сразу брала расчет.

Все было так же, как и прежде, только теперь сестра ежегодно несколько месяцев лежала в больнице.

Перевод отца в Подмоскowie затягивался, но мать не теряла надежды вернуться на родину: ходила в дирекцию завода, писала письма в министерство. И в конце концов добилась своего — отца перевели на один из заводов в Московской области.

Они поселились на станции Ашукинская, в часе езды на электричке от Москвы (купили половину бревенчатой избы). Мать выхлопотала сестре инвалидность второй группы как больной шизофренией и некоторое время сидела с ней дома. Я приезжал к ним в выходные дни.

В один из моих приездов мать сообщила, что «Нина стала агрессивной», и попросила помочь отвезти ее в больницу в Лотошино под Волоколамском.

Когда мы втроем ехали с Ярославского вокзала на Рижский, сестра впервые увидела метро и так развеселилась, что начала в вагоне смеяться и танцевать. Все пялили на нее глаза, кое-кто ухмылялся. А мне вдруг стало стыдно за мою сумасшедшую сестру; кажется, я даже отошел в сторону, дуралей. Никогда себе этого не прощу!

Мать устроилась проводницей на железную дорогу (устроилась по объявлению, где гарантировали в ближайшие годы жилплощадь в Москве); две недели бывала в поездках, неделю — дома; вернувшись из рейса, спешила в магазины, потом на волоколамскую электричку. Однажды зимой, когда мать работала, к сестре поехал я. Добирался долго: часа два на электричке, потом еще на попутных машинах; в Лотошино прибыл поздно вечером.

Сестра выглядела неважно: на лице одутловатость, взгляд отсутствующий, отдаленный, как будто смотрит на все через пыльное стекло. Она почти не слушала меня, морщилась от моих вопросов и без умолку говорила о болезнях, которые кто-то посылает на людей. Она протягивала мне пустую чашку и уговаривала пить «солнечный свет, потому что он оберегает от болезней»... Под конец сестра сказала, что видит в окне «много мертвых людей».

После свидания пожилая няня-сиделка, посмотрев расписание электропоездов, объявила, что на последнюю электричку я опоздал, предложила подремать до утра на диване в приемной и пошла ставить чайник.

За чаем няня рассказывала о своей работе ночной сиделки, о повышенном окладе и двойном отпуске...

— А сестренка-то твоя права, — неожиданно перевела разговор старушка. — Здесь вокруг полно было мертвых. Я ж и во время войны здесь работала. Когда немцы подошли, больные разбежались по лесу... Зимой в халатах и тапочках... прятались за деревьями... а немцы в них стреляли... И откуда твоя сестренка знает?! Ведь ей никто не говорил. А вот ведь видит их, мертвых-то! Вот тебе и больная! Наши врачи говорят: у них изменения там, в мозгу, происходят, а я вот тебе что скажу, хороший человек: у них не разум затуманился, а они все видят не так, как мы. Я здесь всяких больных повидала... Конечно, лежат у нас некоторые, которые спиртным увлекались или еще чем... У некоторых по старости ум за разум зашел... Есть и молодые тронутые. Переучились. Сейчас ведь учеба тяжелая, нагрузка-то какая! Разве ж выдержишь?! Но многие, скажу тебе, просто с чудинкой... Вот я все приглядываюсь к твое сестренке-то, душевная она девушка. Тихая, спокойная. Забирайте-ка вы ее домой, нечего ей здесь делать. Пускай себе живет, как хочет... У нас ведь лечат чем? Уколы да химия. А толку от этого лечения никакого. Надобно лечить внушением, заговором. Это ведь болезнь души, а у нас лечат тело...

Летом во время отпуска мать привезла сестру домой. Как-то в воскресенье всей семьей пошли отдохнуть на озеро, недалеко от поселка. Когда расположились на поляне, мать сказала:

— Знаете что?! Все будет прекрасно! Скоро я получу квартиру в Москве, в хороших условиях Нинуся почувствует себя лучше, наш глава семьи перестанет увлекаться спиртным... Все будет хорошо, все наладится, вот увидите!

В семье, где было слишком много переживаний, наверно, надо поддерживать иллюзии, делать вид, что веришь в благополучный исход, но мать не самообманывалась, она на самом деле верила, что все устроится, она всегда была оптимисткой. Отец, наоборот, с каждым годом все больше терял уверенность в себе, все чаще выпивал. Он вообще не хотел уезжать из Казани — и потому что боялся всяких перемен, и потому что отработал на заводе больше двадцати лет, и там у него остались друзья. Переехав в Подмоскovie, отец так и не смог вжиться в новые условия, увлечься новой работой,

обзавестись приятелями. А тут еще болезнь дочери и постоянное отсутствие матери... Отец издергался и окончательно подорвал здоровье. Через год после переезда он умер. Ему было всего сорок пять лет.

После смерти отца сестра снова начала заговариваться, и ее пришлось вернуть в больницу; на этот раз матери удалось положить ее в Абрамцево, поближе к дому. Вскоре мать переехала в пригород Москвы — Ховрино, сняла комнату в частном деревянном доме и перевелась с поездов дальнего следования в кондукторы электричек.

В очередной отпуск мать купила старый кабинетный рояль «Шредер», — «чтобы Нинуся, наконец, занималась музыкой», — и привезла сестру из больницы. В первый день сестра с полчаса неуверенно перебирала клавиши, немного полистала «Самоучитель», но больше к инструменту не подходила — большую часть времени тускло смотрела в окно. Она прожила дома только неделю, потом убежала — захотела «покататься на метро».

Несколько дней сестру разыскивала городская милиция, но обнаружили ее на какой-то станции под Пушкино. Она ела землянику на платформе. Так и осталось загадкой, где она бродяжничала все те дни. С платформы дежурный милиционер отвел сестру в комнату допроса — ее приняли за пьяную девушку легкого поведения, разговаривали грубо и втолкнули в комнату, где находились задержанные карманники.

— Что ж вы делаете?! — сказал один из парней. — Она же больная, не видите, что ли?!

Мать уставала бороться с болезнью Нины. Когда я приезжал, она начинала бичевать себя:

— Не знаю, может быть, я виновата, что Нинуся такая. Может, я окружала ее излишней нежностью, как ты думаешь? А потом она столкнулась с жестокостями жизни, и Нинуся, хрупкая, чувствительная девочка, сломалась... Нет, все-таки нет! Нинуся не парниковый цветок, мы с отцом ни тебе, ни ей не создавали тепличных условий. Все работали в огороде, ходили в магазины, носили воду... Нинуся всегда помогала мне... Здесь что-то другое... Может быть, это ее болезнь почек во время войны? А может, от условий жизни в Аметьево?.. Она тянулась к культуре, к другой жизни, а какая культура там, в Аметьево?.. Но я все делала, чтобы Нина не заболела. Сколь-

ко раз, заметив, что она уткнулась в радиоприемник, прогнала ее во двор, на жизненный сквозняк... Пыталась увлечь ее спортом, ходила с ней на каток, просила молодых людей с ней покататься... Сколько раз говорила ей: «Я запрещаю тебе слушать музыку, и плакать, и думать о всякой ерунде!». А она мне отвечала: «Мамочка, ты можешь мне запретить слушать, но думать-то ты мне не можешь запретить». Такая умная девочка! Это надо же так сказать!.. В то время я думала, что музыка уводит ее от реальности, но потом поняла — все-таки дело не в музыке... А психиатрам я не верю. Они просто приглушают состояние. Подавляют и волю, и эмоции... Но ничего! Все равно добьюсь квартиры. Мы будем жить в Москве. И я стану работать по специальности, чертежницей. И Нинуся поправится, нужно только создать ей условия, окружить вниманием, заботой, у нее появится интерес к жизни, она вернется из своего нереального мира...

Прежде чем отвезти Нину в больницу, мать отвела ее в психоневрологический диспансер. Сестру признали инвалидом первой группы и назначили пенсию сорок рублей, при условии, что мать будет время от времени брать больную домой.

Пять лет мать отработала на железной дороге, но жилплощадь так и не получила. В конце концов она перешла работать в райсобес инспектором по назначению пенсий, и, спустя два года, ей дали комнату в бывшем общежитии на окраине Москвы, около Волоколамского шоссе. Комната была маленькой и темной в многонаселенной квартире на первом этаже, где по дощатому полу бегали мыши, но мать была счастлива — после стольких мытарств очутилась на родине. Я посоветовал ей на первых порах скрывать от соседей существование больной дочери — для прописки такой больной требовалось разрешение жильцов, но мать возмутилась:

— Вот еще! И не подумаю! Я и комнату-то получила только для Нинуся, и живу только ради нее.

Купив подержанную мебель, мать взяла отпуск за свой счет и привезла Нину домой. Появление сумасшедшей соседки встретили неожиданно спокойно.

— Дочка-то у вас как цветочек, — сказала матери одна соседка.

— Красивая девушка, — подтвердила другая.

— Красивая! — хмыкнула мать. — Знаете что?! Лучше была бы какой угодно, только бы здоровой.

Мать купила Нине платье, туфли; днем они гуляли в парке, по вечерам ходили в кинотеатр, но с половины сеанса шли домой: у сестры начинала болеть голова. Вообще сестра чувствовала себя плохо, в ее воспаленном мозгу все реже появлялись проблески разума; она ходила по комнате в подавленном состоянии и все вокруг видела каким-то перевернутым.

Прожив дома две недели, сестра опять убежала. Снова мать заявила в милицию; объявили розыск, но нашли только через месяц. Где все это время была сестра, никто не знал. Стояла середина мая, земля еще не прогрелась, а сестра могла спокойно просидеть полдня на лужайке (с ее больными почками!). Весь тот месяц мать ложилась спать и думала: «А каково сейчас Нинусе?!»

Ее нашел дворник в Коломенском, на окраине Москвы. Ночью выбежал на крик, увидел: какие-то парни отбегают от женщины, подошел — девушка без платья, в одной туфле, вся трясется от страха.

— Небось, хотели изнасиловать, — заявил дворник в милиции.

Нина ничего о себе не сказала, и ее, как «неопознанную», отправили в больницу на Матросской тишине. Мать каждый день обзванивала все больницы, обещали сообщить, если придут «неопознанные», но о сестре сообщили только через неделю:

— Привезли здесь одну больную, но вряд ли это ваша дочь.

Мать добилась разрешения перевезти Нину в городскую больницу Кащенко и стала к ней ездить не только по воскресеньям, но и в будние дни после работы. С московской пропиской мать поставили на учет в райжилотделе и, как опекунке тяжелобольной дочери, обещали в течение трех лет предоставить отдельную квартиру.

Летом, во время отпуска, мать снова решила взять Нину. Я отговаривал ее:

— Тебе самой надо отдохнуть. Я постараюсь достать путевку на юг.

Мать и слушать об этом не хотела:

— Ни за что! Только мать-преступница может спокойно отдыхать, когда ее ребенок лежит в больнице.

— Пойми, это все бесполезно. Ну, опять она убежит и еще может попасть под машину. А там, в больнице, у нее свой мир, свои подруги. Кашченко хорошая больница, там ей лучше, чем дома.

— Замолчи! Лучше! Тебя бы туда упечь на полгода, я посмотрела бы, как ты запел!

— И условий у тебя нет. Подожди, будет отдельная квартира, тогда я сам привезу Нину. И сам буду с ней ходить гулять, и найму няньку.

— Когда это будет?! А девочка уже столько времени в больницах...

— Год-два здесь ничего не решают.

— И слушать тебя не хочу! Возьму, и все.

— И перед соседями неудобно. Все-таки в квартире есть дети.

— Нинуся никому не мешает. Сидит у себя в комнате, а если и примет ванну, никого это не касается. Она здесь прописана и имеет на все такое же право, как и другие жильцы. Еще неизвестно, кто больше болен — она или та соседка, которая дерется с мужем каждый день.

Мать взяла Нину из больницы. Ей дали дочь под расписку и снабдили большим пакетом таблеток. Первое время, как обычно, мать с Ниной вместе ходили в магазин, готовили обед, гуляли. Иногда сестра играла на рояле, пыталась вспомнить пьесы, которые когда-то разучивала с Чигариной, или рисовала принцесс и клеила бумажные замки...

Как инвалиду, Нине полагался телефон, и вскоре в квартире установили аппарат. Когда соседи уходили на работу, сестра выходила в коридор, снимала телефонную трубку и тихо спрашивала:

— Это магазин? Суфле есть?

Кстати, в то время у меня не было телефона, и приятелям я давал телефон матери. Случалось, при встречах кто-нибудь из них говорил:

— Звонил тебе, а там кто-то несет околесицу.

— Не туда попал, — объяснял я и спешил перевести разговор. Я уже знал по опыту: стоит людям сказать, что в твоей семье есть сумасшедшая, как от них не отвяжешься — замучают вопросами да еще к тебе начнут пристально приглядываться, выискивая отклонения, вызванные родственными

связями с больной. Подобный крест следует нести тайно. О сестре знали только близкие друзья.

Через две недели сестра почувствовала себя хуже, у нее появились головные боли, она уже ничем подолгу не занималась — уставала; через каждый час ложилась отдыхать и, если засыпала, как и раньше, во сне плакала. Ночью она тоже спала урывками: немного подремлет, сядет на кровати, устанется в одну точку или встанет и начнет ходить по комнате и что-то бормотать. Мать все время была в напряжении — постоянно не высыпалась. Еще через несколько дней сестра начала нервничать и раздражаться, что мать не отпускает ее одну на улицу. Как-то сказала матери:

— Сегодня я видела плохой сон — у нас пропало красивое одеяло. Ищем его, ищем — нигде нет.

На следующее утро сестра исчезла. Мать пошла в магазин, заперев дверь комнаты на ключ. Пришла, а Нины нет. И дверь, и окно оставались закрытыми. Это уже было что-то запредельное. Мать позвонила мне на работу, я примчался на такси и, осмотрев комнату, пришел к выводу, что сестра могла вылезти только через окно (благо первый этаж), но зачем ей понадобилось снова закрывать раму и каким образом она это сделала, оставалось загадкой. Конечно, она могла защелкнуть шпингалет через форточку, но в это не верилось — она всегда была слишком откровенной для подобных хитростей. Оставалось полагаться на случайность: порыв ветра или хлопанье парадной двери.

Несколько часов я искал сестру по окрестностям, выпрашивал о ней у прохожих, но никто ее не встречал, только две школьницы видели «странную тетеньку с синими волосами».

Беглянку обнаружили ночью на шоссе, она шла «на станцию Правда, где красивые деревья». К счастью, сестра вспомнила имена своих врачей, и ее быстро водворили в больницу.

Мать была в отчаянии.

— Ничего у меня не получается, — с горечью сказала мне. — Уже столько лет Нинуся в больницах. Лучшие годы. Так и не стала она пианисткой, не искупалась в море, не испытала любви... Так и осталась старой девой, прекрасной старой девой с нерастраченными, заглохшими чувствами. И главное, я для нее всегда была опорой, она думала, что я все могу, и вот, оказывается... я бессильна. Может, мне устро-

иться в больницу санитаркой, чтобы быть рядом с ней?.. И куда она убегает? Наверно, в прошлый век, в тургеневские времена...

Я уже почти не верил, что сестру можно вернуть из ее таинственного мира.

— Неужели ты не понимаешь, что Нина невменяема?! Пойми, есть неизлечимые болезни, непоправимые. Нина не контролирует свои поступки, не соображает, что делает. Она может натворить что угодно.

— Не убивай мою мечту! — взмолилась мать. — Десять лет я не теряю надежды поставить ее на ноги... И учти: после моей смерти к Нинусе будешь ходить ты. Так и знай! Это твой долг. У тебя должно быть чувство долга...

Отдельную квартиру мать получила только через шесть лет, когда вышла на пенсию. Все эти годы каждое воскресенье она ездила к Нине (я навещал сестру, только когда мать болела); всю рабочую неделю копила продукты: закупала фрукты, конфитюры; кто бы чем ни угостил, сама не ела — все несла в больницу. Как всегда, в отпуск мать привозила Нину домой, но при первых же признаках обострения болезни сразу вызывала «неотложку» — боялась, что сестра убежит снова. Получив квартиру, мать заявила мне, что уже никогда не отвезет Нину в больницу, что бы ни случилось.

Квартира была прекрасной: на четвертом этаже, с балконом, окна выходили на юг, и с утра до вечера комнату и кухню затопляло солнце. С балкона открывался вид на запущенный сад с фруктовыми деревьями, за которыми виднелось Ленинградское шоссе, а еще дальше блестела гладь реки.

Мы с матерью привезли Нину в конце мая, когда уже установилась теплая погода. Выглядела сестра плохо: от постоянной неподвижности стала полной и рыхлой, ее прозрачные глаза помутнели, она на все смотрела отстраненно, как на что-то далекое и нереальное, ее голубые волосы превратились в белесые и выпадали прямо на глазах. Сестра была вялой, апатичной; прошлась по комнате, заглянула в ванную, потрогала полотенце, вышла на балкон, безразлично осмотрела сад, вернулась в комнату, уселась на тахту и замерла, уставившись на обои.

Обедала она нехотя, все время вздыхала и разговаривала с какими-то невидимыми собеседниками, а после обеда

неожиданно отошла в угол, насупилась и стала исподлобья поглядывать в сторону матери.

— В чем дело? — спросил я ее. — Почему ты злишься на маму? Посмотри, она купила тебе новое платье, приготовила вкусный обед. Посмотри, какая у мамы светлая уютная квартира, разве тебе не нравится здесь?

— Это не моя мама, — недовольно пробормотала сестра. — Моя мама красивая... И батареи здесь холодные. Тепло забирают соседи, а она молчит, — Нина кивнула на мать, — ничего им не говорит.

— Сейчас ведь весна, видишь — все цветет, уже тепло, и не надо топить.

Я попытался хотя бы немного пробудить разум сестры, но сразу понял, что мои слова до нее не доходят, что она все видит по-своему.

— Никакая не весна, а зима. Вон падают разноцветные снежинки. Они похожи на звездочки и колесики от часов. Ты не видишь, а я вижу. Но музыку-то ты слышишь? Это ведь зимняя музыка. Снегурочки.

«Все бесполезно, — решил я. — Здесь ее ничто не интересует. Она погружена в другой мир, уже привыкла к другой жизни, ее дом там, в больнице».

— Пожалуй, лучше ей здесь не будет, — сказал я матери.

— Будет. Это у нее временное помрачение. Оно пройдет. И потом, чья эта квартира? Благодаря кому я получила ее? Благодаря кому имею все удобства, телефон? Это Нинусина квартира, теперь она будет здесь жить всегда.

...Я звонил им ежедневно. Случалось, к телефону подходила сестра, и тогда в трубке слышалось невнятное бормотанье и вздохи, потом раздавался голос матери:

— У нас все хорошо. Нинуся немного нервничает, но это у нее пройдет. И представляешь, у нее прямо дар провидицы! Вчера мне говорит: «Я видела во сне мертвых собак». И что ты думаешь?! Сегодня утром около наших домов отлавливали бездомных дворняжек. Мы с Нинусей вышли, пригрозили собаководам милицией, и они уехали. Но двух собак все же увезли, негодяи...

Но однажды поздно вечером мать позвонила сама:

— Приезжай! Нинуся хочет убежать!

Когда я подъехал к дому, Нина в одной ночной рубашке перебежала Ленинградское шоссе, не глядя по сторонам, размахивая руками, еле касаясь земли. Машины резко тормозили, шарахались к обочине. За сестрой семенила мать, громко стонала и кричала:

— Нинуся, вернись!

Перебежав шоссе, сестра повернула к реке. Я догнал ее у самой воды. Она была невменяемой: глаза вытаращены, рот открыт, дышит тяжело, хрипловато. Я схватил ее за руки, она начала вырываться, вцепилась зубами в мой локоть. Я знал, что в минуты безумства такие больные становятся очень сильными, и нужно действовать решительно. Крепко схватил сестру за плечо и потрянул, но это не помогло, она продолжала кусать мою руку. И тогда я ударил ее по щеке. Она даже не поморщилась от боли, но сразу обмякла.

— Поедем в больницу! — громко сказал я. — Слышишь, что я говорю?! Поедем в больницу!

— Поедем... в больницу, — сдалась сестра, в уголке ее рта показалась тонкая струйка крови.

Двое таксистов наотрез отказались везти сумасшедшую. Третий за двойную плату согласился. В машине, успокоившись, сестра стиснула мою руку и зашептала:

— Ты знаешь, в моем созвездии упала звезда... наверное, я скоро умру.

— Нина безвольная, вся в отца, — сказала мать, когда я вернулся из больницы. — А если человек сам не хочет поправиться, ему никто не поможет.

Больше года мать не брала Нину. Чтобы отвлечься, не думать все время о ней, вначале записалась в библиотеку, набрала книг, потом завела собаку, устроилась киоскером в соседний газетный киоск. Но с наступлением лета опять все чаще стала ругать себя за то, что слишком быстро сдалась, что жизнь без дочери для нее теряет всякий смысл...

В июле, когда приближался день рождения сестры, мать объявила мне, что снова привезет Нину домой. Накануне, втайне от матери, я съездил в больницу и попросил врачей не отдавать сестру.

— Нам трудно что-либо сделать, — сказали врачи. — Ваша мать требует больную, и все. И пишет расписку. Мы не имеем права не отдавать.

— Но вы же знаете, это рано или поздно плохо кончится. Сколько ее ни брали, она убегает. К тому же сестра действует на мать, та тоже начинает нервничать, не спит, много курит, пьет настойки от сердца...

— Да, это мы знаем. Но что мы можем сделать?

— Не давать, и все. Придумайте что-нибудь. Например, что сейчас сестра ходит работать в мастерские, чувствует себя хорошо, и не стоит ломать ее режим. Или наоборот, что чувствует себя плохо... Я не знаю, вы же врачи. Очень вас прошу, ни в коем случае не отдавайте сестру.

— Хорошо, постараемся.

И все же отдали.

И произошло чудо. Я это понял, еще подходя к дому матери; сестра увидела меня с балкона, крикнула:

— Привет! — радостно замахала руками и выбежала с собакой из подъезда мне навстречу.

Похудевшая, в белом платье и белых тапочках, она обняла меня, поцеловала в щеку, взяла под руку.

— Как хорошо, что ты приехал! — воскликнула ликующим голосом. — Я вспомнила все пьесы, которые играла с Галиной Петровной, сейчас тебе поиграю...

Ее глаза посветлели и снова приобрели зеленоватый блеск, и волосы поглубели и вновь стали такими же красивыми, как когда-то!.. Она шла со мной к дому, раскачивалась в такт шагами и без умолку рассказывала, что они с матерью читали и смотрели по телевизору... — говорила осмысленные, здравые вещи!.. Я был ошеломлен! Это было какое-то возвращение из прошлого, воспоминание забытого языка... Что произошло? Неужели вот так, сама по себе, она смогла вырваться из призрачного, исковерканного мира, преодолеть огромное пространство, которое отделяет реальность от фантазий?!

Она вошла в комнату; пританцовывая, подошла к роялю, села за инструмент и блестяще сыграла несколько пьес. Улыбка не сходила с ее лица, все ее движения были легкими, раскованными. Мать смеялась и пела от счастья.

— Я же говорила! Я же говорила, она поправится! — шептала мне на кухне. — Не может человек не поправиться, если его окружают забота и любовь.

Потом мы пили чай. За столом сестра, как изголодавшаяся зверюшка, уплетала все подряд, жмурилась от удовольствия

и торопливо рассказывала про врачей и приятельниц в больнице, про мастерские, в которых они делали бумажные цветы и коробки; при этом, она даже подтрунивала над собой и будто смотрела на себя со стороны, смущено краснела, как бы извиняясь за свою болезнь, за столь долгое отсутствие, за то, что доставила нам с матерью столько страданий.

После чая сестра потащила нас на прогулку. День был замечательный: солнечный, яркий. Истосковавшаяся по свободе, сестра прыгала по саду и радовалась каждому цветку, каждой бабочке и пчеле — казалось, она заново открывает мир. Она не умолкала ни на минуту.

— ...Вы помните, такие же деревья были на станции Правда? А ручей, который журчал на перекате, вы помните? А те цветы, неужели вы не помните? Какими нелепыми, мертвыми выглядят наши бумажные цветы в сравнении с этими живыми, ведь правда?! И для чего их только делают?!

Она спешила выговориться: то ли наверстывала упущенное из-за многолетней замкнутости, то ли боялась не удержаться в этом мире. Ни мать, ни я не поняли, что произошло, не догадывались, что это озарение неспроста, и только пес все время забегал вперед, усаживался перед сестрой, настороженно смотрел в ее глаза и жалобно поскуливал.

Я уехал на работу в невероятно приподнятом настроении, сразу же обзвонил друзей и поделился событием. Прошло всего два часа, не больше. И вдруг раздался резкий телефонный звонок. Я снял трубку и услышал сдавленные рыдания матери:

— Приезжай скорей!..

Когда я открыл дверь, мать кинулась ко мне, и из ее груди вырвался вопль:

— Нинуся!.. Выбросилась!..

Еще из комнаты я увидел у балконной решетки одиноко лежащие тапочки, и боль пронзила меня. Я метнулся к балкону. Внизу, на земле, босая, в белом платье, лежала моя сестра; лежала, распластав руки, и неподвижно смотрела в небо. Вокруг нее прямо на моих глазах увядали цветы, как похоронный венок обрамляя безжизненное тело. К сестре изо всех подворотен, задрав морды и воя, ползли собаки и кошки, и над всем садом, истошно крича, кружили птицы.

ВЕЧЕРНИЕ БУЛЬВАРЫ

Странный народ эти москвичи — вечно спешат, жалуются на сутолоку, сногшибательное движение транспорта и все такое, но никогда не променяют свой город ни на какой другой; даже уезжая ненадолго в командировку, начинают скучать по шумным улицам и потоку машин на Садовом кольце, толкотне прохожих, огромным людным магазинам. Кстати, в командировках или где-нибудь у моря на отдыхе москвичей сразу можно определить по свободным раскованным манерам и «аканью». Кое-кто из них ведет себя даже вызывающе, походки у таких молодчиков развязные, взгляды циничные, и слова они произносят самоуверенно, небрежно, точно являются, как бы это поточнее выразиться, представителями какой-то высшей популяции, что ли, и для них терпеть общество разных провинциалов — сплошная мука. Я не случайно говорю «кое-кто». Поверьте, таких мало, и мне, москвичу, стыдно за таких недалеких балбесов, стыдно за их безмерную самонадеянность.

Хотите, познакомлю вас с настоящим коренным москвичом, который родился и вырос в Москве и предки которого лежат на ее кладбищах, который любит свой город и знает его, как свои пять пальцев, человеком неглупым и достаточно скромным? Он ежедневно проходит мимо прекрасных старинных домов, уже таких для него привычных, что он и не замечает их, только когда сносят какой-нибудь особняк и на его месте строят высокую стеклянную коробку, начинает возмущаться. В самом деле, просто зло берет, когда видишь, во что превратили Замоскворечье. Теперь и не вспомнить, какая постройка была раньше, какая позже, пойди разберись в этой мешанине стилей.

Так вот, этот москвич знает все театральные новинки, но сам бывает в театре не чаще двух раз в год. Все руки не доходят, вернее ноги. Он любит поговорить о погоде и само-

чувствию, о спорте и о политике, поругать лихачей-таксистов и начальство райисполкома за бесхозяйственность в своем районе, но попробуйте предложить ему другой район, это приведет его в замешательство, и будьте уверены — ни за что не поедет. Даже в большую квартиру и в лучший район, вроде Строгино, где красивые новые дома на берегу Москва-реки, отличные пляжи и воздух чистый, как в лесопарковой зоне. «Так-то оно так, — скажет, — но далековато. У нас здесь все под боком, обжитое и всякое такое, а там за каждым гвоздем кати сюда, в центр, когда-то там все наладится». Он сильно привязан к своему району и считает его лучшим в городе.

Короче, это типичный москвич, мужчина среднего роста, обыкновенной внешности, примерный семьянин, живет в обычной двухкомнатной квартире в черте бульварного кольца. Каждое утро он встает по будильнику, проглатывает завтрак, приготовленный женой, закуривает, выходит во двор, торопливо здоровается с дворничихой и соседями, покупает газету в киоске на углу, на ходу просматривает ее, входит в метро, втискивается в вагон и катит на работу. Он научный сотрудник НИИ. Нельзя сказать, что он создает что-то такое, что человечеству позарез необходимо, без чего оно не выживет, он — крупница в общей структуре института, винтик в огромном механизме, но, как вы догадываетесь, все и держится на винтиках. Главное — он увлечен работой и испытывает радость, когда что-нибудь получается.

После работы он с приятелем-сослуживцем доезжает на метро до «Арбатской», заглядывает в открытое кафе, опрокидывает стакан вина, чтобы снять скопившееся напряжение, и, уже покуривая, бредет по вечерним бульварам, где на скамьях молчаливо сидят старики, играют доминошники и шахматисты, где модно одетые парни слушают магнитофоны и рассматривают проходящих девушек, где, счастливо улыбаясь, катят коляски молодые мамы, а молодые отцы важно вышагивают, заложив руки за спину, где выгуливают собак, и старушки подкармливают голубей, где демонстрируют наряды разные модницы, где полно влюбленных, и празднующихся, и подвыпивших, ищущих собеседников, и нагуливающих аппетит гурманов, где, наконец, большинство просто отдыхает после рабочего дня.

Он, этот москвич, идет вначале по Гоголевскому бульвару, потом по Тверскому и дальше через Страстной, подходит

к своему, Петровскому. На бульварах он встречается знакомые лица, кто-то ему улыбаются, кому-то он, с кем-то он только перекинется словами, с кем-то остановится поговорить. На всем пути к дому он ощущает себя среди людей, причастным к другой жизни, к другим болям и радостям, и вот это ощущение родственности, скажу вам, ни с чем не сравнимое чувство, что-то вроде меры ответственности за весь род людской.

Вы уже, наверное, поняли, что этот москвич перед вами. Это я. Мне скоро бахнет тридцать пять, но я, несмотря ни на что, чувствую себя молодым человеком. Если говорить начистоту, на работе я только сейчас вошел во вкус разных исследований, и мой успех еще впереди. Что еще сказать о себе? Человек я неплохой, честное слово. Во всяком случае, на подлости не способен. Я, может, и не подарок, но все же не как некоторые, которые только и знают заострять внимание на всяких пустяках да еще нудеть по поводу каждой чепухенции. Я люблю легкую шутку, ненавязчивый юмор, к окружающим отношусь терпимо, лишь бы они не встревали в мою жизнь. Характер у меня покладистый, а если некоторые считают, что не очень, то пусть поживут с мое, да еще в такой мясорубке, я посмотрю, что из них получится. Москва ведь не деревня Синичка, здесь ритм — ого какой!

Так вот, одежде я особого значения не придаю, галстуки не ношу, хотя жена так и норовит на меня их повесить, в еде я непривередлив, в жару люблю попить холодного пива, ну, а после работы, как уже говорил, в кафе выпиваю стакан сухого вина, чтобы снять усталость. И не осуждайте меня, не уподобляйтесь моей жене. Работы у меня невпроворот, понятно? Лихорадочно наверстываю упущенное. А почему так случилось, сейчас объясню.

Лет пять-шесть назад я работал инженером в одном бюро. Ничего путного там не делал, чертил разные дурацкие загогулины и получал маловато, а у меня, как вы уже поняли, семья. Десять лет я отработал в том отделе — и никаких повышений. Вдвоем-то с женой мы жили более-менее сносно, а когда родилась дочь и жена уволилась с работы (она по образованию школьный учитель), стало туговато. И все же, когда я вспоминаю те годы, невольно начинаю улыбаться. Времени свободного у нас было хоть отбавляй; бывало, завезем ребенка к родителям жены, а сами в байдарку и по

Истре или Клязьме. Каждую субботу плавали; у нас была хорошая, спаянная компания туристов из числа моих закадычных приятелей-инженеров. А зимой гоняли на лыжах по Подмоскovie. И все праздники проводили вместе: смотрели слайды, пели песни. И вот что странно — деньги все время поджимали, случалось, друзья соберутся, толком угостить нечем, но жили дружно и смеялись на этих вечеринках до коликов в животе.

Для полноты картины должен сказать еще вот о чем: моя жена, как и большинство женщин, умом не блещет, но красивая — глаз не оторвешь, и, что важно, особа коммуникабельная, как сейчас выражаются. К ней все тянутся. Приятели не раз советовали запустать ее к начальству, уверяли, что хлопоты о моем повышении сразу отпадут сами собой. Но я подобные советы не принимал, я не тот человек, у меня, понимаете ли, есть определенные принципы на этот счет. Я человек порядочный и всего хочу добиться самостоятельно и честно, не то, что некоторые. Я мечтал перейти в НИИ и посвятить себя науке.

Так вот, мы жили, несмотря ни на что, неплохо, но, дело известное, так не могло продолжаться до бесконечности. Через два года жена вернулась в школу, но что они там получают?! На одежду-то ей не хватало. А когда дочь подросла, на меня прямо обрушились заботы: то за музыкальную школу плати, то нужны новые шмотки, то путевки на юг. В общем, жена начала вмешиваться в то, чем я занимался. Вначале намекала, что мне не мешало бы где-нибудь подрабатывать, при этом рисовала для семьи какое-то недостижимое будущее, потом начала просто методично меня допекать.

— Все твои приятели пишут кандидатские, — бурчала, — а ты на службе только часы отсиживаешь. Когда-то я, дура, думала, ты перспективный, а ты человек без будущего.

Чего только я не выслушивал! И приходилось терпеть, а что оставалось? Ну не было у меня на работе никаких тем для диссертации, не мог же я их высосать из пальца. Я ждал, пока освободиться место где-нибудь в НИИ, чтобы заняться наукой. Короче, семейная жизнь пошла наперекосяк. Не знаю, может, и по делу жена пилила меня в то время, называла непробивным. Ведь, сказать по совести, кое-кто из моих приятелей-инженеров процветал: устроился куда-то по совместительству, и технику, и науку двигал вперед, и жил припеваючи. А я все

сидел на окладе. И вот в это время, когда начались семейные разлады, я вдруг встречаю одного приятеля, с которым заканчивал институт; он катил на «Жигулях», развеселый, преуспевающий. «На дачу, — говорит, — дую». Мы разговорились, и он сообщил, что пять лет, вроде меня, промыкался в одном отделе, потом бросил все и устроился мясником в магазин.

— Вначале было унижительно как-то, — признался он. — Потом я понял, что не место красит человека, а человек... Да нет! Глупости! Зарплата. Теперь-то я на Доске почета. Ну и сам понимаешь, живу не в среднем достатке. Вырезка всем нужна. Мой сосед журналист тоже в своей газетенке долго перебивался, пока не поумнел. Теперь-то он мебельщик, фанерует кухонные гарнитуры. Доходное дело. Сейчас ведь все получают новые квартиры, все хотят их отделать как следует... Ты вот подумай хорошенько, есть одно приличное место в железнодорожном бюро. Там бригадир знакомый парень, может оформить агентом по доставке билетов на дом. В день тридцатник будешь иметь. Запиши телефон, позвони, скажи — от меня. Только соображай быстрее, знаешь, сколько желающих?! Ясное дело, просто так туда не возьмут. Ты бригадиру отдашь свой мизерный оклад, а весь навар тебе. В накладе не будешь, обещаю.

«Все это прекрасно, — нашептывал мне тайный голос. — Но такая работа — удел прохиндеев, а я порядочный человек». Когда он уехал, я от души рассмеялся и дома решил этим предложением повеселить жену, но она неожиданно все восприняла иначе.

— И не думай, соглашайся. Все равно в твоём отделе никакого продвижения не предвидится. Да и инженером всегда устроишься, а такой работы больше не подвернется.

«Работы я, конечно, не боюсь, — рассуждал я про себя. — Но все же как-то стыдно. И потом, как быть с НИИ?»

— Сейчас самый подходящий момент, — благословляла меня жена. — Поработаешь год-другой, зато проживем по-человечески.

Несколько дней я колебался, настроение было паршивое, а жена все наседала:

— Не ломай голову. Упрямый ты!

Где ей было понять, что это не упрямство, а умение отстаивать свои принципы. Но все же она доконала меня. Я уволился из отдела с твердой решимостью поработать доставщиком

не больше года, но как-то незаметно втянулся в прибыльное дело и разносил эти проклятые билеты несколько лет.

Когда я пришел в ту контору, меня встретил бригадир, молодой холерный парень. Мы сели у окна, и парень ощупал меня цепким взглядом; потом вздохнул:

— Не знаю, получится из тебя жох, то есть отличный агент, или станешь чайником, но посмотрим... Слушай меня. Значит так. В наше бюро поступают сотни заказов, особенно в летний сезон и перед праздниками, — кто катит в Ленинград, кто в Киев, лимитчицы едут домой, в общем, понимаешь, да? Учти, мы гарантируем день отъезда, но не номер поезда и тип вагона. На этом можно играть... Наши агенты делятся на водителей и пешеходов, на ноги около пятидесяти билетов в сезонные дни, на машину — до ста. Так что работа тяжелая. Все пешеходы оформлены в штате, но берут без высшего образования, усек? У тебя диплом. Не возьмут. Но! — бригадир поднял палец. — Водители берут себе «штурманов» из нештатных агентов. Для чего, сейчас объясню. Они, водители, ребята бывалые, знают все проезды, понял? Можно ведь давать кругалю, а можно дворами — выигрыш времени. Но здесь чисто психологический момент — они не умеют говорить с клиентами, с этим у них плоховато, не тот культурный уровень, и получают малый навар. А опытный жох выжимает по сорок рубликов, а в сезон и побольше. Ну само собой, день на день не приходится...

«Чего только люди не придумают! — мелькнуло в голове. — Но почему, собственно, мне не стать опытным жохом, я что, хуже других?! И потом, это все честно, без всяких махинаций».

— Здесь есть рекордсмен, — продолжал бригадир. — Сотню за день заработал. Я всегда говорю: «Нет плохих билетов, есть плохие доставщики»... Для начала прикреплю тебя к пешеходу Алексею. Парень он понимающий, с головой. Когда освоишься, подберу тебе водителя, — бригадир встал, одернул пиджак и протянул руку. — В общем, завтра будь к восьми. Попробуем.

Алексей встретил меня с распростертыми объятиями.

— Мы все должны помогать друг другу, верно? Сколько зависит от случая. Мы могли и не помочь, а у человека, может, вся жизнь повернулась.

Он оказался моего возраста, долговязый, белобрысый, с вмятиной на конце носа, агенты звали его «поэт» — он когда-то поступал на филфак и писал стихи. Алексей был пешеходом со стажем и считался специалистом в своей области. Взяв пакеты с билетами, он сел за стол и начал тасовать адреса.

— Видишь, билеты подобраны грубо, условно с сорок пятого дома по сто седьмой. Мы с тобой сделаем четкую подкладку.

За Алексеем была закреплена «Ленинградка», левая сторона Ленинградского проспекта. Зимой сюда входили все привлекающие улицы, летом, когда нормы увеличивались, Алексей ходил только по улицам Алабяна, Куусинена, Ульбрихта, Альенде и Чапаевскому проезду. Здесь он знал все проулки, к любому подъезду подходил с закрытыми глазами.

— Ну вот, сделали, — Алексей сложил пакеты. — Плохо разложишь — промучаешься. А теперь у нас все по порядку. Теперь на метро до «Сокола» и дальше резвым аллюром на одиннадцатом номере, на своих двоих, постепенно наращивая скорость. Здесь главное — не сбиваться с темпа. Ты как, ходьбу любишь? Так, по виду, в тебе есть запасы наследственного здоровья. Заодно лишний жирок сбросишь. Вот только обувь у тебя немного того. Скрипит. Не разношенная, что ли? Смотри, ноги натрешь. Носи кеды. А еще лучше кроссовки. Дорого, конечно, и трудно достать, зато сами несут. Как говорят англичане: «Мы не так богаты, чтобы покупать дешевые вещи»... Обувь для ходока — главное. Еще батюшка Суворов об этом говорил, помнишь?.. И отработывай дыхалку.

В метро Алексей спросил меня, кто я и что, потом вздохнул с грустной усмешкой:

— У меня то же самое, только от безденежья дело дошло до развода. Я по глупости тоже женился на красивой женщине. Влюбился в нее — жуть. Для меня прямо остановились часы. Все, что не было с ней связано, для меня потеряло смысл. Она почувствовала мою слабость и стала относиться ко мне небрежно. Когда мы поженились, я работал редактором на телевидении, получал ерунду, но она заявила: «Деньги не главное», — и я был счастлив. Ведь правильно говорят англичане: «Полюбите нас черненькими, а беленькими нас все полюбят», верно? Но потом все стало неважно. В смысле материальном... Короче,

я понял — красивая женщина привыкла нравиться, ей нужны модные вещички... С годами она сильно изменилась, только и нажимала на деньги. Правильно говорил Наполеон: «Красивая женщина — только прекрасная вещь, а добрая — сокровище». Я думаю, он имел в виду не то, что она отдаст свои бриллианты, а хороший, легкий характер, умение любить — это, кстати, самый большой талант в женщине, как ты думаешь?

Как только мы вышли из метро, Алексей без всякого повода повеселел, гордо выпрямился и легким спортивным шагом зашел в сторону своего микрорайона. Я еле поспевал за ним. Стоял конец августа, разгар сезона, и у нас на руках было восемьдесят адресов. С трудом переводя дыхание от быстрой ходьбы, я спросил у Алексея, нельзя ли брать поменьше.

— Нет, конечно. Откажешься — больше не получишь. Бригадир должен общий отчет делать и быть лучше других. У них ведь там свои дела, им тесно на одной лавке, вот и толкаются, борются за жизненное пространство. Я с ними не связан, но знаю их дела. Как говорят англичане: «Я никогда не нес яиц, но знаю вкус яичницы лучше любой курицы». Да ты не волнуйся, все разнесем. У нас с тобой неплохой квадрат, и он у меня как на ладони. Конечно, Пресня лучше, там большая плотность домов, но есть районы намного хуже. Например, Дмитровка. Там одни пятиэтажки без лифта. Побегай-ка по этажам. И общежитий полно, а у студентов, сам знаешь, откуда деньги, да и билеты дешевые, льготные. Правда, попадаются пижоны. Как-то одни заказали шесть купейных до Ленинграда. Тут уж я развел руками: «Стоило трудов», — говорю. А они: «Сколько?» — «Сами смотрите», — говорю. Главное, заложить в них это зерно, воззвать к совести. Как говорят...

Алексей, видимо, хотел привести какую-то поговорку англичан, но мы уже подошли к первому адресату, и он на ходу прочитал заказ на конверте: «Прошу поезд плацкартный, двадцать третий. Нижнюю полку. Едет больной человек».

— Теперь сверяем с тем, что дали, — пробормотал Алексей, доставая билет и совершенно не обращая внимания на меня, вконец запыхавшегося. — Так, конечно, не то. Поезд двадцать первый. А полка нижняя. Отлично. Заранее внутренне настраиваемся, — он профессионально окинул почтовые ящики, высчитал этаж по типу дома, и мы вошли в лифт.

Я смахнул пот, а Алексей все продолжал:

— Во-первых, сразу улыбайся, во-вторых, говори какую-нибудь отработанную фразу о погоде, о красивом подъезде. Как говорят англичане: «Обаяние — главный путь к успеху». Кто улыбается один раз в три дня, нам не товарищ. Но одним обаянием здесь не обойтись, надо, чтобы и язык был подвешен.

Дверь открыла полная усатая женщина, и мы с Алексеем расплылись в улыбках.

— Добрый день, добрый день! — заверещал Алексей, проходя за женщиной в комнату. — Каждый раз, когда я бываю в ваших домах, не устаю удивляться березкам во дворах. Здесь видел — две стоят, переплетаясь, точно подружки обнялись.

— Да, да, здесь красиво, — закивала женщина.

Алексей выложил на стол билеты.

— Так, вы заказывали двадцать третий поезд. К сожалению, дали только двадцать первый, но тоже скорый, не беспокойтесь.

— Но меня должны встречать, — нахмурилась женщина.

— Ах, вас будут встречать?! Пожалуйста, дайте телеграмму. Это очень просто. Ваши знакомые прекрасно знают, как сейчас, в самый сезон, трудно с билетами. А с местом вам повезло. Нижнее — то, что вы просили. Вот вам ваше место, пожалуйста. И вот здесь распишитесь.

Женщина хотела что-то сказать, но, ошеломленная натиском Алексея, послушно взяла ручку и расписалась.

— Так, спасибо! — Алексей сложил ведомость и протянул мне. — Отдаю своему помощнику.

— Сколько я вам должна? — спросила женщина.

— Государству за билеты, остальное — на ваше усмотрение, — заученно, со сдержанной улыбкой ответил Алексей и, пока женщина отсчитывала деньги за билеты, хохотнув, добавил: — За ноги, за подошвы.

Я почувствовал себя неловко. Мне показалось это дурацким юмором, не намеком на вознаграждение, а прямым вымогательством, но Алексей как ни в чем не бывало взял рубль, который ему протянула женщина, поблагодарил, пожелал счастливого пути. В лифте он невозмутимо достал следующий адрес, а выходя из подъезда, уже просматривал новый билет, одновременно бросая в мою сторону:

— Ты пока запоминай номера домов, проходы. Полезно даже записывать, зарисовывать. Пешеходу надо иметь отлич-

ную память. И быть психологом, мгновенно ориентироваться в обстановке, по внешности определять клиента. Видел, у этой усатой какая обстановка? Все ломится от хрусталя! Думаешь, богатые много дают? Дудки! Как раз наоборот. Эта еще на рубль раскошелилась. А есть двадцать копеек дают. Отказывайся. У агента должна быть гордость. Нам подачки не нужны. Если только не пенсионерка. У них бери. Чтобы не обижать старушек. Как говорит один мой знакомый...

Он чуть ли не бегом пересек улицу, и я не услышал, что говорит его знакомый.

Рассматривая номера домов, Алексей поморщился.

— Черт! Как все пишут по-идиотски. Название улицы только на крайних домах. Номера за листвой. Вечером не освещены... Вот, вроде тот. Здесь надо уметь напрягать внимание.

Он влетел в подъезд, я — за ним.

Дверь нам открыл симпатичный мужчина с усталым лицом; поздоровавшись, пригласил в маленькую, захлавленную комнату. Из кухни, откуда сильно пахло мылом, вышла молодая женщина, хромоножка и горбунья. Вытирая руки о передник, она тоже поздоровалась, взяла таз с чистым бельем, стоящий в коридоре на табурете, и пошла на балкон. Алексей вздохнул и с улыбкой произнес:

— Ничего нет лучше запаха свежего белья. Как все-таки хорошо иметь дома хозяйку. Лопнуть можно от зависти. Вот мы с напарником разведенные, так все приходится делать самим.

Мужчина не понял, что Алексей просто налаживает с ним контакт, и сочувственно кивнул.

— Значит, вы заказывали два билета в Запорожье, — Алексей раскрыл пакет. — Вот ваши билеты. Несмотря на трудности — сами понимаете, сезон, — вам дали то, что вы просили. Поезд тот же, скорый, места плацкартные, только не рядом: одно номер десять, второе — четырнадцать. Но там поменяетесь. Вы же знаете, в вагоне незнакомые люди сразу становятся друзьями, чуть ли не родными. Проведут сутки в поезде, а обмениваются адресами, договариваются встретиться, приглашают друг друга в гости, чуть не плачут при расставании, верно? Как говорят англичане: «С рассветом чужие люди становятся друзьями».

Мужчина закивал, поблагодарил, расплатился и сверху положил рубль. В комнату вошла женщина, посмотрела из-

дали на билеты, тоже сказала «спасибо». Я протянул ведомость мужчине, он расписался, и мы откланялись.

Выскочив на улицу и рассматривая следующий адрес, Алексей сказал:

— Видал, бедняки, а тоже рубль дали. Вообще, мои симпатии всегда на стороне вот таких работяг. Мне противны богатые, преуспевающие люди. Честным трудом добиться богатства невозможно. Да и не нужно. Зачем оно, богатство-то? Достаток — другое дело... Правильно говорят американцы: «Все, что покупается за деньги, стоит дешево». Жаль только, они, черти, не следуют своей поговорке. И нажимают на деньги... А разные наши знаменитости богатые — дутые, верно? Популярность часто бывает незаслуженной. Возьми поэтов. Ну что это за стихи...

Третьим адресатом оказался пожилой мужчина, толстяк с двойным подбородком. Он жил в коммунальной квартире и, когда мы пришли, что-то мастерил в застекленном закутке на лестничной клетке: сидел на стуле, широко расставив ноги, в майке, шароварах и тапочках на босу ногу; перед ним на полу стоял ящик с инструментом и лежали разные пружины, шестеренки, болты.

— Мой билет принесли? — бросил он, как только мы переступили порог. — Положите вон туда, — он кивнул на зеркальный столик. — Сколько там целковых-то?

— Сейчас посмотрим, что мы вам принесли, — начал Алексей, но мужчина его остановил.

— Чего смотреть. Поезд до Симферополя? Все! Вагон-ресторан есть? Все! Место мне все равно какое. Я как сажусь в поезд, сразу иду в вагон-ресторан. Сколько там целковых-то?

Он залез в задний карман шаровар, отдал деньги, расписался и положил на ведомость три рубля.

— Вам на пиво, — хмыкнул.

— Отличный старикашка, — сказал Алексей, когда мы вышли. — Правильно говорят американцы: «Все должны долго жить, но никто не должен быть старым».

Через час мы обошли две улицы и разнесли штук десять пакетов. Я уже взмок, а Алексей хоть бы что — носится от дома к дому и поторапливает меня:

— Скорей, скорей!

И на ходу вскрывает пакеты, бормочет номера поездов, вагонов, посадочных мест и все натаскивает меня с разными лирическими отступлениями. Я был для него настоящим тормозом, но он относился ко мне снисходительно или великодушно, это уж как вам больше нравится. К полудню, когда беготня доконала меня окончательно, я заикнулся Алексею про обед, но он, честное слово, посмотрел на меня как на идиота.

— Терпи до пяти-шести часов. Когда отчитаемся, тогда будет тебе и обед с ужином. И пиво, и что-нибудь покрепче. Главного ты не уловил: чем раньше все сдадим бригадиру, тем больше нам вес и ему премиальные. Туго ты соображаешь, брат. В этом вся соль нашей работы. Без обеда и без выходных. Деньги, брат, нигде даром не платят, а как ты думал? Ладно, посиди вон в том скверике, передохни, через полчаса подходи к дому пятнадцать по Альянде и жди меня.

Алексей понесся дальше, а я доковылял до туалета при сквере, ополоснул потное лицо, потом нашел уединенную скамью, плюхнулся, снял ботинки, растер зудевшие ноги, закурил и подумал, что подобная работа все-таки не для меня.

Я пришел на улицу Альянде, только чтобы не выглядеть мелким обманщиком, и уже открыл рот, чтобы объявить Алексею о своем решении, как он подмигнул мне:

— Навар уже перевалил за тридцатник. Сегодня исключительно удачливый денек. Сейчас сделаем последние заходы, и около сороковки в кармане будет, вот увидишь.

Я помножил в уме сорок рублей на тридцать дней и от невероятной суммы почувствовал новый прилив сил.

В бюро мы возвращались около семи часов вечера. Меня подташнивало и шатало, как не хлопнулся в обморок — не понимаю, а Алексей насвистывает себе.

— В нашей работе есть еще одна особенность, — говорит совсем бодрым голосом. — В сезон носишь при себе до двух тысяч рублей. Как инкассатор... Пока никого из ребят не грабили, но все может быть. Учти, вору бывают обыкновенные и психологи, которые убеждают, и жертва все отдает сама, — Алексей засмеялся. — Теперь понял, почему нельзя выпивать на работе?

Алексей отчитался за билеты только в половине восьмого — в кассу стояла приличная очередь и пешеходов, и водителей, зато в восемь мы уже сидели в кафе и заказывали свои

любимые блюда. На прощанье Алексей сунул мне в карман десять рублей и хлопнул по плечу:

— Через недельку, когда изучишь дело, начнешь работать самостоятельно, а завтра утречком снова в бюро, и не опаздывай.

На следующий день с утра барабанил дождь, и мы с Алексеем весь день бегали по скользким улицам, промокшие, забрызганные лепешками грязи.

— Ничего, — пытался шутить Алексей, взвинчивая темп бега. — Как говорят англичане: «Нет плохой погоды, есть плохая одежда». Неплохо бы иметь непромокаемый комбинезон, но где его взять?

— Ты здорово знаешь англичан, — вставил я. — Бывал там?

— Что ты! Просто читал много. Поэзия у них хорошая.

В тот ненастный день заработали рублей тридцать, но с последней клиенткой получилась накладка. Это была женщина средних лет, худая и нервная. Она поблагодарила за билет и дала нам шестьдесят копеек, но вечером, когда Алексей отчитывался, в бюро раздался звонок, и эта женщина сообщила, что билет ей дали не тот, да еще почти рубль содрали. Оказалось, действительно агенты на раскладке неправильно сделали подложку, а Алексей невнимательно проверил. На следующий день ему вкатили выговор, он расстроился и сказал мне:

— Черта с два теперь принесу ей билет. Таким клиентам знаешь, как мстят? Подходят к дому, тихо опускают извещение в ящик, а на пакете пишут: «Нет дома». Пусть сама топает в бюро.

Через несколько дней Алексей вручил мне два пакета:

— Попробуй в одиночку. Встретимся через двадцать минут у дома двенадцать.

Первое мое посещение клиента окончилось безрезультатно. Я вошел, поздоровался и брякнул:

— Я принес вам билеты.

Мрачный мужчина взглянул на меня хмуро, с угрозой; дошло, чуть ли не на просвет рассмотрел три заказных билета, недовольно пробормотал что-то про «боковое место на проходе», потом отсчитал стоимость билета и доставки, расписался в ведомости и направился к двери, просто-напросто выпроваживая меня.

Вторым адресатом оказалась капризная подслеповатая старушенция с гнусавым голосом. Взяв билет, она загундосила:

— Ой! Первое купе! Прямо над колесами. Ни за что! Стук всю ночь! Я заказывала купе в середине вагона, а вы что мне даете?! Сейчас буду звонить!

Я стоял остолбенело и не знал, что делать, потом вспомнил заповедь Алексея: «Главное — не оформлять отказ», — и начал уговаривать старуху, заявив, что и ехать ей всего ничего, и что теперь вагоны новые, катят плавно, без стука, а первое купе — около проводника, первым получаешь постель, чай и вообще всякое внимание. То ли я убедительно говорил, то ли у меня был слишком жалкий вид, но неожиданно старушенция смолкла, спрятала билет в комод, расплатилась и предложила выпить чаю, а когда я поблагодарил и отказался, протянула мне рубль, давно зажатый в руке, и сказала в нос:

— Ты уж проследи, милок, чтоб в следующий раз мне хороший билетик подобрали.

Когда мы встретились с Алексеем, он похвалил меня:

— Ну вот, почин сделан. Молодец! На еще десяток пакетов. Весь навар твой. И чтобы не тратить время на встречи, приходи прямо в бюро.

В тот день я заработал двенадцать рублей, правда, долго искал адресатов и пришел в бюро поздно, когда Алексей уже весь изнервничался.

Вот так, по сути дела, все и началось. Первое время под вечер валялся с ног от усталости, зато жена встречала как нельзя лучше: сразу вела в ванную и, пока я отмывался, держала полотенце наготове, потом усаживала за стол, ставила передо мной тарелку супа, сама садилась напротив и, подперев щеки руками, смотрела на меня нежно и то и дело вскакивала и подливала добавки. Моя семья вступала в полосу относительного благополучия.

С Алексеем у меня было ощущение надежности; больше месяца я бегал с ним и за это время прошел хорошую школу агента-пешехода, то есть познал все тонкости в работе доставщика, научился подходить к людям и освоил спортивную ходьбу. Осенью бригадир вызвал меня в контору «на серьезный разговор».

— Ты, вроде, освоился в нашей работе, — сказал, — созрел для повышения. Перевожу тебя штурманом к водителю Геннадию. Он с головой. Объясняю твою задачу. Значит так.

Каждый водитель хочет иметь интеллигентного штурмана. Чтобы не пил, имел подход к людям, ну и развлекал болтовней его, водителя. Плохо ли водителю? Сидит, покуривает, а ты носишься по этажам? Но зато он подвозит прямо к подъезду. За это половину выручки ему. И здесь все построено на честности. Разок надуешь или плохой будет навар — откажется от тебя, — бригадир поправил галстук. — Слушай внимательно дальше. В восемь утра ты с водителем забираешь пакеты. Доставка стоит один рубль. Остальное, как говорится, на усмотрение клиента. Сколько получишь — все твое и водителя. Один маленький нюансик: никогда никому не груби! Накатают-то на водителя, он ведь отчитывается за все, ему и достанется. Ну, поймешь по ходу работы.

Водитель Генка выглядел отлично: молодой, загорелый, спортивного вида, но в общении с людьми был слишком прямолинеен, не чувствовал клиента: то отпускал плоские шуточки, то молчал, как теленок, то глупо хихикал — это он называл «контактировать с клиентом». Но у него было одно достоинство — свои Мневники он знал назубок. В первый день, объезжая район, он ввел меня в курс дела, объяснил особенности своего участка:

— Эти дома берутся с тыла, там все подъезды выходят во двор, сечешь обстановку? А вот эти берутся с улицы, но там одностороннее движение, поэтому к ним подкатим напоследок, когда будем возвращаться, уловил?

Надо сказать, водил Генка свой «Запорожец» потрясающе, такого я никогда не видел. Бывало, весь перекресток забит, а он умудрится протиснуться меж грузовиков и легковушек к выезду в какую-нибудь арку и шпарит по дворам. Смотришь, уже вынырнул за светофором. Все лазейки в Мневниках знал. И еще одно важное добавление: Генкина юркая машинешка никогда не ломалась, и в этом тоже Генке плюс; представляете, как надо следить за техникой, чтобы она не выходила из строя! И при всем притом Генка знал некоторых постоянных клиентов. Не раз меня заранее предупредал:

— Этот довольно забористый, никогда не дает. И не намекай. Не вздумай! А то еще пожалуется начальству, усек?

Мы с Генкой быстро лададили, хотя и начали работать не в сезон, когда заказов было мало, и частенько у водителей с пешеходами возникали ссоры: пешеходы были недовольны,

что шоферы берут агентов со стороны, тех, с которыми срабатались. Чтобы не вызывать лишних кривотолков, мы с Генкой сразу договорились встречаться не в бюро, а на одной из улиц по пути в Мневники. В первые дни работы штурманом, по совету Алексея (мы с ним остались друзьями), я брал для Генки заначку — пятерку, чтобы в случае плохого навару приплюсовать ее к общей сумме и не выглядеть перед «шефом» плохим специалистом. Но воспользоваться заначкой мне пришлось лишь однажды. Тот день был самый дурацкий: не везло с первого заезда. Вначале попался привередливый старикан.

— Что вы мне притащили?! — кричал он. — Видите, здесь написано черным по белому: «Прошу одно место. Купе. Желательно нижнее место. Поезд вечерний». А вы мне что притащили?! Плацкарт, да еще утренний поезд! А где я буду ночевать, вас спрашиваю?! Я еду в санаторий! Безобразие! Этот билет мне не нужен. Отказываюсь от него.

Я изобразил улыбку и начал уговаривать старика.

— Утренние и дневные поезда лучше всего. За разговорами с попутчиками и не заметите, как время пролетит. А вечерние и ночные — хуже всего. Никогда не выспишься. Кто-то хлопает дверью, кто-то храпит...

— О чем вы говорите! — не успокаивался старик. — Я еду в санаторий. И начинать отдых с мучений?! Нет уж — спасибо! Зачем мне это надо?! Отказываюсь от билета.

— Ну как же так, «отказываюсь»! — уже без улыбки сказал я. — Ну представьте себе, что вы вызвали рабочего циклевать полы, а он заболел и пришел на другой день, а вы его уже не ждете. Надо же ценить труд других... На вечерние поезда почти нет билетов. Все компостируют транзитникам, да из одного состава вообще сделали «поезд здоровья». На станции назначения вы будете в три часа ночи. Пока на вокзале попьете кофе, полистаете журналы, уже и автобусы пойдут. Ничего страшного.

— Все равно — нет, — мотал головой старик.

Тогда я привел самый последний довод, которому, как прикрытие, научил меня Алексей:

— И потом, этот билет всегда можно сдать. Вы его возьмите, а если сможете достать другой, его просто сдадите.

Еле уговорил старика, до отказа дело не дошло, но, конечно, и мелочишки не получил.

После этого было несколько более-менее удачных заходов, но потом опять, словно в противовес, пошли проколы — два «залетных» пакета, то есть адресаты, вываливающиеся из общей раскладки. Один куда-то в Троице-Лыково, другой — в Черницыно. Это выливалось в потерю двух-трех часов. Я посоветовался с Генкой.

— Ерунда! — махнул рукой Генка. — Оставь эти дикие пакеты. Я напишу: «Звонили — нет дома». Завтра пойдут в новую подборку. Ты давай разноси остальные, да веселее, в нашем деле дорога каждая минута, усекаешь?

Мы развезли еще штук пятнадцать пакетов, причем последние три были в один новый дом, который еще только заселялся. Во дворе стоял электрик и всем объявлял:

— Лифты будут работать только завтра. Рубильники отключены и опечатаны.

— Как же таскать мебель?! — возмущались жильцы.

Электрик только пожимал плечами, но после перебранки, угроз и уговоров согласился включить лифт «под свою ответственность», при этом, негодая, назначил точный тариф: пятьдесят копеек за этаж. Мне, разумеется, пришлось побегать по лестницам: на восьмой, девятый и шестнадцатый этажи. Вышел из дома взмыленный, плюхнулся на сиденье машины и долго не мог отдышаться. А Генка сидит себе, газетку почитывает. И я подумал: «Несправедливо получается, но, с другой стороны, если бы не Генка, не было бы у меня никаких пакетов». Приходилось терпеть, а иначе как?

В этот день у меня навар был всего двадцать два рубля — по одиннадцать нам с Генкой, но с моей пятеркой у него получилось шестнадцать.

— У тебя легкая рука, — отчеканил Генка при прощании. — Надо же, даже в такое время прилично выжимаешь. К Новому году нам будет совсем лафа, на праздники-то народу много разъезжается, улавливаешь?

Всю зиму я прокатал с Генкой, и, надо отдать ему должное, — в праздники, во время запарки, он, не поморщившись, помогал мне. Мы с ним разбрелись: пока я обегал один квартал, он успевал объехать дальний кусок нашего района и тоже разнести пару-тройку пакетов. Слабовато, но все ж подмога. После окончания работы мы с Генкой делили выручку, он выбрасывал меня у ближайшего метро и гнал в бюро отчитываться.

За зиму я окончательно освоил ремесло агента и — хотите верить, хотите нет — даже выработал свой стиль. Сейчас объясню, в чем он заключался. Если, к примеру, я заходил к адресату в первой половине дня, то сразу говорил:

— Я решил вас отпустить пораньше.

Если во второй половине, то:

— Наверное, заждались? Но ничего, зато мне есть чем вас порадовать.

И если приходил вечером, то тяжело вздыхал:

— Такой тяжелый день, еле до вас добрался.

И все это, как вы догадываетесь, конечно, говорил с широкой, располагающей улыбкой — ее я отработал еще дома, перед зеркалом. Ну и независимо от времени, когда пришел, дальше от меня следовало:

— Давайте посмотрим, что я вам принес. Так, вы просили...

И дальше импровизировал на тему: «билет — поезд — пассажир» и непременно хвалил город, в который клиент собирался. В заключении я говорил:

— Сколько должны? За билеты столько-то, остальное — сугубо ваше личное дело, как вам подскажет голос совести, ваше душевное движение, — и, совсем расплывшись, тихо добавлял: — Формально — ничего.

Вы обратили внимание на слова «ваше душевное движение»? Согласитесь, это я неплохо придумал. Ненавязчиво как-то и тонко — срабатывало безотказно. Пользуясь этой схемой, я получал от пятидесяти копеек до двух рублей за визит, а иногда, когда заказчик получал по пять-шесть билетов, навар достигал и трех рублей.

Со временем мы с Генкой обслуживали и «залетных» адресатов. Я звонил им в полдень:

— Ваш пакет по недоразумению попал ко мне... Если успею... Сидите ждите...

И в трубку слышалось:

— Мы вас отблагодарим. Только, пожалуйста, привезите.

Вот так я и работал, и каких только клиентов не встречал! Однажды принес билет старушке, у которой жило, вы не поверите, пять собак и семь кошек. Сама старушка была вся в лохмотьях, как груда тряпья, но в собачьих мисках лежали добротные куски студня. Старушка встретила меня радушно,

усадила пить чай с вареньем, представила всю свою кошачье-собачью братию.

— Вон те соседи ворчат, — старушка кивнула налево, — не любят животных. А эти, — старушка кивнула направо, — хорошие. Дают мне кости... Вот собралась сына навестить, да не знаю, присмотрят ли они за моими собачками. Обещали, но кто их знает. Люди они хорошие, но все же подхода к животным не имеют. Чувствую, прям изведусь вся... А ты, сынок, сильно похож на моего сына... Ты ешь варенье-то, ешь...

Старушка дала мне за билет двадцать пять копеек, и я долго и сердечно ее благодарил. Сами понимаете, мог бы и не брать эту мелочь, но, как говорил Алексей, отказом обидел бы старушку. Теперь-то наверняка до вас дошло, что разнос билетов еще и деликатное дело.

В другой раз принес семь билетов одному военному; он дал мне семь рублей «за услугу», а его жена налила огромную кружку молока и завернула с собой десяток горячих пирогов. Видали, как бывало?! Любой позавидует. Эти семь рублей долго были не только моим личным рекордом, но и лучшим достижением в бюро за весь несезонный период. Я гордился этой семеркой, как спортсмен, ставший чемпионом мира. Честное слово. Кстати, позднее, работая самостоятельным пешеходом и набегая за день не один десяток километров, я не раз подумывал, если уж на то пошло, мог бы стать и чемпионом среди марафонцев.

С наступлением весенних дней бригадир наконец доверил мне собственный район, вернее, часть района однорукого старика пешехода Ганзы. Ганза считался полупешеходом — он ездил на велосипеде. Ездил не торопясь, вроде бы с ленцой, — катаюсь, мол, в свое удовольствие, — но все делал как надо, «эффективно», как выражался наш бригадир-заправила.

Бывший фронтовик, Ганза работал в бюро чуть ли не со дня его основания, и поэтому за ним «навечно» были закреплены лучшие точки: Песчанка и Щукино. Раньше он успевал объезжать весь район, но с годами стал сдавать и в сезон брал на подмогу напарника. Прослышав про мои подвиги, Ганза предложил мне один летний сезон поработать с ним. Себе он, конечно, снял пенки — взял Песчанку, мне отдал Щукино и еще Октябрьское поле и Первый Волоколамский проезд. Так я стал самостоятельным пешеходом.

Ганза был маленький, конопатый, сутулый, ходил в засаленном пиджаке, один пустой рукав которого был заткнут в боковой карман. Ганза носил кепку и полевую сумку через плечо.

— Я в этом районе прижился, приспособился к обстановке, — тихо и вкрадчиво объяснял он мне в первое утро нашей разности. — Сказать по правде, раньше я выполнял работу шутя, а теперь сказывается возраст... И были у меня всякие жохи-напарники. Всяких насмотрелся. Был один доходяга, затажной пьяница. Я его быстро турнул. Трезвый бегал как лось и вел себя с клиентами культурно, жох был отличный, ничего не скажу и врать зря не буду, но как опрокинет рюмку за воротник, — все, не человек. Ну, мне это и опостылело. Всех пьяниц я бы скопом на свалку. Мало ли что с ними произойдет, а тебе отвечать, верно? Ты, я прослышал, непьющий. Это хорошо.

— Ну как непьющий, — обиделся я. — По праздникам и после работы немного...

— Ну, это святое дело, — поспешно согласился Ганза. — После работы можно выпить. Такая у нас работа. Побегай с наше, ведь так? Я говорю во время работы, вот о чем я говорю... И был у меня хороший жох — молодой парнишка, симпатяга. В актеры готовился... Лопотал без умолку да с прибаутками. Клиенты его любили страшно... Но он был, как бы тебе сказать... Несдержанный, рискованный мальчик. Не раз привозил возвраты да с бригадиром не стыковался, говорил заносчиво, а власть надо уважать. Я тут навел справки — ты вроде работаешь спокойно.

Ганза ездил на велосипеде, который привязывал цепью с замком к изгородям, деревьям и водосточным трубам. Если во дворе находился знакомый дворник, или на лавке сидели знакомые старики, Ганза просто оставлял велосипед у подъезда и просил присмотреть за ним. С клиентами Ганза говорил трафаретно и всем лепил одни и те же ахинейские бессмыслицы:

— Явился к вашему удовольствию; желаю приятного удовольствия...

И при этом любовался до слез какими-нибудь безделушками, вроде слоников, но отказов не имел и получал неплохой навар — скорей всего, его просто жалели как калеку.

Щукино — красивый, зеленый район, пока бежишь, озном надышишься, но вот пятиэтажек там, скажу вам, многовато, и дома разбросаны, так что за семь часов я набегал в общей сложности по двадцать-тридцать километров. Даже

подсчитал: в среднем на три пакета уходил километр, представляете?

Летом для пешехода идеально иметь сорок пакетов в день. Их без напряжения, при определенной тренированности, можно разнести за семь часов. Но в первый месяц, случилось, я не успевал с разноской и тогда брал такси, и уже о деньгах, ясное дело, не думал — только бы разбросать, чтоб не было возврата. Потом изучил местность, стал резать углы, экономить время. Что выматывало — это пятиэтажки без лифта, да еще буквенные корпуса: пойди найди какой-то там корпус «Т», если он по улице под одним номером, а по переулку под другим! Но тут уж срабатывал мой опыт, да и я наловчился на ходу, не сбивая дыхания, выспрашивать нумерацию у прохожих. Что говорить — уставал прилично, выматывался так, что домой еле ноги волочил; зато похудел, живота — как не бывало. Жена говорила, что я даже помолодел. Но это, я думаю, она просто льстила мне, как бы подогревая интерес к работе. Для нее-то, как вы догадываетесь, наступила золотая пора — знай себе прибарахляется, она прямо расцвела на благодатной почве, а из меня, естественно, выжимала все соки.

Так вот, в конце рабочего дня я привозил ведомость и деньги Ганзе в бюро, он отчитывался, а я направлялся к дому.

Всякие выпадали дни. Бывало, навар еле тянул на десятку, но бывали дни как целая цепь подарков.

Однажды — смех, да и только — с утра попал на свадьбу. Не успел войти, усадили за стол, навалили гору еды... Оказалось, я принес билеты для свадебного путешествия, и меня отблагодарили как следует.

После свадьбы влетел к одному адресату, а его нет дома. Выругался, стою в нерешительности: то ли извещение писать, то ли заказ аннулировать. Вдруг смотрю, по лестнице нетвердо поднимается мужчина с сумкой.

— Ой, миленький, — обратился ко мне. — А я только в магазин вышел. Мне баба деньги дала. Если бы не дождался, ох и дала бы мне баба.

Мужчина провел меня на кухню, угостил чаем, убирая со стола грязную посуду, пожаловался на дочь, «неряху и эгоистку».

— И почему я должен за ней убирать? Что я, нянька им, что ли? — искренне возмущался он, подливая мне чая. — На

внешность она ничего, но характер — не приведи Бог. Не знаю, какой дурак на ней женится... Ей уже двадцать пять — и все не выходит, — он удрученно покачал головой. — Все же жалко ее. Неужели уж она хуже всех, не может выйти замуж?!

Мужчина меня хорошо отблагодарил, и не только как доставщика, конечно, а и как сочувствующего слушателя.

Во второй половине дня меня занесло к одинокой, скучающей женщине. Я заметил ее еще издали (вычислил квартиру по этажам) — она стояла на балконе в яркой юбке, которая туго обтягивала широкие бедра; но когда я поднялся, она уже была в полурасстегнутом халате, на сильно напудренном лице сияла улыбка. Женщина чуть ли не за руку втащила меня в комнату, достала из шкафа шампанское и попросила «скрасить ее одиночество». Она даже не взглянула на билеты и не спросила, «сколько за них должна», но сразу полулегла на тахту, еще больше расстегнула халат, и я понял — она готова отблагодарить меня другим способом. Немного стушевался, конечно, не без этого.

— Вы знаете, так душно. Я буду сидеть в халате открытой, вы не смотрите, — очень ласково проговорила женщина.

Когда мы выпили и я сверил билеты, женщина скинула тапочки и, вытянув ноги, совсем легла на тахту.

— Вы знаете, ужасно душно. Я полежу совсем открытая. Вы не смотрите.

Думаете, я залился краской? Не совсем, но что-то вроде этого. У меня в руках было еще много пакетов, а со свадьбой я вышел из графика, и время уже поджимало нештучно. Только поэтому, а не по каким-то там нравственным причинам, мне пришлось отказаться от романтического времяпрепровождения. Расписываясь в ведомости, женщина разочарованно вздохнула, а когда я встал, поджала губы и отсчитала за билеты сумму с точностью до копейки. Она явно дала мне понять, что предлагала несравненно большее вознаграждение, но я, болван, этого не оценил. Странно, но, впервые не получив чаевых, я не огорчился — был уверен, да и вы уверены, что это не проявление жадности, а маленькая месть одинокой женщины. Больше того, спускаясь по лестнице, я почему-то впервые задумался о том, какими жалкими выглядят мои заботы о наваре в сравнении с заботами многих моих клиентов. Я вспомнил, как однажды принес билеты

в квартиру, где стоял гроб, и вокруг сидело множество плачущих людей. Потом выяснилось, что умер муж клиентки, а ей предстояло через несколько дней ехать к больной дочери. Представляете, каково мне было туда являться?

Так что всякое бывало, всякие выпадали деньки. Жизнь-то ведь, она идет полосами... И о человеке нельзя судить однозначно: нет же людей с одними достоинствами или с одними недостатками, согласны?

Доставщиком я проработал почти три года. За это время мы с женой не только залатали все дырки, но и накупили всякого барахла, и квартирка наша стала как игрушка — скопище самых модных вещей. Больше того, мы записались на машину — этот символ независимости, если сказать красиво, и даже запланировали приобрести главный предмет собственности — дачу. Материально мы опередили всех знакомых.

— Мы не мещане, — говорила жена, — просто хотим жить по-человечески, ни в чем не нуждаться.

Теперь, кто бы к нам не заходил, у нас всегда был коньяк, сервелат, фрукты. Один близкий приятель, руководствуясь благими намерениями, уговаривал меня бросить все это и вернуться в отдел. А я тащил его к нам в доставщики.

— Пойми! — убеждал я его. — На окладе ты ждешь зарплаты, а здесь живые деньги. Каждый вечер в руках кругленькая сумма. И жена довольна...

Приятель мотал головой, ухмылялся — мы говорили на разных языках, но расставались дружелюбно, только в душе я считал его дуралеем, а он наверняка таковым считал меня.

Но вскоре все стало меняться. Друзья у нас собирались по-прежнему, но теперь они вели разговоры в основном с женой, общаться со мной им стало неинтересно. Бывало, за весь вечер со мной никто не говорил ни слова, я выпал из их жизни. На меня смотрели как на обслуживающий персонал, да еще всячески подчеркивали это. Они толковали про науку и технику, про свои диссертации, разные открытия, а я сидел, хлопал ушами и думал: «А ведь когда-то это была и моя жизнь, но они ушли вперед, а я все гоняю, как ишак, все подчитываю на бумаге рубли, все выверяю, прикидываю».

Известное дело, отрицательные примеры высвечиваются еще больше примерами положительными. Короче, я стал терзаться, что три года ухлопал зря, что во мне, как бы это

поточнее сказать, происходит разрушение личности, что ли. И это ощущение потери времени впустую не давало мне покоя. Разум требовал забросить все к черту и вновь устроиться инженером, а лучше поступить в НИИ, заняться наукой, но тайный голос нашептывал: «Нет тебе пути назад, ты совершил непоправимую ошибку, мир науки тебе недоступен».

После этих посиделок, поверьте, жизнь становилась невозможной. Я испытывал настоящее чувство страха за будущее. Но это еще не все. В гости особенно часто навещался блондин-гигант, неприятный на вид тип с нагловатым взглядом. Когда-то его привел с собой мой приятель, и с тех пор он зачастил. Он был говорун, каких поискать, трепач с жалкими потугами на юмор. Из его рта прямо текла серебряная струя — это когда он говорил с моей женой, когда же удостаивал двумя-тремя фразами меня, то извергал водопад презрения. Он старался меня поддеть своими «мизерными заработками за серьезную научную деятельность», точно я получал деньги задарма, а не отработывал свое честно. Главным для него было — унижать людей. Что говорить, зловредней типа я не встречал. А перед моей женой он выкаблучивался, как только мог, отпуская тошнотворные комплименты, болтал о своей докторской диссертации, воображал из себя черт-те что; во всем этом трепе так и сквозило желание прославиться, но жена слушала его, разинув рот, ее сердце таяло от восторга. Она почти чокнулась и увивалась вокруг него — противно было смотреть. Это повторялось с разными вариациями при каждом его визите. Их симпатия возростала у меня на глазах, и моему терпению не было границ. И можете себе представить, до этого моя жена была само целомудрие и застенчивость, этакая тихоня с вялым приглашенным темпераментом, а тут вдруг преобразилась — смеется, чуть не захлебывается смехом, лукавит, глазами так и рыскает. И откуда взялась эта энергия?!

Но самое оскорбительное начиналось, когда гости уходили: жена становилась ко мне придирчива и сварлива, шпыняла по каждому пустяку. Чего только я не выслушивал! И что я зануда, каких мало, и показушник несчастный, и то, что ничего не читаю и не хожу с ней в кино.

— У тебя, кроме выпивки, нет других развлечений, — раздраженно язвила она, совершенно забыв, что сама толкнула

меня на «новый» путь, что ее идея легкого обогащения завела меня в тупик, что ради нее я пожертвовал всем и теперь безнадежно отстал от приятелей.

Как-то я высказал ей все это. Она на минуту замолкла и, мне показалось, пристыдилась. Но я ошибся — она замолкла, чтобы собраться с силами и обрушить на меня новый поток оскорблений, а под конец и вообще нанесла жестокий удар по моему самолюбию.

—...Ты всегда был неудачник, — заявила. — Я поняла, ты никогда не напишешь кандидатскую, потому и согласилась на эти билеты. На большее ты не способен.

Вот так все и вышло мне боком. После этого скандала я решил покончить с билетами, но заранее подыскать местечко в НИИ. Только особенно искать не имел времени, а куда ни заходил по пути, все было забито, и незаметно я опять втягивался в свою недостойную, позорную для мыслящего человека, работу. Ясное дело, на душе уже было сверхпаршиво — иногда прямо света не видел от этих дурацких билетов. От постоянных улыбок на моем лице появилась маска с оскалом. Жена говорила, что я улыбаюсь даже во сне и во сне бормочу: «Доброе утро! Добрый день!». Ей-то нравилась моя приветливость. А меня эти улыбочки настораживали — я боялся спянуть. А больше всего огорчало то, что стояло лето, а я ни разу не выбрался на речку, совсем перестал общаться с друзьями-байдарочниками. Мне было не до них, ведь лето — самый разгар работы. Меня окружали новые дружки: водители, штурманы, пешеходы. С ними я вел беседы, выпивал. Вот только старым своим привязанностям я не изменил: как бы ни уставал и как бы ни было поздно — по-прежнему после работы любил пройтись по бульварам, подышать свежим воздухом, сбить темп после дневной беготни.

Однажды выпал мучительный денек. Стояла жарница, и к полудню я проделал изрядный путь, и все по кошмарным дорогам в проездах Волоколамки. Не помню, сколько обжегал адресов, но уж немало, и носился что есть мочи, словно за мной гнались бешеные собаки. А жгучее солнце палило нещадно. Наглотался горячего воздуха, рот пересох, тело взмокло, брюки покрылись пылью, о кедах не говорю — сбил начисто. И все на пустой желудок. В общем, набегался, всего ломало, хоть ложись и подыхай, а предстояло еще разне-

сти с десятков пакетов. Правда, мысленно я прикинул навар, и уже получалось неслыханное везенье.

И вот, что бы вы думали, в этот момент я приношу билеты в квартиру старого приятеля, с которым когда-то заканчивал институт. Он открыл дверь, и у него прямо очки полезли на лоб:

— Вот это встреча! Ты что, переквалифицировался?

Он провел меня в комнату, поставил чайник, а я, измочаленный, опустился на стул, смахнул пот и долго не мог отдышаться.

Мы проболтали больше часа. Я рассказал ему о своей работе, он поморщился, махнул рукой, похвастался, что за это время сделал ценное открытие и сейчас увлечен новым направлением в той области, в которой мы когда-то вместе специализировались и о которой я уже имел смутное представление. Ужас какой-то! Он говорил, а я чувствовал пропасть между нами. Поверите ли, эта деятельность в агентстве сильно отразилась на моем умственном развитии. Я понял, как чудовищно низко пал. «Все, хватит, сыт по горло этими билетами! — окончательно решил я про себя. — Ни дня больше!» Приятель обещал мне помочь устроиться в его НИИ и буквально через неделю сдержал слово.

А тогда, выйдя от него, я запустил все оставшиеся билеты в воздух и сразу почувствовал огромное облегчение, точно вылез из болота. Даже раскаленный воздух показался мне прохладным, я почувствовал себя человеком, понимаете?

Вас интересует, как к этому отнеслась жена? С недоверчивой усмешкой — вот как! А ей ничего другого и не оставалось. Она — дурочка, но поняла, что я озверел...

Ну, а теперь, когда я займел любимое дело и получил должность научного сотрудника, она смотрит на меня... ну нет, конечно, не как на бога, но уважительно, смею вас уверить, так оно и есть. Кстати, в ней проснулся запоздалый комплекс вины, и она отвадила от нашего дома того блондина, своего настойчивого воздыхателя.

Ну, а по вечерам я, как и раньше, люблю пройтись по бульварам, только не чувствую прежней усталости, вернее чувствую, но это какая-то приятная усталость. Такое впечатление, что я заново родился, честное слово.

ТРАВА У НАШЕГО ДОМА

Он был моим самым близким другом в детстве. Мы с ним проводили все дни напролет. С утра обегали наши владения: поляну с небольшим болотцем и пружинящим деревянным настилом через низину, березовый перелесок, овраг, в котором струился ручей, и, наконец, бугор. Мы влетали на бугор и останавливались передохнуть. С бугра открывался прекрасный вид на зеленый луг, по которому проходила железная дорога, и до самого горизонта поднимались и опускались телеграфные провода. Каждое утро по железной дороге проносился скорый; он никогда не останавливался на нашем полустанке, мы и пассажиров не успевали рассмотреть — так, два-три лица, прильнувшие к стеклу, — но все равно их провожали: я махал рукой, а Яшка кивал бородой. Я сильно завидовал тем, кто мчал в поезде, мне тоже хотелось попутешествовать, побывать в разных городах. А Яшка им совсем не завидовал: поезд скроется, и он спокойно пасется на бугре, щиплет сочную траву, время от времени наполняя утреннюю тишину громким блеяньем. Я ложился рядом с Яшкой, обнимал его за шею, делился с ним своими мечтами, и он всегда внимательно смотрел на меня зелеными глазами и слушал, правда, при этом не переставал жевать. Выслушает, качнет головой, как бы говорит: «И куда тебя тянет? Здесь отлично, всего полно. Смотри, сколько ромашек! И чего их не лопаешь?».

В то послевоенное время мы жили в Заволжье, в небольшом поселке, при эвакуированном из Москвы заводе, на котором работал отец. Семья у нас была большая, и, сколько я помню, мы постоянно нуждались. Чтобы расплатиться с долгами, отец с матерью каждую весну покупали месячного поросенка, полгода его откармливали, а к зиме продавали. Но однажды родители вернулись домой с пустыми руками —

на поросят поднялись цены, — а через несколько дней отец принес домой белого козленка. «На худой конец и он сойдет», — сказал.

Козленку было три недели, его тонкие ножки еще разъезжались на полу, он жалобно блеял и мягкими губами теребил занавески — искал мать. Первое время козленок сосал молоко из бутылки с соской и спал с нами, детьми, под тулупом на полу. Бывало, утром вскочит, наступит на руку острыми копытцами и заблеет — просит молока. Потом козленок стал есть все подряд, все, что мы ели, а как только на пригорках зазеленела молодая трава, мне, как старшему, отец поручил выводить его на прогулки.

С этого все и началось. Мы с Яшкой (козленка назвали Яшкой) привязались друг к другу; он ходил за мной, как собачонка, а я доверял ему все свои тайны. Там, на бугре, мы устраивали игры, бегали наперегонки, перескакивали через лужи и коряги, причем вначале Яшка вырывался вперед, но скоро я настигал его, и некоторое время мы неслись рядом, а потом Яшка начинал сдавать. Тогда он резко останавливался и подпрыгивал на одном месте, как бы предлагая новый вариант игры. Здесь уж, естественно, первенство было за ним. Видя, как я неуклюже отрываюсь от земли, Яшка только ухмылялся и взлетал все выше, временами даже зависал в воздухе и искоса посматривал на себя, любуясь своей ловкостью. Под конец этот бахvaleц на радостях брыкался задними ногами и трубил на всю окрестность о своей победе.

Ближе к лету Яшку переселили в пристройку, в которой обычно держали поросенка. К этому времени Яшкина пушистая шерстка превратилась в блестящие завитки, его взгляд стал более осмысленным, а на лбу появились бугорки. Пробивающиеся рожки чесались, и Яшка все время лез ко мне бодаться. Припадал на передние ноги, качал головой — явно вызывал помериться силами. Я становился перед ним на корточки, и мы упирались лбами друг в друга. Побеждали попеременно, и надо отдать Яшке должное: когда он насадал и я кубарем скатывался под уклон бугра, он никогда не подсакивал и не бил сбоку — ждал, пока я поднимусь и приму оборонительную позу. В нем было какое-то врожденное благородство.

Позднее, когда у Яшки появились рожки, случалось, он не рассчитывал свою силу, и тогда мы ссорились. Например, из-

даст предупредительный клич, разбежится, скакнет и летит на меня, наклонив башку. Я, конечно, отпрыгивал в сторону, и Яшка врезался в кусты, но, бывало, я не успевал увернуться, и Яшка больно бил меня в плечо. Тут уж я не выдерживал и тоже поддавал ему как следует.

Долго мы не дулись, Яшка первым подходил, клал голову на мои колени, виновато подергивал хвостом и теребил ботинок копытцем: брось, мол, стоит ли ссориться из-за мелочей, ведь мы друзья! Такой ласковый был козленок.

В полдень я ненадолго оставлял Яшку одного: привязывал его веревку к вбитому в землю колышку и шел домой обедать. С обеда притаскивал ломоть хлеба, картошку, морковь — Яшка все уминал, и мы спускались в поселок.

Прежде всего, подходили к сапожнику дяде Коле; я наблюдал за его работой, а Яшка дожидался капустной кочерыжки, которую дядя Коля всегда припасал для козленка.

Что меня больше всего поражало, так это умение дяди Коли по обуви угадывать наклонности хозяина. Подаст ему какая-нибудь старушка сбитый ботинок, а он посмотрит и скажет:

— Что внучок у вас — футболист?

И старушка сразу закивает:

— Житья от него нету. Отец только на обувь и работает. Вторые за месяц сбил... Да еще штраф за разбитое окно заплатила...

Или принесет какая-нибудь девчонка сандалии, дядя Коля проведет пальцем по стертым носкам и улыбнется:

— Танцовщицей, наверно, хочешь стать?

И девчонка кивнет, опустит глаза и покраснеет. Дядя Коля мог определить, кто ходит прихрамывая, кто косолопит, кто ходит красиво.

Дядя Коля был низкорослым, худощавым, носил очки и при ходьбе сутулился. Он жил в старом доме с обшарпанными стенами, зато его яблоневый сад считался лучшим в поселке. Сад огораживали высокие колья, похожие на гигантские карандаши. У широкой калитки, в которую свободно въезжал грузовик, спал огромный, как медведь, пес Артур. Такие внушительные бастионы и стражу дядя Коля завел вовсе не для охраны фруктов — просто, как многие люди маленького роста, любил все высокое. Под осень мы залезали

в сад, трясли яблони, предварительно выманив Артура на улицу жмыхом — он ужасно его любил.

У Яшки с Артуром были вполне дружеские отношения: заметив козленка, пес вставал, потягивался, приветливо размахивал хвостом, подходил вразвалку и покровительственно лизал Яшку большим шершавым языком. А иногда, в знак высшего расположения, притаскивал козленку обмусоленную кость. Конечно, не обходилось без размолвок. Случалось, Яшка забывался и начинал объедать флоксы около дяди Колиного дома. Тогда Артур скалился и рычал, а Яшка сразу вставал на дыбы.

Дядя Коля всегда мне что-нибудь рассказывал. Чаще всего о том, как он будет жить, когда станет лесником.

— Вот выйду на пенсию, сад оставлю поселчанам, сам с Артуром переберусь на природу. У нас ведь здесь все ж заводской поселок, а я хочу жить поближе к земле, к зверью. Устроюсь куда-нибудь лесником на кордон, построю дом из ветвей и травы и крышу из хвои, буду приручать зверюшек...

Однажды мы с Яшкой подошли к дяде Коле, он кивнул мне, кинул Яшке кочерьжку и стал молча подшивать валенок: прокалывал шилом дырочки и протягивал просмоленную дратву. Подшив подошву, начал пробивать ее деревянными гвоздями, чтобы лучше держалась, когда гвозди разбухнут. С полчаса работал и все молчал. «Что ж такое случилось? — думаю. — Может, обиделся на нас с Яшкой за что?» А дядя Коля починил валенок и посмотрел на меня поверх очков:

— Давай сними-ка ботинки.

— Зачем?

— Подбить надо. Того гляди, пальцы вылезут.

— У меня денег нет, — пробурчал я.

— Снимай, говорю! — нахмурился дядя Коля.

Я нагнулся, стал развязывать шнурки.

Починил дядя Коля мои ботинки, промазал краской, стали ботинки как новенькие. Надел их, а дядя Коля вздохнул:

— Был у меня такой вот сынишка, как ты. Да в войну умер от простуды. Так-то. Да. Все мечтали мы с пацаном податься в лесничество, построить дом из ветвей и крышу из хвои, приручать разных зверюшек...

От дядя Коли мы с Яшкой направлялись к Крокодилехе — так звали тетку Груню за то, что она свои владения от мальчи-

шеских набегов огородила плотным забором и еще установила дополнительный барьер — насажала репейник. В ее палисаднике росло множество цветов: георгины, пионы, гвоздики, табак. Время от времени мы посылали в палисадник бумажных голубей с угрожающими записками, а по воскресеньям, когда тетка Груня уезжала в город, пролезали сквозь дыру в заборе, срывали головки цветов и, играя в войну, раздавали цветы как ордена. Георгин считался орденом Красной Звезды, пион — орденом Александра Невского, гвоздики и колокольчики — разными медалями. Отмечали друг друга щедро: в петлицах наших рубашек красовалось столько наград, что позавидовал бы любой фронтовик. После каждого воскресенья клумбы заметно редели. Обходя кусты, Крокодилиха только вздыхала и качала головой, а мы посмеивались и все больше смелели — забирались в цветник и в будни по вечерам...

Около палисадника мы с Яшкой останавливались, находили лазейку, я срывал несколько бутонов, а Яшка, как бы невзначай, объедал пару георгинов — ему очень нравились эти яркие цветы. Он вообще любил все яркое: изумрудную траву у болотца и ромашки на бугре, красную колонку посреди поселка, из которой всегда лилась струя, точно перекрученная стеклянная веревка. Он подходил к колонке, почесывал об нее бока, наклонялся к деревянному желобу и долго пил прохладную воду, бегущую среди гальки и тины. И красную тесьму Яшка предпочитал обычному холщовому поводку. А когда я раздобыл ему медный колокольчик, он перед всеми задира голову и хвастался ярко-желтым украшением.

Однажды в середине лета, когда Яшка уже сильно подрос, мы с ним пролезли в палисадник Крокодилихи; я стал тянуть какой-то венчик, а Яшка принялся за георгин. Внезапно перед нами возникла Крокодилиха. Яшка сразу сдрейфил и дал стрекача, рассыпая черные горошины, а я от страха онемел, даже не успел спрятать цветок за спину; нагнул голову и жду наказания. Но Крокодилиха неожиданно глубоко вздохнула:

— Что же ты делаешь? Я ж букеты в детский дом отвожу. Детишкам, у которых родители погибли на фронте, — она махнула рукой, подошла к калитке, распахнула ее. — Зови своих дружков. Дорывайте!..

С того дня Крокодилиха снова стала теткой Груней, и хотя калитка в ее палисадник больше не запиралась, никто не со-

рвал ни одного цветка. Даже Яшка обходил палисадник стороной — такой сообразительный был козленок!

На окраине нашего поселка пролегалo шоссе — наполовину асфальтированная, наполовину мощеная дамба. По ту сторону дамбы находилась керосиновая лавка, каморка утильщика и мастерская по ремонту замков, примусов, патефонов и прочего. За мастерской начиналась городская свалка. Ее называли городской, несмотря на то, что город находился в пяти километрах от нашего поселка. Видимо, городские власти рассматривали наш поселок как никчемное место, годное лишь для хлама.

Мы с Яшкой любили ходить по свалке; я собирал старые журналы, разные бракованные детали, Яшка искал в основном огрызки овощей, но если ему попадалось что-нибудь несъедобное, но яркое, сразу звал меня.

После свалки подходили к мастерской и через открытую дверь наблюдали за работой мастера, молодого, вечно небритого мужчины с сиплым голосом. Заметив нас, мастер обычно усмехался и отпускал какую-нибудь дурацкую шуточку, вроде такой:

— Ну что, подковать своего козла привел? Все одно коня из него не сделаешь. Козел — он и есть козел. И толку от него никакого.

После таких слов мы с Яшкой поворачивали и уходили. Не знаю, как Яшка, а я вообще не подходил бы к мастеру, но уж очень хорошая у него была мастерская: на верстаке стояли тиски, на полках лежал слесарный инструмент, в углу виднелся маленький горн с мехами. Я все мечтал, когда вырасту, тоже обзавестись подобной мастерской.

Как-то осенью у моего самодельного самоката треснула петля, а новых нигде не было. Пришлось выпрашивать у матери деньги на ремонт. Мать дала сорок копеек. Пришел я к мастеру, попросил починить петлю. Мастер мрачно посмотрел на меня — он сидел на лавке и паял чайник, — отложил работу и прохрипел:

— Это что, твой второй козел? Ну, давай посмотри... Э-э! Тут варить надо, стручок. Тащи на завод. А как ты думал? — он взглянул на меня. — Но можно и заклепать вообще-то. Заклепать, что ли?

Я кивнул.

— Ладно, посиди на улице, здесь не мешайся.

Через полчаса мастер поставил железную заплатку на трещину и прикрепил ее заклепками.

— Гони рубль, — сказал, толкнув самокат ко мне.

Я протянул монеты и покраснел:

— У меня только сорок копеек.

— Давай, завтра принесешь остальные.

Выкатив самокат, я пересек шоссе и пошел к дому. Помнится, день был пасмурный, с утра накрапывал нудный дождь. «Где же взять шестьдесят копеек? — соображал я. — Матери лучше не заикаться — не даст. Ждать до получки отца долго». И вдруг вспомнил, что в книжном магазине напротив школы букинист покупает книги у населения.

Моя библиотека состояла из трех книг, но у одной не хватало последней страницы, на другой виднелись чернильные пятна, третья — «Остров сокровищ», была в хорошем состоянии, но ее я считал лучшей на свете. Долго я колебался, сдавать ее или не сдавать, потом все же решился. «Накоплю денег, снова куплю», — подумал и отправился в магазин.

Весь тот день Яшка сочувственно посматривал на меня, а когда я ушел в магазин, то и дело выбегал на улицу, озираясь и тревожно блеял — искал меня. Он любил меня по-настоящему и скучал, даже если я ненадолго оставлял его одного. К тому времени Яшка уже вымахал с дяди Колиного Артура, но его сердце не почерствело.

На следующее утро денек был отличный — всюю сверкало солнце. Когда я бежал в мастерскую, в моем кармане гремело пятьдесят пять копеек.

— Вот деньги! — влетев к мастеру, задыхаясь, проговорил я. — Здесь не хватает пятака. Я вам завтра принесу. Мне мать даст на завтрак.

— Какие деньги? — просипел мастер.

— Вы вчера... чинили мой самокат...

— Ну и что?

— Я шестьдесят копеек должен...

— А-а! Это хорошо... Давай беги, купи папирос. И живо сюда!

Около нашего дома росла необыкновенная трава: высокая, упругая, ярко-зеленая, пахучая. Мы с Яшкой любили по вечерам полежать в траве, отдохнуть от дневных дел. Над

нами трепетали бабочки, жужжали мухи, а перед глазами прыгали кузнечики, ползали изумрудные жуки... Я срывал травинки и жевал сочную горьковатую зелень. Яшка к траве только принюхивался, но никогда не щипал — сохранял для красоты. Такой умный был козленок!

На той траве у нашего дома я мечтал побыстрее вырасти, выучиться на инженера и поступить на отцовский завод. И мечтал развести сад, такой же, как у дядя Коли, и цветник, подобный палисаднику тетки Груни, и мастерскую — вроде хибары мастера. И опять я доверял свои мечты Яшке. Уставший за день Яшка слушал меня уже менее внимательно, а под конец вообще закрывал глаза.

К зиме Яшка превратился в могучего козла, с крепкими рогами и роскошной бородой. Характер у Яшки заметно испортился — он стал задиристый, лез ко всем животным в поселке, даже приставал к Артуру и только меня любил по-прежнему.

Бывало, какой-нибудь мальчишка показывал мне кулак. Яшка тут же забегал вперед, выставял рога и бил копытом о землю — давал понять, что не даст меня в обиду.

Пока я был в школе, Яшка сидел в загоне около пристройки и вглядывался в дорогу — ждал меня, чтобы отправиться на бугор. Я тоже скучал по Яшке: болтаться с ним по окрестностям мне было интереснее, чем зубрить разные формулы и спрягать глаголы. Учителя не понимали причин моей рассеянности на занятиях и частенько в дневнике писали родителям, что я просто лентяй. Отец с матерью только вздыхали.

Долго они оттягивали разговор о продаже Яшки. Но однажды вечером сквозь сон я услышал, как мать говорила отцу, что продать Яшку вряд ли удастся — она уже предлагала кое-кому на рынке, — что Яшку придется забить и продавать мясо. Отец пыхтел папиросой и отмалчивался.

Надо сказать, отец был мягким, сентиментальным человеком, любил животных, цветы и грустную музыку. Жизнь крепко побила отца: он рано потерял родителей, с подросткового возраста работал на заводе, на фронте погибли все его друзья; он в одиночку тянул большую семью и жил в захолустье, далеко от родины. В те годы наиболее предприимчивые из эвакуированных уже перебрались в Москву, а отец никуда не ходил и ничего не делал для того, чтобы вернуться на

прежнее местожительство. Он был скромным, даже застенчивым человеком. Мать была гораздо энергичнее. Она часто обвиняла отца в мягкотелости, сама ходила в дирекцию завода и в конце концов добилась своего — отца перевели на работу в Подмоскovie. Но это произошло не скоро.

В тот поздний вечер, когда решалась судьба Яшки, отец сказал матери:

— Давай не будем пока этого делать. Немного денег у нас есть, и я должен еще в одном месте подработать, а попозже, ближе к Новому году... Там видно будет...

Зимой мы с Яшкой по-прежнему обегали наши любимые места и, как и летом, провожали скорые поезда, а с бугра катались по накатанному склону: я на валенках, а Яшка на животе. Ему очень нравился снег. Бывало, даже купался в сугробах — перекатывался с боку на бок, задрал ноги. Как-то мастер увидел его за этим занятием и ухмыльнулся:

— Твой козел совсем спятил. Забивать его пора, а вы с ним цацкаетесь.

После этих слов мы с Яшкой стали обходить мастерскую стороной.

Отец говорил, что, валяясь в снегу, Яшка чистит шерсть, но я-то знал — мой друг просто радовался зиме.

В морозные дни Яшку брали на ночь домой, и мы, как и раньше, спали с ним на полу, в обнимку. Причем, хитрец Яшка все норовил занять лучшее место, у печки, из-за этого мы всегда долго укладывались — то я теснил его, то он меня.

До Нового года мать больше не заговаривала о Яшке, но я не раз замечал, как отец украдкой сидел с моим другом у пристройки, курил папиросу и поглаживал козла.

В середине зимы родители увязли в долгах, а тут еще заболела моя сестра, нужно было хорошее питание, и мать твердо сказала отцу:

— Будь мужчиной! Думаешь, мне Яшку не жалко? Но чем отдавать долги? И чем кормить детей? Их здоровье мне дороже Яшки!

Отец долго молча курил, шмыгал носом, потом глубоко вздохнул и пообещал матери забить Яшку в субботу. Этот разговор я опять услышал случайно и в ту ночь долго не мог уснуть. Жизнь Яшки была в опасности, и я решил убежать с ним из дома.

На следующий день была пятница. Сразу после школы я обвязал вокруг Яшкиной шеи веревку, и мы с ним направились на наш бугор. Ничего не подозревавший Яшка начал, как обычно, носиться, валяться в снегу, лез ко мне бодаться, но я быстро его пристегнул и потащил к железнодорожному полотну... Я задумал отсидеться с Яшкой на ближайшей станции, пока отец с матерью не найдут другой выход расплатиться с долгами.

Мы протопали километра два, как вдруг услышали сзади крик отца, он бежал за нами, махал рукой. Подойдя, отец снял шапку, вытер ладонью взмокшее лицо, закурил, глубоко затаился.

— Понимаешь, — сказал, выпуская дым, — если бы мы с тобой жили вдвоем, мы как-нибудь перебились бы. Но ведь больна твоя сестра. Она не поправится без масла, молока. Да и долгов у нас полно... Яшку придется...

Отец хотел сказать «забить», но у него не повернулся язык.

— Мы с тобой должны быть мужчинами, над нами уже все смеются, — то ли меня, то ли себя уговаривал отец. — Если хочешь, мы заведем собаку, — не очень уверенно добавил отец, прекрасно понимая, что никакая собака не заменит мне Яшки.

Назад мы плелись молча. Яшка все понял — топал упираясь, насупившись. Я тоже еле ковылял и беззвучно ревел.

Утром отец куда-то ушел и вернулся с длинным ножом из напильника. Пока отец затачивал нож на бруске, я зашел в пристройку попрощаться с Яшкой. Он стоял, прижавшись к стене, подрагивал ногами, тревожно сопел и даже отказался от своего любимого лакомства — моркови. Он даже не посмотрел на меня, только покосился и отвернулся — как от предателя.

Когда отец вошел к нему с ножом, он забился в угол и отчаянно заблеял. И вдруг подбежал к отцу и стал лизать ему руки. Отец постоял в растерянности, потом бросил нож и, какой-то обмякший, побрел к дому.

Мать пошла по соседям и вскоре вернулась с мастером. Он согласился убить Яшку не потому, что недолго любил его, а просто мать пообещала ему заплатить. К тому же, у мастера

было охотничье ружье, и мать справедливо решила, что так все кончится быстрее, без всяких мучений для Яшки.

Когда мастер открыл дверь пристройки, Яшка ударил его рогами, вырвался во двор и стал метаться из стороны в сторону. Мастер поймал конец веревки и хотел привязать Яшку к забору, но с большим сильным козлом не так-то легко было справиться.

В конце концов мастер плюнул, бросил веревку, вскинул ружье и стал выжидать, когда Яшка на мгновение остановится. Я отвернулся, заткнул уши... Потом услышал одновременно и выстрел, и рев Яшки. Повернувшись, я увидел, что Яшка лежит на боку с открытыми глазами и неистово дергает копытами. Через секунду он вскочил и, припадая на передние ноги, пробежал несколько метров, разбрызгивая кровь по снегу, потом упал, и его забила дрожь... Эта дрожь становилась все мельче, пока в Яшкиных глазах окончательно не угасла жизнь.

Моего Яшку убили на месте, где летом мы любили полежать, отдохнуть от наших будничных дел; на месте, где всегда росла высокая ярко-зеленая трава. Я забыл сказать еще об одном свойстве той травы: даже в самые жаркие дни она оставалась влажной, и какие бы мы с Яшкой ни были разгоряченные, какие бы обиды или радости не переполняли нас, когда мы ложились в траву, становилось прохладно и спокойно.

ЗАКРОЙ ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ, или ПРИВЕТ С КЛАДБИЩА!

Этот старый брюзга всем действовал на нервы, один его вид вызывал отвращение: вечно небритый, мрачный, старомодный, в бессменном залатанном пиджаке, с рваным зонтом — мамыши им пугали детей... Ему до всего было дело, он постоянно искал предлог к чему либо придраться, в оскорбительной форме отчитывал за малейший промах: и дворник плохо убрал мусор во дворе, и автомобилисты слишком чадят гарью, и подростки не в том месте гоняют в футбол, да еще разорались, и молодежь запустила не ту музыку... И не там, где надо, выгуливают собак, и вообще все дураки, живут не по правилам, все перевернули вверх дном, с ног на голову поставили. Этот горячий старикан в пределах двора издавал ошеломляющие указы, направо и налево сыпал ругательства, чуть ли не кулаками заставлял жить благочестиво; и никто не мог противостоять его гневу, но не потому что его боялись, просто не принимали всерьез.

А между тем, в его злости была повышенная требовательность и доля справедливой правды.

— Ты, Алексеич, совершаешь ошибку, так сказать... Живешь прошлым, — мягко говорил его закадычный друг Петрович («последний романтик», «кремлевский мечтатель», как ехидно называл его Алексеич. В свою очередь Петрович, посмеиваясь, называл друга «последний пират» и «дотошный аналитик»). Первый старик был сухой, сутулый, непоседливый и вспыльчивый, второй — тучный, неповоротливый меланхолик).

— Большую ошибку, — очень мягко говорил Петрович. — Пойми, жизнь ушла далеко вперед, а мы с тобой остались позади. Ноль эмоций! Забудь, как было. Так сказать, закрой дверь в прошлое, его не вернешь, оно пересыпано нафталином.

— Все было по-людски, а сейчас что? Разбойничье время! Глаза б мои не видели, мать их так!.. — дальше Алексеич с особой выразительностью изрекал отборные ругательства, морщины на его лице превращались в борозды и трещины, подбородок вытягивался, спина распрямлялась.

— Не спорю, было больше душевности и порядка, больше эмоций, — когда Петрович волновался, его лысина покрывалась красными пятнами; в спокойном состоянии его роскошная лысина, в обрамлении седых волос, светилась как подсолнух.

— То-то и оно. Вспомни, какие мы были, когда начинали. А сейчас молодежь наглая, никакого уважения к старшим. А им еще рано с нами тягаться, им еще надо ого как побороться, чтобы сделать столько полезного, сколько сделали мы, не так, скажешь?

— Справедливо говоришь, — пыхтел Петрович. — Надо бы с детства прививать нравственные понятия. С твоего разрешения приведу один случай. Я здесь одних пацанов встретил у речки. Слоняются без дела, стреляют покурить. Я им говорю: «Что ж вы, ребятки, дело себе не придумаете? Построили бы плот, сплавали по речке до Оки, заночевали у костра, так сказать, потом все описали б в дневнике». А они посмотрели на меня, как на дурака, как на выжившего из ума. Ноль эмоций! Присвистнули и убежали...

— Ясное дело. Плот, дневник — ишь чего захотел! Романтик! Да, у них план на ночь — что-нибудь своровать! Они уже все с гнильцой!.. Разбаловался народ. Грабят, убивают средь бела дня. А почему? Власть безмозглая, хилая. Поставили бы к стенке парочку, и другим было б неповадно.

Дальше Алексеич переключался на «власть имущих» и давал беспощадные сокрушительные оценки их действиям.

—...Они все карьеристы, безнравственные прощелыги. Кричат: «Общие интересы должны взять верх над личными», кричат об общем деле, объединяющей идее, а втихую обстрипывают свои делишки, тянут деньги из общего горшка, мать их так... Себе-то они уже построили коммунизм, набатарбанили всего, а нам дали в зубы мизерную пенсию, и крутись, как хочешь.

— Рано или поздно к власти придут умные люди, — говорил Петрович. — И начнем процветать, а душа понесется в рай!

— Что ты талдычишь, кремлевский мечтатель! Ни черта хорошего не будет. Если хоть малость и будет, плюнешь мне в глаза.

Петрович пытался успокоить друга, говорил о «всеобщем великом законе», о том, что все идет по кругу и вскоре встанет на свои места. Пока «дотошный аналитик» и «последний пират» как бы раскручивал маховик двигателя пиратского судна, «кремлевский мечтатель» и «последний романтик» стоял на капитанском мостике и направлял корабль в спокойное русло.

—...Не сгущай, Алексеич, не ворчи. Где восторг души? И не забывай, не только нас кое-что раздражает, но и мы, так сказать, кого-то того, раздражаем... Ты старайся видеть светлое, радостное. Посмотри, взглядишь внимательней, оно, радостное, есть. И погодка веселая, радостная... Каждое время имеет свои радости, свои песни, так сказать. Я, к примеру, начал писать стихи. Это моя радость, душа несется в рай!..

Некоторое время Алексеич молчал, отходил от своего разрушительного настроения, только сопел и кашлял, потом изрекал:

— Ты что, совсем того... спятил? Вот ястребок! Как был романтик, так и остался. Надоели твои байки. Посмотри на себя, ты уже покрылся пятнами, жировиками, бородавками — это ж привет с кладбища, а он стихи!

— Ноль эмоций! А я не чувствую себя старым, — спокойно парировал Петрович. — Мне и на вид пятьдесят, а на самом деле стукнуло — сам знаешь сколько... Так сказать, старость наступает, когда перестаешь удивляться, а я не перестаю. И на женщин обращаю внимание, и, по-моему, еще кое-что могу, так сказать.

Это было поэтическое преувеличение, но Алексеич резко возмущался, точно сразу покрывался колючками.

— Ладно врать-то, болтун! Жуткий болтун!

— Клянусь своей лысиной, жадно наблюдаю за женщинами!

После клятв Петровича перед глазами расцветало поле подсолнухов, в отличие от клятв Алексеича, типа «Клянусь своей смертью!» — после которых перед глазами вставали горы мертвецов.

— Я тебе не верю и никогда не верил, — сурово говорил Алексеич, но все-таки откровения друга задевали его, он доставал папиросы, закуривал.

— И знаешь, что я заметил? — оживленно продолжал Петрович, не обращая внимания на суровые слова друга. — С годами все женщины кажутся красивыми. Но вот в чем дело — раньше мог спать с любой, а теперь только по любви.

Вот так плавно Петрович переводил разговор с политики на женщин, выводил корабль из моря житейских бурь в спокойное романтическое море; как у многих натур творческого склада, женщины были его излюбленной темой. Больше того, он еще надеялся жениться.

— Кому ты, пьющий, нужен? — хмыкал на это Алексеич. — Только бабе, которая тоже пьет. А такая тебе не нужна.

Жена Петровича умерла несколько лет назад; это была высокая, худая, крикливая старуха, соседи звали ее «скандалистка» и «нахалка», и всячески сочувствовали Петровичу, особенно когда он отпраивался в магазин со списком жены «что и сколько купить», а потом отчитывался до копейки. Разумеется, мудрый Петрович с полочки оставлял себе некоторую сумму для выпивок с Алексеичем, а дома делал заготовки — прятал четвертинки на антресоли. Случалось, жена чересчур наседала на Петровича: пилила, что его «ничем не проймешь», что он «дубина», что от него несет вином и табаком, и потому пусть идет спать в другую комнату. Ради мира в семье Петрович отшучивался, звал собаку и шел с ней спать на раскладушку — пес любил хозяина в любом состоянии и считал за счастье поспать с ним. Тем не менее, когда Петровича мучили почки, боли в пояснице, жена ставила ему банки и горчичники, делала припарки и массаж, конечно, при этом пилила его с удвоенной силой.

В память о жене у Петровича осталось несколько фотографий; когда-то супруги были запечатлены вместе, но однажды, разгорячившись, жена отрезала Петровича (в горячке она делала недальновидные ходы), правда, на снимках кое-где его рука осталась на ее плече, бедре...

Жена Алексеича имела смехотворную, карикатурную фигуру, основной частью ее тела был бюст, огромный бюст, который его владелица несла с невероятной гордостью, со стороны казалось — она идет сама по себе, а бюст плывет отдельно. Этот бюст и сразил наповал сурового мужчину, демобилизованного Алексеича. Несмотря на полноту и столь тяжелую приметность, жена ходила довольно легко, почти

как пушинка, и отличалась веселым характером, во всяком случае никогда не перечила своему грозному мужу, стойко переносила его приступы агрессивности — последствия контузии на войне, и с улыбкой относилась к его выпивкам с Петровичем.

— Все мужчины как дети, их надо опекать, — говорила она. — Я думаю, раз мужчина пьет, значит, здоровье позволяет.

— Женщине не надо думать. Главное в семье что? Чтоб женщина не мешала, — бурчал Алексеич, давая понять, что держит власть в семье крепко.

Емужена не только не мешала, но и служила громоотводом, на ней Алексеич разряжал всю накопленную за день злость; жена расплачивалась за его «загубленную молодость», за то, что «сидит у него на шее», за дураков на работе, и дураков во дворе, и дураков в правительстве, которые устроили «сволочную жизнь». Выпивши, Алексеич прямо рычал от ярости, ходил по квартире, все сокрушая на своем пути, с ненасытной жестокостью бил кулаком по столу, пинал стулья — его власть переходила в произвол; бывало, распространял свою злость по всему дому: она, как липкая смола, стояла в воздухе. Пьяный Алексеич бесновался, вел себя как деспот, при этом весь дом гудел от его ругательств. И жена все терпела, даже с некоторым юмором подсчитывала количество ругательств, а на утро предъявляла супругу счет: одно ругательство — один рубль; обычно к концу месяца у нее набиралась приличная сумма. Сын Алексеича, закончив школу, уехал на север, «убежал от самодура отца», как говорили соседи.

С женой Алексеич прожил двадцать лет, после чего развелся; Петровичу объяснил свое решение крайне бестолково: «Надоела безмолвная тумба, надоело вдалбливать что к чему, надоело все. Хватит!»

— Ну, если умерли отношения, то чего копать в причинах, они все равно умерли, душа понеслась в рай! — вздохнул Петрович.

Вторично Алексеич женился на еще более толстой и грузной женщине, но характер у нее был под стать мужу; она не захотела держать дом «в строжайшем порядке», не захотела, чтобы ее «насильно делали счастливой», не захотела «видеть пьяную рожу», да еще постоянно унижала мужское достоин-

ство Алексеича — у них ссоры доходили до драк. Через два года они, вдрызг разругавшись, подали на развод.

...Как только Петрович уводил разговор в спокойное романтическое море, да еще вспоминал героическую пору своей жизни, начинал хвастаться любовными победами в молодости, Алексеич вскипал:

— Перестань, старый черт! Послушаешь тебя, так все бабы бросались тебе на шею, и ты сразу тащил их в постель. Не хочу о них говорить, все они стервы... Меня вот сейчас обхаживает соседка, то супчик принесет, то готова постирать. Была бы рада, если б меня болезни скрутили, перебралась бы ко мне, ухаживала, а потом, смотришь, вообще осталась, знаю я их. Им только и надо — деньги, да мужское начало, грот-мачта до колена.

— Осмелюсь тебе напомнить, — улыбался Петрович, — когда ты был женатый, ходил, как огурчик и бессонницей не страдал, а сейчас, так сказать, имеешь отталкивающую внешность, опускаешься, ходишь небритый, пиджак не можешь новый приобрести. Можно подумать, так поиздержался (Сам Петрович достаточно следил за своей внешностью, ему было безразлично, как он выглядит в глазах знакомых)...

— Чего ты мелешь?! Опускаешься! На себя посмотри, — Алексеич швырял папиросу. — Да в своей квартире я поддерживаю чистоту, у меня полный порядок, все вещи на месте, не то, что было при бабах, — завалят все своими шмотками, все вещи не там лежат, где надо.

— Позволю себе с тобой, Алексеич, не согласиться, пытаюсь объяснить еще раз. Мы с тобой одинокие старики, так? Это против природы. Где восторг души?! А все должно быть по природе. Счастье в семье, детях, внуках...

— Доживать надо в одиночестве, — говорил Алексеич — чтоб спокойно умереть, не досаждая родственникам.

— Нет, доживать в одиночестве — неприятная штука. И завтракаешь, и ужинаешь в одиночестве, да все кое-как, урывками, и не с кем поделиться мыслями и прочее...

— Иди в богадельню, там и обеды, и ужины, там это даже постоянно в центре внимания, как в санатории, противно. Там есть и потрепаться с кем, иди! А через неделю взвоешь и очутишься от скуки. И потом, чего ты, Петрович, все нажимаешь на жратву, печешься о своем здоровье? Бессмертным, что

ли хочешь быть? Я вон притащил мешок фасоли и всю зиму ел одну фасоль. А ты вообще многовато рубаешь, смотри, как тебя разнесло. Я как-то представил, что ты на моих похоронах набиваешь себя, сразу решил не умирать, хе!

Довольный своей глобальной проницательностью, Алексеич снова доставал папиросы (в ответственные моменты он всегда закуривал; Петрович курил только после обильной выпивки).

— Я ем не больше, чем ты, — обижался Петрович (как многие старики, он был крайне обидчив). — А моя полнота — это больные почки, да и весь организм барахлит. Покалывает сердце, не могу спать на левом боку, весной и осенью скручивает радикулит... Вчера вышел на кухню, а зачем забыл. Стою, никак не могу вспомнить. Тогда вернулся в комнату, увидел папиросы, вспомнил — пошел за спичками. Это уже склероз. Ноль эмоций! Да, что там! Ведь и тебя мучает контузия, нападает бессонница — стариковский набор болячек, так сказать. Но поглотаешь таблетки, и вроде отпускает, верно? А вот как быть, когда болезни прищучат по-настоящему, кто подаст стакан воды?

— Сам доползу, — мрачно бросал Алексеич. — Зато хоть дома нет нервотрепки.

— Сейчас, может, и доползешь, а потом? Время-то быстрое, не хуже меня знаешь.

— Когда потом? Сколько ты жить собираешься? Забрось свои бредовые планы о женитьбе, кремлевский мечтатель. По скандалам скучаешь? Забыл свою скандалистку? Грех о покойнице так говорить, но это ж факт.

Петрович отдувался, пыхтел, вытирал лысину.

— Характер у нее был сложноватый, но понимаешь, мы вместе много пережили, и это нас сблизило, так сказать, привязало друг к другу, но ее душа понеслась в рай!..

— Брось! Вспомни моих краль. Да если б я свалился, они перешагнули б через меня и завели б нового мужика... Жена нужна только для одного — чтоб было с кем поругаться. А дети, кстати, чтоб кого лупить... Я своего балбеса в свое время мало лупил. Вон прошло сколько времени, а отцу прислал всего два письма. А что стоит черкнуть пару слов: «Как отец сам-то? Каково на душе?». Он взял только плохое и от матери, и от меня... Разведка донесла — матери все ж пишет каж-

дый месяц, — что-то вроде боли и горечи появлялось в голосе Алексеича, он шмыгал носом, нервно покашливал, но тут же брал себя в руки. — Все они эгоисты. Жизнь избаловала, время такое поганое. Когда об этом думаю, у меня болит сердце.

— А моя дочь частенько пишет, — растягивая слова, говорил Петрович. — Прислала фотографию внука, хороший такой мальчуган. Да, ты ж его видел, когда они в позапрошлом году приезжали... Мой зять-то военный, вот и мотаются они по стране, так сказать, не имеют своего угла. Ноль эмоций!

Приблизительно так, с небольшими вариациями, протекали беседы двух стариков с большим жизненным опытом, но временами их разговор напоминал пререкания состарившихся детей. Разумеется, эти беседы проходили за бутылкой водки, поочередно то у «пирата», то у «романтика». Как правило, одной бутылкой не обходились и, если магазины уже были закрыты, покупали водку у таксистов.

По утрам, после дружеской попойки, они ловили свой стариковский кайф: пили холодное пиво с селедкой, куривали где-нибудь в холодке, где обдувал ветерок. Днем перезванивались по телефону, и, если один чувствовал недомогание, другой приходил, массировал предплечья, поясницу, и тогда недомогавший ловил дневной кайф. На исходе дня, перед выпивкой, у каждого был свой вечерний кайф. Алексеич выходил на балкон «подышать вечерним воздухом», но, дотошно изучив обстановку во дворе, заводился и встречался с другом уже прилично взвинченным, точно побывал в аду. Петрович по вечерам, с сияющим благодушием на лице, прохаживался по улицам, вежливо раскланивался со знакомыми, улыбался женщинам и обычно на встречу с Алексеичем возвращался в приподнятом настроении, словно получил билет в рай. Но иногда Петровичу казалось, что «где-то происходят интереснейшие события», и он отправлялся в бесцельные поездки в автобусе и на метро, и тогда очень быстро замечал, что он самый старый в транспорте, что вокруг молодой мир, красота и радость, люди с максимальной полнотой используют время, а он потерял привычные ориентиры, его система ценностей распалась, у него нет будущего. Всегдашний оптимизм покидал Петровича.

— Мое время тихо умирает, — усмехался он. — Я просто-напросто прозябаю, даже не могу найти новую жену. Но может это возрастной кризис, он пройдет, и наступит восторг души?!

После таких грустных поездок на встречу с другом Петрович являлся потухший и серый, словно увядший подсолнух, и когда Алексей «полыхал», его реплики носили сдавленный характер. Но за второй бутылкой Петрович непременно оживал. Собственно, и Алексеич за второй бутылкой уже не «полыхал»; порядком размякший, он ударялся в воспоминания — перед ним вставали погибшие на фронте друзья; Петрович в свою очередь вспоминал своих боевых товарищей. Эти воспоминания для обоих были слишком властными, они сжимали сердце, вызывали слезы; из того времени ничто не ушло — все осталось в памяти.

Позднее Алексеич углублялся в еще более далекие дебри отправлялся за воспоминаниями в довоенное время — как давно погибший мир вспоминал продукты и напитки, которых теперь в магазинах и не увидишь, добротную мебель, а не «фанеровки», изделия из настоящей кожи и хлопка, а не синтетику.

— Да, много хорошего и радостного было в той поре, — Петрович припоминал парады спортсменов, танцы под патефон во дворе и под духовой оркестр в Парке культуры и отдыха...

Старики доставали пожелтевшие фотографии, их снова тянуло к давним знакомым, с которыми когда-то общались; Алексеич готов был прямо сейчас броситься на их розыски, обзванивать, писать письма, хотел вернуть прошлое, но Петрович его останавливал, говорил, что по слухам, одни из тех знакомых умерли, другие погибли во время войны, третьи переехали куда-то, четвертые так изменились, что с ними и встречаться не стоит.

—...Тут одного встретил, он стал такой важный. Ноль эмоций! Разговор не получился... Я все размышляю, интересно, как люди будут жить через двадцать-тридцать лет? Может, отношения между людьми, так сказать, бескорыстная дружба, снова выйдет на первый план, душа понесется в рай?! Ведь добром заражаешься быстрее, чем злом...

— Так, как было, уже не будет, — категорично говорил Алексеич. — За нами, нам на смену идет мелкий народ. Клянусь своей смертью, одна мелкота! Все умные, все знают, но знают-то понаслышке, да из газет, а мы-то по опыту... И думать не хочу, что будет, когда нас не станет... Здесь один моло-

дец мне, знаешь что сказал? «А чего вы воевали-то! Если б не Сталин, и войны бы не было. И вообще, на кой хрен делали революцию, строили коммунизм? При царе жилось лучше». Видал, мать его так!.. Получается, мы прожили зря.

— Все сгорело, костры угасли, золу разметал ветер, — поэтично говорил Петрович и вздыхал. — Да, в нашем возрасте опасно предаваться размышлениям, ничего хорошего в голову не приходит, почему я и говорю, надо закрыть дверь в прошлое, чтоб не расстраиваться. Ноль эмоций!

Среди фотографий была одна, особенно дорогая старикам; на ней они, совсем молодые вихрастые пареньки, сидели на скамье обнявшись, руки лежали на плечах друг друга, оба смотрели в объектив и улыбались; тогда они, вчерашние школьники из провинции, приехали «попытать счастья в столице». Глядя на эту фотографию, и Алексеичу, и Петровичу было ясно, что они знакомы не двадцать, не тридцать и даже не сорок лет и что им суждено до самого конца оставаться вместе.

— Все то было мальчишество, — усмехался Алексеич, имея в виду тогдашние их планы. — Жизнь круто все изменила.

— До возраста Христа все мальчишество, да, собственно, и после тоже, — философски изрекал Петрович. — Это только война, так сказать, внесла свои коррективы, сделала взрослыми.

— Это точно, — кивал Алексеич. — Возьми сейчас, наш последний отрезок жизни, все вернулось к изначальной точке, к тому, с чего мы начинали: опять одни, обедаем в дешевых забегаловках, все имели и все растеряли... скоро дадим дуба, и никто не вспомнит.

— Смотри веселей! Дети, внуки вспомнят, — откликнулся Петрович. — Я здесь написал стихи об этом. Вначале думал, так сказать, для внутреннего пользования, а потом подумал: пусть и другие читают, и послал стихи в журналы...

— А-а! — отмахивался Алексеич. — Я вот что... иногда закрываю глаза и вижу себя молодым, все еще впереди, как будто то, что было, — сон. И ведь было всего немало, а промелькнуло, как сон...

— Бесспорно, жизнь оказалась намного короче, чем мы предполагали, но, ничего, кое-что еще есть впереди, — улыбался неунывающий Петрович.

Старики расходились в полночь, и тот, у кого выпивали, по заведенному еще в молодости порядку, провожал друга до полпути к дому (именно с молодости они и выпивали, с перерывами на известные события; правда, в молодости пили лучшие напитки, но удар по-прежнему умели держать, то есть не так пьянели, как современные собутыльники).

Вторую половину пути каждый проходил по-своему. Алексеич шел тяжело, словно нес на плечах всю тяжесть мира, разговаривал сам с собой, бичевал себя, что немногого достиг в жизни, не полностью реализовал свои возможности, планировал, как бы подостойней встретить смерть. Случалось, осаживал подгулявших молодых людей, бренчавших на гитаре; чаще всего ему вслед смеялись, но иногда кричали что-нибудь такое:

— Не канючь, папаша! Умирать пора, папаша!

— Молокососы, мать вашу так, я вам покажу! — сыпал угрозы Алексеич. — Еще на горшках сидели, когда я!.. — он снова заводился, как и до выпивки.

Что касается Петровича, он, подходя к дому, разговаривал с бездомными животными и деревьями, сочинял стихи, пытался их читать случайным полуночным женщинам, но они почему-то от него шарахались.

Дома, страдая от бессонницы, Алексеич беспрерывно курил, кашлял, отхаркивался и ворчал на бывших жен, которые ему «отравили лучшие годы», при этом шаркал из угла в угол, задевая стол, стулья, перекладывал вещи с места на место, роняя то одно, то другое — соседи снизу не раз стучали ему по батарее. Алексеич уже давно приготовился распрощаться с жизнью: продал лишние вещи, привел в порядок фотографии, письма, составил завещание «неблагодарному» сыну; жен в завещании не упомянул... Засыпал Алексеич только под утро; во сне стонал, хрипел, кашлял, выкрикивал какие-то команды...

Вернувшись домой, Петрович подходил к зеркалу, видел опухшие красные глаза, дряблую кожу... Отмахнувшись от своего отражения, закуривал, тяжело опускался в кресло; душевная усталость и невеселые предчувствия охватывали его. Он и раньше плохо переносил одиночество, особенно в праздники, после того, как они с Алексеичем разбрелись по домам, а теперь, оставаясь наедине с самим собой, испытывал что-то вроде страха.

— Плохой симптом, если женщины покидают мужчину, — бормотал он. — Значит, я им уже неинтересен... Неужели мое время прошло, и впереди пустота?!

Петрович закрывал глаза, и перед ним вставала тихая, нежная женщина с чувствительным сердцем; она заботилась о нем, выслушивала, утешала, готовила его любимый омлет с луком... и, конечно, поддерживала его стремления. А стремления у него были нешуточные: издать сборник стихов, занять участок с летним домиком, разводить цветы... Он так привык к своей мечте, что вполне зримо проживал вторую жизнь, и эта воображаемая жизнь была намного прекрасней настоящей жизни. Последние годы он и спал с женщиной-мечтой, закопавшись носом в ее волосы, прислушиваясь к трепету ее чувствительного сердца.

Время шло, и ничего не менялось в образе жизни стариков, но сами они менялись в худшую сторону: Алексеич стал ощущать боли в желудке, у Петровича появилась одышка; оба во всю разговаривали сами с собой, а встречаясь по вечерам, выбирали ослабленный вариант выпивки: вместо водки покупали крепленые вина и, как правило, обходились одной бутылкой, то есть делали поправку на возможности организма.

— Тяжело стало по ночам, — оправдываясь, говорил Петрович другу. — Ноль эмоций.

— Да и накладно, — соглашался Алексеич. — Надо бы вообще переключиться на самогонку.

В какой-то момент Петрович заметил, что его друг изменился и в другую сторону: стал меньше «полахать», не так бурно, как раньше, реагировал на «непорядок» во дворе и даже последним постановлениям «власть имущих» оказывал вялое сопротивление. Как-то незаметно воинствующий «пират» превращался в образцового матроса. «Устал воевать», — решил про себя Петрович, но это было только началом перерождения Алексеича. Вскоре он прибарахлился — купил новый пиджак, с утра ходил выбритый до синевы, ни с того ни с сего с душевным подъемом поведал другу, что по утрам делает гимнастику, обливается, и, наконец, однажды в пивной просто-напросто ошарашил Петровича, спросив, с некоторой долей легкомыслия, «а не жениться ли ему на соседке, которая приносит супчик?». Да еще объяснил:

— ...Понимаешь, без женщины как-то тупеешь.

— Хм! — скептически покачал головой Петрович. — Ты похож на жениха не больше, чем я на Пушкина.

— Скажу тебе больше, — неторопливо, прочувственно произнес Алексеич. — Скоро месяц, как она живет у меня.

Это уже Петрович воспринял как личное оскорбление. Он изменился в лице, задышал прерывисто.

— Ты скверный товарищ. Ноль эмоций! Решаешь, так сказать, важный вопрос, не посоветовавшись, ничего не спросив, — его возмущение было слишком велико, чтобы продолжать свою мысль.

— Подумаешь, событие! — хмыкнул Алексеич. — А чего тебя это так заело, Петрович? Нет, чтобы от души порадоваться за друга. Чего злишься-то, заводишься по пустякам? Брось! Другьям надо многое прощать. Я заметил, ты вообще стал что-то легковозбудимый.

Он попал в точку — «романтик», действительно, все больше превращался в скептика. Несоответствие мечты и реальности ставило его в тупик, заставляло нервничать; он замечал, что с каждым днем катастрофически уменьшаются его шансы встретить «тихую, нежную» подругу жизни. А тут еще пришли отказы из журналов, куда он посылал свои стихи... С Алексеичем он еще хорохорился, говорил о «домишке на природе», где он с «тихой женой» будет разводить «нежные цветы», говорил о повести про «стариков с молодым духом», которую непременно напишет, но, возвращаясь в свою холостяцкую квартиру, сникал.

Теперь старики встречались реже, правда, созванивались ежедневно. Иногда Алексеич бодро кричал в трубку:

— Ну, как ты еще жив, старый хрыч? Заходи, моя половина обед сварганила. Приходи, поешь, как следует. Горючее у меня теперь всегда в шкафу стоит.

Во время обеда Алексеич подбадривал друга:

— Не вешай нос! Есть средство от тоски — вспомни, кому еще хуже, сразу полегчает... И что ты никак не можешь найти бабу? Вокруг полно добрых и... красивых баб. Нерасторопный ты, Петрович, какой-то.

По пути к дому Петрович чувствовал жгучую зависть к счастью друга. Входя в свой двор, он в легкой форме упрекал дворника за халатность, за то, что тот небрежно относится к своим обязанностям: в гололед не посыпает песком троту-

ар, не думает о последствиях; автомобилистам делал мягкое замечание, что «двор все же не ремонтная мастерская, и от стука у некоторых разламывается голова»...

...Петрович умер внезапно от инфаркта; будучи выпивши, упал на замшелых ступенях своего подъезда. Его душа, вне всяких сомнений, унеслась в рай. После похорон Алексеич сказал жене:

— Он был крайне благородный человек... Не все его устремления осуществились, но он хоть пытался что-то сделать, сделать жизнь достойной, а другие и не пытаются.

Алексеич совершенно забыл, что Петрович был всего лишь «последним романтиком», «кремлевским мечтателем», а перед смертью и вовсе превратился в скептика и ворчуна, но почему-то в памяти друг остался неисправимым оптимистом, неким борцом за лучшее будущее, который часть своей заразной энергии передавал другим, в том числе и ему, Алексеичу.

Через год дом, где жил Алексеич с женой, поставили на капитальный ремонт, и жильцам предоставили квартиры в новом районе. В новом дворе Алексеичу нравилось абсолютно все: клумба и скамьи, где играли дети, а молодые мамы занимались вязаньем, площадка, куда загоняли свои легковушки автомобилисты, пузырящееся на ветру белье у бойлерной, огороженная кирпичом помойка; одно у него вызывало неприязнь — пенсионеры-доминошники, которые целыми днями стучали костяшками, при этом, как сычи, осматривали двор и все и всех поносили. Как-то Алексеич услышал и в свой адрес нелестные слова, что-то вроде:

— Молодится, под руку ходит со своей фифой

Алексеич подошел к доминошникам, усмехнулся:

—...Эх, вы! Дожили до седых волос; небось, хлебнули немало, а ничего не поняли в жизни. Вывод не сделали, что надо закрыть дверь в прошлое!

А дома жене сказал:

— Желчные люди, законсервировались, не смотрят вперед. Вот Петрович... он всегда... он был лучше всех, — Алексеич отвернулся, сглотнул горький комок.

И жена, в знак полного, безмерного согласия, молчаливо обняла Алексеича. Она была тихая, нежная, с чувствительным сердцем, а внешне намного полнее его предыдущих жен, такая пышная громадина. Алексеич признавал только таких.

В ГОРАХ ИДУТ ДОЖДИ

В двадцать лет в моей голове гулял приличный ветер; не ветер странствий, хотя и этот иногда появлялся, и появлялись другие ветры, например, ветер воображения — что-то вроде порыва к творчеству, но в основном гулял охламонский ветер, как говорила моя подружка. И ветер странствий, и другие ветры были даже не ветрами, а так — легкими дуновеньями; они быстро стихали, а охламонский ветер дул непрерывно и мощно. Приятели учились в институтах, а я никак не мог себя найти, прыгал с одной работы на другую: мне было все равно, что делать, лишь бы платили деньги, но и с ними я расставался чересчур легко, попросту транжирил направо и налево; короче, бездумно проводил время, а точнее — гробил бесценные годы.

Временами охламонский ветер достигал ураганной силы, и я совершал глупости немалого порядка. Взять хотя бы увлечение фабричной девчонкой, той самой, которая классифицировала мой ветер. И что я завелся, сам не знаю. Обыкновенная, в общем-то, девчонка, каких полно. Ничего особенно в ней не было. Больше того, она имела неважнецкий воинственный характер, любила командовать и говорила как-то по-армейски: вместо «послушай меня» — «посмотри на меня». Настоящий офицер в юбке! Частенько шпыняла меня за каждый промах, говорила, что мой ветер вырвался наружу, что я и внешне похож на охламона и что это сходство с каждым днем увеличивается.

Вначале я в себе ничего подобного не замечал. По моим понятиям, охламоном являлся непутевый, безалаберный парень, а я все-таки кое-где работал. Что она имела в виду, трудно сказать, может, не знала значение этого слова, может, просто таким образом подогревала мои чувства к себе.

Так или иначе, но она заронила в меня зерна сомнения: поглядывая в зеркало, я и в самом деле стал находить у себя какие-то охладомские черты.

Она была старше меня на два года, у себя на фабрике считалась «лидером» и потому сразу захватила инициативу в наших отношениях. И объявила мне войну — решила меня переделать; она наступала, а я оборонялся. Ясное дело, были и перемирия, не без этого, но в основном шла война, и она постоянно побеждала, то есть я все делал, как она говорила, и ходил за ней, будто пленный, которого ведут в рабство.

А уж сколько я поджидал ее после работы, и говорить стыдно. Все лето, словно в полусне, проторчал у фабрики, в общей сложности часов триста, не меньше. За это время мог бы осилить не одно собрание сочинений или выучить какой-нибудь язык. Где там! Стоял на вахте, как часовой.

Ради этой девчонки я забросил очередную работу, и в сентябре, когда она пошла в отпуск, в моей голове подул ветер странствий, я предложил ей махнуть на неделю в Крым. До этого и она, и я видели море только на картинах, а о некоторой экзотике, вроде магнолий, инжира, и вовсе не слышали. Денег у нас было в обрез, но зато мы имели палатку, а палатка — лучшее жилье для странствующей молодежи. Всякие дачи привязывают к месту, а палатку ставишь, где вздумается, хоть в парке на газоне. Где понравилось, там и ставишь. И ни от кого не зависишь, и все вокруг твое: деревья, часть пляжа, скала. Надоел пейзаж, находишь другой.

В те времена, когда мы отправились в Крым, палатки разрешалось ставить по всему побережью. Конечно, пограничникам, как всегда, всюду мерещились шпионы, но они еще отличали неорганизованных туристов от иностранцев. А милиция еще занималась своим непосредственным делом — ловила преступников, а не штрафовала за отдых без прописки и не измывалась над теми, кто носил шорты, бикини, — что стала делать, когда поняла, что с преступностью ей не справиться. В общем, палатки разбивались в пограничной зоне, и были даже целые палаточные городки с «кухнями» и «клубами», где по вечерам играли на гитарах и пели. Эти городки существенно отличались от таборов «хиппи» и стоянок автотуристов, которые появились позднее. В таборах тусовались бездельники всех мастей, из тех, кто выражает протест

всему и вся, но, само собой, разрушать легче, чем создавать. «Хиппи» жили «отвязано» (по их понятиям — свободно), но опять-таки свобода-то нужна для созидания, а не для праздного безделья. К тому же, эти компании «баловались травками», чтоб забыться, а это уже вырождение чистой воды.

Автотуристы, понятно, представляли зажиточный класс (по нашим меркам), и разговоры в этом клане велись, тоже понятно какие: «эта машина лучше, та хуже», «здесь дороже, там дешевле». У этих людей жизнь шла по накатанному пути.

А в первых палаточных городках обитали студенты-романтики; они жили будущим, но и находили радость в настоящем. Скажу больше — они были заражены безмерной радостью, и с утра, как просыпались, всем желали радости, потому и общение между ними происходило совсем на другом уровне — радостном. К студентам примыкала рабочая молодежь, свободные художники и прочие группы из числа малоимущих.

Но я забежал вперед — все ветер куда-то уносит. Теперь в моей, уже старческой, голове другой ветер — ветер, который возвращает прошлое. Посещают голову и еще кое-какие ветры — сомнений, недовольства собой, опасные ветры, они выветривают все стоящие мысли, которые и без того приходят крайне редко. После этих ветров появляются головные боли. А когда дует ветер из прошлого, передо мной встает беспечная юность, и все, что в ней было, кажется не таким уж плохим. Но, конечно, этот ветер имеет печальную окраску.

Начну с ночного поезда, на который мы достали билеты, поскольку с него и начались наши приключения, вернее, мои приключения. Как только разложили вещи, приятельница сразу прошествовала в конец вагона и уселась играть в карты с какой-то компанией. Она называла себя «азартным игроком в дурака». Еще она любила солдатские анекдоты и была помешана на курсантах военных училищ. В то лето оба ее курсанта (она встречалась одновременно с двумя) были на сборах, и я как бы заполнял вакуум. Кстати, один из курсантов должен был стать моряком, а другой — летчиком, и она никак не могла решить, за кого выходить замуж. Перед отъездом на юг призналась мне:

— Пряма разрываюсь. Костик-моряк красивый до жути, и форма у него клевая, но, посмотри на меня, он все время

несет чепуху. А Юрик-летчик от меня без ума, но его зашлют на Камчатку. Что ж, и мне там маршировать?! Очень надо! Прямо разрываюсь. Ты как поступил бы на моем месте?

Отношения со мной были для нее полигоном, где она отработывала тактические ходы. Сейчас-то я нашелся бы, что ответить на ее безобразный вопрос. Например: «Ты правильно сделала, что выбрала третьего, гражданского» (имея в виду себя). Но тогда хлопал ушами и сильно ревновал ее. Сказать, что она была легкомысленная, было бы поспешно, скорее, она не могла решить, что лучше: море или небо?

После ее признания я, наконец, понял, почему она считала меня охламоном, — во мне ничего не было военного: спина не прямая, походка не твердая, аккуратности никакой, в голове не четкие мысли, а ветер. И, вдобавок, впереди — не звезды на погонах, не море и не небо, а отсутствие и самих погон, и безрадостная суша, какая-то голая степь.

Но я отвлекся. Опять ветер виноват — заносит в сторону, и все тут. Вернусь в вагон.

Так вот, пока моя подружка резалась в карты, а я рассматривал пригороды за окном; на одной из станций в вагон ввалился рыжий парень с теодолитом, присел рядом со мной и сразу:

— Москвич? Ты как, насчет спиртяшки? Со случайным попутчиком выпить и потрепаться лучше всего. Сейчас будет остановка, сбегай, приобрети закус, а я пока стрельну у проводника стаканы.

Несмотря на позднее время и усталость, ветер в моей голове не стихал, и я тут же согласился; как только поезд притормозил, выскочил из вагона и оказался на полутемной платформе с двумя киосками, из одного сочился тусклый свет.

— Есть бутерброды? — спросил я у сонной киоскерши.

— Только ливерная колбаса. Могу дать хлеба.

— Отлично. Хлеба и немного колбасы.

— Сколько метров?

Заметив, что я не владею ситуацией, киоскерша пояснила:

— У нас она на метры.

— Ну, метр.

Киоскерша отмерила линейкой серую жирную кишку, свернула, точно кабель, и протянула мне.

— «Собачья радость» отличный закус, — сказал парень, когда я появился в вагоне. — Я здесь делал съемку на спиртовом заводе. Их начальник говорит: «Канистру прихватил?». «Нет», — говорю. «Эх, ты, олух!» — говорит и напузырил мне в камеры.

Парень расстегнул куртку — он был опоясан велосипедными камерами. На одной открыл ниппель и налил в стаканы спирт.

— Чистоган, конечно? — обратился ко мне.

Я кивнул, чтобы поддержать марку москвича.

— Со случайным попутчиком выпить и потрепаться лучше всего, — парень вернулся к началу разговора. — Выговорился и, может, больше и не увидишься. Ну, бывай!

Мы выпили, и я сразу опьянел. Ветер в голове стих, но появился густой туман; пытаюсь что-то сказать, но получается бессвязный набор звуков

— Хм, слабенькие вы, москвичи, — усмехнулся парень и нацедил себе еще полстакана.

Дальше он рассказывал что-то захватывающее, где побывал, чего насмотрелся — кажется, вся его жизнь была на колесах. Я ничего не запомнил — туман поглощал все звуки. И не помню, где он сошел с поезда, помню — исчез в темноте, так же внезапно, как и появился.

Наутро меня мучила жажда, но стоило выпить воды, как снова становился пьяным, хоть выжми, снова в голове появлялся туман.

— Посмотри на меня, — сказала приятельница. — Ты бесхарактерный размазня. Кто тебя на что подобьет, на то ты и идешь, — она презрительно хмыкнула, давая понять, что накануне мое охламонство проявилось во всем блеске. — Еще раз напьешься, я исчезаю. Только меня и видели! Очень надо! Отдохну одна в сто раз лучше, — из ее рта вылетали слова, которые мне показались пулями из чапаевского пулемета; этот обстрел моментально разогнал мой хмельной туман.

Поезд прибыл в Симферополь к вечеру, и мы сразу же сели в автобус на Старый Крым — своего рода перевалочный пункт, откуда начинались маршруты в разные концы побережья. Когда добрались до поселка, солнце опустилось за горы, но на улицах стоял сильный жар; из садов текли терпкие запахи абрикосов и слив, и повсюду гуляли парочки.

Мы разбили палатку на окраине среди подсолнухов и, после долгой тряски в поезде, отлично выспались, причем перед тем, как укладываться, полужгали семечки, и приятельница сказала миротворческим голосом:

— С палаткой ты здорово придумал. Никого не надо упрашивать, чтоб пустили переночевать.

Палатка явно напоминала ей армейскую жизнь; в ее глазах появился манящий блеск. Опуская подробности, скажу: в ту ночь я засыпал как бы под звуки военного оркестра, только иногда вздрагивал, когда приятельница, отвечая на мои объятия, называла меня то «Костиком», то «Юриком».

Утром, впервые за все лето, в моей голове не витал ветер; голова была легкой, как одуванчик, и в ней появились легкие мысли — я смотрел, как приятельница одевается, прихорашивается, и вдруг подумал: «А не пожениться ли нам?». Но когда я высказал свои мысли вслух, от приятельницы последовал взрыв смеха. Мои легкие мысли вызвали у нее тяжелый приступ смеха. Отсмеявшись, она выпалила, как из пушки:

— Еще чего! Посмотри на меня, мы будем жить в палатке, да? И щелкать семечки! Ну скажешь тоже! Твое охламонство растет как на дрожжах. Ладно, замнем для ясности. Собирай палатку и барахло!

Вот так, по-солдатски, она и оглушила меня.

Бывалые туристы посоветовали нам махнуть в Новый Свет, сказали «там золотой песок». Туда мы и прикатили с первым автобусом и, не заходя в палаточный городок, который находился в полукилометре, первым делом сделали заплыв до буйка, а когда вышли из воды, на пляже полным ходом шли приготовления к съемкам какого-то фильма; под солнцезащитным навесом уже вовсю пестрел, оголенный до предела, киношный люд. Чтобы просто поглазеть, мы подошли к съемочной группе вплотную и очутились в гуще местных мальчишек. Подстрекаемые любопытством, сорванцы носились взад-вперед — были на подхвате, что-то приносили, поддерживали, устраивали обменный фонд: за ягоды шелковицы получали значки, открытки.

Мы не успели разглядеть актеров, узнать, что за фильм, как к нам бросилась женщина с мегафоном; на ее лице сверкала застывшая стандартная улыбка, за которой явно ничего не стояло.

— Я режиссер. Прошу вас. У нас не хватает массовки. Всего один час. Максимум два. И заработаете по пять рублей, и вообще. Не заставляйте себя упрашивать. Танцевать умеете?

Она слишком настаивала, слишком была настырной, и это вызывало подозрение. Я раскрыл рот, чтобы отказать, но меня опередила приятельница:

— Умеем!

— Не умею, — сказал я, подтверждая свое охламонство не только в глазах подружки, но и режиссера.

— Совсем не умеете? — продолжая улыбаться, женщина просверлила меня взглядом, в котором была надежда на легкое охламонство, но после моего твердого кивка, поняла, что мой недостаток достаточно глубок.

— Мужчина должен все уметь, — с упреком сказала она и, не меняя улыбчивой гримасы, добавила: — Хорошо! Присаживайтесь вон на ту лавку, к той яркой девушке, как бы развлекайте ее, легко, непринужденно. А вы туда, в пару тому танцору, — режиссерша подтолкнула приятельницу к парню в костюме оливкового цвета и закричала в мегафон на весь пляж:

— Все по местам! Приготовились! Начали!

— Классная тетка! — бросила мне приятельница, направляясь к парню.

Два часа делали дубли, я добросовестно развлекал свою партнершу, нестерпимо яркую девицу, даже несколько раз обнял ее и, по моим подсчетам, заработал никак не меньше десятки, но мои старания оказались напрасными — этюд режиссерше не понравился, и она, с неизменной улыбкой, распорядилась его вырезать. А приятельница танцевала так горячо, так висла на парне в оливковом костюме, что и сама стала похожа на сияющую оливку. И вошла в историю; ее можно увидеть на экране — какая-то лента Ялтинской киностудии; приятельница таскала на нее всех знакомых. Но это было позднее, а в те дни вирус киномании крепко засел в ней — она настояла, чтобы мы разбили палатку рядом с пляжем, и ежедневно бегала на съемки, даже забывала про море и обед. И я, как дурак, таскался за ней и злился от ее насыщенного отдыха и от своего охламонского прозябания. Хорошо, что через три дня съемки закончились, и мы перебрались в палаточный городок.

Самым необычным в Новом Свете было то, что на пляже все три дня сверкало солнце, а рядом, в горах, висели тучи и шли дожди.

Ну, о палаточном городке я уже рассказал; добавлю только несколько установленных там правил. Во-первых, там все считалось общим, все лежало в общем котле. Часто к палаткам прикалывались записки: «Мы уехали в Ялту. Консервы в рюкзаке. Надувные матрацы, ласты, маски под тентом». Второй неписанный закон обязывал научить ближнего тому, что умеешь сам, и вообще, прежде делать для других, а потом уж думать о себе.

По утрам все население городка оправлялось в горы — все скопом подрабатывали на виноградниках; днем купались, загорали, устраивали волейбольные и шахматные баталии, хлопотали на «кухне» в преддверии вечернего торжества, а они происходили ежедневно (чей-то день рождения, рекордный заплыв, пойманная рыба, написанная картина). События отмечались в «клубе» — гигантской палатке, под дешевое вино, гитары и песни. Некоторые молодые люди (особо общительные) веселились в «клубе» далеко за полночь и спали вповалку, без всяких сексуальных поползновений. Именно там, в городке, я понял, что общность, единение — великая вещь, что в общении люди помогают друг другу развиваться, найти себя, как бы подпитывают своей энергией, и сделал обратный вывод: разобщенность, индивидуализм ведут к обеднению личности.

Приятельнице понравилось в городке, хотя она и заметила, что в нем «не очень строгий и четкий быт», что на съемках все «более организовано, и режиссер классная тетка». Вероятно, она хотела, чтобы в городке все ходили строевым шагом под барабанный бой, и кто-то возглавлял туристов, вроде громогласной режиссерши. Возможно, она и себя представляла в этой роли, но палаточный городок не фабрика, и в нем ей было трудно выделиться.

Ну а я, нет, чтобы обратить внимание на других туристов (кстати, там были целые палатки красивых, веселых студенток), я, простофиля, по-прежнему пялился на нее и ходил за ней, точно пес на поводке, и смотрел ей в рот, ожидая приказаний. Вот так, хотя на юге и ветра в голове вроде не было. Если это называется любовью, то пропади пропадом такая

слепая глупость. В этом плане я, действительно, был охламоном. Здесь приятельница абсолютно права.

Как и во время съемок, три дня в городке нещадно палило солнце, а совсем рядом, в двух-трех километрах, вершины гор как зацепили тучи, так и не отпускали, и там, в горах, шли дожди. Такое соседство соответствовало моему настроению — во мне была сложная комбинация чувств, какое-то весело-грустное состояние. Не как обычно бывает: то весело, то грустно, а одновременно и весело, и грустновато. Весело — от беспечного отдыха, грустновато — от того что все вот-вот кончится, мы вернемся в Москву, где приятельницу встретят красавчик Костик и доблестный Юрик, а меня ждет полная неизвестность.

В день отъезда с утра мы наплавались до икоты, накидали в море монет, чтобы в будущем вернуться, собрали палатку, последний раз обошли городок, место съемок — хотели все запомнить, со всем попрощаться, потом подошли к автобусной остановке и стали отсчитывать время до открытия кассы.

Нам не повезло. Когда касса открылась, выяснилось, что билеты на Феодосию распроданы еще накануне (в палаточном городке нам сказали, что из Феодосии ехать на Москву проще и дешевле). В самом деле, к приходу автобуса, на стоянку набилась толпа местных жителей с детьми и корзинами.

— Пойдем на своих двоих, попутная машина подбросит, — скомандовала приятельница и бодро вступила на шоссе.

С опущенной головой я поплелся за ней и со стороны, наверняка, выглядел оруженосцем своей боевой подруги. Я догадывался — ей уже не терпится вернуться в Москву (весь отпуск она разбила на три части и каждому поклоннику выделила по неделе. Я свою получил, и она уже вся была там, где ее ждал Костик или Юрик, не знаю, кто был на очереди).

Начинались горы, и дорога пошла на подъем, но приятельница топала довольно резво, я еле за ней поспевал и все оглядывался — не покажется ли попутная машина, желательно легковая. Но машин не было. А вот тучи, висевшие над горами, приближались прямо на глазах, и темнело с невероятной скоростью. Вскоре воздух разорвали сполохи молний, грохнуло, как из гаубицы, и сверху хлынуло. Мы попали в сильнейшую грозу.

Несколько секунд я соображал, как действовать дальше.

— Доставай палатку! — приятельница кинула на меня суровый командирский взгляд.

Мы прыгнули в кювет, накрылись палаткой, но, не натянутая, она сразу потекла, словно дырявый зонт.

— Дура, что согласилась на эту Феодосию, — хмуро проговорила приятельница, смахивая с лица струи воды. — Посмотри на меня, надо было взять билеты на Симферополь. Как ехали сюда, так и вернулись бы. Чего выдумал?! Весь отдых насмарку.

Дальше она стала развивать тему моего охламонства, в том смысле, что оно достигло крайней степени, и мой ветер пронзил ее до печенок, что я вообще «пустозвонский ветряк». Короче, повела войну на мое полное уничтожение. Ее слова усиливала канонада грома. Я что-то говорил в свою защиту, в том смысле, что, несмотря на охламонство, я правдивый и честный, и, между прочим, добрый; упомянул и о своей порядочности — что всегда встречаюсь с одной девочкой, а не как некоторые, сразу с двумя курсантами. А что касается ветра, то было бы неплохо, если бы он прямо сейчас унес меня отсюда к чертям собачьим. Я говорил долго, мне было трудно остановиться. Наболело. Да, и я прекрасно знал, что с окончанием отдыха закончатся и наши отношения. Во всяком случае, долго не увидимся, пока она не нагуляется с Костиком и Юриком.

В момент нашей перепалки, послышалось ржанье, крики, ругань. Я вылез узнать, в чем дело. За уступом горы открылась та еще картина! На краю оврага лежала запряженная лошадь, опрокинутая телега и груда ящиков с битыми бутылками.

— Испугалась молнии! Шарахнулась, мать ее так! Убыток! — стараясь перекричать шум ливня, объяснил возница.

Я помог ему распрячь лошадь, которая, тут же вскочила на ноги. Потом мы ставили телегу, грузили сохранившиеся ящики. Возница был в плаще, а я промок до нитки, весь извозился в глине, но, как бы в награду за мой благородный поступок, ливень немного ослабел, а главное, со стороны Нового Света показался «газик».

Я подбежал к приятельнице (уже непримиримому противнику), объявил о машине, начал сворачивать палатку; приятельница бросилась «голосовать».

«Газик» притормозил, шофер — молодой, розовощекий солдат открыл дверь и кивнул на заднее сиденье. Парень в форме привел приятельницу в радостное волнение. Забыв о моем существовании (а может, нарочно, чтобы побольше мне насолить), она стала рассказывать о своих съемках. Тараторила без умолку полчаса, пока впереди не показался небольшой перевал.

— Эх, проскочить бы! — вздохнул солдат.

Дальше он осторожно вел машину, объезжал оползни и завалы камней. Приятельница, затаив дыхание, восхищалась его мастерством, а я посматривал вниз, на крутые склоны и ждал, когда мы туда свалимся.

Ближе к Феодосии ливень прекратился, но в городе нас поджидало жуткое наводнение, которого, как мы узнали позднее, не помнили даже старики. Мы не ехали, а плыли по затопленным улицам. А вода все прибывала. Мутные глинистые потоки несли смытые заборы, ветви деревьев. На привокзальных улицах уровень воды доходил до первых этажей; там уже виднелись крыши затопленных легковушек.

— Здесь повыше, — буркнул солдат и свернул в проулок, но тут же мы почувствовали под ногами течь.

Через минуту мотор заглох, и вода хлынула в кабину; когда она дошла до сидений, мы вылезли и очутились по пояс в воде.

— Вокзал там, — солдат показал в сторону широкой улицы, где крутились обширные водовороты. — Я пережду здесь. Позвоню, чтоб прислали «амфибию», — он двинул к ближайшему подъезду.

Приятельница чуть не поплыла за ним, но, видимо, вспомнила про Костика и Юрика и направилась к улице-реке, а мне крикнула приказным тоном:

— Иди за мной и смотри на меня!

Я пошел за ней, как ординарец, готовый в любую минуту прийти на помощь, хотя втайне и не возражал бы, если бы она захлебнулась. С балконов нам кричали:

— Возьмите правее! Возьмите левее! Там яма!

...Вода стала спадать, и когда мы добрались до вокзала, на улице уже лежал только толстый слой глины, и на домах, на уровне первых этажей, висела желтая пена и древесная труха.

Грязные, измученные, вошли в здание вокзала. За билетами очереди не было, но поезд отходил лишь на следующий день. И тут я вспомнил, что в палаточном городке говорили о турбазе в Феодосии.

Турбаза представляла нечто среднее между пионерским лагерем и Парком культуры и отдыха. Директору турбазы приятельница описала наше бедственное положение.

—...Понимаете, началась гроза, мы попали под камнепад, чуть не убило. Потом в наводнение, чуть не утонули...

Директор был явно выдающийся человек, то есть смотрел на мир широко и все схватывал на лету.

— Главное, создать впечатление, и сразу все ясно, как в солнечный день, — сказал он. — Вам нужен кратковременный отдых, чтобы снять стресс, а путевки нет. Поможем, при условии — в нашем Отечестве без условий нельзя. Так вот, при условии, что сдадите паспорта. Завтра придет кассир, оформит.

Как все выдающиеся люди, директор, кроме широты взглядов, обладал широкими жемами. Он размашисто прошелся по турбазе и выделил нам огромную шестиместную палатку с настилом и столом, на котором стояло зеркало, утюг и графин. Приятельница сразу повеселела и лихорадочно принялась наводить маршфет.

Остаток дня мы провели в кафе напротив турбазы. Туда, в кафе, пришло страшное известие о том, что с перевала сползли грузовик и рейсовый автобус из Нового Света, на который мы не достали билеты. Будто бы автобус перевернулся и загорелся, и только одна женщина успела выбросить ребенка в окно. Но потом появилась новая версия — автобус на самом деле только сполз в низину, и никто не пострадал.

Утром мы пришли в кабинет директора за паспортами, но ни его, ни кассира не было.

— Еще не пришли, — сказала уборщица. — Проходите, не стесняйтесь. Садитесь в кресла, ждите.

Я сел за стол директора, начал чертить на бумаге загогулины, приятельница пристроилась на подоконнике около аккордеона. Внезапно в помещение ворвалась разъяренная толпа туристов.

— Сидите, бездельничаете, а в путевках написано: «походы, танцы, игры!». Где все это?! Мы напишем куда следует!..

Я смекнул, что нас приняли за работников турбазы, и черт меня дернул подыграть.

— Тише товарищи! Вот товарищ Сидорова, наш массовик-затейник, — я показал на приятельницу, — она вам сейчас сыграет на аккордеоне, — я чуть не добавил: «За пять рублей», но вовремя спохватился — нас запросто могли отлупить.

— Сделайте одолжение! — прищурившись, ледяным голосом произнес мужчина в плетеной шляпе. — Привыкли здесь ничего не делать, неизвестно, за что деньги получать!

— Вас бы к нам, в Москву! — зло сказала женщина в сарафане.

— Куда им! Там ведь работать надо! — стиснув зубы, проговорила девица, стоявшая впереди всех. Она была особенно агрессивно настроена, прямо сжимала кулаки.

От расправы нас спасло появление директора; он сразу все схватил на лету и подмигнул нам:

— Вы создали отличное впечатление.

Но и когда мы получили паспорта и направились к выходу, туристы все не верили, что мы такие же, как они, даже несчастнее, поскольку не имели постоянного приюта; вслед нам неслись проклятия — только что камни не летели. Но приятельница неожиданно оценила мою смешную выходку.

— Ты классно шутишь, — сказала. — Я люблю острые ощущения.

Мы отбыли из Феодосии днем и до вечера пересекли весь степной Крым и въехали в среднюю полосу; за окном на смену зеленым деревьям появились желтые. Всего за несколько часов мы очутились в новой среде.

— Умора! Недавно купались, жарились на пляже, и уже все далеко, — с грустью сказала приятельница и вдруг ни с того ни с сего чмокнула меня в щеку.

Я до конца не понял ее порыв. Наверно, она давала понять, что война между нами окончена, и ей не нужна моя капитуляция, она готова заключить договор о мире и дружбе, но, конечно, без всякой любви.

В ПОДВАЛЕ

Они сидели в подвале в ожидании казни. Подвал находился в старом доме и напоминал каменный колодец с железными решетками на узком окне у потолка и тяжелым висячим замком на двери. Из подвала на улицу вела лестница со стертými ступенями; она заканчивалась массивной дверью с надписью на внешней стороне: «Посторонним вход воспрещен!». Где-то там, за дверью, сверкало солнце, тянул ветер, шелестела листва, во дворах разгуливали их собраты — там был огромный, многоликий мир... А они сидели в полутемном сыром подвале; пыльная лампочка тускло освещала замшелые стены и цементный пол с желобом, по которому текла вода. Они тревожно смотрели на ступени; одни ждали, когда за ними придут хозяева, другие надеялись на чудо — что их все же освободят из заточения, но охранник подвала, молодой парень в сером халате, твердо знал: большинство узников обречены.

У них еще был шанс остаться в живых — два раза в неделю к подвалу подъезжали фургоны с врачами из научных институтов; врачи отбирали среди узников самых молодых и сильных на опыты. Тех, кого не забирали в течение двух-трех дней, тащили в соседнее строение и усыпляли; делали смертельный укол и бросали в огромный холодильник.

В те летние дни в подвале находилось семь собак, в том числе трое щенков, недавних сосунков, которых кто-то отнял у бездомной матери-дворняги и передал собаководам; щенки лежали, прижавшись друг к другу, подрагивали от холода, поскуливали, беспокойно взирали на взрослых собак.

Рядом со щенками лежал Серый, старый больной ничейный пес, с впалыми, облезлыми боками, со множеством шрамов на голове. Серый безучастно смотрел на желоб с водой — ему уже было все равно, где умирать. Он устал от долгой, неприкаянной

жизни, устал шастать по помойкам, искать укрытия от непогоды, прятаться от людей, которые швыряли в него камни, гнали из подъездов, вызывали собаколовов. И за что его так ненавидели?! За то, что он тянулся к людям, все хотел найти себе хозяина, кому-то принадлежать, кого-то любить? Многие его собратья, с которыми он разделял скитания, озлобились, а он так и не зашил ни на кого зла, только от обиды иногда плакал.

За всю жизнь Серый встретил всего двух людей, которые отнеслись к нему по-человечески. Первой была старушка в далеком детстве; в то время он обитал в кустах недалеко от ее подъезда. В тех кустах он и родился, но его мать попала под машину, сестер и братьев утопили; его тоже бросили в сточную канаву, но он сумел выбраться и вновь приполз к кустам. Старушка его подкармливала целый год, пока ее не увезли в больницу.

Вторым был мальчишка, которого он провожал до школы и встречал после занятий. Тот мальчишка часто его гладил, чесал за ушами и называл ласково: «Серый». Однажды мальчишка даже привел его домой и сытно накормил; до самого вечера они играли с мячом, веником и тряпкой, но вдруг пришли родители мальчишки и его, Серого, выгнали. Некоторое время мальчишка встречался с ним тайно, но однажды сказал:

— Все, Серый, прощай! Завтра мы уезжаем в другой район.

Третьи сутки Серый находился в собачьей тюрьме. «Скорее бы все кончилось», — думал он и впадал в забытие; стонал и вздрагивал; перед ним возникали то старики, которые так и норовили огреть его палками, то мужчины и женщины, раздраженно топающие на него с криками: «Пошел прочь!». То те парни у столовой, которые плеснули в него горячим чаем. Долго тогда Серый бежал с обожженной лапой, долго зализывал воспаленную кожу.

Иногда Серый и сам удивлялся, как дожил до старости, как не умер от голода, не угодил под машину, как его не забили до смерти? А последнее время еще стали мучить болезни. И он устал, устал от всего. Серый догадывался, что в подвале он первый смертник — кому нужен старый больной пес? Еще в день, когда его заарканили собаколовы, он распрощался с жизнью. Но ему было жалко других сокамерников, молодых, красивых собак, и особенно щенков несмышленишей.

Щенков швырнули в подвал вслед за Серым. Как и ему, им третьи сутки не давали еды, их постоянно трясло от холода

и голода; потому Серый и лежал рядом — чтобы немного согреть и успокоить.

Двое суток провела в подвале беспородная молодая лохматая собачонка Алиса, любимица детворы, которая умела по команде сидеть, лежать, ползти и даже прыгать через палку. Алису забрали по доносу дворничихи на глазах у детей. Ребята кричали:

— Не трогайте Алису! Она наша! Мы ее любим!

Но дворничиха безжалостно заявила собаколовам:

— Забирайте! Только гадит и разносит заразу! — и собственноручно запихнула собачонку в фургон.

Разгоряченная Алиса не сопротивлялась — еще не отошла от дворовой игры: ее глаза горели, рот растягивался в улыбке — она была уверена, что начинается новая игра, только со взрослыми.

Как только Алису поместили в подвал, к ней бросились щенки, стали тыкаться в ее живот — подумали, вернулась мать. Но Алиса еще не была матерью и немного растерялась; она только обнюхала щенят, каждого дружелюбно лизнула и нетерпеливо забегала вокруг лестницы. Весь день она ждала, когда за ней придут ребята и они снова помчат во двор, но к вечеру заволновалась; предчувствуя неладное, начала скулить и лаять — звала ребят на помощь, но они почему-то ее не слышали. С наступлением ночи в Алису вселился страх, она забилась в угол и с тревогой уставилась на темную лестницу. Серый и щенки урывками дремали, а она так и не сомкнула глаз.

Утром, после страшной, бессонной ночи, Алису шатало от усталости; она решила прилечь всего на минуту, но тут же уснула. Ей снился солнечный двор, белье, сохнущее на ветру, помойка, обложенная жухлым кирпичом, ржавая колонка, кусты сирени и шиповника перед домом, вытоптанная площадка, на которой она играла с ребятами, пожарный щит с ящиком песка, возле которого хорошо спалось в теплые летние ночи, и щель в бойлерной, куда можно было забраться в холодную зимнюю ночь.

Алиса родилась в другом районе города и, как и Серый, никогда не имела хозяина. Однажды на несколько дней ее приютила девушка, которая пахла цветочными духами. Это были замечательные дни: каждое утро девушка надевала спортивный костюм и они подолгу бегали вокруг дома, потом завтракали

и девушка уходила на работу, оставив в комнате цветочный запах и включив радиоприемник, чтобы ей, Алисе, не было скучно. До вечера Алиса нежилась в кресле, слушала музыку по радио и смотрела в окно на улицу, где всегда происходило что-нибудь интересное. Вечером девушка возвращалась, они снова бегали вокруг дома, ужинали, смотрели телевизор, при этом девушка все время разговаривала с ней и называла «Астрой», поскольку у Алисы уже тогда была густая белорозовая шерсть, к тому же, девушка любила все «цветочное».

К сожалению, это длилось недолго: вскоре к девушке приехал жених, который сразу невзлюбил Алису и то и дело покрикивал на нее. Он был жадным и злым молодым человеком, и Алиса никак не могла понять, почему девушка привязалась к нему; почему, как только он приходил, выгоняла ее на кухню, и если заговаривала с ней, то как-то сердито. Несколько дней этот жених пытался сделать из Алисы «злого сторожа».

— Собака должна охранять и не подходить к чужим, — говорил он девушке. — А эта — не поймешь что!

Ему было невдомек, что собака прежде всего друг и не так просто из нее вытравить природное дружелюбие. В конце концов, тот недалекий жених тайно привез Алису в чужой двор и бросил.

Она была веселой собачонкой, и ребята сразу привязались к ней; одни угощали печеньем, другие — котлетой или косточкой; кто-то придумал кличку Алиса — так и превратилась Астра в Алису. Двор редко пустовал, и Алиса все дни напролет проводила с ребятами, и никто никогда не видел ее в унынии. Но ближе к ночи, когда двор пустел и в домах гасли окна, Алиса укладывалась около ящика с песком или протискивалась сквозь щель в бойлерную, смотря какое стояло время года, и засыпая, мечтала о хозяине — он представлялся ей девушкой-бегуньей с цветочным запахом. Но ее хозяином вполне мог быть и мужчина, только не такой, как тот жених, и желательно тоже с цветочным запахом.

Игрунья Алиса имела природный красивый окрас — чтобы только посмотреть на нее, во двор прибегали поклонники со всех соседних улиц, но Алиса никому не отдавала предпочтение. «Вначале нужно найти себе хозяина, а уж потом думать о личной жизни», — благоразумно рассуждала она и всячески выказывала свою любовь каждому встречному человеку: и ребенку и взрослому — она любила всех людей, кроме того

жениха и дворничихи, которая вечно прогоняла ее со двора. С самого первого дня. И что плохого сделала ей Алиса?! Наоборот — с утра приветствовала, отчаянно виляя хвостом, пыталась сопроводить, пока дворничиха носила ведра к помойке. Всем своим сияющим видом Алиса как бы говорила: «Я хочу вам помочь, скрасить вашу нудную работу».

Но дворничиха была бездушной женщиной. Что собачонка! Она и ребят со двора прогоняла, и молодых людей, играющих в подъездах на гитарах, — и тем и другим постоянно грозила: — Прекратите безобразия или вызову милицию!

...Алиса проснулась, когда хлопнула входная дверь и, тяжело ступая, в подвал спустились собаколов и охранник; за собой на петле-удавке они волокли породистого сеттера с ошейником. Втолкнув собаку в подвал, они сапогами отбросили щенков, которые поползли к ним, и удалились.

Нового узника звали Джерри. Он держался довольно спокойно — был уверен, что очутился в камере по недоразумению, по нелепой ошибке, ведь у него был и хозяин, и паспорт с королевской родословной. Наверняка, хозяин уже разыскивает его и вот-вот здесь появится.

Отряхнувшись, Джерри перешагнул через щенков и прошелся по подвалу, мимо дремлющего Серого и озирающейся по сторонам Алисы; остановился около лестницы и уставился на дверь. «Как-то глупо все получилось, — подумал он. — Хозяин считает меня умнее своих приятелей, а я оказался дураком, вернее слишком доверчивым — сам подбежал к этим извергам-собаколовам. Хотел просто понюхать кусок колбасы, которую они протягивали. И есть-то не хотел, просто поинтересовался, что за сорт? А они раз — и заграбастали меня! Да еще из фургона больно тащили на петле... Но ничего, сейчас придет мой хозяин, он им все выскажет, чтобы знали, как забирать породистых, потомственных собак! Мой хозяин не кто-нибудь, а уважаемый инженер... У нас квартира со всеми удобствами и даже есть «Москвич», на котором мы выезжаем на дачу...».

До позднего вечера Джерри прислушивался к наружным звукам; он ничего не вспоминал и ни о чем не мечтал — у него было все, что только может быть у собаки. Он ждал хозяина.

Поздно вечером привезли длинноногого, лобастого Марса, вожака небольшой стаи бездомных собак, которые обитали в парке. Марса отлавливали несколько дней — он был опытный, осторожный, и хорошо изучил людей. Несколько

лет Марс служил на стройке, где у него была собственная теплая конура и алюминиевая миска, в которой сторожа приносили кашу; часто и рабочие, возводившие дом, что-нибудь притаскивали — какое-нибудь лакомство, вроде бутерброда с сыром. В благодарность за жилье и еду Марс охранял стройку, добросовестно нес нелегкую службу; в самом деле нелегкую, поскольку строительная площадка занимала большую территорию и была огорожена ветхим, чисто символическим забором, а, как известно, всегда найдутся любители поживиться за чужой счет, так что Марс постоянно был на чеку. Когда стройка закончилась и рабочие уехали, конуру Марса сломали и он попросту оказался на улице. Вскоре он примкнул к стае таких же бедолаг, как сам, а поскольку всегда отличался отвагой и силой, его сразу выбрали вожаком.

Целую неделю, пока длилась в парке облава, Марсу удавалось уводить стаю от преследований, но в тот вечер и его, бывалого, перехитрили. В конце парка среди кустарника собаколовы замаскировали сеть и погнали на нее стаю. Влетев в сеть, собаки запутались, отчаянно завизжали. Марс сумел вырваться, но не убежал, а, как истинный вожак, стал освобождать своих товарищей. Всех освободил, но на него успели накинуть петлю из проволоки... С раной на шее он стоял посреди подвала, не в силах отдышаться от долгой изнурительной борьбы. Потом начал метаться от стены к стене, бросаться на железную решетку. Его паника передалась другим собакам: Алиса истошно завывала, Серый и щенки заскулили, и даже Джерри заколотил озноб.

Ранним утром к подвалу подъехала легковая машина; из нее вышли кооператоры из пошивочного цеха. Вместе с охранником они спустились в подвал и сразу показали на Алису.

— Эта ничего, лохматая. Из нее шапка получится. Остальные не годятся.

— Берите и вон этого, с ошейником, — предложил охранник. — Породный. Отдам за пятерку. Перепродадите, получите неплохие деньги.

— Не-ет, этим занимайся сам, у нас и так дел невпроворот, — заявили кооператоры и поманили к себе Алису.

Она с радостью бросилась к ним, начала лизать руки «освободителям».

Алису увели; остальные собаки с надеждой уставились на дверь — подумали, что вот-вот и за ними придут и выведут из этого мрачного сырого подвала.

Первым казнили Серого, потом щенков.

— Этих кобелей пока подержим, — сказал охранник собаколовам, кивнув на Джерри и Марса. — Сегодня должны прикатить врачи.

В полдень у подвала остановился фургон с врачами, но осмотрев собак, они заявили:

— Нам нужны маленькие и молодые, а эти слишком здоровые.

Как только врачи уехали, на усыпление повели Джерри. В тот момент, когда он уже затих в холодильнике, прибежал его хозяин, пожилой мужчина.

— Где моя собака?! — запыхавшись прохрипел он.

— Какая? — с притворным спокойствием протянул собачий сторож.

Запинаясь, мужчина описал Джерри.

— Такого не было, — выдавил охранник.

— Как не было?! — возмутился мужчина. — Мне сказали, что его увезли от магазина.

— Мало ли что сказали. С ошейником и породных собаколовы не берут. Ищите там, где потеряли.

— А где эти собаколовы?

— На работе, на выезде, где ж им быть.

Хозяина Джерри всего трясло от негодования. Выйдя из помещения, он нервно закурил и невольно стал свидетелем, как охранник на петле-удавке выволакивал из подвала Марса. Пес отчаянно упирался, рычал, пытался перегрызть железный прут; охранник пулял нецензурной бранью и с трудом втаскивал большую сильную собаку на ступени лестницы, но было ясно — пес просто так не сдастся, будет бороться до конца. В двери они застряли, и охранник со злостью пнул Марса в живот. Пес взвыл и на мгновение присел, и вдруг метнулся на охранника, сбил его с ног и помчался в сторону улицы.

...Марс обгонял прохожих на тротуарах и машины на проезжей части улицы; за ним, высекая искры, волочился кусок проволоки.

— Бешеный! — несло ему вслед.

А навстречу ему уже тянул ветер из далеких загородных лесов, тот ветер доносил самое лучшее в мире слово: «Свобода! Свобода! Свобода!..»

АНГЕЛ ПРОЛЕТЕЛ

Да что ж это такое, что со мной происходит, я совсем потерял голову, не помню, какое сегодня число, день недели, все валится из рук — неужели наступила весна? В доме какое-то сумасшествие: теплый ветер распахивает форточку, полощет занавески, срывает абажур, все вещи в некоем незамкнутом пространстве — сместились, и витают, и раскачиваются, словно куклы на нитках, и стол, и тахта, и шкаф отодвинулись и маячат где-то в отдаленье, как бы ушли в прошлое, вместе со всей предыдущей жизнью. Похоже, это весна.

Я выхожу на улицу, а там и вовсе водоворот, веселое безумство: на мокром тротуаре осколки упавших домов и перевернутых машин, все искажается, кружится и слепит, отражая яркое солнце. На каждом углу продают фиалки и мимозу, цветы в киосках и кафе, в витринах магазинов и троллейбусах — от их запаха нет спасения. Еще капает с крыш, и время от времени сыплет прозрачный дождь, но без сомненья — это весна. Слишком много неопровержимых признаков.

На улице прямо-таки всеобщее братство — незнакомые люди улыбаются друг другу, первые смельчаки разгуливают без пальто, приветствуя каждого встречного: смотрите, первый весенний солнечный день! В сквере детский гомон сливается с гомоном птиц, один мальчишка тащит скворечник, другой не выдержал и выкатил велосипед, девчонка-подросток вальсирует меж деревьев. Все немного сошли с ума, не иначе. Что творится с женщинами! У них посветлели глаза, и походки стали легкими, в улыбках — ожидание, надежда. Кто бы подумал, что в городе так много красивых женщин, и куда они прятались до сих пор? Да и мужчины изменились: с них точно смыло всегдашнюю угрюмость, на их лицах тоже улыбки, смутные улыбки людей, уставших от

долгой зимы. Улыбаются даже те, кто обычно редко улыбается: дворник и постовой, водитель автобуса и продавщица овощного ларька; улыбаются абсолютно все, будто истосковались по свободе и вот, наконец, ее обрели. Среди прохожих я вижу нашу почтальоншу, мужчину из соседнего подъезда, знакомого художника, сослуживца по работе, даже соседку с прежнего местожительства — и как очутилась в нашем районе? Я и не знал, что у меня так много знакомых; с одними здороваюсь издали, с другими обмениваюсь рукопожатием,

— Теперь все худшее позади, теперь-то все будет хорошо, — говорим мы друг другу. — И забудем, простим обиды, ведь наступила весна.

Я вхожу в телефонную будку, обзваниваю друзей, голоса у них праздничные, они подтверждают — сегодня, вот так внезапно наступила весна. Мы договариваемся о встрече на вечер; и не виделись всего ничего, а кажется, прошла целая вечность.

По пути на работу захожу в кафе и, ожидая у стойки кофе, заговариваю с симпатичной барменшей, — у нее открытая грудь, зеленые глаза; я еще только налаживаю контакт, а она уже верещит:

—...Такой небритый, мог бы и побриться по случаю весны... И неухоженный. Наверное, нет жены. А у меня нет мужа. Наш дом ломают, и если у меня будет муж, я получу большую квартиру. Давай поженимся... Ненадолго.

— Поженимся? Ненадолго?

— Ну да. Весна-то скоро пройдет, и дом сломают.

— Нет уж, сударыня. Весна в этом вопросе ни при чем. И дом тоже. Я, понимаете ли, к женитьбе отношусь крайне серьезно... Ваши достоинства, сударыня, очевидны, и легкий роман — пожалуйста. Очень легкий. А жениться...

— Знаете что! Вы просто трус или совершенно непрактичный.

— Скорее первое. А может, и второе, не знаю. Но поверьте, в душе я человек положительный. Я не против женитьбы, но мне нужна идеальная жена. И потом, есть такая вещь, как любовь, вы слышали?

— С вами все ясно, вы просто зануда. И на вас не действует весна, — она ставит чашку на стойку и исчезает в глубине бара.

Ну вот, еще и не разобрались, что к чему, а она уже меня бросает. Я беру кофе и направляюсь к столу. Не действует весна! Еще как действует! Но именно весной нельзя быть такой практичной. В другое время года еще куда ни шло, но сейчас никак нельзя. Сейчас время чувств, а не дел. Мне даже на работу не хочется идти. Впрочем, о чем это я?! Барменша, дом, квартира, работа... Очевидно, во всем виновата весна.

Я сажусь у окна; за стеклом, точно в гигантском аквариуме, плывут прохожие, машины; на противоположной стороне улицы стайка девушек-парикмахерш, стоят на ступенях салона, разглядывают прохожих, щурятся от солнца, смеются. Надо же, заметили меня, машут руками, как бы подогревая мой романтический настрой. Но пора на работу, никуда не деться от этой работы. Как-нибудь в другой раз, сударыни. Куда спешить? Весна-то только началась.

Вестибюль метро как запруда в половодье: все пестрит от плащей и разноцветных зонтов, и по-прежнему всюду множество цветов. На эскалаторе все вежливые, предупредительные, и опять — сплошные улыбки.

Мне и ехать-то всего три остановки по прямой, без всяких пересадок; и надо же! На следующей станции в вагон впорхнуло чудо — светловолосое юное существо с нотной папкой и веткой мимозы: прозрачный розовый плащ просвечивает тонкую фигуру, как соломинку в стакане коктейля; на лице капли дождя и самая прекрасная улыбка из всех, которые я увидел за утро. И создает же природа такое! Надо подойти, сказать что-нибудь замечательное: «Вас Бог послал. Я знал, что сегодня вас встречу, ведь сегодня наступила весна, и, значит, если чего-то очень хочешь, это случится». Или нет, другое: «Знаете, мне очень одиноко, только вы можете меня спасти». Нет, и это не годится. Может, просто: «Давайте познакомимся, ведь наступила весна».

Да что я в самом деле! Вот так всегда. С барменшами, парикмахершами знаколюсь запросто, а как только встречаю потрясающую женщину, теряюсь и не нахожу слов. А сейчас стою как обмороженный: она не потрясающая, она — ангел, случайно спустившийся на землю, такое судьба посылает раз в жизни... Вот повернулась в мою сторону, чуть дрогнула улыбка, исчезла совсем, она продолжает улыбаться одними

глазами. Господи, как хороша! Ее лицо снова озаряет лучезарная улыбка, на этот раз она предназначена только мне, это яснее ясного. Болван! Я не двигаюсь с места.

Моя станция, но я и не думаю выходить — черт с ней, с работой. Какая работа, когда решается судьба! Конечно, она с радостной готовностью откликнется на любые мои слова — нас уже связывает невидимая нить. Конечно, мы будем встречаться, и это будет чистая и пылкая любовь, без всяких размолвок и огорчений — каждодневное всевозрастающее счастье, одна круглогодичная весна. И, разумеется, мы поженимся. Это будет совершенно непрактичный брак. Ну что я имею?! Комнату в коммуналке и работу — так себе, обычный оклад рядового инженера, а она, наверняка, студентка консерватории или учитель в музыкальной школе, но у нас огромное будущее, ведь мне нет и тридцати, а ей всего-то двадцать, не больше... Как замечательно вместе завтракать, разбегаться по делам, ненадолго расставаться, чтобы вскоре встретиться вновь, за ужином пересказывать друг другу новости на работе, в учебе, сходить в кино, навестить общих друзей; а в выходные дни отправиться в гости к родственникам, совершить вылазку на природу, запланировать летний отпуск, вслух что-нибудь почитать, послушать музыку, заняться домашними делами, а перед сном, обнявшись, смотреть телевизор, то есть жить теми мелкими отдельностями, которые все вместе называются семейным счастьем.

Но что это?! Она выходит и спешит к эскалатору. Что за станция, ничего не соображаю. Расталкивая пассажиров, устремляюсь за ней, сердце колотится — готово выпрыгнуть из грудной клетки, такого со мной еще не было, но и девушку-ангела я встретил впервые, потому и боюсь ее потерять. Розовый плащ, точно язычок пламени, мелькает в толпе, поднимается по эскалатору. Обернется или нет? Нельзя же так жестоко обрывать уже различимую нить. Может быть, чувствует, что я где-то рядом — обычно женщины это чувствуют; но почему так спешит? Быть может, посчитала меня нерешительным дураком? Собственно, таков я и есть — законченный дурак, полный кретин. Ее улыбка была открытым посланием — призывом, а я, идиот, упустил момент, и потом упустил уйму времени, станций пять, уж точно. Но еще

не поздно. Вот и вестибюль, я держусь в двух-трех метрах — ничтожное расстояние до счастья, но хоть убей, не могу его преодолеть.

Мы выходим на улицу почти одновременно; нас встречают ослепительные ручьи, оглушающий шум, многоголосье. Она быстро идет по тротуару, размахивая папкой; замечаю торопливый полуоборот, но вряд ли он адресован мне, скорее — просто беглый взгляд на свое отражение в витрине. Она сворачивает за угол, и мне надо во что бы то ни стало ее догнать — это последний шанс, но ноги не слушаются и сами собой замедляют шаг; еле доплелся до угла — она удаляется, вот-вот исчезнет, чтобы больше в моей жизни не появиться никогда.

НОЧНОЙ ЛИВЕНЬ

Многие любят стрекоз, бабочек и певчих птиц. Это понятно — как не любить такие чудеса природы! Я тоже их люблю, но с детства люблю и навозных жуков, пиявок, тараканов и пауков, и особенно — мышей, лягушек, змей, а с юности — и крыс (как говорил Д. Дарелл, «все животные прекрасны»). По-моему, крысы самые умные животные на земле, совершенно не оцененные людьми, гонимые, вызывающие панический страх, а между тем — заслуживающие всяческого восхищения. И в смысле приспособляемости к среде обитания им нет равных. Не случайно существует прогноз: после атомной войны, если она не дай Бог разразится, уцелеют только они да еще тараканы.

В умственных способностях крыс я убедился в молодости, когда, не имея прописки, перебивался случайными заработками и ночевал, где придется. Как-то две недели коротал ночи в подвале дома, где производился капитальный ремонт; дожидался ухода рабочих, тащил доски в подвал и делал что-то вроде лежака-настила; утром ложе разбираю, чтобы рабочие ничего не заподозрили и не вызвали милицию, — за проживание без прописки могли выслать и даже осудить.

В подвале я зажигал парафиновую свечу и готовился к вступительным экзаменам в институт. Однажды прилег на доски, зачитался и не заметил, как у моих ног появилась крыса. Я увидел ее в тот момент, когда решил размять затекшую руку и оторвался от учебника. Крыса сидела на задних лапах и зачарованно смотрела на свечу. Не на меня, на свечу! Только когда я пошевелился, она перевела взгляд на меня и принялась, смешно задергав носом, но не испугалась, не прыгнула с настила, даже позы не изменила.

Некоторое время мы с интересом изучали друг друга. В полутора метрах от меня сидело довольно симпатичное существо величиной с белку, но более пузатое. У существа были розовые лапы, длинный голый хвост и глаза-бусинки. Больше всего меня поразила поза «столбик» — крыса как бы демонстрировала свою бурую шерстку, которая, действительно, выглядела отлично, даже искрилась в темноте. Эта поза, зачарованный взгляд и полуоткрытый рот, за которым виднелись белые зубы, придавали крысе выражение удивления и восторга одновременно.

Я легонько посвистел, давая понять, что готов установить дружеский контакт. Крыса спрыгнула на цементный пол, немного отбежала, но все-таки осталась в освещенной части помещения. Я негромко почмокал и кинул ей кусок хлеба от бутерброда, который припас себе на завтрак. Крыса юркнула в темноту, и я подумал, больше она не появится. Но через полчаса услышал шорохи, взглянул на пол, куда бросил хлеб, и увидел свою знакомую за трапезой. Она ела аппетитно и аккуратно, придерживая хлеб передними лапами, изредка посматривая в мою сторону, а покончив с едой, долго и старательно «умывала» мордочку, то и дело наклоняясь, — это я воспринял как раскланивание, некие благодарные реверансы в мой адрес. Закончив туалет, крыса подбежала ко мне на расстояние вытянутой руки, вся подалась вперед, привстав на носки, и пискнула.

— Что ты хочешь красавица? — спросил я, немало удивляясь мужеству ночной визитерки, — наверняка, я для нее представлялся неким ископаемым чудищем. «Впрочем, — подумал я, — может быть, она уже привыкла к людям, а может, и вовсе ручная».

Крыса пискнула вновь, и до меня дошло, что она еще просит еды.

— Ладно уж, — пробормотал я, — в честь нашего знакомства, так и быть, — и щедрым жестом протянул крысе ломтик сыра.

Она попятилась, но учуяв лакомство, осторожно подошла вновь; долго водила носом из стороны в сторону, шевелила тонкими усами, сопела, но брать сыр из рук не решалась. «Возьмет, когда привыкнет», — подумал я и бросил ломтик на пол.

Самое интересное началось после того, как крыса слопала сыр. Видимо, не часто ей доставались такие деликатесы, и, как бы благодаря меня за пиршество, которое я ей устроил, она начала... танцевать! Винтообразно крутиться на одном месте, при этом искоса поглядывала на себя, как бы любуясь своей грацией. Это было потрясающее зрелище — я даже протер глаза, чтобы удостовериться, что мне не снится это представление.

Оттанцевав, крыса спохватилась, что забыла «умыться», и стала торопливо лизать лапы и гладить мордочку. А потом эффектно попрощалась со мной — сделала великолепный высокий прыжок и исчезла в темноте.

Она появилась и на следующую ночь. На этот раз я угостил ее двумя кружками колбасы, заранее купленной специально для нее. Первый кружок она съела с пола, а второй, неожиданно даже для меня, взяла из руки — быстро схватила и отбежала в сторону.

Снова, как и накануне, после ужина, вернее полуночной трапезы, она сосредоточенно «мыла» мордочку, и живот, и бока, и все время смотрела на меня, желая убедиться, что ее ритуал чистоплотности не останется не замеченным. А потом она вновь «вальсировала» и, как и в предыдущую ночь, красиво покинула мою обитель.

На третью ночь Лина, как я назвал крысу, привела детенышей — пять юрких крысят, которые, пугливо озираясь, робко, чуть ли не на животах подползли к лежаку. Я не рассчитывал на такую ораву, и пришлось два бутерброда, которые у меня имелись, делить на шесть частей. Но неожиданно Лина свою долю есть не стала, даже отошла в сторону, давая понять, что уступает еду детям.

Перекусив, крысята с невероятной быстротой обследовали помещение, убедились, что в нем нет ничего опасного, а у их матери со мной вполне дружеские отношения, и затеяли невероятную возню. Они с писком носились из угла в угол, хватали друг друга за хвосты, кувыркались, вытворяли немислимые акробатические прыжки.

Лина внимательно наблюдала за этими играми. Иногда бросала на меня взгляд, полный гордости за таланты своих отпрысков, но если кто-либо из них забывался и начинал вести себя, по ее понятиям, чересчур неприлично или слишком

больно кусал собрата, подскакивала и трепала проказника за загривок. В этом воспитательном этюде я заметил один немаловажный нюанс: после трепки крысенок некоторое время лежал на спине, задрав лапы кверху, как бы извиняясь перед матерью за свой проступок, а позднее, включившись в игру, вел себя уже намного тише.

«Не мешало б людям перенять подобное поведение, — думал я. — А то мать отчитывает ребенка, а он огрызается». Кстати, наблюдая за крысиным семейством, я сделал немало и других, быть может, сомнительных, выводов. «Говорят, крысы разносят заразные болезни, — размышлял я. — Но ведь если что-то есть в природе, значит, оно и должно быть, значит, эти болезни что-то уравнивают... Говорят, крысы нападают на человека. И правильно поступают, если человек хочет их убить. Они защищаются, борются за жизнь. Надо уважать смелых, достойных противников!»

Через несколько дней крысята настолько освоились в подвале, что стали бегать и по мне; они уже появлялись, когда я подавал условный сигнал — переливчатый свист, а Лина отзывалась и на кличку; я уже всех крысят различал «в лицо» и даже принимал некоторое участие в их играх: подкидывал на пол шарики из бумаги, щепочки, а иногда пугал, издавая «мяуканье» или собачий лай, чтобы крысята не теряли бдительность.

И вот в этот пик нашей дружбы, объявился глава крысиного семейства — тощий, весь в шрамах, крыс. Это был серьезный, крайне недоверчивый тип. Похоже, наученный горьким опытом общения с людьми, он ни разу не приблизился к моему лежаку и даже не вышел на середину подвала. Недолго постоит в темном углу, пристально осмотрится и уходит. Но как только он появлялся, Лина подскакивала к нему и с немим обожанием взирала на своего благоверного. Казалось, она готова выполнить любое его поручение, он был для нее гением, не иначе. И крысята моментально прекращали игры, тесно окружали отца и, расталкивая друг друга, пытались дотянуться до него, ткнуть носами его лапы, как бы засвидетельствовать глубочайшее почтение.

Он появлялся всего два раза; оба раза я делал попытки наладить с ним хотя бы приятельские отношения, подходил с колбасой и сыром, но он сразу пресекал мои потуги: угро-

жающе пронзительно пищал и выставлял лапы вперед, — показывал, что может цапнуть за руку.

В одну из ночей крысы не появились. «Странно», — подумал я, а под утро проснулся от бульканья — весь подвал был затоплен, около лежака плавали мои ботинки. Когда прошел ливень, я не слышал: в те дни сильно уставал от мытарств и спал крепко; час-другой покорплю над учебниками, пообщаюсь с крысами и отключаюсь.

Я вышел из подвала как обычно, часов в семь, сложил доски у забора и вдруг увидел в мутной канаве, среди водоворотов и размытой травы, плывут мои крысы: впереди крыс, за ним Лина, за ней, словно живая цепочка, крысята. Они благополучно пересекли канаву и начали отряхиваться на глинистом склоне. Я поприветствовал их свистом, и они явно узнали меня, несмотря на то, что мы впервые встретились вне подвала и на свету. Узнали меня по свисту — на секунду перестали отряхиваться, принюхиваясь, вытянули мордочки и снова спокойно продолжили «отряхивание».

К вечеру вода в подвале спала, но крысы появились только на следующий день, когда цементный пол просох. У нас была замечательная встреча: крысы долго смаковали мои съестные припасы, а потом мы долго играли, очень долго, как никогда.

Рано утром меня разбудил грохот грузовика. Выглянув в проем двери, я увидел двух мужчин в «спецовках»; перекидываясь смачными словечками, они разбрасывали вдоль фундамента куски мяса.

— Заодно потравим и собак, и кошек, — донеслось до меня. — Развели, мать твою, всякую нечисть... Людям жрать нечего, а они собак колбасой кормят... Ловили б крыс, да кормили б ими... Они жирные твари... Боятся крыс-то, мать твою... нас вызывают...

Разбросав мясо, мужики сели в «газик» и уехали.

Я выскочил из подвала и начал лихорадочно собирать отраву. Собрал все куски, закопал в яме, сверху обложил кирпичами, а вечером выяснилось — все же дал маху.

Подходя к подвалу, я стал свидетелем жуткой сцены: Лина с крысятами вертелась вокруг куска мяса, но к нему их не допускал крыс. Вялыми движениями, заваливаясь на бок, он отгонял свое семейство, отгонял из последних сил. Было

ясно — он уже отведал отраву. Мне осталось несколько шагов до места трагедии, когда его забила судорога, он опрокинулся на спину и затих.

Отгонять Лину с крысятами не понадобилось — она сама все поняла, раскидала крысят, что-то зло пропищала и куда-то увела своих несмышленьшей.

Больше она не появлялась. Может быть, нашла другое, более безопасное жилье, может, посчитала, что я причастен к смерти ее крыса, может, просто решила не доверяться мне больше, поскольку я, хотя и друг, но все-таки представитель самой жестокой касты на земле. Почему именно — не знаю.

ЕЩЕ УВИДИМСЯ!

(что-то вроде дорожных впечатлений)

Национальные отношения на Кавказе — дело чрезвычайно тонкое, деликатное. Это я понял, будучи в Осетии, когда познакомился с Казбеком, проводником туристских групп. Я ехал на попутной машине в городок Бурон, рассматривал лесистые горы и вдруг заметил: перед нами катит грузовик, доверху набитый мебелью, на которой восседает и каким-то чудом удерживается на поворотах черноволосый парень в ковбойке. За грузовиком клубилась пыль, в ней явно различалось что-то темное, прыгающее, какое-то живое существо отчаянно догоняло машину. Приглядевшись, я заметил маленькую дворнягу.

— Казбек с семьей переезжает, — пояснил шофер осетин.

На подъемах, когда грузовик сбавлял скорость, собака почти догоняла машину, но на спусках и прямых участках сильно отставала. Так продолжалось километров десять, не меньше, и собака совершенно выбивалась из сил — я это видел отчетливо, поскольку последние километры она бежала совсем перед нашим бампером. После одного из спусков парень в ковбойке забарабанил кулаком по кабине и, когда грузовик встал, спрыгнул на землю и что-то закричал сидящим в кабине, при этом он неистово размахивал руками. В ответ из окна высунулась молодая особа и с визгом начала жестикулировать, еще более неистово, чем парень. В конце концов парень раздраженно плюнул и полез на мебель.

— Казбек хочет взять собаку, а жена не хочет, — пояснил шофер, с наслаждением наблюдавший сцену ссоры. — Но все будет, как он скажет. Казбек — настоящий мужчина. Осетин. У него отчество знаешь какое? Эльбрусович!

Действительно, еще через пару километров парень загрохотал по кабине так, что наверняка железо расплющилось.

На этот раз он пошел не к кабине, а к собаке, и как только пес подбежал, схватил его и забросил в кузов, между шкафом и кроватью — тем самым давая понять, кто глава семьи, и как бы восстанавливая историческую справедливость.

В тот же вечер мы встретились на «пятак» — самом примечательном месте Бурона, где назначались деловые и романтические встречи, где старцы обсуждали свежие местные новости и не совсем свежие (учитывая расстояние) новости всесоюзного масштаба. Казбек прогуливался со своей собакой, покуривал, здоровался и перекидывался словами со знакомыми; внезапно увидел меня и без колебаний подошел. Разузнав, кто я и что, он, отбросив всякий этикет, подружески, запросто предложил зайти в духан, съесть по шашлык и выпить кахетинского вина.

— Я угощаю, — сказал Казбек и широко повел рукой, как бы предлагая в придачу к выпивке и весь Бурон.

За столом Казбек рассказал о своей работе, подчеркнув, что «обслуживает туристов по первому разряду»; потом, кивнув на усатого мужчину за стойкой, важно бросил:

— Арминак, мой друг. Армянин. Говорит на всех языках (позднее я убедился в этом; правда, словесный запас Арминака ограничивался пределами ресторанный меню).

Затем Казбек ввел меня в курс местной жизни.

—...Здесь добывают уголь и по канатной дороге через хребет отправляют в Цхинвали. Цхинвали больше, чем Бурон, но не такой красивый. Здесь, сам видишь, какое все (в самом деле, городок выглядел чистым, ухоженным и располагался удачно — в долине, обрамленной горами). Так вот, в каждой бригаде много национальностей: осетины, ингуши, чеченцы, армяне — все есть. Работают дружно, но после работы каждый только со своими. Такой порядок...

Выдавая эту информацию, Казбек то и дело вскидывал руку, приветствуя вновь входящих, непрестанно курил, прямо-таки «по-черному» — от одной папиросы прикуривал другую, обсыпая брюки пеплом. Кстати, он курил «Казбек» и не случайно положил пачку на видное место, чтобы я оценил совпадение его имени, папирос и вершины.

Как-то незаметно мы опорожнили две бутылки добротного кахетинского вина, и Казбек громко сказал Арминаку:

— Дорогой, принести еще две бутылки. У меня русский гость.

— Может, хватит? — слабо запротестовал я.

— Как это хватит?! — искренне удивился Казбек. — Настоящий мужчина должен уметь пить вино и при этом нормально разговаривать. Только здесь, на Кавказе, можно этому научиться... Прости меня, дорогой гость, но у вас, в России, не умеют пить вино. И не умеют вести беседу. Только напиваются и орут. Я был, знаю... А у нас никогда не увидишь пьяного...

Мы распрощались в полночь. Пожав мне руку, Казбек сказал:

— Еще увидимся!

С того дня мы еще несколько раз встречались, заходили в духан, ели шашлыки, пили кахетинское вино, и Казбек уже называл меня другом. Но однажды при встрече, невесело объявил:

— Сегодня в духан не пойдем. Сегодня ингушский день.

— Что это?

— Ну, бывает осетинский день, когда собираются наши, бывает чеченский, а сегодня ингушский. Идти нельзя. Могут побить.

— Почему такая неприязнь?

Казбек долго морщился, потом произнес с легким раздражением:

— Я не люблю, когда мне задают вопросы. Это не разговор, а допрос.

— Пойдем! — махнул я рукой. — Я-то русский, а ты мой друг.

Казбек замотал головой. Его мысли явно текли по какому-то извилистому руслу.

— При мне никто ничего не скажет, — уверенно заявил я, совершенно забыв о собственной безопасности. — Ведь на Кавказе гостя уважают.

— Так-то так, — вздохнул, уже почти сдаваясь, Казбек; он почти выпрямил русло своих мыслей, но не до конца.

— Пошли! — я подтолкнул его, и он сдался.

В духане был занят всего один стол, за которым сидели какие-то парни; они, вроде, и не обратили на нас внимания.

Но когда Арминак принес нам вино и шашлыки, вошла довольно приличная компания; рассаживаясь, парни бросали в нашу сторону косые недружелюбные взгляды. В середине вечера я вдруг увидел, что один из столов начал приближаться к нам вместе с молчаливо сидящими парнями. Вначале подумал — померещилось, от вина затуманило глаза, но за первым столом поехали и другие. Каким-то невероятным образом, парни умудрились, не вставая, съехаться к нам до расстояния шепота. Окружили со всех сторон, и старший ингушской компании обратился ко мне:

— Мы не хотим тебя обижать, русский человек, но твоему спутнику лучше отсюда уйти.

— Я не могу обижать своего друга, — подогретый вином, смело заявил я. — У нас серьезный разговор.

Старший, мудрый змей, усмехнулся:

— Его можно продолжить в понедельник, когда будет осетинский день.

Вино еще сильнее ударило мне в голову, и я, подражая кавказским тамадам, произнес:

— Дружба не имеет понедельника или среды. Она вечна.

Мои слова произвели должное впечатление. Ингуши углубились в переговоры — что-то быстро забормотали на своем языке. Минут через десять попросили Арминака принести две бутылки вина на наш стол. Мы с Казбеком допили свое вино и только поставили стаканы, как старший сказал:

— Традиции нашего города — это традиции, и никто не осмелится их нарушить. Ты, русский, в наши дела не лезь.

После этого нас вынесли из духана — в прямом смысле слов, — бесцеремонно вынесли на руках вместе со стульями и посадили у входа.

— Самое разумное — уйти домой, не обижать ребят, — поднимаясь, сказал Казбек, совершенно не чувствуя себя униженным. — Они поставили нам вино, уважили нас и показали, что и мы должны их уважать. Я пошел. Еще увидимся!

Здесь можно было бы поставить точку, если бы не дальнейшее поведение Казбека. Так получилось, что вскоре мы целую неделю вместе колесили по Осетии. Он водил туристов, а я набирался впечатлений, благо выпало свободное время. В первом же селе, где мы остановились на ночлег,

Казбек, после изрядной выпивки, рассказал сельчанам, как мы «напугали ингушей, при этом похлопал меня по плечу и назвал «братом». Его рассказ имел бешеный успех: сельчане подходили, обнимали меня, подливали араку (местный самогон), угощали самосадам. Я не курил, но чтобы не обидеть сельчан, затягивался крепким дымом.

В следующем селе Казбек, опять-таки после изрядной дозы спиртного, уже рассказал, как мы «выгнали» ингушей из духана, и это известие вызвало всеобщее потрясение: сельчане подняли такое ликование, что оно чуть не перешло в массовый психоз.

Дальше слух о нашем «подвиге» разрастался, как снежный ком. Когда мы прибыли в отдаленное селенье, там уже вполне авторитетно заявили, что знают, как мы «избили» дюжину ингушей. Разумеется, нас встретили, как национальных героев. Калаки (старейшина) подал сигнал, чтобы резали барана и устраивали местный праздник — аустержи. Во время торжества Калаки, в знак особого уважения, угостил меня сигаретой «Яхта» (первые сигареты с фильтром в то время), чокнулся со мной и произнес оригинальный тост:

— За мое счастливое будущее, которое уже в прошлом!

Позднее, после двух-трех общих тостов, он сказал историческую фразу:

— Над головой настоящего мужчины всегда должен виться дым — табачный или пороховой.

С тех пор я стал заядлым курильщиком и не пропускал ни одной выпивки с друзьями, и делал это со все возрастающей последовательностью, то есть, изо всех сил входил в образ настоящего мужчины, пока болезни средних лет несколько не умерили мой пыл.

ВЕДЬМА

Так вот, ребята, сразу скажу вам: у этой азартной девчонки внутри бушевал огонь. Одержимая, неугомонная она, рыжая бестия, будоражила всю нашу байдарочную компанию. Представляете, не успеем пристать к берегу на дневку — перекусить, отдохнуть в тенишке, смотрим — она уже улепетывает в деревню, а через полчаса — скачет к нам... верхом на лошади!

— Дали покататься! Подходите! — кричит издали ликующим голосом — улыбка до ушей, рыжие волосы развиваются, как языки пламени.

Или приведет с собой ватагу мальчишек, и те с гиканьем полезут в наши лодки, начнут приставать: «А это что? А это зачем?» Все перевернут вверх тормашками — какой уж тут отдых!

Ее переполняла неумная жажда жизни. Бывало, ветрено, дождь сечет, а ей все нипочем: выскакивает из палатки и, распевая веселый мотивчик, начинает танцевать под дождем, а то и скинет платье и — бултых в воду:

— Водичка прелесть! Вылезайте, устроим заплыв наперегонки! — кричит, захлебываясь не водой — радостью!

И мы невольно взбодримся, тоже прыгаем в воду — сами знаете, от страстных, горячих людей исходит заразительная энергия, а от нее просто-напросто исходила нешуточная магическая сила.

На стоянках она никогда не сидела без дела: вместе с нами, мужиками, таскала сушняк для костра, была самой активной поварихой и, само собой, — грибником и рыболовом. И спортсменкой, которая постоянно подбивала нас на разные игры, при этом восклицала:

— Я не дам вам нагуливать жирок!

И чем бы она ни занималась, всегда напевала что-нибудь веселенькое. Такое состояние души!.. Словом, она, непоседа, не давала нам расслабиться и прямо летала по лагерю, как юная сияющая ведьма — ей только не хватало метлы. Мы в шутку ее так и звали: наша Ведьма. Наша рыжая Ведьма Веруня. Она не обижалась. Да и чего обижаться? Она прекрасно знала, что мы ее любим. Но, главное, ребята, как вы догадываетесь, своей деятельностью и весельем Веруня снимала нашу усталость, сглаживала мелкие разногласия, которые изредка у нас возникали, а без них, смею вас уверить, не бывает походов.

Ну, а по вечерам у костра — это уж непременно — Веруня брала гитару и исполняла свой бардовский репертуар: она писала стихи и подбирала к ним мелодии. Но спев две-три вещи, переходила на известные наши песни (она помнила их сотни). Тут уж, понятно, и мы начинали ей подпевать и расходились все больше. И вот что я вам скажу, ребята: в те моменты мы как-то особенно чувствовали нашу спаянность, прочность нашей дружбы, несмотря на разницу в возрасте и жизненный опыт. Ну, то есть, я хочу сказать: ничто так не сближает людей, как хоровое пение. А все потому, что песни — это душа народа, и когда они поются одновременно несколькими людьми, их, по большому счету, сплачивает любовь к своей родине, а это немаловажная штука, поверьте мне, ребята. Не знаю, как вам, а мне, к примеру, в искусстве неинтересны работы человека, который не любит свою родину. А таких сейчас немало, сами знаете. И среди них есть талантливые люди, не спору, но приглядитесь — в их работах всегда есть негатив, а то и гниль. Между тем, обратите внимание, работы мастеров-патриотов излучают свет, доброту. Чувствуете разницу?

Ладно, пойдем дальше о нашей Веруне, нашей рыжей чародейке. Как вы догадываетесь, по утрам она вставала первой и бегала босиком по росе — закалялась. А когда мы вылезали из палаток, над костром уже дымились каша и чай. Обычно мы просыпались от ее голоса: она собирала цветы в лугах или плавала в реке и, как всегда, пела. Но, случилось, мы просыпались от тишины. «Уж не случилось ли что с нашей певуньей?» — думали. А она сидела у реки за мольбертом и писала этюд. Да-да, ребята, у нее было множество талантов. Вместе с моей дочерью она окончила прикладное

художественное училище и работала гримером в театре и, в отличие от моей дочери-лентяйки, постоянно занималась живописью: в театре писала портреты актеров, а в наших походах не упускала случая запечатлеть живописное место, а на реке таких мест, сами понимаете, всегда полно. Что интересно — она своеобразно настраивала себя на работу:

— Чтобы что-то получилось, надо на себя разозлиться, — говорила.

Вот так, ребята. Такая требовательность к себе. Не то, что некоторые, вроде моей дочери, которые ждут хорошего настроения, им подавай благоприятные условия и прочее. Всегда можно оправдать свою лень. Успеха добиваются только те, кто работает через «не могу». Согласны?

Все дни напролет Веруня проводила сверхнасыщенно, но, странное дело, мы никогда не видели ее уставшей, она и спать ложилась позже нас всех. Ну, а как я уже сказал, вставала первой и всегда в отличном настроении. Не раз кто-нибудь из наших мужиков вылезал из палатки насупившись, жаловался на «кошмарные сны» — Веруня тут же откликалась:

— Скорее ныряй в воду, сразу будешь, как огурчик!

А когда страдалец выходил из воды, смеялась:

— Чтобы снились красивые сны, надо на ночь съесть что-нибудь сладкое или погулять вдоль реки с красивой девушкой. Только и всего.

Она находила простые решения в любой ситуации.

Самое время представить нашу разновозрастную компанию. Значит, так. Это, прежде всего, неразлучные подруги, двадцатилетние Веруня и моя дочь. Затем три супружеские пары средних лет (из них две с детьми). И, наконец, трое сорокапяти-сорокасемилетних «стариканов» (я в их числе; кстати, я считался капитаном, поскольку раньше всех начал осваивать речные просторы и имел самую большую трехместную байдарку; собственно, я и сколотил нашу компанию). Всего у нас было пять лодок — такая внушительная флотилия «комариных» суденышек, как небрежно называют маломерные посудины. Между тем, в «комариных» каноэ — тех же байдарках — пересекали океан!

Но я отвлекся, ребята. Вернусь к Веруне. По возвращении в Москву никто иной, а именно она обзванивала всех нас, собирала на просмотр слайдов о походе, а в дальнейшем — на

дни рождения каждого из нас и, разумеется, на все праздники. Иногда сообщала какой-нибудь «праздник середины осени» или «праздник первого снега», а когда мы собирались, объявляла, что придумала повод для встречи. Но чаще всего она просто с обезоруживающей искренностью кричала в трубку:

— Я соскучилась, давайте встретимся!

Общительная, дружелюбная, Веруня участвовала в жизни каждого из нас, подогревала в работе и во всех начинаниях — как бы вдохновляла на подвиги. Можно сказать, несмотря на молодость, наша рыжая Ведьма одновременно была нашим вождем. И длилось это на протяжении трех-четырех лет. Но однажды...

Да, ребята, однажды наша золотоволосая красавица влюбилась. Об этом она сообщила каждому из нас по телефону звонким от счастья голосом. И пропала на несколько месяцев. Без нее мы пару раз собирались, но, сами понимаете, все уже было не то — другими словами, наша компания попросту потускнела. Как стало известно позднее, Веруня влюбилась в мужчину моего возраста, женатого, отца двоих детей. Так бывает, ребята, так бывает.

Она появилась со своим возлюбленным на мой день рождения, когда вся наша компания была в сборе и мы застольничали — не бурно, не вяло — средне. И вдруг является эта парочка: Веруня, как всегда, в отличной форме, да еще освещенная счастьем, и он — мрачноватый верзила, который сразу всех стал называть на «ты», кое-кого похлопал по плечу. Естественно, это его панибратство — проще говоря, развязность — нам не понравилась; особенно женской половине нашей компании. А сияющая Веруня торопливо говорила:

— ... Он охотник... Мы уже были в тайге... Ходили на медведя... Скоро поедем охотиться на лося...

— Да, завалили косолапого... Да, будем брать сохатого... — подтверждал верзила, одновременно выпивая и закусывая.

Он быстро набрался и стал хвастаться, каких животных, когда и где «завалил». Если бы не Веруня, — как бы это сказать помягче, — ну, я выгнал бы его — ненавижу тех, кто убивает животных ради развлечения. Тоже мне, героизм! Но и Веруня нас удивила — она всегда любила животных, и вдруг — охота! И всегда она была душой компании, а теперь сидела тихо, с немим восхищением смотрела на верзи-

лу (так мы все, не сговариваясь, его прозвали), слушала его хвастовство, ловила каждое его слово, раскрыв рот. Стало ясно, она совсем потеряла голову. И это неглупая, уже двадцатипятилетняя женщина! Мы представляли рядом с Веруней мужчину немного старше ее, неженатого, порядочного, компанейского, который станет членом нашей байдарочной эскадры, и вдруг этот дубоватый амбал! В общем, от прежней Веруни осталась только улыбка. Вот так, ребята, неожиданно от искрометной Ведьмы осталась только ее тень.

После того как они уехали, моя дочь сообщила, что верзила ради Веруни ушел из своей семьи, что живут они у Веруни (у нее с матерью, интеллигентной женщиной, была трехкомнатная квартира), но мать Веруни не одобряет их отношений.

Больше Веруня не появлялась, и, само собой, ей стало не до байдарочных походов — перед ее безумной любовью все отошло на второй план. Она изредка звонила только моей дочери. И вот, спустя год, дочь сообщает мне:

— Представляешь, у Рьжей (так она звала Веруню, а та, в свою очередь, ее — Лохмата: дочь не делала никаких причесок) все стало плохо. Верзила и не собирается разводиться с женой. Хорошо устроился. И с матерью у Рьжей начались трения.

Позднее мне позвонила мать Веруни. Жутко расстроенная, она жаловалась на «сожителей», просила, «как капитана», повлиять на ее «взбалмошную» дочь. Будучи добропорядочной женщиной и любящей матерью, она хотела, чтобы у дочери все сложилось по-человечески, а тут такое! Известное дело, влиять на влюбленного человека — дохлое дело, но я все же решил поговорить с Веруней, только когда позвонил, ее уже не застал. Оказалось, мать потребовала от «сожителей» или вступать в брак, или уходить и снимать комнату.

— Я больше не потерплю ваших любовных отношений, — заявила. — Был бы жив отец, он давно прогнал бы вас, а я полтора года терплю. Семья должна быть семьей, а у вас не поймешь что!

Веруня сняла комнату, но верзила пробыл там недолго и вернулся в свою семью. Этого следовало ожидать — всем нам такой поворот был ясен с самого начала их отношений, только Веруня, по словам моей дочери, «надеялась, что они распишутся». Такая неоригинальная история — сами знаете, подобное происходит сплошь и рядом. Короче, Веруня ока-

залась покинутой, униженной. К матери она не вернулась — посчитала ее виновницей «разбитой любви».

И вот в этот самый момент, когда Веруне казалось, что ее жизнь потеряла всякий смысл, она вдруг встречает пожилую пару, глубоко верующих людей — на вид вполне добропорядочных. Вроде, они сами к ней подошли, заметив ее потерянную, не от мира сего. Неторопливо, доверительно эти «благодетели» посоветовали Веруне поехать в Коломенский женский монастырь. И что вы думаете, ребята? Веруня поехала и осталась в монастыре. (Позднее она призналась, что пожилые верующие люди ее загипнотизировали. Все может быть, ведь Веруня в те дни была в полной растерянности. Как говорила моя дочь, «у нее взгляд стал какой-то потусторонний, она как-то смотрит мимо меня».)

А теперь, ребята, представьте, чем для всех нас стало это событие. Наша заземленная неутомимая Веруня отрешается от любимой работы, друзей, бардовских песен, занятий спортом, не говоря уж о наших походах, и замыкается в стенах монастыря! Для нас это стало потрясением.

Через год моя дочь навестила Веруню. Потом рассказала:

— Представляешь, настоятельница монастыря очень ценит Рыжую. Быстро сделала ее послушницей, а сейчас она уже монахиня.

— Ведьма стала монахиней, — с грустью усмехнулся я.

— Она изменилась, — продолжала дочь. — Руки у нее стали грубые, лицо усталое...

— Естественно, они там не только читают молитвы перед иконами, но и вкалывают. Монастыри сами себя всем обеспечивают.

Да, ребята, вот так все повернулось. А время между тем летело с бешеной скоростью, год проносился за годом, и как-то незаметно пролетели шестнадцать лет! Для таких, как я, — уже стариканов без кавычек — незаметно. Вам, молодым, этого не понять. Для вас-то ясно — заметно, и еще как! Но именно столько прошло до того дня, когда моя дочь позвонила и чуть ли не крикнула в трубку:

— Рыжая приехала! Она на машине, сама водит! Сейчас прикатим к тебе!

Я вышел их встречать. И представил Веруню пополневшей, увядшей раньше времени от тяжелой работы и одно-

образной жизни в монастыре, представил ее с тусклым взглядом, мозолистыми руками... А из «иномарки» вышла прежняя Веруня — понятно, повзрослевшая, но такая же стремительная, жизнерадостная, какой была когда-то. В современном костюме она выглядела как нельзя лучше — как деловая женщина средних лет.

— Здравствуй, дорогая Ведьма! — сказал я.

— Здравствуй, дорогой капитан! — сказала Веруня.

Мы обнялись, расцеловались... За столом Веруня рассказала все: и как попала в монастырь, и как, несмотря на строгие устои и чопорность в обители, развила там кипучую деятельность, ввела много новшеств: в подворье разбила цветники, создала конеферму, разводила служебных собак...

— ...Было тяжело, но и интересно, — восторженно говорила Веруня. — Но больше уставала от ежедневного штудирования библии... Да еще разочаровалась в некоторых священнослужителях... Среди них есть плохие люди... Я поняла, что можно почитать Бога, но жить, как живет большинство людей... Долго колебалась, стояла перед выбором — оставаться в монастыре или вернуться в мирскую жизнь. Уже привязалась к лошадям и собакам, жалко их было оставлять. Правда, там есть несколько человек, которые их любят... Поэтому и решилась... Я уже скоро месяц, как живу с матерью...

Я сказал, что очень рад, что в конце концов ее природное жизнелюбие взяло верх. А Веруня вдруг открыла тайну:

— ...Скоро приглашу всю нашу байдарочную компанию на свадьбу! Выхожу замуж. Он актер в театре, где я работала примером. Он на десять лет старше меня, был женат, развелся... Мы и раньше симпатизировали друг другу, и вот встретились... И любовь... — Веруня засмеялась. — Скоро вернусь в театр, а пока устроилась в одно бюро, регистрирую породистых собак... Вот взяла в кредит «иномарку»...

Мы проговорили часа три. Когда прощались, Веруня сказала:

— Я так соскучилась по нашей байдарочной компании!

Я изобразил серьезный «капитанский» вид:

— Если отдам команду: «Всем по лодкам!», присоединишься?

— Непременно! Наши походы — лучшее в моей жизни!

ТЕПЛЫЙ ЛЕТНИЙ ВЕЧЕР

Они сидели в открытом кафе в тени деревьев. Вечернее солнце просеивалось сквозь листву, и на их столе дрожали желтые пятна, а на стаканах и бутылке вина сверкали блики. Они сидели напротив друг друга, двое мужчин среднего возраста, двое друзей.

— Такой прекрасный вечер, а на душе тягостно, — проговорил Виктор, нервно теребя сигарету. — Последнее время я сам не свой. На работе все раздражает, сослуживцы уже избегают со мной общаться.

— Хм, что ж ты хочешь, — усмехнулся Игорь. — Тебя, действительно, последнее время не узнать. Что случилось, чего ты расклеился?

— Да дома как-то все неладно. Скажу тебе откровенно: по-моему, Вера разлюбила меня.

— Ну уж! Не преувеличивай! Ты умеешь накручивать себя.

— Эх, Игорь, если бы! Ты, конечно, многое обо мне знаешь, но не все. Клянусь тебе, не все... Мы ведь с Верой прожили почти десять лет. Многие считали, да и сейчас считают, нас счастливой парой. Со стороны, наверно, так оно и есть. На самом деле у нас уже давно все нехорошо. Сейчас попросту плохо. Ты мой друг, я только тебе могу открыть душу, слушаешь?

— Ну что ты спрашиваешь?

— В общем... Как ты знаешь, мы познакомились еще в институте. Ей было двадцать лет, мне на три года больше. Я помню, когда первый раз увидел ее. Представляешь, в вестибюле института толпились студенты, большая группа, но она выделялась среди всех — вокруг нее было прямо сияние.

— Нимб, что ли? — с ухмылкой вставил Игорь.

— Нет, серьезно. В струящемся платье она выглядела как фея. И на лице — улыбка. Помню, я удивился — каким же прекрасным может быть человеческое лицо. У нее был чистый взгляд, взгляд святой.

— Брось! — поморщился Игорь. — Фея, святая! Ну что ты, в самом деле! Ты всегда был фантазер и сейчас фантазируешь. Что за сентиментальные штучки! Взрослый мужик, а несешь чепуху. Давно пора понять — нет святых баб.

— Ну, а мне казалось — она из тургеневских времен... Я дарил ей цветы. Однажды, как мальчишка, перед ее домом мелом написал: «Вера! Я тебя люблю». В общем, влюбился. И она вроде... После того, как мы расписались, она сказала: «Я люблю тебя с первой встречи», — приятные воспоминания вызвали улыбку у Виктора, смутную улыбку, которая быстро погасла: — Да, все начиналось прекрасно... Но вот ребенка у нас не было, а я так хотел сына... Вера так и не смогла забеременеть. Да, вот так... Давай выпьем, — Виктор допил вино и, взяв бутылку, снова наполнил стаканы. — Вера все искренне рассказала о себе. У нее до меня было одно серьезное увлечение. Парень спортсмен, «с античным торсом», как она сказала. И вот странно, я так ее любил, что ревновал к этому спортсмену, ревновал к прошлому. Понимал, что это глупо, но ничего не мог с собой поделать. Все представлял, как она с этим «с античным торсом» в постели.

— Ревновать к тому, что было, ясное дело, глупо, — согласился Игорь. — У нормальной женщины к двадцати годам и должен быть любовник. И может, даже не один. Ну и хрен с ними. Часто женщина забывает об этом. Говорит: «А-а, по глупости». Дура, мол, была. А если она все забыла или хочет забыть, этого как бы и не было.

— Возможно, — кивнул Виктор, — но вот такой я идиот. Но послушай, как у нас все сложилось дальше... Первые год-два все было хорошо. Она говорила: «Ты самый замечательный, подруги мне завидуют»... Но потом все изменилось. Я заметил, что дома она стала рассеянной, ее улыбка стала какой-то тайной, я чувствовал, что она думает о чем-то своем. И она стала слишком много времени уделять своей внешности. Я догадывался — она привыкла нравиться мужчинам, а от соблазнов трудно устоять... Скажи, она действительно красивая?

— Извини, но... обыкновенная, — Игорь немного отпил вина. — Нет, ну симпатичная, конечно, но у меня были и лучше. Намного.

Виктор допил вино, закурил.

— Ну, в общем, она стала приходить домой поздно. Говорила: «Задержалась на работе». А я звонил на ее работу — она уходила, как обычно. Я чувствовал — она что-то скрывает от меня, да попросту врет, но мне так хотелось ей верить... Понимаешь, я отдал ей всего себя. Мне кажется, что я и делаю-то все только для нее. Без нее моя жизнь теряет всякий смысл.

— Ну чего ты все сгущаешь? — резко бросил Игорь.

— Если бы!.. Стыдно признаться, но однажды я решил последить за ней. Как мальчишка, прятался за деревьями, киосками... Она вдруг села в машину к мужчине. У меня внутри все заледенело. Я побежал к ним, но машина развернулась и уехала. Поймал такси, чтобы погнаться за ними, но они исчезли... Ты не представляешь, что творилось со мной.

— Представляю, — отозвался Игорь с горькой усмешкой.

— Она вернулась домой поздно, от нее пахло вином. Сказала: «Он просто старый друг». Сказала как-то спокойно, безразлично, словно не видела, что меня всего прямо трясло... Потом я еще раз застукал ее с этим типом. В ресторане. Устроил скандал... Ну, дома мы помирились, выпили, и я заставил ее во всем признаться. Она призналась, что была у этого типа дома и между ними все произошло. Сказала: «Всего один раз и случайно». Случайно! Такое ведь случайно не бывает.

— Бывает, — махнул рукой Игорь. — Все бывает. Но ведь она не ушла от тебя, и ты простил ее. Забудь об этом. Плюнь на все.

— Как я могу забыть?! У меня был шок. Я жутко переживал, даже хотел уйти от нее, но не смог. Не хватило сил... Я вдруг вспомнил, как мы с ней клеили обои, когда получили квартиру. Вера на полу мазала обои клеем и подавала мне. Я стоял на стуле и приклеивал обои у потолка, а она проводила по ним мягкой тряпкой. До полуночи клеили, устали адски. Тахты у нас еще не было, и мы уснули на полу, на одном надувном матрасе... Потом вспомнил, как мы поехали за грибами и в лесу заблудились. А я еще вывихнул ногу. И вдруг пошел

дождь. Мы встали под ель, но все равно промокли страшно. Уже темнело, наступал вечер, и мне стало тревожно, а Вера прижалась ко мне и запела детскую песенку, и сразу стало повеселее. А когда дождь кончился, Вера сняла кофту, перевязала мою опухшую ступню, и мы побрели. Я опирался на ее плечо и на палку. Нашли тропу, вышли к какой-то деревне... Да много было хорошего. Все это было давно, лет пять-шесть назад, но после ее измены все уже стало не то, на душе у меня уже никогда не было спокойствия... Я-то ей никогда не изменял. Да что там! Для меня не существует других женщин. Понимаешь, я люблю ее. Вот сегодня уехала на дачу к подруге, сказала: «Надо помочь сшить платье». Вернется завтра, а я уже весь извелся, в голову чего только не лезет... Давай это, возьмем еще бутылку?

— Ну, если хочешь, — Игорь развел руки. — Но, может, не стоит? Выпивать надо, когда все в порядке, а когда хреново, надо, стиснув зубы, работать. Я смотрю — ты слишком раскис. Тебе не станет хуже?

— Куда уж хуже?! — Виктор встал и направился к стойке, а вернувшись с бутылкой, сразу наполнил стаканы; быстро выпил, закурил очередную сигарету, глубоко затянулся и, выпустив дым, продолжил:

— После того случая на некоторое время Вера стала нежной, внимательной, ну такой домашней. Но я все равно был настороже, все время ждал, что она опять загуляет... Понимаешь, она убила мою уверенность в ней, нанесла мне страшную рану. Наш брак стал ненадежным.

— Понятно, — кивнул Игорь. — Мой тебе совет — пошли ее куда подальше. Если до сих пор не можешь ей этого простить, уходи. Чего ты мучаешься, устраиваешь себе нерво-трепку?! Если она соврала один раз, она и еще соврет, как пить дать. Если она «случайно» переспала с одним мужиком, она так же «случайно» переспит и с другим, будь уверен. Ценность женщины в ее преданности. Я бы ни минуты не жил с бабой, которая наставила мне рога.

— Говорю же тебе, не мог я уйти. И никогда не смогу. Я люблю ее... Но ты дослушай. На этом ведь не закончилось. Ее хватило на полгода, потом опять началось — то на работе чей-то день рождения и «засиделись в кафе», то «зашла к подруге». И никогда не предупреждала меня заранее, не

звонила, что задержится. Такая небрежность. А я весь вечер не находил себе места, выглядывал в окно, не отходил от телефона... Некоторые знакомые мне стали говорить, что видели ее с мужчинами. Некоторые прямо заявляли, что она изменяет мне. Мне трудно было в это поверить. Я пытался у нее выяснить, а она говорила: «Все это бред. Ты изводишь меня подозрительностью и ревностью, все выдумываешь, ты очень мнительный». В общем, жизнь стала невыносимой, я стал выпивать...

— Все ясно. Тот, кто любит сильнее, всегда проигрывает, — уверенно заявил Игорь. — Давно известно, сильную любовь не ценят. В ответ на такую любовь получаешь небрежность... Давай так — без обиды. И говорить все начистоту. Мне никогда твоя Верка не нравилась. Вспомни, еще когда ты женился, я сказал: «Пластмассовая кукла. Экзальтированная особа, любит компании»... В ней двойственность. Да, с одной стороны она неглупая, с неплохим вкусом, с другой, пойми, — она не знает, что такое совесть, честь. Из нее так и прет самоуверенность. Вообразила о себе черт-те что!.. Ну, нахваталась она всего понемногу, язык подвешен. Тоже мне интеллектуалка! Знаю я этих экзальтированных, эмансипированных! Да хороший характер, преданность женщины в сто раз ценнее всякого интеллекта... Обрати внимание, как в компании она старается быть на виду, глазеет на мужиков, крутится около них, каждому отвешивает комплименты. Пойми, как женщина себя ведет, так к ней и относятся.

— Да, это так, — вздохнул Виктор.

Игорь допил вино и рывком, звучно поставил стакан на стол.

— Не хотел тебе говорить, но один мужик — ты его не знаешь — похвастался мне, что твоя Верка его кадрила, сказала ему, что «с мужем живет по привычке», что «по-своему любит мужа, жалеет», а ему намекала про «секс без любви»... Пошли ее к чертовой матери! Тем более, что у вас нет детей, тебя ничего с ней не связывает... И ничего хорошего у тебя с ней не будет. Поверь мне, я знаю о чем говорю... Я давно ушел бы от такой. Я люблю женщин скромных, даже застенчивых, а твоя Верка и не знает, что это такое... Она не стоит тебя. Ты талантливый, порядочный. И однолюб, не то, что я, бабник. А твоя Верка просто негодяйка, не ценит тебя... Ты

просто привязался к ней. Уходи от нее, иначе доведешь себя черт-те до чего. Собственно, ты уже себя довел — выглядишь хреново, много выпиваешь, куришь одну сигарету за другой. Будь мужиком, возьми себя в руки. Ты еще встретишь отличную бабешку. Вокруг полно одиноких женщин, лучше твоей Верки. И ты всегда им нравился.

— Легко сказать «уйди, пошли ее к черту», ведь было много хорошего, как его зачеркнуть?

— Чего хорошего-то? Да и одно предательство, одна измена зачеркивает все. Есть вещи, которые нельзя прощать, неужели не понимаешь?

— Понимаю, — понуро протянул Виктор. — Но, видимо, я слабак, не представляю свою жизнь без нее... Я забыл тебе сказать — в тот вечер, когда она призналась, что «случайно» изменила, она расплакалась, назвала себя «дурой», просила прощения. Мне стало жалко ее.

— Что ты ее жалеешь?! Себя пожалей! — Игорь решительно повел в воздухе рукой. — Вспоминаешь, какой она была хорошей! Вспомни, какой она была стервой, когда врала тебе в глаза. Вспомни компании, где мы бывали, и сколько раз в танце она прямо висла на других мужиках. Как-то я сказал ей: «Не задуши партнера в объятиях», а она: «У меня голова разболелась». Не раз она с кем-нибудь уединялась. Ты не замечал, а я-то все видел, я изучил баб... Помнишь, как она с одним типом на его машине поехала «купить всем шампанское и мороженое»? Они вернулись через полтора часа, и видок у нее был осоловелый. Я-то знал этого типа, он своего не упустит. Ты доверчивый, неопытный, ничего не понял, а мне достаточно только взглянуть на мужика с женщиной, услышать пару фраз, как они говорят друг с другом, — и сразу ясно, какие у них отношения.

— Она тогда сказала, что магазины были закрыты, — неуверенно вставил Виктор.

— Врала! Дурак ты, Витька! Мне больно за тебя. Если хочешь знать, этот тип потом сказал мне, что они сгоняли к нему, и он переспал с ней. Короче, уходи от Верки немедленно, и баста!. Жить тебе есть где, квартира матери свободна. Кстати, сам знаешь, твоя мать сразу ее невлюбила и не любила до самой смерти... Ты обязательно встретишь преданную женщину, семьянинку. Она родит тебе сына, и все будет как надо. А эта стерва погубит тебя.

— Не могу, — тяжело вздохнул Виктор. — Презирай меня, но не могу.

Безвольность друга уже раздражала Игоря.

— Ну, жди, когда она тебя бросит. Вспомнишь меня. Бросит, когда встретит мужика, в которого втрескается. Бросит и глазом не моргнет. Ты что, еще не понял — она не дорожит тобой?!

— Ну и пусть, — безнадежно обронил Виктор и с отчаянием выпил полный стакан.

Игорь повысил голос:

— И сколько ты будешь это терпеть?! Если уж на то пошло... И меня с твоей Веркой однажды черт попутал.

Виктор вскинул глаза и уставился на друга. Игорь понял, что хватил через край, но отступить уже было поздно.

— Да, попутал... Мой жуткий грех. Это произошло четыре года назад. Все это время хотел тебе покаяться, но никак не мог решиться... Помнишь, тогда на даче в Аникеевке, у подружки Верки? Ты в то время почти не выпивал, а в тот день после шампанского тяпнул водки, сильно опьянел и уснул на тахте. А Верка пригласила меня танцевать. И в танце вдруг прижалась ко мне и зашептала: «Ты знаешь, мне вчера приснился сон — мы с тобой были в постели. Ты был бесподобен. Может, нам это устроить наяву? Просто дружеский секс». Я опешил: «Какой же такой дружеский?» «Ну, — говорит, — ни к чему не обязывающий. Просто, чтобы удовлетворить желание». Вот стерва!.. Ну, я тоже был прилично выпивши и потерял башку. Не помню, как мы очутились в хозблоке. Там все и произошло. Не раздеваясь... Потом-то я сразу протрезвел и чувствовал себя погано. А когда увидел тебя, спящего, — хочешь верь, хочешь не верь — возненавидел себя, а Верке сказал: «Дружеским сексом занимаются шлюхи. На месте Виктора я бы тебя прибил».

Игорь допил вино и, закурив новую сигарету, опустил голову.

— Помнишь, после той поездки, я с полгода с тобой не встречался? Говорил «болею». Врал! Не мог смотреть тебе в глаза... Потом несколько раз хотел тебе признаться, но так и не решился. Да, вот так получилось. Дай мне в морду, мне будет легче. Дай!

Виктор отвернулся, некоторое время тускло смотрел на уже темнеющую улицу, потом поднялся и, с дрожью в голосе, пробормотал:

— Пойдем по домам.

На углу улицы Игорь обнял друга.

— Уходи от нее, она не стоит тебя. Уверен, ты встретишь отличную женщину и еще будешь жалеть, что столько лет жил с этой стервой.

Был теплый летний вечер, но Виктора знобило. Он брел в сторону дома, еле сдерживая слезы. Навстречу ему попадались смеющиеся парочки, откуда-то доносилась музыка. Виктор ничего не замечал, брел, ощущая внутри невыносимую тяжесть. В какой-то момент ему показалось, что все его тело заковано в железный панцирь.

Когда он подошел к дому, уже сгустились сумерки, и на улице зажигались фонари — вначале лишь слабое мерцание, но постепенно оно усиливалось и превращалось в яркий свет.

В пустой квартире Виктор особенно остро почувствовал одиночество. «А она сейчас с кем-нибудь занимается «дружеским сексом», — зло подумал он и застонал от бессилия, от невозможности что-либо изменить.

Виктор распахнул окно, свежий теплый ветерок ударил ему в лицо. Далеко внизу виднелись огоньки фонарей, освещенные квадраты витрин, маленькие силуэты прохожих, а наверху темнело звездное небо. Запрокинув голову, Виктор смотрел в небо и внезапно оно... посветлело, и перед ним возник солнечный день из далекого детства: он бежал по лугу среди цветов, бежал к их дому, а на крыльце стояла его мать — еще совсем молодая, красивая, она махала ему рукой, звала к себе...

Виктор встал на подоконник и шагнул в тот солнечный день... в темную пустоту. И сразу почувствовал легкость, впервые за все последние годы почувствовал необыкновенную легкость, словно птица, которую внезапно выпустили из клетки на свободу. Он летел и улыбался.

ТАНЦУЮЩИЕ СОБАКИ

Нас считали слегка «с приветом»: его, тридцатилетнего механика, вечно небритого, навеселе, и меня, шестиклассника, который, по мнению учителей, «ходил в школу не учиться, а отмечаться». А слегка тронутыми нас считали за безоглядные поступки и выходки, и прежде всего, потому что мы устраивали танцы с собаками и часто это делали публично, с большим подъемом.

Нас вообще объединяло многое. Прежде всего, нам обоим было в высшей степени наплевать, во что одеваться, что есть, на чем спать, и свободное время мы проводили легко — болтались где попало, благо в нашем городке был и речной порт, и стадион, и тьма закусовых. К примеру, с полочки дяди Сережи — так звали моего старшего друга — мы садились в попутный грузовик и катили, куда шла машина, — нам было все равно, куда ехать. Где-нибудь на окраине просили шофера притормозить, заходили в закусовую, дядя Сережа брал стакан портвейна, несколько холодных котлет, конфеты, при этом подмигивал мне:

— Трата денег требует искусства. Конфеты тебе, котлеты собакам, а это мне, — он опрокидывал стакан портвейна.

Мы выходили на пятак перед закусовой, кормили местных дворняг котлетами и с веселым задором затевали с ними возню.

Еще мы оба любили технику. Дядя Сережа работал механиком в авторемонтной мастерской, а я собирался после седьмого класса податься в ученики к автослесарю и частенько, прогуливая школьные занятия, торчал в мастерской.

— Машина — это не просто набор железок, — многозначительно говорил дядя Сережа. — Это живой организм. Отсюда пение, пыхтение, дыхание машины. Она вбирает энергию

людей, которые ее делали. Злой передает ей злость, непрочность, добрый — доброту, надежность. Потому машина сама выбирает, сколько ей работать.

Я слушал, развесив уши, и восторгался интеллектуальным величием моего друга и наставника. В масштабах нашего городка он мне казался самой значительной личностью. В свою очередь дядя Сережа тоже видел меня личностью в некотором роде.

— Ты толковый парень, — говорил. — Из тебя выйдет слесарь что надо! По части техники уже имеешь основательный запас знаний.

Вдобавок у нас была еще одна любовь — к собакам. У дяди Сережи жили три беспородные собаки: молодая рыжая сучка Глафира, молодой разнопятнистый кобелек Гришка и старый пес Артем, у которого была облезлая шерсть, но взгляд острый, повелительный. Дядя Сережа не случайно дал собакам такие имена. Он говорил, имея в виду своих собак:

— У моих ребят больше человечности, чем у некоторых людей, которым надобно давать клички.

Полуподвальную, захламленную квартиру дяди Сережи кое-кто называл «свалкой». В самом деле, она напоминала лавку утильщика, но я был уверен — у дяди Сережи прекрасное жилище, захватывающая жизнь и лучшие собаки в нашем городке, ведь они были музыкальные, то есть любили музыку и даже танцевали под нее. Стоило дяде Сереже завести патефон, как Глафира вставала на задние лапы и с оглушительным лаем скакала по комнате, при этом вся сияла от радости. Гришка тоже кое-что изображал: быстро перебирая лапами, крутился на месте и то и дело разевал пасть — вроде пытался запеть. Степенный Артем некоторое время невозмутимо взирал на эти фортеля, демонстрируя умственное превосходство перед собратьями, но потом не выдерживал — раскачивал головой в такт мелодии, его взгляд теплел, он улыбался и всем своим видом давал понять, что танцы ему нравятся. Чтобы еще больше завести собак, я вскрикивал:

— Танцы-шманцы-обниманцы! — и приседал, и подпрыгивал.

Потом и дядя Сережа присоединялся к нам: кружил по комнате, раскинув руки. Наш праздничный настрой не очень-то нравился жильцам наверху. Случалось, они барабанили

в дверь, кипели, как горох в кастрюле, грозили милицией, после чего дяде Сереже приходилось снимать пластинку.

А бывало, во дворе слышалась музыка — кто-нибудь из соседей громко включал радиоприемник; собаки тут же бросали на дядю Сережу выжидательные взгляды и, если он кивал, стремглав выскакивали во двор и устраивали танцы на публике. Останавливались прохожие, из окон высовывались жильцы. Еще бы! Не каждый день увидишь такое зрелище.

Собаки дяди Сережи любили танцевать, потому что по характеру были веселягами, да и жили припеваючи — дядя Сережа кормил их тем же, что ел сам, только что не наливал портвейна. Ну и, конечно, постоянно разговаривал с ними, и собаки с жадным вниманием его слушали. Дядя Сережа вызывал у них чувство глубокого уважения и был для них почти Богом.

— Заметь, — говорил мне дядя Сережа, — Глафира больше любит вальсы. У нее душа нежная. А Григорий тяготеет к песням. Артем — тот уважает марши... Артем, скажу тебе, пес редкий. Кристально честный, без разрешения со стола ничего не возьмет. Гришка с Глашкой могут сцапать, Артем — никогда... А вообще они все ребята отличные, и утешить умеют, и развлечь. И тебя любят — знают, ты мой друг, — дядя Сережа хлопал меня по плечу, — ведь мы с тобой друзья — не разольешь водой, верно?

От этих слов я надувался — гордость прямо распирала меня.

После школы, когда дядя Сережа еще был на работе, я выгуливал его собак (ключ от квартиры мы прятали в потайном месте). Окруженный лохматой свитой, я спускался в овраг, причем, шел медленно, из уважения к возрасту Артема — он тяжеловато ходил, а Глафира с Гришкой, само собой, неслись впереди. В овраге мы купались в ручье, обследовали бугры и впадины, я раскачивался на ветвях орешника, собаки облаивали ворон — неплохо проводили время.

Вечером с работы приходил дядя Сережа, доставал из сумки еду, портвейн; мы ужинали, а потом устраивали танцы и не останавливались, пока не являлись жильцы сверху или за мной не заходила мать; она стыдила дядю Сережу за «балаган» и под конец говорила одно и то же:

—...Жениться тебе, Сергей, надо. Не женишься — плохо кончишь!

Ну, а меня выталкивала за дверь и по пути к дому давала подзатыльник:

— Лодырь несчастный! Кто будет делать уроки? Пушкин?! Знай, если будешь прогуливать школу, отдам в детдом!

Кроме любви к технике и собакам, нас с дядей Сережей объединяло враждебное отношение к женскому полу. Я вообще всерьез девчонок не воспринимал, считал их никчемным сословием и в открытую говорил им гадости. Ну, а дяде Сереже, по его словам, «женщины прилично насолили», и потому он твердо решил остаться холостяком. Как-то он сказал:

— У мужчин полно недостатков, а у женщин только два — все, что говорят, и все, что делают. Так говорят англичане. Я тоже так считаю. У меня над рабочим местом видел надпись: «Не верь тормозам и женщинам!»

— Я девчонок ненавижу! — выпалил я, пытаюсь развить эту тему.

— Ты гигант! — кивнул дядя Сережа. — Настоящий мужчина должен заниматься техникой, а не волочиться за юбками. И должен любить животных... Послушай, что произошло вчера. Иду, значит, с работы, вдруг вижу ее.

— Кого? Женщину?

Дядя Сережа нахмурился:

— Да какую там женщину! Собаку! Хорошую такую собачонку. Лежит мертвая на проезжей части. Какой-то лихач сбил. Набить бы ему морду. Не перевариваю лихачей. Грамотный водитель едет спокойно... Ну, похоронил собачонку честь честью.

Как я уже сказал, свободное время мы проводили — лучше нельзя: посещали стадион, «болели» за футбольную команду нашего городка или направлялись в речной порт, где среди рыбаков и лодочников у дяди Сережи было немало закадычных дружков. Пока мужчины пили портвейн, я узнавал, кто сколько поймал рыбы, кто куда плавал, что нового в верховьях и низовьях реки. От любого рыбака и лодочника я получал гораздо больше знаний, чем от всех школьных учителей вместе взятых.

Но прошлым летом все пошло наперекосяк. Ни с того ни с сего мой старший друг стал каким-то задумчивым, рассеянным, отвечал невпопад... И даже танцевал с собаками без прежнего энтузиазма — так, два-три раза прокрутится,

ляжет на кровать, запрокинув голову, и улыбается каким-то своим мыслям.

— Дядь Сереж! — допытывался я. — Что с тобой? Может, заболел?

— Спрашиваешь! Ясное дело, заболел... Но совсем малость. Думаю, скоро поправлюсь.

Но не поправился и через несколько дней стал говорить с виноватой улыбкой:

— Ты это... сходи на стадион один, у меня тут есть одно дельце. И это... вот сверток с едой, покорми собачек. Я поздно вернусь.

Или, переминаясь с ноги на ногу:

— Ты это... сгоняй в порт один, скажи корешам, чтоб сегодня меня не ждали. Есть одно дельце. И это... потанцуй с собачками. Я сегодня, может, и не вернусь.

И вот однажды, возвращаясь со стадиона, я внезапно увидел его в сквере с... женщиной. С женщиной на скамье под деревьями! Я не поверил своим глазам и подошел ближе, чтобы убедиться — мой ли это горячо любимый друг, убежденный женоненавистник?! К великому огорчению, это был он. Рядом с ним сидела полная женщина в невысказанно ярком платье, она была как надувной шар, перевязанный посередине, и вся в украшениях. Почему-то я сразу подумал, что вместе с украшениями толстуха весила должно быть немало. Они прижимались друг к другу, дядя Сережа что-то с жаром говорил и хватал женщину за разные места, потом смолкал, и она посылала ему улыбки и вздохи, а он взмахивал руками — как бы ловил ее улыбки и вздохи, словно бабочек.

— Это похоже на любовь, — хмыкнул я, охваченный ревностью и злостью. Мой друг нанес мне чувствительный удар.

Я думал, на следующий день он сам все расскажет. Где там!

— Есть одно дельце, — только и сказал с дурацкой блаженной улыбкой.

Казалось, он задался целью подшутить надо мной. Но чаша моего терпения переполнилась, и как только он заикнулся про «дельце» в очередной раз, я едко процедил:

— Не ври!

Он глубоко вздохнул, достал папиросы, закурил.

— Точно, вру. Плюнь мне в морду! — и дальше начал оправдываться: — Понимаешь, какая штука. Скажу тебе пря-

мо, от чистого сердца. Я, кажется, немножко полюбил... Она душевная женщина. Очень красивая, любит песни. А чутье и слух у нее — как у собаки. Она тебе понравится.

— Ты что ж, решил жениться? — как бы с вялым интересом усмехнулся я; внутри-то у меня бушевало адское пламя.

— Не знаю, не знаю, — он обнял меня и расплылся. — Но мы все равно останемся друзьями, верно?

Смертельно усталый я побрел домой. «Нет уж, дудки! Друзьями мы не останемся! С предателями не дружу!» — беспощадно бормотал я и пинал все камни, попадавшие на пути.

ДЛЯ НАС СЧАСТЬЕ НАЧНЕТСЯ В ИЮЛЕ

(поверхностный обзор семейной жизни)

Когда говорят о моей жене гадости — а именно только гадости о ней я и слышу, — мое сердце готово выскочить из груди. Говорят, моя жена легкомысленная, взбалмошная, горластая психопатка, что на людях она вечно рисуется и что вообще ей не мешало бы поправить голову. А меня устраивает склад характера жены. Говорят, у нее жуткие манеры и вкус подкачал — некоторых соседак, например, раздражает склонность жены украшать себя бантиками. А мне все нравится в жене, особенно бантики.

От соседак я не раз слышал, что с женой мне не повезло, что она нескладеха, плохо шьет и не умеет готовить, что устроила в нашей квартире бедлам, а на их (соседак, то есть) замечания отвечает насмешливо-развязно, что у нее слишком много свободного времени, и потому она пилит меня без всяких причин. Но я-то уверен: с женой мне крупно повезло — я приблизился к счастью больше, чем кто либо. Моя жена, скажу вам, в сто раз лучше всех этих соседак — заявляю это ответственно. Она забавная, немного с чужинкой, немного несерьезная (в каком-то смысле) — ну и пусть. Хватит моей серьезности. К тому же, согласитесь, простодушие, чистая наивность в женщине неизмеримо ценнее всяких хитростей, изошренных умничаний.

Я не раз слышал, как за моей спиной мужчины не жалеют грубых слов, обсуждая мою жену (мужчины сплетничают не меньше женщин): называют невзрачной, безликой и даже страшной. А я считаю ее красивой. Клянусь, она отлично выглядит. Особенно рядом со мной — ведь известно, женщина особенно женственна, когда рядом с ней мужественный мужчина. А я, смею вас уверить, достаточно мужественный. Мужественный и твердый (одно только имя о многом гово-

рит — Аристарх). Вдобавок, я интересный (внутренне), и еще работающий — я электрик высокого класса, да кое-где подрабатываю по другим специальностям (у меня умелые руки), не гнушаюсь никакой работы, берусь за все, за что платят деньги (это не каждому под силу). И, поверьте, моя всеядность в работе — не увлечение, а образ жизни. Я, понимаете ли, не могу без работы. И даже в рай — этот бессрочный Дом отдыха — не хочу, ведь там ничего не надо делать. Потому и зарабатываю прилично и честно: мне не стыдно смотреть людям в глаза, потому и жена позволяет себе не работать, да и у нее дома дел хватает (что вы хотите — у нас четверо детей).

Наконец, жена единственная женщина, которая меня любит по-настоящему, подчеркиваю, — по-настоящему. У нее ко мне глубочайшая любовь, не то, что некоторые — виснут на муже, а зыркают по сторонам, строят глазки другим мужчинам. И пусть такая краля хоть кинозвезда и талантлива до жути, но нет уж, извините, мне такой и даром не надо. Больше скажу, есть женские профессии, которые никак не подходят для семейной жизни: это всякие актрисы, манекенщицы, художницы, поэтессы, философы (женщина-философ — вообще чудовище). Самое лучшее — жениться на библиотекарше, медсестре, бухгалтерше (кстати, профессия моей жены). Из этих, как правило, получаются неплохие жены. Но, конечно, еще лучше — вообще не жениться, или вступить в брак как можно позже. Куда, собственно, спешить?

Именно так, или примерно так, я и рассуждал до сорока лет и жил припеваючи: днем вкалывал, вечера проводил с друзьями и случайными женщинами в развеселой кутерьме, в винно-табачном угаре — вел кипучую жизнь: до старости было много времени, и я методично его убивал. И насмеялся над женатыми, над их тягостной, полной унылых обязанностей жизнью. А они, в свою очередь, посмеивались надо мной — известное дело, вид на семейную квартиру из холостяцкой конуры совершенно не похож на вид этой конуры со стороны квартиры семейных.

Ну, а после сорока на меня все чаще стала накатывать непонятная тоска, загулы с друзьями наскучили до чертиков, у меня появились раздражительность, ворчливость. «Хандра ни к чему хорошему не приводит, — думалось. — Надо взять себя в руки и больше работать, хотя куда уж больше?!» Чест-

но говоря, и в молодости мой характер был не подарочек, а после сорока я попросту превратился в зануду. Я изменился по многим причинам. Во-первых, замучил быт — вечно драное, неглаженое белье, питание — урывками, впопыхах. Во-вторых, натиск болезней; временами жаловался друзьям, что вот-вот загремлю в больницу и стану инвалидом. На что друзья-женатики насмешливо замечали:

— Твои болезни уже тянут не на инвалидность, а на гроб с музыкой. Но ты не унывай, мы споем что-нибудь веселенькое на твоих похоронах.

Так они лихо развлекались. Отсмеявшись, вразумляли меня:

— Тебе нужна оздоровительная атмосфера, — и выпукло обрисовывали положительные стороны семейной жизни.

Под их давлением я стал подумывать: в кого бы влюбиться, на ком бы жениться? На худой конец — взять в домашние хозяйки? Примерно в это же время в нашей коммуналке освободилась комната: умерли соседи-старики (не дождалась очереди на получение квартиры), и мне, как имеющему «перспективный возраст», предложили занять вторую комнату. В итоге я расширил свою холостяцкую хибару. Друзья-женатики обозвали меня «везунчиком», «богатым женихом» и с двойным усердием взялись обрабатывать — муссировали тему женитьбы, в том смысле, что это замечательная штука.

Теперь о главном. Как-то в компании жена одного моего друга говорит:

— Есть люди, с которыми вредно общаться, — они отбирают нашу энергию, становишься разбитым, больным. Но есть — которые отдают энергию, заряжают ею, — и, обращаясь ко мне, заявила: — У меня есть подруга, которая прямо излучает добро. Очень хорошая женщина.

С определенным сомнением я решил уточнить:

— Как она внешне?

— Очень женственная. Хорошо поет. Веселая. Я встречаюсь преимущественно с веселыми людьми, они продлевают жизнь.

Я понял — жена моего друга выцарапала лучшее, что было в ее подруге, и спросил напрямик:

— Она красивая, или так себе, или уродина?

Жена друга опять ловко ушла от прямого ответа:

— Она славная. Мне нравится. В общем, увидишь — все поймешь сам, что я буду тебя уговаривать.

Я решил рискнуть — познакомиться с этой «славной певуньей», но на всякий случай подготовил себя к тяжким испытаниям. И напрасно, она мне сразу понравилась — этакая сияющая модница с бантиком на затылке; своими словечками и песенками она потешала всю компанию. На нее даже просто смотреть было радостно, рядом с ней становилось легче дышать, честное слово. А уж когда она пела, а она постоянно что-то напевала, или смеялась — громко, зажигательно, она была просто полна веселья, я невольно тоже расплывался.

Короче, она сразу окутала меня плотным облаком обаяния. Не могу точно сказать, но она из того сорта людей, которые сами себе устраивают праздник (одна из граней ее таланта). Мало того, она изобретательно подтрунивала над собой, то есть не боялась выставить себя не в лучшем свете и тем самым как бы развлекала себя (в отличие от моих дружков, которые развлекались за мой счет). Вдобавок она внимательно слушала все, что я говорил, а я уже тогда знал — мне нужна женщина, которая будет меня слушать (я не упускал случая потрепаться о своих многочисленных работах и кое-каких планах на будущее). Позднее, когда мы поженились, она говорила жене моего друга:

— Не надо мужчине ни о чем спрашивать, он сам о себе все расскажет. Мужчины как мальчишки, жуткие хвастуны, — и заливалась продолжительным смехом.

Позднее она говорила и похлеще:

— Он был дикарь (имелся в виду я — она уже подтрунивала не только над собой), жил как бродяга, был неухоженный, изможденный, с чернильным лицом, в каком-то доисторическом пиджачке — стало жалко его, привела к себе, отмыла, откормила... Целый год приучала мыть руки перед едой и ноги перед сном, и есть, не чавкая, и лежать на тахте, не раскорячившись...

Дальше она, бесстыдным образом, говорила еще что-то в том смысле, будто нашла меня на помойке, и при этом хохотала от всей души.

Но эти издержки семейной жизни начались позднее, а в день знакомства я подумал: «Вот это женщина, я понимаю! Она для меня», и решил приударить за ней. Приударял весь

вечер (мы гуляли у моего друга, жена которого выступала в роли свахи): подливал вино, подкладывал закуски (это у нее вызывало бурный протест: «От одного взгляда на еду я падаю в обморок, — говорила. — Я ем как птичка», — и смеялась). Я приглашал ее танцевать, хвалил ее розовый бантик (она призналась — «обожаю розовый цвет»), называл «ароматной женщиной» (она любила лосьоны, духи, туалетную воду); говорил, что она в моем вкусе... Она возбуждающе смеялась и тоже высказалась в том смысле, что я ее тип мужчины. Известное дело — для женщины мужчина значителен не тем, чем значителен для всех, а тем, как относится к ней, и его слова не менее важны, чем его поступки. Под конец вечера я шепнул весельчуне:

— Давайте убежим отсюда ко мне.

Она вскинула глаза:

— Вы что, дурной? Зачем так спешить? Да и жалко разрушать компанию, — и дальше, широко улыбаясь, цокая языком: — Поухаживайте за мной хотя бы несколько дней. За красивой женщиной надо и ухаживать красиво. (Ничего себе, мнение о себе!) Пригласите меня в театр. Я привыкну к вам и тогда... — она вытаращила глаза и многообещающе заключила: — Для нас счастье начнется в июле (дело было в конце июня, и чего она тянула, я никак не мог взять в толк. Оказалось — у нее начинался отпуск в июле).

Короче, на следующий день она потащила меня в кино-театр, потом еще на какую-то выставку — дня три-четыре устраивала «культпоходы», при этом без умолку рассказывала о себе: как на работе налаживает сотрудничество кого-то с кем-то, добивается поддержки кого-то чего-то, какая она жалостливая, как ей всех жалко (действительно, раздавала деньги нищим, на страшных сценах в кино зажмурилась), что верит в чудеса и приметы, любит сказки, детей, животных, — и, напевая веселые мотивчики, и так и сяк поворачивалась, показывая роскошные бедра и грудь. Разогрела меня черт-те до чего (мне уже снились эротические сцены), наконец как-то вечером вцепилась в мою руку и со сладким ужасом выдохнула:

— Поедемте ко мне.

Целую неделю мы, одурманенные любовью, яростно занимались сексом. Поражаясь моей активностью, она смеялась:

— Это балдеж! Ты хорошо сохранился для своего возраста. Ее драгоценные слова я воспринимал всерьез — в выходные дни мы вообще не вылезали из постели. Вернее, вылезали только перекусить, и однажды, когда устали от любви, съездили ко мне за вещами. Перед этим я в приличной форме предложил ей пожениться. Она согласилась с легким смешком.

— Будущее будет таким, каким мы захотим. А жить будем у меня, так удобней, — это она пропела, как куплет песни (у нее голос необыкновенной красоты).

— А в своих комнатах устрою мастерскую, — вставил я (я постоянно думаю о работе — этого у меня не отнимешь).

— Ты что, дурной? — откликнулась моя невеста. — Твои комнаты сдадим, так целесообразней, — и, засмеявшись: — Счастливый брак — это кропотливое продуманное творчество, — и дальше для доходчивости увеселяюще развила свой взбадривающий проект: — Накопим денег, отдохнем у моря, позагораем,купаемся вдоволь, — ее смех становился все более освежающим, как морской ветерок.

Вот она, непредсказуемость в любви! С невинным весельем, как бы забавляясь, она сразу взяла инициативу в свои руки и, распевая песенки, выращивала наши отношения по четкому сценарию, не считаясь с моими привычками и планами. Но, странное дело, я, упрямый, твердый, невольно ей уступал (вот оно, чародейство любви!). Она «передыликала» меня ненавязчиво:

— Почаще брейся дорогой, у меня горят все щеки... И не спи, дорогой, на спине — ты храпишь так, что я пугаюсь... И почаще говори мне, что я красивая...

Короче, она меня обдуривала, но я был рад обдуриваться, тем более, что с первого дня нашего знакомства я забыл, что такое хандра, меня начисто отпустили болезни (похоже, вылечил жизнерадостный характер моей избранницы); теперь на предыдущие пьянки с друзьями я смотрел как на бездарное разгульное времяпрепровождение, я как бы взглянул на них со страшной высоты и увидел себя вдрызг разбитым, и наоборот, теперь рюмка водки с невестой — певуньей-веселягой — придавала мне новые немалые силы (мы ежедневно перед ужином выпивали: я рюмку водки, она немного вина, эту привычку мы закрепили сразу и навсегда). Я даже сделал вывод — рюмка водки с веселой женщиной исцеляет

от всего. И вообще, в наше время самая большая радость — встретить доброго человека с веселым нравом. Остальные радости можно устроить самому.

Жену зовут Марина. Как она и обозначила, наше счастье началось в июле и, несмотря на некоторые шероховатости, выглядело впечатляюще — это отметили все, даже дети на улице: они показывали на нас пальцем, хихикали. Каждый знает — есть вещи, которые нельзя скрыть: горе и счастье, ненависть и любовь. Мы слишком ярко выражали свои чувства, и некоторые мои приятели стали смотреть на нас с холодной завистью; их раздражала наша разбухающая любовь, они считали, что мы неприлично счастливы.

Но еще хуже вели себя подружки жены и соседки по дому (особо опасная публика — могут заниматься и подглядыванием, и подслушиванием) — эти прямо чахли от нашего счастья, зависть разъедала их изнутри. Непосредственная соседка (квартиры разделяла тонкая перегородка) — администраторша кинотеатра, квадратная особа с вытарашенными глазами, недалекая, бестолково шумная, по отношению к нам проявляла глубокое беспокойство, вернее принимала самое активное участие в нашей жизни, еще вернее — вторгалась в нашу жизнь, и распускала язык на уровне торговки: с прямым вызовом называла Марину «разрисованной дурехой, которой надо бантик присобачить на задницу», а меня — «примитивным, тупицей, который гребет деньги лопатой и неизвестно где», — и не только так, конечно. Себя она именвала не иначе как «порядочной во всех отношениях, примерной матерью» (у нее было двое детей). Она вещала:

— У меня свой жизненный стиль, я живу честно и не пользуюсь служебным положением, никому из знакомых не помогаю с билетами — пожалуйста, только через кассу.

Жена смеялась в лицо администраторше (прямо заливалась несдержанным, каким-то скачущим смехом); вероятно, чтобы еще больше ей насолить, всячески афишировала нашу семейную жизнь — даже то, что мы целуемся в среднем четыре раза в сутки, ежедневно при ней минуты три расхваливала меня, прославляла до небес (три минуты я чувствовал себя почти героем), а наедине сообщала мне:

— Вообще-то она колдунья — от нее двое мужей сошли с ума, и третий немного того — то ли притворяется, то ли на

самом деле сумасшедший... Он последний пьяница на нашей улице... Ты же слышишь, у них каждый день светопреставление...

Я особенно не прислушивался, но вроде что-то было, и что точно — их дети время от времени выскакивали зареванные на лестничную клетку, и моя сердобольная жена успокаивала их, совала конфеты, пряники.

Позднее я заметил: соседи, действительно, скандалят и дерутся, и что удивительно — администраторша часто выходила победительницей из потасовок, поскольку ее пьяный муж слабо координировал удары, а как известно, у разъяренной женщины появляются недюжинные силы. О соседке-администраторше я говорю не побочно, вовсе не для того, чтобы обозначить наше окружение — в дальнейшем она сыграет чрезвычайно важную роль в нашей жизни.

Но вернемся к теме моей женитьбы. Кончился наш смешливый медовый месяц, начались будни. Я работал в поте лица; после работы грузил мебель у магазина; там была почасовая оплата, и некоторые грузчики растягивали перевозку — скажем, пианино, на два дня (обивали инструмент поролоном, сколачивали настилы на лестнице, пенопластом обставляли выступающие углы), а мы с напарником, «поддерживая темп», справлялись за пару часов (с помощью специальных ремней, разумеется).

Еще я подрабатывал дворником на двух точках. А что?! Мне не трудно, от меня не убудет, я постоянно закаляю созидательный дух; а в семейном котле лишние деньги не помешают. Хотя какие лишние?! Жена купила мне костюм, задумала ремонт в квартире (наклеить розовые обои, повесить розовые занавески, в ванной заменить белые плитки на розовые)... Как дворнику мне доставалось осенью, зато получал надбавки за листопад. Зимой было проще — давал на бутылку шоферу снегоуборочной машины, а сам только чистил тротуары; опять же — надбавка за гололед.

Ну, а в ту пору (в конце лета, после медового месяца) я успел еще кое-что смастрячить в квартире жены: починил бачок в туалете, застеклил балкон, где жена устроила мини-сад: в нем красовалась помидорная рассада и вверх растущие по ниткам и ниспадающие растения с розовыми цветами. После этих поделок, которые для меня и не работа вовсе,

а так — разминка в перерыве между настоящей работой, жена чмокнула меня в щеку.

— Господи, какой у меня трудолюбивый муженек, совсем не дурной! — пропела и, раскинув руки, закружилась, словно девчонка.

Она гордилась всеми моими делами, и я постоянно чувствовал ее поддержку, даже на расстоянии; и никогда не видел ее кислой — в самые унылые дни она находила радости, какая бы неприятность не случилась: «Могло быть и хуже, — скажет. — Это Бог нас уберег от чего-то более тяжкого. Главное, мы живы и здоровы», — и засмеется, давая понять, что всякие мелкие неприятности — ничто в сравнении с нашим огромным счастьем.

Как-то я по рассеянности потерял набор любимых отверток, расстроился жутко, а жена невозмутимо пожала плечами:

— Не стоит расстраиваться из-за ерунды. Главное, не сколько потерял, а сколько осталось. У тебя остался целый ящик замечательного инструмента. Подумаешь, трагедия — какие-то отвертки! Купи новые.

— Такие черта с два купишь, — буркнул я.

— Ты с любимыми справишься, у тебя золотые руки, ты можешь все — за это тебя и люблю. В работе — ты почти святой!

Что после этого скажешь?! Естественно, я молчал, умиляясь собственным талантом и скромностью.

Про интимную сторону нашей жизни в этот период умолчу; приведу только два примера. Случалось, приду с работы раньше жены, посмотрю на ее фотографию на стене, воспаляюсь и жду не дождусь, когда она объявится, — всего прямо трясет. Случалось, она посмотрит по телевизору романтический фильм, заведется, выбежит на лестничную клетку, где я что-нибудь мастрячу, схватит за руку и тащит в постель.

Вскоре Марина пошла в декретный отпуск, но дома ни минуты не сидела без дела — всячески обустроивала наше «гнездо» и вкладывала в эту работу немало старания (у нас всегда все блестело, и меня всегда ждал ужин из трех блюд), при этом по-прежнему излучала веселье и подпевала мелодиям по радио. Мои приятели, подруги жены, соседки пытались кое к чему придраться, но их потуги уже выглядели жалкими; вскоре они успокоились и потеряли к нам инте-

рес — спустя два года даже не заметили, что наше счастье умножилось (у нас родились сын и дочь). И здесь неожиданно появился интерес другого рода — со стороны Марины к непосредственной соседке-администраторше. Каждый вечер жена (без смеха) выкладывала новости:

— Ее сумасшедший муженек совсем стал дурным, почти не появляется, ночует у другой... Детей жалко, весь день одни, голодные, чумазые.

Наконец однажды сказала:

— Сегодня ее увезли в больницу.

— Кого? — не понял я.

— Соседушку нашу. Увезли беднягу в психбольницу...

Свихнулась...

— Так значит, не ее мужья, а она чокнутая, — заключил я.

— Детей жалко, — продолжала жена. — Покормила их, а они: «Тетя Марина, не уходите».

— Ты все слишком близко принимаешь к сердцу, — уклончиво сказал я, а она:

— Давай заберем их к себе. В тесноте да не в обиде, как-нибудь поместимся... пока администраторша в больнице.

Такая затея мне не понравилась, и я высказался в том духе, что у детей есть отец и наверняка есть родственники.

— Отец — одно название! — едко усмехнулась жена. — И никаких родственников нет. А ты бессердечный, бесчувственный, дурной! Неужели тебе не жалко детей?! Я уже решила — завтра же забираю их! Это мой прямой долг... Сейчас они спят, — и с ненавидящим взглядом: — Не сможешь с нами жить, уходи! Проклинаю тебя!..

Меня прошиб холодный пот. Это была наша первая ссора — и сразу непомерно обширная. Не скрою, я сильно разнервничался, даже с надрывом выпулил ругательство и, хлопнув дверью, направился в свою хибару. «Пусть сходит с ума по мне, рвет на себе волосы, — сказал сам себе. — Будем жить порознь, а время от времени торжественно встречаться. Ради детей и секса». Потом вспомнил — жена давно комнаты сдала. и, уже остыв и продрогнув (дело было в дождь), повернул назад. После глубоких терзаний, я решил: в конце концов, администраторша скоро выйдет из больницы. и все наладится. Если уж на то пошло, какое-то время и ораву малолеток потяну, ведь я двуличный, и у меня золотые руки, как гово-

рит жена. — она-то сдувает с меня пыль, возводит в святые, вот только сегодня что-то разошлась.

На следующий день жена привела детей (мальчишек четырех и пяти лет), перетащила их кровати, одежду. Что показательно — до этого пацаны вели себя как дьяволята; пока мать была на работе, болтались во дворе и вытворяли черт-те что: со взрослыми пререкались, сверстникам корчили рожи, могли из озорства бросить песок в таз с выстиранным бельем и постоянно жужжали, свистели, улюлюкали; с приходом матери (тем более с появлением пьяного отца) становились испуганными, забитыми. Короче, я думал, эти шкеты будут моей большой головной болью, но в новой обстановке они — не то что стали пай-мальчиками, но изменились к лучшему. это факт. Конечно, случалось, затеют с моими ребятами шумную возню, разбросают по квартире весь арсенал игрушек, а то и начнут баловаться с настольной лампой или выключат радиоприемник на самом интересном месте, но после моих внушений больше таких номеров не выкидывали; а когда я рассказал им про электричество и радио, зауважали меня не на шутку.

К жене они и раньше тянулись (еще бы — с ней был вечный карнавал!), а теперь просто ходили за ней по пятам:

— Тетя Марина, а как вы узнаете нас по стуку? (они не дотягивались до звонка и стучали в дверь). Тетя Марина, а давай играть в «казаки-разбойники!»

Жена играла в «разбойников» и «прятки», читала сказки. и все это проделывала с невероятным горением — ей бы стать воспитателем в детском саду, а не бухгалтером. у нее такая же привязанность к детям, как у меня к работе.

Болезнь соседки затянулась; врачи поставили диагноз — шизофрения в тяжелой форме — и объявили, что в ближайшее время о выписке не может быть и речи. Пришли какие-то люди из собеса и предложили забрать детей в детдом, но жена, рассмеявшись, выпалила:

— Им и у нас неплохо, правда, мальчишки?

Наши приемыши радостно закивали.

Так я стал главой огромного семейства и в некоторой степени возгордился этим. Первое время мои приятели, подруги жены и соседки недоумевали, тарасились на нас, перешептывались, потом вдруг посыпались тайные подношения:

у двери мы находили одеяла, разное барахлишко, деньги без обратного адреса — чтоб не возвращали. Ясное дело, жене доставалось: у одного ребенка простуда, у другого ушибы, ссадины, и у каждого свои проблемы — в них надо вникнуть, объяснить что к чему, плюс домашнее хозяйство: стирка, штопка, обеды, ужины, но все это моя неунывающая жена называла «приятными заботами» и, как и раньше, искрилась весельем и пела, а смех ее даже стал более звонким, прямо-таки чарующим.

— Я всегда мечтала иметь большую семью, — говорила она, обнимая и целуя детей. — До полного счастья нам не хватает еще собачки и кошки. Животные делают наши души нежнее, добрее.

Полное счастье наступило на следующий день — ребята приволокли дюжину бездомных собак и кошек, заполонили весь дом разношерстной лающей и мяукающей братией. Я отобрал из них парочку (собаку и кошку, как хотела жена), остальных приказал отнести во двор.

— Неужели тебе не жалко их? — смешливо прыснула жена. — Всех оставим! В тесноте, да не в обиде. Как-нибудь уживемся.

Не трудно догадаться, что теперь творится в нашей квартире.

— Это называется семейным счастьем, — говорит жена и заразительно хохочет (веселье в ней прямо бьет ключом), и я с готовностью киваю.

Ну, а в остальном у нас понимание и согласие; иногда возникают, конечно, мелкие размолвки, но это второстепенное, так, чепуха. В основном, повторяю, мы живем дружно. Только, странное дело, последнее время опять нет-нет, да и слышу гадости в адрес жены — и когда это пройдет? Наверное, это никогда не пройдет — так уж устроены людиб им больше свойственна зависть, чем восхищение. Женщин раздражает веселость жены, ее легкий, лучезарный характер, то, что она никогда не ноет, не жалуется и даже не грустит, не впадает в задумчивость, да еще играет с детьми, распевает песенки, танцует — никак не хочет взрослеть. И эти бантики!

— Много воображает! Корчит из себя неизвестно кого! — бросают вслед жене женщины и дальше сыпят все те же гадости, которые я перечислил в начале рассказа.

Мужчин заедает, что жена не обращает на них ровным счетом никакого внимания, а на их попытки завязать с ней дружбу или — еще чего! — поволочиться за ней, отвечает насмешливым смехом.

— Подумаешь, недотрога, святоша! — недовольно хмыкают мужчины. — А, в общем-то, баба так себе, даже страшная...

А между тем, с тех пор, как у нас появились приемные дети, жена еще больше похорошела, стала просто невероятной, небесной красоты. Само собой, одно дело — женщина как она есть, другое — наше представление о ней; и даже наверняка, совершенная женщина существует только в глазах мужчины, но не разубеждайте меня, не тратьте время попусту, в моих глазах жена — самая лучшая женщина на свете. Ей не было бы цены, если бы не ее чрезмерная жалостливость, высокий градус эмоций — она готова осчастливить все человечество и весь животный мир. Недавно, к примеру, заявила:

— Наше полное счастье будет еще полнее, если мы устроим домашний театр и пригласим детишек-сирот из детдома. И неплохо бы купить за городом участок, устроить там зверинец для бездомных животных. Что нам стоит?! — и, взглянув на меня, священно-трепетно: — Ведь у нашего папы волшебные руки, он может все — только что не разгоняет тучи.

На этом с вами прощаюсь, но ненадолго — я уже начал писать продолжение о нашем семейном счастье, как оно стало полнейшим и уже выплескивалось через край.

ДО ЗАВТРА!

Самые лучшие компании, в которых я бывал, — компании джазовых музыкантов. Когда собираются мои знакомые писатели, они, испытывая жгучее беспокойство, говорят о гонорах, упорно заставляют слушать свои писания, вешают друг на друга ярлыки; когда собираются мои приятели-художники, они, распалив неконтролируемое воображение, говорят о картинах, над которыми работают, и в их словах сквозит неутолимое желание прославиться, под конец они непременно крепко выпивают и в винных парах взалхлеб болтают о женщинах; когда собираются мои друзья — джазовые музыканты, они играют!

Вот уж одержимые люди! Ради музыки они отказываются от многих благ и удовольствий.

Меня окружает немало практичных людей; одни из них охвачены лихорадкой накопительства, вещизма: приобретают машины, строят дачи; другие из-за границы привозят шмотки, во всем стремятся перещеголять друг друга и никак не могут угнаться за своими дурацкими мечтами. А мои друзья-музыканты обитают в коммуналках, не вылезают из долгов, плохо одеты — некоторые всю жизнь не имеют костюма, — но скопили деньги на инструменты и при случае отдают зарплаты за пластинки. Некоторые из них, получая гроши, играют в кафе, а остальные по вечерам кочуют из одного увеселительного заведения в другое, запросто забираются на сцену и присоединяются к играющим. И это так же естественно, как завалиться ночью с компанией к близкому другу.

На сцене они сильно заводят друг друга, особенно если врубят какую-нибудь зажигательную вещь, ну хотя бы «Как высоко луна». Раскочегарятся — дальше некуда, весь зал трясет от их огня. А они знай себе посмеиваются, подмигивают друг

другу, отпускают шуточки. Остроумные все, черти! Да и как не хохмить, ведь джаз, в сущности, веселая штука. Отыграв соло, раскланиваясь и улыбаясь, смахивая капли пота, они один за другим отходят в глубину сцены и оттуда, отбивая такты ногами, искренне восхищаются каждой отлично сыгранной фразой товарища. Вот это особое взаимопонимание, доброжелательное отношение друг к другу, искренняя радость от успеха других и отличают джазистов от всех других кланов.

На фестивале в Таллинне, когда десяток музыкантов из разных стран играли одну тему, я понял, что джаз еще и интернациональная штука. Но главное открытие, которое я сделал, слушая джаз, – это то, что подобная музыка способна моментально поднять настроение или наоборот, заставить грустить. Стоило, например, послушать «Лору», как многое в жизни казалось ненужной суетой; стены кафе расширились, меня обволакивала какая-то теплынь, и, ощущая романтическую приподнятость, я переносился в яркие, светлые дни, становился тем, кем хотел быть, перед глазами появлялось то, что хотелось видеть.

Мне удивительно повезло: я застал время зарождения русского джаза. В те бурные шестидесятые годы в Москве открылся джаз-клуб, сколачивались ансамбли, и одно за другим появлялись кафе: «Аэлита», «Молодежное», «Синяя птица», «Романтики». Окрыленная свободой молодежь смело утверждала себя. В кафе устраивали выставки художники-неформалы, читали стихи непризнанные поэты, пели первые джазовые певицы. Долгое время мы жили в духовном вакууме, без информации и общения с зарубежными сверстниками; пробивались как ростки из-под асфальта, и вдруг — заграничные фильмы, пластинки, а главное — делай, что хочешь и выноси на суд в кафе. Именно кафе играли первостепенную роль в формировании новой эстетики, новой культуры общения.

Сейчас на каждом шагу другие кафе, в которых разные ритм-группы через усилители обрушивают на слушателей ураган звуков и длинноволосые парни завывают писклявыми голосами. Как ни сился, мелодии у этих музыкантов не уловишь, один скачущий напор, невразумительный каскад звуков; взрывы гитарных аккордов, уханье не барабана, а парового молота, хрипы, стоны, вопли, какие-то хронические

экстазы — чумовая эстрада разбивает мозги. Длинноволосые парни выучили три аккорда, научились щипать гитары, но понятия не имеют, что такое мелодичность. В этих кафе редко увидишь танцующих пластично и страстно, как тогда, в шестидесятых, когда танцевали буги-вуги и рок-н-ролл. Сейчас в основном дергаются осоловелые джинсовые парочки, с выпученными глазами изображают припадочных, и кричат, и воют. Когда я на них смотрю, мне по-настоящему жаль, что эти молодые люди не приучены к классическому джазу, что они лишены удивительного искусства импровизации.

Трагедия в том, что бум свободы длился недолго, и вскоре «непонятную» музыку, как вредоносную, вновь запретили. Но сейсмическое эхо сработало: то тут, то там полулегально продолжали играть джаз, правда, все реже, да и уже менялись вкусы — во всю наступала примитивная массовая культура.

Я часто вспоминаю то золотое время, когда в кафе не только танцевали, но и слушали джаз, и после каждой красивой вариации раздавались аплодисменты, восторженные восклицания. Это и понятно, ведь современный рок — всего лишь форма протеста, динамика состояния, а классический джаз — огромное музыкальное пространство, динамика чувств, определенная экологическая ниша. Рок выполняет не музыкальные, а социальные функции, а джаз — музыка свободных людей, для которых духовная жизнь и личное откровение — некий собственный Бог. Это подтвердит каждый, кому сейчас за сорок.

Наши первые джазовые музыканты учились мастерству у великих негритянских джазистов, развивали их знаменитые фразы, вносили в них свой национальный колорит, обогащали джаз фольклором. Одним из блестящих трубачей был Андрей Товмосян, человек, который самостоятельно научился играть на трубе и в своем мастерстве оставил далеко позади музыкантов, имеющих консерваторские дипломы.

Впервые я его увидел в «Аэлите» на Садовом кольце, около Каляевской улицы: на сцене стоял невысокий сутулый человек с длинным носом и играл какую-то балладу в духе Клиффорда Брауна — этакая кружевная манера, причудливая и нежная, прямо-таки фигурное катание в воздухе. Играл негромко, с недосказанной, как бы смазанной варьировкой, и все время около темы Гарнера «В тумане». Это было какое-

то священнодействие — он совершенно околдовал меня. Я как вошел, так и остался приклеенным к двери. Перед ним зал оглушали лавиной звуков какие-то саксофонисты. Я слышал их из раздевалки. И вдруг... это звуковое облако: мелодичный рисунок, тихое откровение, утонченные, совершенные вариации, так называемый прохладный джаз. Какая-то хорошая грусть, как выдержанное вино, наполняла меня все больше и больше, пока я окончательно не раскис. Эта музыка, преображая окружающее, звучала во мне и в последующие дни, я не мог работать, все валилось из рук...

Позднее это состояние я испытывал каждый раз, когда слушал приглушенную игру Андрея. Что и говорить, он был чуткий, тонкий музыкант. А как человек — замкнутый, необщительный, мнительный, с болезненным воображением; в «музыкальной» компании сидел насупившись, а то и вообще отключившись — слушал музыку, но краем уха улавливал все разговоры и время от времени отпускал колкости в адрес приятелей. Очень любил посмеяться над другими, но жутко обижался, когда подтрунивали над ним.

— Непрозрачный человек, — говорили о нем.

А, по-моему, он был очень прозрачный, и потом, чтобы так волшебным образом играть, нужно иметь доброе сердце.

Андрей жил в большой комнате, среди прекрасной неразберихи. У него почти не было мебели, только тахта, стол и старое кабинетное пианино. Зато вдоль стен стояли штабеля магнитофонных записей, старинных и редких книг, причем совершенно разных: Верлен соседствовал с кулинарией, «Система йогов» с книгами по психиатрии. Андрей писал мрачные стихи с черным юмором и пародии на приятелей.

Когда я к нему заходил, мы слушали музыку, говорили о литературе, под конец Андрей брал трубу, надевал сурдину, чтобы не ворчали соседи, и играл любимые вещи. Как многие одаренные натуры, он был противоречив, и у него частенько случались перепады настроений. Как-то весело проиграл свою пьеску, разулыбался:

— Как ее назовем? Может, «Солнечный день»?

Потом вдруг помрачнел и проиграл эту же вещь грустно.

— А может, «Пасмурный день»?

За глаза Андрей называл меня «гениальный безумец», несколько преувеличивая мои способности. Ничего гениально-

го, да и просто стоящего, я не создавал, а «безумец» — совсем неточно, я нормален до неприличия. Думаю, ему просто нравилось сочетание этих слов. Мне оно тоже нравилось.

Джазу Андрей отдавал все свое время, с человеком, не любящим джаз, он и разговаривать не стал бы — у него эта любовь была чуть ли не помешательством. Однажды мне заявил:

— Если я когда-нибудь женюсь, моя жена будет музыкантшей, от нее будет веять музыкальностью.

Эти слова я вспомнил через несколько лет, когда сидел с его женой на фестивале джаза в МИИТ. Андрей на сцене заканчивал блюз и, как всегда, последний квадрат играл ниже, чем предыдущие. Я был весь там, в музыке, и вдруг меня толкает локтем жена Андрея и спрашивает:

— Тебе нравится моя новая шляпа?

На ней красовалась не шляпа, а корзина с фруктами, ее лицо тонуло в косметике. Она была безвкусной женщиной, хотя работала портнихой, — одевалась с претензией неизвестно на какую моду, напяливала на себя все, что имела, и представлялась «модельершей». Глупая, но с претензией, она вечно помыкала мужем и при этом строила из себя наивную овечку. Она старалась быть на виду (садилась так, чтобы все оценили ее «линии»), постоянно строила глазки друзьям мужа, подогревая его ревность. Из-за нее Андрей вечно дулся то на одного приятеля, то на другого. Я сразу ему заявил, что она не в моем вкусе. Он ухмыльнулся, посмотрел на меня как на идиота, но с того дня привязался ко мне еще сильнее.

Все-таки после того концерта в МИИТ он встретил меня с надутой физиономией, прохладно, точнее — с ледяной суровостью. «Что такое, — думаю, — всегда улыбался, а тут еле процедил «Привет!» Я стал перебирать в памяти последнюю встречу — вроде, все было в порядке.

— Андрюш, — говорю, — в чем дело? Может, я обидел чем?!

— Чем, чем! Пока я играю, вы кадритесь.

С тех пор я обходил стороной его «модельершу».

Одним из первых наших джазовых музыкантов был и Герман Лукьянов, который считал себя лучшим трубачом в мире. Красивый внешне, он не пил, не курил, не ел ни мяса, ни рыбы, не мог долго находиться в одной компании, долго терпеть одного собеседника — его все раздражали. В кафе он

никогда не появлялся с девушками; в их обществе корчил напускное безразличие, а то и болтал о «любовных» победах. Только однажды со мной разоткровенничался:

— Женщина, как правило, навязывает мужчине иллюзии, зачаровывает, околдовывает, парализует его волю, ощущение реальности. Я живу с матерью. Ни одна женщина не заменит мать.

Чувствовалось, слабый пол сильно ему насолил.

Герман – единственный, кто выпадал из всего джазового братства. Он стоял на сцене прямо, с каменным лицом, таинственный и недоступный, играл с открытыми выпученными глазами и никогда не улыбался. Отыграв ураганное начало, сразу уходил в какие-то мудреные завывания. Перед тем как с ним познакомиться, я слышал о нем только плохое и как о музыканте, и как о человеке. Многие музыканты падали от смеха со стульев, когда он играл «колмановские» штучки, другие ухмылялись и отмахивались, кое-кто просто-напросто поносил его замысловатую игру. На это он позднее невозмутимо заметил:

— У каждого должно быть столько же друзей, сколько и врагов.

В зале действительно всегда сидели его поклонники и в молчаливом изумлении, затаив дыхание, ловили каждую ноту кумира, а после «потусторонних, запредельных» импровизаций стонали от восхищения.

Мне, как и большинству «нормальных» слушателей, не нравились выкрутасы Германа, его некоторая показушность и излишняя артистичность (на шее бабочка, в кармане пиджака треугольник яркого платка — и это вычурное обрамление среди скромно одетых товарищей). В своих надуманных импровизациях он совершенно не держал тему, его заносило черт-те куда. Я все надеялся, что надолго его не хватит, а он минут по двадцать закручивал головоломки.

Именно тогда я пришел к выводу, что в искусстве нужно простыми средствами выражать сложные мысли, а не усложнять простые вещи. Я считал, что джаз — компанейская и откровенная штука, а тут какая-то многозначительность, недостижимость, безмерная самоуверенность. И надо же! Когда меня с ним познакомили, он оказался приветливым парнем и умным собеседником. И невероятным спорщиком. Не помню, с чего зашел разговор о единомышленниках, но

помню — я высказался в том духе, что творческому человеку необходимо общение с себе подобными. Герман стал доказывать, что «великие люди» (вероятно, имел в виду себя) редко дружат друг с другом, им не нужна подпитка, что чаще их дружба совсем из другой среды. В общем, спорил со мной, спорил, потом усмехнулся:

— Вообще-то бесполезно что-либо доказывать. У нас всех уже сложившиеся взгляды, убеждения, и вряд ли их изменишь, верно? Спор подрывает дружбу...

В тот вечер мы с ним перешли на «ты», и я был уверен — расстались друзьями. В следующую встречу я чуть ли не бросился его обнимать, но он вдруг холодно протянул руку:

— Здравствуйте!

Он всех держал на дистанции и даже с оркестрантами говорил на «вы». И я ни разу не слышал, чтобы он хорошо отозвался о ком-нибудь из музыкантов:

— Андрей? Талантливый, но дурак. Игра без волшебства... Владимир? Мертвый инструмент. Уровень ученика школы. Его ходы безнадежно заигранные... Алексей? Бедноватая техника.

В этих резких оценках сквозила повышенная требовательность; Герман сравнивал приятелей с лучшими исполнителями в мире. Я это понял позднее, а окончательно убедился, когда заикнулся о какой-то новой группе, работающей под «битлов».

— Это не имеет никакого отношения к джазу. Эти сопляки лишены всего, — сказал он и постучал согнутым пальцем по виску.

Вокруг каждого талантливого человека кружат околотоворческие люди; они, точно пиявки, сосут соки из своего любимца, обедняют его талант, затягивают в бессмысленное времяпрепровождение. Не каждый имеет самодисциплину, способность отказаться от жизненных соблазнов. Я так ее никогда не имел и ухлопал полжизни на всякие приключения. Именно поэтому меня всегда восхищали цельные натуры, вроде Николая Громина, одного из лучших гитаристов, которых вообще знал джаз. Пожалуй, в то время его игра меня восхищала больше всего. В ней было столько изобретательности! Какая-то неистовая, ослепительная, искрометная фантазия! И сдержанность. Ведь именно в ней все дело. А его виртуозная техника! Он мог все. Полноватый, губастый, с умными, светлыми глазами и двумя-тремя волосками-

нитками на голове — войдет в раж, губы отвиснут, щеки трясутся, весь красный и раздутый, точно накачан воздухом, — и каждый пассаж, каждый аккорд на нерве. Он держал зал в напряжении, вкладывал в игру всю душу, отдавал себя полностью, без остатка; отыграет, сразу худеет, точно из него выпустили воздух, и, вдрызг опустошенный, уходит в сторону; ему рукоплещут, а он еще минуту-другую приходит в себя, потом каким-то чудесным образом смущенно наклонит голову и шаркнет ногой по полу.

Он всегда внимательно, с профессиональным уважением, слушал игру товарищей — линию саксофона или трубы, и я видел, как теплел его взгляд, светлело лицо.

Часто Николай играл в паре с Алексеем Кузнецовым, тоже первоклассным гитаристом — да что там первоклассным! Он играл так, как всего несколько человек в мире! И что немало важно, никогда не выпячивался и со всеми держался с необыкновенной простотой. До знакомства с ним я думал, что все большие таланты — сложные люди с тяжелыми характерами. Оказалось, не все.

Так вот, когда Николай играл с Алексеем, тогда стоял такой упругий свинг, что весь зал лихорадило. Демонстрируя красивые ходы, Николай обыгрывал тему, Алексей аккордами создавал фон, а барабанщик Валерий Буланов палочками расщечивал мелодию. Их трио прямо-таки дышало, как единый организм. Отыграв тему, они по очереди исполняли соло, а затем наступало самое интересное: они играли вместе, по квадрату каждый, один начинает варьировать мелодию, второй продолжает. Доли секунды оставались для воплощения мысли в звуке, но что значит — прекрасные исполнители: они подхватывали фразу на лету и еще больше закручивали импровизацию. Новая музыка рождалась прямо на глазах, накал достигал предела, все вскакивали, нетерпеливо вскрикивали, дрожали от возбуждения, а музыканты вдруг неожиданно обрывали звуки и... сразу — тему, только намного горячее, чем в первый раз.

Николай работал экономистом в институте, а по вечерам играл в кафе; играл, повторюсь, вдохновенно, с кипучей самоотверженностью. О большинстве музыкантов он отзывался с похвалой, но в глаза мог и крепко отругать. А со слушательницами был предельно учтив. Как-то одна юная особа спросила его:

— Что нужно, чтобы научиться хорошо играть?

— Совсем немного, — ответил Николай с нежностью в голосе. — Любить инструмент и гонять пассажи по пять часов в день. И, как говорил Моцарт, «в нужное время нажимать на нужные клавиши». Вот и все.

Я был знаком почти со всеми джазовыми музыкантами, и надо же — с лучшим, самым известным, бесспорно, незаурядной личностью, мне познакомиться так и не довелось, хотя я много слышал о нем, и он вызывал во мне благоговейное почтение. Он напоминал Оскара Питерсона: и внешне — так же искрился весельем, и манерой исполнения — вихревыми каскадами пассажей. Его звали Борис Рычков. Трудно было поверить, что этот грузный, вечно улыбающийся толстяк может так легко играть. Его лапищи не касались инструмента — это было неуловимое прикосновение, порханье рук над клавишами! А зал наполнялся водопадом звуков.

Он всегда играл с улыбкой, музыка доставляла ему радость. Временами, импровизируя на стандартную тему, он даже дурачился: вставлял смешные фразы из других произведений, что, понятно, вызывало восторг и смех. Его композиции были неожиданными, но всегда точными.

Я уже сказал, что Рычков удивительно легко играл, но еще легче он вскакивал со стула, закончив пьесу, взволнованно оглядывал зал, как-то красиво и просто кланялся, держась за спинку стула, и быстро убегал со сцены.

Он начинал одним из первых, во времена, когда еще джаз считался «музыкой толстых», «веянием загнивающего Запада», когда нелегально привозились пластинки, и их переписывали на «ребрах» — рентгеновских снимках, когда музыканты собирались в подвалах, постоянно опасаясь, что на них донесут. Но ко времени бума шестидесятых годов он уже имел свой ансамбль, с которым гастролировал от Москонцерта.

Солисткой их трио была жена Бориса — Гюли. Вот женщина! И создает же такое природа! Блестящая певица и красавица: точеная фигура, огромные глазищи с «самыми длинными в столице ресницами» и черные волосы, свободно спадающие на плечи. Понятно, мерилom всего является талант, но и внешность определяет многое, а вместе с обаянием это вообще значительная сила — перед Гюли открывались все двери.

Она появлялась на сцене, застенчиво опустив голову, обходила инструмент, робкая, точно ночной мотылек, кружащий у лампы, и начинала издали: после вступительных аккордов с потухшими глазами еле слышно вела тему низким, хриловатым голосом; но постепенно раскачивалась, ее глаза разгорались, а из хрупкого тела уже вырывался такой мощный голос, что по спине бежали мурашки.

Борис с женой и вне сцены смотрелись прекрасно: он — тучный здоровяк, а она — маленькая, изящная: такая контрастность, как нельзя лучше, подчеркивала индивидуальность каждого.

В «Аэлите» я познакомился с архитектором и саксофонистом — подвижником джаза Алексеем Козловым, который неустанно экспериментировал: создавал различные группы, играл то джаз-рок, то фольклор Якутии, то вводил в ансамбли струнные инструменты, то синтезаторы, без конца искал «тембровые палитры», «новую фактуру». На мой дилетантский взгляд, в результате этой мешанины он так и не выработал свой стиль и слишком далеко ушел от классического джаза. На взгляд профессионалов, изощренной элитной публики, был новатором, его музыкальный язык «опережал время». Несколько лет я пытался дорасти до понимания этих заковыристых новшеств, но так и не дорос и остался приверженцем традиционного джаза.

С Козловым внешне мы были на редкость похожи, до тех пор пока он не отрастил длинные волосы и бороду. Наше сходство помогало мне проходить в кафе во время закрытых вечеров: парни-дружинники, увидев меня, открывали дверь. Правда, иногда кто-нибудь из них бросал:

— Ты что, сегодня без инструмента?

Собственно, в другие кафе я проходил как певец или басист. Кем только не был! А что делать? Хотелось послушать музыку.

«Аэлита» представляла собой большое помещение на первом этаже жилого дома: сцена, раздевалка, стойка, пять-шесть столов и две официантки — вот и все кафе. Сцена была крохотной, на ней еле умещался квартет; в углу стояло старое пианино. У стойки висел устрашающий список коктейлей: «Любовь с первого взгляда», «Гремучая смесь», «Солнечный удар», «Ядерный взрыв», но буфетчица тетя Маша выдавала

только кофе и стакан сухого вина. (Коктейли продавались, когда зал снимала какая-нибудь организация). Зато на столах были чистые скатерти, и девчонки-официантки еще не научились грубить, а главное, можно было весь вечер просидеть за чашкой кофе — роскошь, не позволительная ни в одном заведении общепита.

Кстати, когда кафе арендовали организации, музыкантам приходилось играть разную заезженную мишуру, но ради других свободных дней стоило и помучиться.

Среди посетителей кафе было немало истинных ценителей джазовой музыки. Помню слепого паренька Володю, который ходил по улицам без палки, а слушая джаз, подпевал и отбивал пальцами по столу ритмический рисунок. Володя закончил ИНЯЗ, работал переводчиком и одновременно собирал радиосхемы.

Помню Люсю, очень худую нервную фанатку джаза, которая носила дешевые платья. Она печатала статьи о джазе в журнале «Юность» и в брошюрах общества «Знание», являлась членом Европейской ассоциации джазовых критиков. Острая, восторженная и умная, она была неудачницей в личной жизни. Парни видели в ней зануду, «мозговую женщину» — «живет не сердцем, а головой, а в башке у нее электронная машина, все и всех вычисляет». А она поджимала губы:

— Горе от ума — единственное настоящее горе женщины.

Люся появлялась в кафе с подружкой Валею, смуглой, цыганского вида молодой женщиной. Эта Валя всегда сидела молча, не привлекая внимания, но однажды вышла на сцену и так спела «Мисти» Гарнера, как ни до нее, ни после в Москве не пел никто! Ее не просто горячо приняли — ей устроили овацию, даже музыканты отбили ладони, а пианист Борис Рычков подошел и расцеловал ее. После этого Валю долго не отпускали со сцены, и она пела «Колыбельную птичьих островов» Ширинга, невероятно красивые вещи Джорджа Гершвина и напряженные Кола Портера, кое-что из репертуара Рей-Кониффского ансамбля и даже «Чучу». Она подражала великой Элле Фитцджеральд, но кто не подражает в начале пути? Важно, кому подражать.

Что меня еще поразило в Вале, так это ее раскованная манера держаться. На фоне наших деревянных эстрадных певиц она выглядела прямо-таки западной звездой. Тайну мне открыл гитарист Андрей Гарин.

— Внешняя свобода идет от внутренней, — сказал он. — Мы жили под страхом, и наши души искорежены, а она полуцыганка, привлекла жить сама по себе, без всяких ограничений, раскрепощено...

В то время Валя перебивалась случайными заработками, но вскоре прямо-таки взлетела на пьедестал — ее пригласили в цыганское трио «Ромэн», она сказочно разбогатела, стала ходить увешанная бриллиантами, но джаз не забывала и пела на всех фестивалях.

«Аэлиту» посещал мой старый приятель, фотограф журнала «Советский Союз» Виктор Резников. Он всегда выглядел отлично: в модном костюме, в квадратных очках, с камерой и кофром через плечо; на его куртке красовался значок «Пресса». Виктор неутомимо щелкал музыкантов и колоритных типов, добросовестно запечатлевал для потомков то неповторимое время. Виктору было некогда знакомиться с девушками, поэтому он считал, что мои приятельницы, с которыми я время от времени приходил в кафе, являются и его возлюбленными. Оттесняя меня в сторону, он запросто обнимал их, целовал, записывал их телефоны, да еще фотографировал, то есть получал двойное удовольствие. Частенько он и провожал моих подружек, из-за чего у меня с ним возникали трения, но Виктор все сводил к шутке:

— Девушки в кафе совершенно необходимы, — говорил Виктор. — Они поддерживают уровень застолья и завода на сцене.

Завсегдатаем «Аэлиты» был инженер Алексей Баташев, крупный знаток, «профессор» джаза, ведущая фигура в среде джазистов — именно он представлял музыкантов на выступлениях, а позднее написал книгу «Советский джаз» и пробил ее в издательстве «Музыка».

В «Аэлите» царила домашняя атмосфера, там можно было пообщаться с единомышленниками, узнать новости богемной жизни, но туда заходили и случайные люди, которые считали кафе забегаловкой, где «туняядцы» попросту убивали время. Случалось, эти, неизвестно откуда взявшиеся типы свербили:

— И что за чертовню играют?! Давай что-нибудь наше, русское! «Журавли», что ли! И за что им деньги платят?! Их бы всех в шахты да на лесоповал, этих выдувальщиков!

Или о выставке художников:

— Ну и мазня! Я бы и то лучше намалевал.

Эти воинствующие невежды освистывали читающих стихи.

— Бодяга! — кричали. — Народу это не надо! Интеллигентов много развелось! Все шибко грамотные стали!

— И откуда эта ненависть к интеллигенции? — вздыхала журналистка Люся. — Без интеллигенции заглохнет духовная жизнь, произойдет деградация общества.

— И вообще, почему искусство должно быть понятно народу? — вторила ей Валя. — Народ должен подниматься до его понимания.

Я слушал подруг и остро переживал незащищенность творческой личности в нашей стране.

Часто меж столиков носился вертлявый парень в яркой рубаше. Он был начисто лишен слуха — не пел, а каркал, но постоянно всех проверял: брякнется за стол, прокаркает музыкальную фразу и спрашивает с едкой усмешкой:

— Что за вещь, знаешь?

Забредали в кафе и бездомные парочки, которые только на время отстранялись друг от друга и молчаливо застывали в оцепенелой любовной муке; музыку они не слушали и вообще ничего вокруг не замечали.

Однажды в кафе гусарил парень с Кавказа. Он сидел с холодной блондинкой, держал ее за руки и без передышки с жаром что-то тараторил. Белое, точно гипсовое, лицо девицы даже не розовело, она сидела непроницаемая, в унылой задумчивости. Два раза парень подбегал к оркестрантам и протягивал десятку:

— Ребята, дорогие! Можете не играть пять минут? С девушкой надо поговорить!

Ближе к закрытию он подошел весь измочаленный, взмокший, достал из кармана двадцать пять рублей и прохрипел:

— Дорогие мои, можете не играть совсем?! У меня вопрос жизни решается.

Появлялся в кафе и вечный жених Коля — фитиль с потасканным лицом; он производил впечатление человека, который только вылез из постели или вот-вот в нее влезет. В институте, где он работал инженером, был какой-то блуждающий график, полусвободное посещение — отличные условия для безделья. С открытым цинизмом Коля говорил:

— Иду на работу, если по пути не встречу симпатичную девушку, работаю.

Коле было тяжеловато, ведь на улицах немало симпатичных представительниц женского пола, и ему все время приходилось выдумывать новые способы оболъщения. Как он не спятил с ума, не представляю. С неистребимым постоянством он всегда был с девицами, и всегда с разными. Я ни разу не видел его с одной и той же. Его подружки были высокие и маленькие, худые и полные, блондинки и брюнетки, но все красивые. Что они в нем находили, я никогда не понимал — за свое неприглядное поведение, жгучий интерес к любовным интригам и разговоры, в которых сквозила сексуальная тема, он слыл полным болваном. Да, собственно, у него все было написано на лице. Однажды он признался, что мечтает купить машину, «чтоб заняться автосексом».

— Секс ведь та же любовь, — спокойно, со знанием дела сообщил он. — Только без озаренья, без вдохновенья.

Я относился к этому Коле с горьким презрением и, сравнивая себя с ним, видел неоспоримое собственное превосходство, но его девицы почему-то этого не видели, и, естественно, я считал их дурехами.

Коля всех девчонок называл «кисами», чтобы не затруднять себя запоминанием имен, по каждому поводу тянул:

— О-о, это сближает!

Он выдавал себя то за художника и говорил девушке, что ему непременно надо написать ее портрет, то за режиссера и предлагал сниматься в кино. Часто Коля упрасивал какого-нибудь известного музыканта:

— Послушай, старина, ты не мог бы подойти к нашему столику и сказать: «Привет, Коля!».

Вот так мелко и дешево он и охмурял красавиц. А может, и не охмурял, ведь я говорю, не видел его с одной и той же дважды. Скорее всего, он просто был фокусником, но не иллюзионистом, то есть имел набор приемов для соблазнения, но не создавал экспозиции, атмосферы.

На улице Горького, в кафе «Молодежное» играл квартет, в котором тон задавал лучший ударник Москвы, основательно чувствующий джаз Валерий Буланов. Серьезный, всегда гладко выбритый, в наутюженном костюме, он играл мастерски, без видимого напряжения, с выражением легкой иронии на лице. В тот вечер, когда нас познакомили, он потащил меня к себе домой и по дороге рассказал тьму анекдотов. Его

мать встретила нас в штывы — отчитала сына, что забросил занятия в институте (Валерий должен был получить диплом инженера), но все же подала рассыпчатой картошки и чай. Всю ночь на кухне мы тихо слушали пластинки; под утро Валерий тихо включил проигрыватель и подмигнул мне:

— Из двух талантливых людей успеха добьется тот, кто больше работает.

Он сел за ударную установку и, опять-таки тихо, повторил все удары Арта Блэйки. Его барабаны стояли перед зеркалом, он отработывал осанку и не просто играл, а играл красиво.

— Не из щегольства, — пояснил мне. — Красивые вещи надо и исполнять красиво, артистично.

В разгар его игры появились соседи снизу и пригрозили милицией. Пришлось закруглиться.

— Я оптимист и верю в то, что джаз завоеует нашу публику, — сказал Валерий, провожая меня. — Уверен, джазу дадут дорогу. Я говорю нашим ребятам-«повязочникам» в совете кафе: «Джаз — народная музыка». А они мне: «Народная-то народная, но негритянская». Ну и что?! У нас есть и свои отличные композиторы и исполнители. И уже можно серьезно говорить о нашем, русском джазе.

Он предугадал события. Буквально через год, скрепя сердце, Министерство культуры выпустило один из наших ансамблей на фестиваль в Варшаву. Выпустило только для того, чтобы мы не прослыли безнадежно дремучими. И вот на том фестивале наши музыканты стали лауреатами. Им жал руки сам Луис Канновер! В числе лауреатов был и Валерий. Слава о его виртуозности, прогремев за рубежом, докатилась и до нашей страны... Обычно люди меняются от успеха и славы; Валерий, и это я могу засвидетельствовать, поскольку знал его не один год, не изменился — с друзьями оставался приветлив и открыт, с чиновниками из Союза композиторов — холоден и непримирим. Вот только с каждым годом он все больше выпивал, но и это делал красиво.

...Спустя много лет, когда на эстраде уже всюду процветали низкопробные шлягеры, и вообще шло разложение общества, я случайно забрел в один захудалый клуб и вдруг увидел Валерия на сцене. Он играл в каком-то разношерстном ансамбле, пополневший, поседевший, с одутловатым лицом, но по-прежнему элегантный. «Узнает или нет?» — подума-

лось, а Валерий доиграл вещь, положил палочки на барабан, прыгнул со сцены, подошел ко мне, обнял и потащил в буфет «отметить встречу».

— Играю, когда приглашают, — устало сказал он у стойки. — Только теперь джаз никому не нужен. Посмотри в зал — молодежи нет, все старые лица. Получается, что мы прожили зря. Заниматься у нас джазом — изначально встать на гибельный путь. Поэтому мы все и проиграли... Работать свободно можно только на открытом пространстве, чтобы был обзор... А мы жили в замкнутом культурном пространстве, варились в собственном соку и не имели выхода на широкую публику.

— Неправда, — возразил я. — Ты все забыл. Вспомни фестивали в МИИТ, в Ленинграде, в Таллинне... И пусть вас было немного, но вы не дали прерваться традициям, которые начинали Варламов, Утесов, Лундстрем. Вы как раз то связующее звено, без которого все заглохло бы, и наступил полный маразм.

— А-а, кому это теперь нужно! Вон вокруг что твориться! И что интересует современную молодежь?!

Я смотрел на опухшее лицо Валерия и, колеблясь между надеждой на будущее и горечью от настоящего, думал: «Досталось же нашему поколению. Скольких искалечила система, сколько не состоялось талантов, сколько озлобилось, сломалось».

Через год Валерий умер от сердечного приступа. За его гробом шло всего пять человек, но все — выдающиеся музыканты.

На басу в «Молодежном» играл Андрей Егоров, курчавый парень с темными кругами под глазами и низким голосом. Вот уж кто умел создавать накал средствами ритмики. Вроде бы флегматик и струны перебирает слишком изящно, а свингует — хоть куда! Ради джаза Андрей бросил занятия в университете.

Как-то рано утром я забрел в кафе перекусить. За столами никого не было, вдруг слышу откуда-то глухие, упругие звуки. Заглянул в закуток, а за сценой Андрей репетирует, в поте лица гоняет гаммы по нотам.

— Хорошо, что заглянул, — обрадовался он и облегченно вздохнул. — Пойдем рванем по чашке кофе, устал, как собака. Всю ночь репетирую.

Когда мы выпили кофе, к нам подсел какой-то паренек и, пожирая Андрея глазами, спросил, как надо играть. Андрей улыбнулся, показал на голову, потом на сердце:

— Закрой глаза, представь перед собой любимую девушку и играй все, что ты хотел бы ей сказать.

Руководитель ансамбля Владимир Сермакашев выглядел угрюмым, мрачноватым, с вечно усталым лицом, в неряшливой, неопрятной одежде. Он медленно брал саксофон, неторопливыми движениями вытирал мундштук, перебирал клапаны инструмента, вразвалку, как бы нехотя, выходил на сцену и... выжимал из инструмента такие звуки, какие мог создать только очень жизнелюбивый, эмоциональный человек.

Странное дело, чем меньше Владимир говорил о себе, тем больше хотелось о нем знать. Я так просто сгорал от любопытства. Говорили, он закончил физфак и музыкальное училище по классу фортепиано — в самом деле, когда у него болели легкие, и он не играл на саксофоне, все оценили его как пианиста.

Он женился на официантке из того же кафе, некрасивой, вульгарной женщине, которая была старше его и имела ребенка. Приятели отговаривали Владимира от этого брака, но он спокойно и решительно сказал:

— Ничего вы не понимаете.

А я думал: «Надо же, и для самой невзрачной женщины находится мужчина, который видит в ней красавицу».

На фортепиано играл Вагиф Садыхов, у которого было еще большее несоответствие внешности и внутреннего мира. Маленький, изящный интеллигент в очках за инструментом обнаруживал такую двужильность, что здоровяки, вроде Бориса Рычкова, только качали головой. О филигранной технике, хрустальных аккордах Вагифа говорить не приходилось — он заканчивал консерваторию.

— Закончу «консервы», но как сделать в Москве прописку, не представляю, — говорил он. — Фиктивный брак устраивать противно, потом буду себя презирать.

Ему выпал счастливый билет: он получил диплом с отличием и вскоре познакомился с красивой блондинкой; она каждый вечер приходила в кафе и предельно вдумчиво слушала музыку, но прежде чем с ней заговорить, Вагиф долго трусил. Мужчины часто боятся красавиц, думают, что у них туча поклонников, что они привыкли к победам и грузови-

кам с цветами; считают красавиц богинями с таинственной жизнью, которой не смогут соответствовать. Наверно, бывает и так, но я знал одну красивую и неглупую женщину, которая страдала от одиночества.

— До чего ж мужчины трусливы, — как-то сказала она мне. — Еду в метро, стоит один, мой тип, прямо пожирает меня глазами. «Ну, подойди», — почти шепчу ему, а он пятится.

Блондинка Вагифа не страдала от одиночества, но у нее и не было никакого серьезного романа.

— У меня характер не подарок, — заявила она Вагифу, — но я безумно люблю музыку.

Через неделю Вагиф сделал ей предложение, и они прямо в кафе устроили музыкальную свадьбу.

Оркестр Сермакашева считался отличным, сыгранным ансамблем, в котором каждый был первоклассным музыкантом, но самым веселым слыл Валерий Панамарев — рыжеволосый, веснушчатый крепыш и самый бедный из всех музыкантов. Он долго копил деньги на собственный хороший инструмент, кое-как перебивался с женой и ребенком, подрабатывал на инструментах приятелей и все же купил себе хорошую трубу. Вначале он играл слишком громко — в его игре не было сдержанности, которая, как правило, говорит о глубоком мышлении. Во всяком случае, я всегда слышал разницу в исполнении трубача Андрея Товмосяна и его, Валерия. Он играл грубее.

— Кочумай! Играй с сурдиной! — то и дело ворчал Сермакашев. — Всех забиваешь своей дудкой!

Частенько Валерий играл на барабанах и тогда всех оглушал грохотом. Как-то я предложил ему поиграть на басу, чтобы получилось потише. Он засмеялся:

— А на фига тише! Лабать надо так, чтоб будоражить!

Как все, уверенные в себе люди, он был великодушен и умел подтрунивать над собой. Он ходил в мятых брюках, ситцевой ковбойке, стоптанных ботинках, но всегда сияющий, приветливый. Только однажды я увидел его грустным — после того как мы прослушали пластинку Клиффорда Брауна, он выдохнул с потускневшим взглядом:

— Так я не смогу сыграть никогда.

В «Молодежном» тоже были свои постоянные посетители и среди них — группа глухонемых; говорили, они любят

«слушать музыку». Что правда, то правда: глухонемые сидели в зале не шелохнувшись и с такой серьезностью тарасились на исполнителей, что казалось, они чувствуют музыку кожей.

Часов в девять-десять вечера в кафе прямо с концертов прибегали музыканты, играющие в оркестрах Москонцерта, чаще других — парни из диксиленда Владислава Грачева. Они доставали инструменты и, без всякого разогрева, сменяя друг друга, устраивали настоящий фестиваль музыки, а в заключение все вместе исполняли какую-нибудь горячую вещь Паркера, вроде «Настало время» или «Кожура яблока». Это было поразительное зрелище.

В кафе «Романтики» на Комсомольском проспекте играл мой приятель Борис Акимов. Никто не видел его кислым, потому и считали «везунчиком». На самом деле Борис не подавал вида, когда ему бывало плоховато, но послушай тогда его игру! Тогда даже в самых заводных вещах, вроде «Улица, на которой ты живешь» Фрэнсиса Лоу, импровизации становились плавучими, с отставаниями, в свободном, меняющемся ритме, в плеске рояля слышалась какая-то недосказанность. Зато в настроении Борис извергал пассажи в бешеном свинговом ритме. Если он расхотелся по-настоящему, его нельзя было остановить — исполнял одну вещь за другой. И главное, со стороны казалось, все это делал шутя, небрежно. Но это только со стороны. В том-то и дело, что за этим стояла адская работа, не один вечер выучивания ходов пианистов-виртуозов. Так иногда смотришь на какую-нибудь линию художника, удивляешься ее простоте и думаешь, что и сам мог бы сделать что-нибудь подобное, а для того чтобы провести эту линию, художнику понадобилась целая жизнь. Безусловно, профессионализм — это, прежде всего, жесткая требовательность к себе, напряженная работа в одиночестве.

Когда я заходил в кафе, Борис кивал мне и, отыграв вещь, начинал одну из боссанов Жоао Жальберто, для меня. Никто этого не знал, но он играл только для меня, потому что я любил эти вещи. И, ясное дело, я стоял невероятно довольный. Закончит Борис играть, подойдет:

— Клевая вещь! — скажет.

Мы сядем за оркестрантский столик, покурим, поговорим. Я был страшно горд в те минуты, что вот так, запросто, могу сидеть со знаменитым пианистом. На другие столики,

где не сидели знаменитости, я смотрел с некоторым превосходством.

Хорошо было у Бориса. На сцену выйдет какая-нибудь поэтесса, прочитает стихи, или парень в трико покажет пантомиму. Можно было подойти к стойке и выпить по стакану вина или, если крутили шлягер, потанцевать. Можно было попросить Бориса сыграть «Звезды Алабамы», или «Сентябрь в дождях», или отличную тему «Дым в глаза» Джерома Керна. Борис играл все, что бы я ни просил. Не каждый может подобным похвастаться, хотя, я думаю, настоящий музыкант и должен быть таким, а не ломаться и не корчить из себя черт-те кого, как это делали некоторые.

Ансамбль Бориса начинал тот самый «Дым» красиво. Борис брал несколько синкопированных аккордов, и саксофонист Виктор Зубов с захода начинал нежно импровизировать, причем такими законченными фразами, что не поймешь, случайная ли эта находка или четко отрепетированный образ. Во время импровизации саксофониста Борис с тромбонистом Алексеем Бахолдиным вставляли риффы, повторяющиеся ритмические фигуры, потом ударник Владимир Васильков делал сбивки, и саксофонист уступал место тромбонисту, потом тот — Борису (он играл с басистом Анатолием Соболевым), каждый по квадрату, потом все вместе и — конец.

Борис был нервный, впечатлительный, работал инженером, изучал английский и французский языки и подрабатывал переводами. Он неплохо знал литературу и никогда не расставался со «Спидолой»: просыпался, сразу включал; умывается, завтракает — слушает. В автобусе едет — антенну выставит в окно. Приемник он любил больше всяких пластинок и лент.

— Живое общение, чувствуешь далекую атмосферу, а в записи все уже не то, — подмигивал мне.

Борис был добропорядочным семьянином; любил жену и дочь; они начинали с нуля, но со временем вступили в кооператив, купили пианино, «Жигули», приоделись в дубленки. Они любили деньги, и это мешало им видеть многое другое в жизни. Позднее Борис стал руководителем оркестра в ресторане гостиницы «Советская». Спустя несколько лет я заехал к нему домой. Мы распили бутылку вина, он сел на диван, одной рукой обнял жену, другой «Спидолу».

— Мое счастье со мной, больше мне ничего не надо, — проговорил.

Он располнел, от его нервозности не осталось и следа — в благополучной жизни ему было легко сохранять спокойствие.

— Меня многие недолюбливают, — признался он. — И плевать! Я слишком преуспеваю, чтобы вызывать симпатию. Симпатии всегда на стороне неудачников... Я считаю, в конце концов каждый получает то, чего заслуживает.

Теперь, когда он всего добился, ему казалось, что в жизни все правильно и справедливо.

Чаще всего я заходил в кафе «Синяя птица» — подвальчик на углу улицы Чехова. Года два-три я торчал в этом погребке чуть ли не каждый вечер. Там играл квартет Виталия Клейнота, а на фортепиано — мой близкий друг, который открыл мне мир джаза, Валерий Котельников — Котел, как мы его звали.

Котел живописный человек: высокий, черноволосый, с глубокими темными глазами, которые просто завораживали слабый пол. Я помню, как на один фестиваль пришли его поклонницы из всех районов Москвы, а одна барышня даже прикатила из Ленинграда. Днем Котел писал кандидатскую в институте нейрохирургии, по вечерам играл в «Птице».

Котел случайно стал музыкантом. Мальчишкой бежал на стадион, вдруг пошел дождь, спрятался в подъезде, а там музыкальная школа. Разболтался с каким-то шкетом-сверстником, и тот ему брякнул, подойдя к роялю:

— Попробуй!

Попробовал — понравилось, остался, навсегда связал себя с музыкой.

В музыкальной школе говорили: «У него абсолютный слух». А соседи твердили, что он кровопивец, что от него нет житья, что он всех доведет до инфаркта. Котел, действительно, с самого начала принялся за дело с большим воодушевлением, всех «изводил» своей музыкой: по три часа в день гонял гаммы, потом еще играл мелодии и для ритма топал ногами, а в паузах хрипел и свистел — изображал целый оркестр и ликующую толпу. Что только с ним ни делали! И стекла били, и записки с угрозами писали. В конце концов, соседи насели на жэк, Котлу для занятий музыкой отвели пристройку к бойлерной, и он там пугал голубей и кошек.

Закончив школу, Котел разочаровался в фортепиано и научился играть на флейте; правда, и ее собирался бросить и переключиться на ударные — он любил перемены.

Где только Котел ни играл! Вместе с тромбонистом Игорем Заверткиным «дудел» на флейте в театре «Современник» в пьесе «Вкус черешни», где нужен был небольшой джазовый состав, подрабатывал аккордеонистом в цирке — «музицировал» на арене среди слонов, играл на похоронах и свадьбах. Случалось, в одном зале ресторана исполнял бурную вещь на свадьбе, а отыграв, перебежал в соседний зал, где отмечали поминки, и начинал что-нибудь печальное.

Руководителем ансамбля в «Птице» считался саксофонист Виталий Клейнот, но эта его должность была чисто номинальной (ради формальности), на самом деле все музыканты были равны, и руководил ансамблем тот, кто в данный момент находился в лучшей «форме». Если чем Виталий и выделялся, так только своей странностью. С ним было бесполезно говорить, когда кто-нибудь играл, — он отвечал невпопад; да и когда никто не играл, разговаривал рассеянно и сбивчиво — слушал музыку, которая звучала внутри него.

Виталий любил играть Гершвина, особенно «Кто-то смотрит за мной», и делал прекрасные обработки песен Дунаевского, а дома на стенах его комнаты висели пейзажи «какой-то старушечки», как он говорил, но все были уверены, что картины он писал сам — те пейзажи отображали довольно безрадостные виды, что вполне соответствовало образу Виталия; к тому же, на многих картинах красовался саксофонист.

Постоянного ударника в ансамбле не было: то один играл, то другой, дольше всех — Слава Мосягин, который, кстати, отбивал ритмы на фужерах, чашках, спичечном коробке — озвучивал каждый предмет. Он всегда был гладко причесан, набриллинен; по слухам — планировал стать парикмахером; то есть днем работать в салоне, а по вечерам играть на барабанах.

С басистом ансамбль проблем не имел: их числилось двое, и оба — первый класс! Они играли попеременно — Володя Данилин и Ваня Осенин, талантливейшие музыканты, по отзывам друзей — «с высоким интеллектом». Они почти не отличались друг от друга: худощавые, светловолосые, в не новых, но опрятных костюмах; оба играли вдумчиво и старательно — чувствовалось, им нравилось выписывать фигуры.

Володя закончил институт восточных языков, жил в Подмосковье, преподавал английский язык в школе и игру на контрабасе — в музучилище. У него был отличный литературный вкус и умело подобранная библиотека, и встречался он с очень начитанной девушкой.

Ваня приехал из провинции, поступил в консерваторию, но через два года учебу бросил, «чтобы полностью посвятить себя джазу»; одновременно женился на девушке «прекрасной во всех отношениях». Ваня был каким-то незащищенным, чрезмерно простодушным, доверчивым; любил поговорить о политике и слыл «опасным мечтателем». Говорил тихо, слушал рассеянно, но ритмику держал, как надо, и струны перебирал с исключительной мощью. Только когда играл соло, уходил в какие-то индийские мотивы, и его игра постепенно тускнела.

Дома в глубокой тайне Ваня разрабатывал систему «человек-оркестр»: присоединял датчики от усилителей к рту, рукам и ногам и пытался изобразить квартет. Другьям он делал многозначительные намеки, что скоро они услышат «нечто грандиозное восточного колорита». Этого друзья не услышали. Вскоре Ваня трагически погиб во время пожара в гостинице «Россия», где играл в то время. У могилы на Головинском кладбище стояли его молодая жена и восьмилетняя дочь. В тот же день в память о нем состоялся один из лучших джазовых концертов.

В «Птице» я познакомился с гитаристомлевой Лютовым и хромым басистом Антоном Андриюшиным. Крепыш Лева вместе с инструментом таскал погрузочные ремни — днем по-брабатывал на погрузке мебели. Веселяга и гуляка Антон носил прозвище Берлога (по его виду удачней не придумаешь); и его жилье в Тушино выглядело медвежьим логовом: однокомнатная квартира, продуваемая насквозь, без всякой мебели. Лева с непреходящей страстью увлекался джазовыми композициями, а Антон руководил ансамблем в ресторане «Националь» и не играл, а деловито отрабатывал свое. Во время игры подмигивал мне, отпускал нахальные шуточки, корчил рожи, кивал на красивых девушек, а иногда закатывал глаза к потолку, и я был уверен — подсчитывает, сколько «подхалтурит» за выступление; в душе у него всегда был мир с самим собой.

Случалось, в «Птицу» заглядывал сорокалетний испанец, который находился в Москве на врачебной стажировке. Он

был тайно влюблен в певицу, которая выступала с оркестром. У нее были черные волосы и голубые глаза — он звал ее «голубые испанские глаза». Как-то, пораженный голосом и глазами певицы, испанец, не поморщившись, отдал ей сто рублей:

— Вам пригодятся. Я знаю, вы одинокая женщина, а я все равно пропью.

Певица ослепительно улыбнулась и приняла деньги без смущения.

Когда испанец спускался в погребок, оркестр начинал «Бесаме мучо». Гость сиял, кланялся, прикладывал руки к сердцу, посылал воздушные поцелуи. А раз спустился удрученный, не поднимая головы; взял у стойки бутылку коньяка, подсел к оркестрантам:

— Давайте выпьем, ребята! Сегодня умер прекрасный композитор, автор «Гранады».

Бывало, у Котла выпадали свободные от работы часы, он приходил в кафе днем, когда почти не было посетителей, и гонял гаммы по клавиатуре фортепиано, придумывал свои версии известных джазовых стандартов. Помню, я половину отпуска проторчал на ипподроме и вот захожу в кафе, а Котел мне сразу:

— Послушай, какой вальс я сочинил!

И так мне стало стыдно за свое дурацкое времяпрепровождение, стыдно от собственной никчемности, так я похорошему позавидовал Котлу.

Все вечера напролет я торчал в «Птице». Ближе к полудню мы с Котлом направлялись к метро, шли по гулким пустынным улицам, напевая разные темы, а перед тем, как расстаться, всегда затыгивали «Бразил». Под конец Котел крепко жал мне руку:

— До завтра!

Кстати, «Бразил» в те годы была нашим гимном, и теперь, когда я слышу эту мелодию, передо мной встает уютный подвал, картины левых художников, лица джазистов — то счастливое время, время нашей молодости, и меня охватывает какое-то прекрасное чувство, сравнимое с грустью после праздника.

Все кафе находились под опекой, и одновременно под контролем, комсомольцев из райкома. Мы считали их бездельниками особого рода, словоблудами-карьеристами, будущими

начальниками, которые только умеют приказывать и наказывать. Особый отряд комсомольцев — дружинники стояли при входе в кафе; в их обязанности входило следить за танцующими (раскованность в танце допускалась только до определенной нормы: двум девушкам танцевать запрещалось, и запрещались групповые танцы). Но в «Птице» среди этих стражей нравственности нашелся чудака, который не выполнял уставов райкома, что являлось неким своеволием. Этим чудаком был высоченный рыжий Паша, по прозвищу Шкаф. Паша на все махал рукой: что выставят, что прочитают, кто как одет, как танцует, где целуются — хоть стой на голове, лишь бы не драка. Его считали безнадежно глупым, но безвредным.

Как-то он сказал:

— Я иду в рай, живу праведником, и к чему мне мараться? Кому-то мешать. Каждый по-своему с ума сходит.

Не так-то он был глуп, хотя и выбрал странную дорогу в рай.

Как известно, демократический процесс шестидесятых быстро пошел на убыль. Сверху покатались жесткие установки: что можно, что нельзя. В кафе появились крикуны-стукачи, которые вылезали на сцену с провокационными лозунгами и высматривали согласных и несогласных, потом усаживались в углу и «брали на заметку» всех выступающих. Мы-то, «волкодавы», прошедшие «школу страха», четко определяли этих типов, а разные желторотые поддерживали «ораторов». Мы цыкали на них, а они знай вякают. Больше этих желторотых в кафе не видели.

А потом в газетах стали громить джазовые ансамбли и кафе, «не выполняющие план» (ведь мы пили в основном кофе); «неизвестные» испортили и даже своровали несколько инструментов; городским властям, как по команде, посыпались жалобы от жильцов, соседствовавших с кафе: писали о «чужой, безнравственной музыке», о «растлении»... Один за другим уехали на Запад Сермакашев, Панамарев, Громин и еще десяток музыкантов. Русский джаз потерял целую обойму прекрасных исполнителей.

А в это время в заводских клубах множились другие ансамбли — вокальные ритм-группы с электрогитарами, подражатели «битлам». Они делали оркестровки популярных песен и исполняли их на низком профессиональном уровне,

но, как известно, посредственность доступна и потому популярна. Эти ансамбли никогда не вытеснили бы представителей традиционного джаза, если бы не поддержка со стороны Москонцерта. А поддерживали их, потому что они играли «свое»; пусть исполняли плохо, но «свое». Как будто джазовые вещи «Господин Великий Новгород», или «Коррида», или «Терем-Теремок» не свои!

Первым из кафе в середине шестидесятых годов закрыли «Аэлиту», года через три из «Птицы» убрали музыкантов Клейнота, еще через полгода заменили состав в «Молодежном».

Некоторые из джазистов стали коммерческими музыкантами, устроились в большие гастрольные оркестры — искусство для них поменялось и стало просто статьей дохода. Как-то встречаю Алексея Кузнецова; скривив рот, он усмехнулся:

— Работаю с одной певицей, заколачиваю кучу денег, а играю всего две ноты. И для чего я столько лет всему учился?!

Другие музыканты осели в ресторанах и за приличные оклады играли в основном шлягеры. Однажды захожу в ресторан СЭВ к Андрею Товмосяну, он хватает меня за руку и тащит на эстраду.

— Выручай! Гитарист опаздывает, а в зале проверяющие, комиссия Москонцерта. Пощипи гитару!

Я оторопел:

— Ты что, спятил? Я никогда и в руках ее не держал!

— Кого это интересует? — поморщился Андрей, удивляясь моему слабоумию. — Была бы единица на месте.

И мне ничего не оставалось как изображать гитариста.

Кстати, еще раньше, тоже «для счета», у Владимира Сермакашева я «играл» на барабанах, в «Птице» у Котла — на басу, а в «Романтиках» у Бориса Акимова даже спел куплет популярной песни. Можно сказать, прославился — «поиграл» со всеми лучшими музыкантами, и только у меня наметились кое-какие успехи, как ансамбли стали распадаться. Когда они окончательно распались, почти всех музыкантов я потерял из вида. Большинство из них, как я уже сказал, устроились в процветающие гастрольные оркестры, некоторые вернулись к своим основным специальностям и играли джаз два-три раза в год по случаю какого-нибудь праздника, кое-кто совсем забросил джаз, вроде отличного саксофониста и отличного парня Валентина Ушакова, который стал директором какой-то фирмы.

ПОД СНЕГОПАДОМ

Л. Мезинову

Они были просто помешаны на заснеженных склонах; когда скользили на лыжах с вершины горы до ее подножья, и в ушах свистел ветер, а в глаза бил колкий искристый снег, у них захватывало дух от восторга, сравнимого с восторгом ребенка, впервые увидевшего стрекозу или слабоумного при виде цветка. На склоне попадались кочки, их подбрасывало и, пролетая по воздуху, они испытывали чувство свободы, сравнимое со свободой птицы; в эти секунды они были уверены, что находятся в такой спортивной форме, что им все по плечу, что справятся со всем не только на склоне, но и вообще в жизни. А у подножья горы, когда они, охваченные азартом, делились впечатлениями о трассе с другими фанатами горных лыж, их захлестывало возбуждение, сравнимое с возбуждением гурмана за столом, ломающимся от яств. Из-за всего этого букета чувств они и считались полупомешанными. Такими их считали местные жители из поселка, который находился на полпути от станции до гор. Каждый раз, когда мимо домов вышагивала шумная разноцветная компания с рюкзаками и лыжами на плечах, во дворах слышались реплики:

— Бездельники, раскатались! Их заставить бы потаскать воду, поколоть дрова!

Известное дело, жители поселений в пятидесяти километрах от городской черты, считают себя обделенными (в самом деле — ни город, ни деревня), и потому их раздражают горожане, а деревенские жители, естественно, вызывают презрительные усмешки.

Обратный путь лыжники совершали в обход поселка, через лес, намереваясь полюбоваться красотами, насладиться тишиной, подышать полной грудью морозным воздухом,

но лишь вскользь замечали ели, которые, будто новогодняя канитель, покрывал иней, тишину сотрясал их смех, а морозный воздух им казался чересчур теплым — они не могли отойти от скоростных гонок. И в электричке продолжали веселиться: пели под гитару, пили кофе из термоса, раскрасневшиеся, пропахшие снегом и хвоей.

Душой этой спаянной компании был высокий парень, инженер НИИ, гитарист, знаток туристических песен, не пьющий, не курящий, «человек без недостатков», как о нем говорили сотрудницы НИИ. Соперничая друг с другом, они добивались его благосклонности; причем в этом соревновании участвовали все женщины: красивые и некрасивые, совсем молодые — после школьной скамьи, особы среднего и даже предпенсионного возраста. Он же ни одну не выделял, ко всем относился по-дружески, только в зависимости от внешности и возраста сотрудниц по-разному улыбался и отпускал разные комплименты, но на Новый год всем дарил одинаковые подарки — раздавал по плитке шоколада. Он вел себя, как молодежавый Дед Мороз.

Но на изломе зимы в институте появилась новая сотрудница, появилась внезапно, как эдельвейс среди горных снегов. У нее были гладко зачесанные волосы с хвостом на затылке, узкое, плотно облегающее сверхкороткое платье — и это при росте под два метра! Такое платье подходило для горнолыжного курорта, но никак не для серьезного института. В таком платье ее ноги выглядели невероятно длинными. Она вышагивала по институту, словно гигантский циркуль, высоко поднимая голову, ни на кого не обращая внимания; холодно, без улыбки ответит на приветствие и процокает дальше. Несмотря на свой фантастический рост, она имела стройную фигуру и без всяких комплексов, даже с вызовом, носила туфли на высоком каблукке.

Вначале новая сотрудница вызвала у инженера только спортивный интерес, но через несколько дней ее независимая холодность, короткие и умные ответы сослуживцам, которые он слышал (его самого она не замечала в упор), вывели его из равновесия — казалось, его подбросил трамплин, и он завис в воздухе.

Как-то он подошел к ней, хотел предложить лыжную прогулку, но вначале поинтересовался, занимается ли она зим-

ними видами спорта? В том, что она, с ее данными, играет в баскетбол, он не сомневался, даже думал, что входит в сборную страны. Он подловил ее в коридоре института, когда она стремительно шла в свою лабораторию, шла зигзагами, обходя кадки с пальмами, как слаломистка створы ворот. На его вопрос она остановилась и в полуобороте ответила:

— Спорт – удел недалеких. Чем больше у человека мышцы, тем меньше в голове. Профессиональный спорт — вообще кошмар, а любительский... Ну, есть элегантные виды: верховая езда, фехтование... Извините, мне некогда, — она повернулась и продефилировала в лабораторию.

Все это она сказала без всяких эмоций; ее мысли были четкие и ровные, как прямая лыжня. Он был ошарашен, его зависание в воздухе окончилось плачевно — он упал на обледенелый склон. По пути в отдел он представил строптивую особу на лошади: ее ноги волочились по земле, а потом со шпагой — ее длинная рука с клинком насквозь протыкала противников. «Каланча! — сказал он про себя. — Но прекрасна до чертиков, как снежная королева!»

И все же неудачный старт не обескуражил его; он приготовился к затяжному лыжному марафону, а для начала решил ввести длинноногую красотку в свою компанию. На следующий день снова дождался ее в коридоре и предложил «слушать музыку в обществе его друзей». И получил, как снежок в лицо, резкий отказ. С неизменным равнодушием она отчеканила:

— Я уже слышала о вас. Вы такой праведник, что тошно. Наверняка и ваша компания не отличается от вас, — и смерила его ледяным взглядом.

У него пробежал мороз по спине, лицо побледнело, будто покрылось изморосью, губы посинели. А на утро воспалились глаза от бессонной ночи, было похоже — он получил ожог роговиц от резкого, сверкающего на солнце снега. Он привык к поклонению, и вдруг пришлось позорно сойти с дистанции.

В его груди забушевал пожар раненого самолюбия. Несколько дней он боролся с огнем: все свободное время, чтобы сбить пламя, проводил на лыжах, валялся в сугробах, но это не помогло, пожар разгорелся сильнее и уже вырвался наружу — его заметили все сотрудники института и открыто

посмеивались над незадачливым героем зимней романтической истории.

Больше всех отпуская колкостей слесарь института Степан, по прозвищу Коротышка, который обитал в подвальной мастерской. Коротышка был безумный тип: маленький, сутулый, почти горбун, да еще вечно угрюмый, с гнусавым голосом, со стороны он напоминал кривобокий снеговик с носом — красной сосулькой; от него постоянно несло машинным маслом и спиртным. Всех мужчин за глаза он называл «козлами», а женщин «телками». Не раз его собирались выгнать из института за пьянство, но не могли найти замену.

— Кто сильно пьет, в крупном масштабе, тот и дела делает основательно, — ухмылялся Коротышка, ковыляя по институту с ящиком инструмента. — Ну, как дела с телками? — с кривой усмешкой спрашивал он инженера, не глядя на него (он никогда не смотрел на собеседника, а зыркал глазами по сторонам, с нахальным видом сверлил сотрудниц). — Небось, все вздыхаешь по этой новой телке?.. Сердце бабы надо завоевывать взглядом. Потом наплел ей что-то и в койку. На кобылку плюнь, тебе не обломится, у тебя не тот взгляд... А если башка по ней трещит, пропусти рюмку, враз полегчает. Водочка, она полезная вещь, помогает снять напряг, сосуды расширяет. Спускайся ко мне в подвал, налью. У меня в загашнике всегда припрятано.

«Не обломится, не тот взгляд!» — эти слова долго звучали в ушах инженера, но он все-таки рискнул еще раз встать на лыжню и добраться до финиша. Подождал новую сотрудницу после работы и, пока они шли до метро под снегопадом, вернее, он семенил рядом, еле поспевая за ее гулливерскими шагами, безостановочно выпалил о своем «чисто любительском отношении к спорту», об авторской песне, о холостяцкой квартире с неплохой библиотекой, в которой есть книги и про конный спорт, и про фехтование... Она слушала безучастно, а у vestibюля метро остановилась, смахнула с лица снежные хлопья и бросила на него убийственно-равнодушный взгляд:

— Неужели вы не поняли, что вы не мой тип мужчины? И не старайтесь напрасно, не выслеживайте меня.

На него как будто рухнула снежная лавина. Гулливерша исчезла за стеклянной дверью, а он долго стоял под снего-

падом, смотрел на ее следы — слежавшиеся лепешки снега, похожие на вафли; стоял, точно замороженный, пока не превратился в белую статую.

Снег валил всю последующую неделю, засыпал город по первые этажи; чтобы выбраться из подъездов, дворники копали траншеи, снегоуборочные машины не справлялись со снежным валом, и местами встал транспорт.

Всю неделю инженер бурно переживал свое поражение. Пламя в груди утихло, но опалило все органы — они разболелись так, что врачи нашли перерасход энергии, истощение, и выписали больничный лист.

Страдание в любви всегда идет на пользу — открываешь в себе что-то новое; особенно страдание в снегопад — обостряются все чувства. Пока инженер болел, у него было достаточно времени, чтобы посмотреть на себя со стороны и сделать кое-какие поправки в своем образе жизни, а главное — во внешнем образе. Прежде всего, чтобы развеять слухи о парне-«душке», он станет серьезным и строгим, неприступной ледяной скалой; больше никто не получит от него ни улыбок, ни комплиментов. Оказывается, его приветливость, дружелюбие принимались за бесхарактерность, но теперь он покажет характер. Во-вторых, станет «настоящим мужчиной», сдержанным, твердым, даже будет, как все, немного выпивать спиртного во время институтских застолий (раньше пил только лимонад). Он докажет, что многого стоит, что она недооценивает его.

Он вышел на работу другим человеком и так умело играл новую роль, что по институту прошел тревожный шепоток, который, словно снежный ком, обрастал еще более тревожными слухами. Но игра далась ему нелегко; к обеду от напряжения разболелась голова, и он, вспомнив средство Коротышки о «снятии напряжения», направился в подвал-мастерскую.

Он открыл дверь и оцепенел — из подвала прямо-таки вырвался снежный вихрь. Коротышка полулежал, развалившись в кресле, а на нем... сидела она! Сидела, широко раскинув длинные ноги, запрокинув голову и страстно-яростно дергалась, точно исполняла финты фристайла, при этом одной рукой вцепилась в волосы Коротышки, другой закрывала себе рот, чтобы не кричать, но и от ее стона инженер оглох. У него перехватило дыхание; не в силах противосто-

ять напору ветра, он несколько секунд глазел на дикую сцену; в одну из этих секунд, она повернулась в его сторону, и, сквозь снежную пелену, он заметил совершенно невидящий, осоловелый взгляд. Больше всего в этой сцене его поразили ее ноги, белые, округлые, как две упавшие колонны. Он закрыл дверь, и, уже во всю бушевавшая в коридоре, метель чуть не бросила его на пол; чтобы не упасть, он ухватился за косяк двери.

Его шок длился минут пять, и все это время он озирался вокруг, но ничего не видел, точно оказался в запотевших очках. Потом он встряхнулся и подумал, что яростный кошмар ему померещился, что во всем виновата разыгравшаяся в институте пурга; он снова чуть приоткрыл дверь. Они уже поменяли позу: теперь он был сверху, как гном на великанше. Собственно, самого Коротышку инженер и не различил, его вновь поразили ее ноги — они вздымались до потолка, как два белоствольных дерева.

Он был уверен: на следующий день ее замучают стыд и позор, при встрече она зальется густой краской и убежит с подавленным рыданьем или вообще не выйдет на работу, а в дальнейшем уволится и исчезнет, как внезапно сгинувшая зима, но не тут-то было. Как обычно, она невозмутимо и холодно ответила на его приветствие и, не дрогнув, без тени смущения, прошагала мимо, размахивая руками, точно лыжными палками. Казалось, все произошедшее для нее — то же самое, что для него спуск с горы, или даже меньше — прогулка по лесу, или совсем мелочь — чашка кофе из термоса.

МАЛЕНЬКИЙ ОСТРОВ, ОБДУВАЕМЫЙ СО ВСЕХ СТОРОН ВЕТРАМИ

Они занимали две светлые комнаты в одноэтажном, давно нуждавшемся в ремонте особняке. Дряхлое, полуразрушенное, испещренное трещинами строение с расшатанными дверями и щелистыми ступенями находилось посреди парка, недалеко от станции метро «Динамо» — в нем было что-то монастырское; к нему со всех сторон вели запущенные аллеи, по которым, точно в аэродинамических трубах, постоянно тянул ветер, и особняк с прилегающими дворовыми постройками выглядел неким островом посреди шумящего зеленого массива, замкнутой сферой, изолированной от внешнего мира.

После смерти матери сестры остались вдвоем: их отец, инженер-железнодорожник, подолгу бывал в командировках. Основные функции домохозяйки и «идейного вождя» взяла на себя младшая из сестер — Наташа, двадцатитрехлетняя студентка Строгановки, непоседливая, свободолюбивая «дородная Матрена», как ее звали сокурсники за увлечение народным творчеством и цветастые сарафаны, которые Наташа носила.

Вера была старше на пять лет, но рядом с сестрой выглядела хрупким, беспомощным созданием, которое на все смотрит широко распахнутыми глазами, словно видит впервые, будто она и не взрослая женщина, и нет у нее никакого житейского опыта.

— Наша Веруня задержалась в переходном возрасте, — с усмешкой говорила Наташа. — Еще не наигралась в куклы. Ирония судьбы!

Собственно, так оно и было. Мать воспитывала Веру в пуританской строгости, в школе ее прозвали «излишне прилежной», «заучившейся отличницей»; на филфаке вначале сторонились, как чрезмерно замкнутой, «некоммуникабельной» особы, затем попросту исключили из общего течения

студенческой жизни; так и развилась внутренняя скованность, выработался комплекс неполноценности, что-то надломилось в ней. Она и на работе слыла «белой вороной», «феей-дурнушкой», которая еще окончательно не спустилась на землю — только нащупывает точки опоры. И внешне она выглядела подростком: маленькая, бледная, худая, плоскогрудая. Я сразу представил ее чахлым цветком, который долго выращивали под колпаком и лишь недавно высадили в грунт, потому он и не набрал хлорофилла.

Она была полной противоположностью мне, уверенному в себе «закоренелому холостяку», и может быть, именно поэтому я решил стать кем-то вроде ее опекуна; мне вдруг захотелось «заземлить» ее, беззащитную, помочь ей ориентироваться в хитросплетениях окружающего мира. Как всякий эгоист, я не собирался привязываться — уже привык к легким, непродолжительным, ни к чему не обязывающим встречам и вообще главным для себя считал работу и выпивки с друзьями, а романтические увлечения рассматривал всего лишь как украшение холостяцкой жизни. То, что она станет моей любовницей и беспрекословно подчинится, я понял сразу и заранее предопределил, что наши отношения будут без всяких заигрываний и тяжеловесности.

Когда я появлялся в их редакции, она смотрела на меня неотрывно и серьезно, внимала каждому моему слову — так смотрит собачонка на своего хозяина, ожидая приказаний. Она работала секретаршей в радиокомитете, а я изредка приносил туда сценарии радиопостановок: это был мой побочный заработок, а основной — корреспондентский в газете.

Я долго откладывал роман с ней, но однажды как-то само собой получилось, мы вместе вышли из редакции, и, разболтавшись, я не заметил, как мы доехали до «Динамо». В «зоне ветров», как я сразу нарек тот район, она прикоснулась к моему локтю и вызвалась «угостить чаем с вареньем и познакомиться с сестрой», причем произнесла эти слова с невероятной осторожностью.

В их коридоре пронзительно скрипели половицы и рамы, трещали потолочные балки, но в комнатах было тихо, только в окна хлестали ветви, терзаемые ветром. Их комнаты были обставлены скромной мебелью, а стены сплошь завешаны Наташиными работами: натюрморты с деревенскими по-

делками, портретами розовощеких доярок; меж картин виднелись прищипленные пучки лекарственных трав, а в углу одной из комнат — маленькая икона.

С Наташей, несмотря на разницу в возрасте, у меня оказалось много общего, и с первого вечера мы стали друзьями.

— Веруне давно надо было завести кавалера, — весело заявила Наташа и с невероятной откровенностью пояснила: — Она совсем одичала. От этого у нее и нервишки того... Пьет разные настойки, все комнаты пропахли ее аптечными травами.

— Не говори глупостей! — покраснела Вера и стала нервно заставлять стол чашками и розетками для варенья. Она и дома выглядела зажатой, правда в меньшей степени, чем на работе.

— А я смотрю на мужчин, как на деревья, — продолжала Наташа. — И не терплю всяких шушуканий подруг о «больших женских тайнах».

— Ты феминистка, — уточнил я.

— Ага. Для женщины-личности семья — страшная обуза. В семейных заботах глоснут все таланты. Разве я написала бы это, будь у меня муж, объелся груш, — Наташа обвела рукой стены. — Целыми днями шастала бы по магазинам и не отходила бы от плиты. Сейчас и то трачу на это многовато времени. Ведь Веруню куда ни пошли — купит не то или вовсе деньги потеряет.

— Кем ты меня выставляешь? — обиженно проговорила Вера. — Не такая уж я идиотка, как ты думаешь.

— Спокойней, барышни, — я поднял руку. — Все это мелочи. Женщина должна все совмещать: быть и домработницей, и матерью, и личностью...

— Ну да, и всячески ублажать мужа, и отлично выглядеть при этом, — усмехнулась Наташа. — И быть в курсе всего мирового, чтоб не прослыть дурой. Это на диком Западе возможно, а не у нас... И потом, какие все мужчины эгоисты: женщина должна это, должна то. А что должен мужчина? Только деньги приносить да листать газету? Ох, уж эти наши домостроевские семьи! Ирония судьбы! А с вами все ясно. Веруня, будь начеку — это опасный мужчина, остерегайся его, он вскружит тебе голову, — она нарочито грозно прищурилась и погрозила мне пальцем. — Между женщиной и женщиной при знакомстве идет война, и не вступай в нее,

не будучи уверена в победе. Впрочем, такие безвольные, как Веруня, и хотят, чтоб их победили.

— Не слушайте ее, — быстрым шепотом сказала Вера, когда Наташа вышла на кухню. — Она взбалмошная, правда, добрая. Погорячится и быстро отходит.

— Ну, ладно, люди, давайте пить чай, — Наташа вернулась с большим и маленьким чайниками в руках и обратилась ко мне: — Вам покрепче или не очень?

— Покрепче.

— Я так и думала, это уж само собой разумеется.

— Почему ты так думала? — одновременно спросили мы с Верой и рассмеялись.

Вера тут же ухватилась за черное пятно на сарафане сестры — на ее лице затеплилась робкая улыбка:

— Когда мое желание сбудется?

— Сегодня! — Наташа состроила страшную гримасу. — А угадать, кто какой пьет чай — проще простого. Здоровяки, вроде вас, и сильные женщины, вроде меня, пьют крепкий и горячий, а разные бесхарактерные мотыльки, вроде Веруни, — чуть подкрашенную прохладную водицу. Ирония судьбы!

— Что ты все из меня делаешь неизвестно кого?! — вспыхнула Вера. — Я тоже сильная. Не слушайте ее. Я сильная, выносливая и...

— О, да! — пропела Наташа.

— Наталья, ты явно недооцениваешь сестру, — с наигранным негодованием заметил я. — Уверен, твоя сестра обладает недюжинной силой. Силой духа. Просто эта сила дремлет до поры, до времени, правда, Вера?

— Вот именно, — Вера благодарно кивнула мне.

В таком полушутливом тоне и началось чаепитие. Прихлебывая чай, Наташа без умолку рассказывала: вначале о своем преподавателе, который приезжает в училище с термосом и деликатесными бутербродами и, пока студенты рисуют, постоянно жует и пьет, и у студентов бегут слюни; однажды он угостил ее бутербродом с семгой и налил из термоса... пиво. Потом рассказала о практике на Кавказе, где «с гор того и гляди упадет бульжник, где сумасшедшие реки, и растительность в шипах и колючках, а люди чрезмерно громогласные, суетливые, помешаны на деньгах — сплошная погоня за деньгами, да еще культ еды».

—...Повсюду едят жирное мясо, чавкают фрукты, выплевывают косточки — противно! — морщилась Наташа. — Наш автобус все время сопровождали местные черноволосые парни в своих машинах. Приставали — жутко! Раз перепутали — поехали за другим автобусом. Я облегченно вздохнула, а девчонки приуныли — привыкли к эскورتу...

Я видел в Наташе восторженную, общительную натуру, готовую вместить в себя весь мир, и, посматривая на Веру, многозначительно кивал ей, как бы говоря: «И вам, барышня, не мешало б быть такой жизнелюбкой». В ответ Вера поджимала губы: «Да, Наташа такая, а я другая». Про себя Вера, наверняка, догадывалась — сестра нарочно их развлекает, играет роль посредника, чтобы не ставить ее, Веру, в неловкое положение, а гостю дать возможность освоиться, почувствовать себя в непринужденной обстановке.

—...Ничего нет лучше среднерусской полосы, — говорила Наташа. — Наши уютные деревни, дома с резьбой, разноцветные стада коров на лугах, мягкая листва — во всем спокойствие...

— Я на Кавказ вообще никогда не поеду, — откликнулась Вера. — Там страшно. Кавказцы настоящие дикари... В деревне неплохо, но много невежества. И во дворах грязно, и дома какие-то неприбранные.

— Она мечтает жить в Исландии, на острове, — пояснила мне Наташа.

— Прекрасная мечта, — я развел ладони. — Когда, Вера, туда поедете, возьмите меня с собой, я буду рулевым на вашей яхте. Ведь у вас там будет яхта?

Вера покачала головой и с уморительной серьезностью заявила:

— Мне не нужна яхта. И машина не нужна.

— Тогда я буду вашим телохранителем. Так что, если понадобится моя помощь, обращайтесь, не стесняйтесь.

— Вот скажите, — Вера оживилась, даже чуть привстала. — Почему там дома аккуратные, ухоженные? И отношения между людьми совсем другие. Я читала новеллы исландских писателей, видела документальный фильм... Там маленькие чистые поселки, строгая природа, люди вежливые, воспитанные, простые труженики...

— Сейчас допьем чай и поедem туда, — вздохнул я.

— Там острова насквозь продуваются ветрами, как наш особняк, — со знанием дела заявила Наташа. — Тебя, Веруня, там сдует в море... Нет, в наших деревнях спокойней. И люди колоритные и естественные. А какие песни с прибаутками! А промыслы — непрофессиональное рукотворное искусство! Наивное, домашнее, досуговое! У деревенских людей руки добрые, потому и в изделиях чувствуется тепло их рук... В одной деревне на Вологодщине — смешно! Если умрет какой старик, все приходят поздравлять — отмучился, мол. А старуха может проворчать: «Не во время отдал Богу душу. Сено как раз поспело, убирать надо»...

— Отлично! — я засмеялся, а Вера поежилась:

— Наташа, расскажи что-нибудь светлое.

— А это светлое, — хмыкнула Наташа. — Там вообще к смерти относятся буднично, без трагизма. Кто-то утонул, кто-то много выпил, и сердце остановилось. Потому и детей имеют помногу, чтоб кто-то оставался. Ирония судьбы!..

Вера не выдержала и вышла на кухню; в проем двери я видел, как она доставала из шкафа новую банку варенья.

Наташа наклонилась ко мне.

— Сестра у меня — блеск! Непонятая, неоцененная, чистая душа. А святых людей обижать нельзя. Учтите, я ее в обиду не дам, — она направила на меня палец и, изображая в руках пистолет, «бахнула», а завидев входящую сестру, снова откинулась: — Ну что, люди, новое варенье опробуем?! И «телек» посмотрим, — она встала и включила телевизор.

Вера положила мне полную розетку варенья.

— Попробуйте, это вкуснее. Клубничное. Наташа сама варила. Она умелица, вот только все время грубит мне.

Теперь уже я «бахнул» в Наташу, и Вера, довольная, засмеялась, но и смех ее был какой-то грустный, как бы с трещинкой.

— Тебя и надо подстегивать, а то на ходу уснешь, — откликнулась Наташа, настраивая телевизор. — Вот эстрадный концерт. Оставим, под чай с вареньем сойдет?

— Ой, выключи его, ради Бога! — взмолилась Вера.

— Да пусть, Вера, тихо создают нам музыкальный фон, — в форме легкого приказа сказал я.

— Вообще-то я не люблю нашу эстраду, — Наташа вернулась за стол. — То ли дело народный хор! Сладкозвучная музыка, нежная. В ней слышится простор. А если еще с гусями, колокольцами — сказка!

— И я не люблю нашу эстраду, — совсем как девчонка, надула губы Вера. — Глупые, пошлые песенки. Наташа, поставь лучше пластинку Чайковского. Вы любите классическую музыку? — Вера бросила на меня вопросительный взгляд.

— Люблю, но плохо знаю.

— Давайте в воскресенье пойдем в консерваторию? — Вера так и впилась в меня и замерла в ожидании ответа. — Кажется, там концерт Гайдна.

— Можно сходить, — без особого энтузиазма протянул я. — Но лучше мы придумаем что-нибудь пожизненной; например, устроим вылазку на природу. Не в Исландию, поближе — на дачу к моему приятелю-музыканту.

Вера смиренно потупилась.

— Ну, ладно, люди! — Наташа встала. — Мне завтра рано вставать, пойду спать, но учтите, буду за вами поглядывать, чтоб вы не целовались. Отец приедет, все ему расскажу...

Напевая что-то про иронию судьбы, она вышла из комнаты и плотно прикрыла дверь, но тут же снова выглянула и дала сестре последнее указание:

— На ночь к иконе не подходи, не молись! Религия — чепуха, потому что внушает терпение во имя загробной жизни. Ничего нельзя терпеть...

— Замолчи! — Вера чуть не запустила в нее чайную ложку.

Стояло лето, время повальных отпусков; улицы даже в центре заметно поредели, а аллеи в парке на «Динамо» вообще были пустынные; по ним бесшумно скользил ветер. После работы мы с Верой встречались у метро, прогуливались по аллеям, разглядывали деревья и птиц, присаживались на скамью в потаенном месте напротив особняка, я закуривал, обнимал Веру и рассказывал какую-нибудь историю из своей бурной жизни — что-нибудь смешное, чтобы расшевелить «замороженную спутницу», как окрестил ее про себя. Доверчиво прильнув ко мне, Вера внимательно слушала; то вскидывала на меня широко раскрытые глаза и прямо-таки впитывала все, что я говорил, то опускала голову, волосы почти закрывали ее лицо, я только видел смутную улыбку.

— У вас такая интересная жизнь, — произносила она слабым голосом. — А со мной никогда ничего интересного не происходит.

— Как это не происходит?! — я сильнее прижимал ее к себе. — Ну-ка, припомни что-нибудь интересное, — чув-

ствуя себя хозяином положения, я уже на вторую встречу перешел на «ты».

Вера называла меня на «вы» все время, пока мы встречались, даже после того, как наши отношения перешли все границы.

Что она могла рассказать, если считала свою жизнь совершенно обиденной и скучной, если мечтала об Исландии? И как рассказывать по заданию, когда внутри — ожидание, предчувствие значительной, многообещающей жизни с мужчиной, который властно ворвался в ее жизнь?

— С мамой все было по-другому, — вздохнула Вера. — Мы с ней ходили в консерваторию и в зал Чайковского... Мама тяжело болела и последние годы не вставала с постели. Много читала. Книжки по астрономии и религии. К нам приходила ее сестра, моя тетка. Они с мамой договорились, кто раньше умрет, даст знать, есть ли жизнь на том свете. Недавно тетка позвонила, сказала — видела маму во сне, она говорила: «Не спеши сюда, здесь гораздо хуже, чем на земле. Здесь много наших родных и знакомых, и все хотели бы вернуться на землю, но Бог редко кого отпускает... в виде привидений»...

— Бесспорно, здесь лучше, чем на небесах, — усмехался я. — Думаю, и ты в этом уверена.

— Да, — Вера утыкалась носом в мою шею, легко обнимала меня.

Даже в тихие летние дни слабое дуновение вокруг особняка с наступлением темноты переходило в порывистый ветер, потому в парке мы долго не засиживались и направлялись «пить чай». Наташа встречала меня по-приятельски и, как только сестра уходила в другую комнату, заговорщически шептала:

— Она совсем потеряла голову. Ирония судьбы! Пересказывает мне сны... Как же надо влюбиться, чтобы думать о вас даже во сне?! Все-таки любовь — это одурение. Но вы, хочется думать, окажете на сестру благотворное влияние.

Выпив чашку чая и рассказав что-нибудь о Вологодщине, где «люди сделали ставку на оптимизм», Наташа надевала яркий сарафан, перекидывала через плечо плетеную сумку.

— Люди! Я собралась по грибы. Шутка! Пошла в кино. Договорились с подружкой. Смотрите, не целуйтесь, — она подмигнула мне и, напевая про иронию судьбы, сбегала по ступеням.

В первый же ее уход я взял Веру за руку и потащил в постель.

Она испуганно замотала головой, но сопротивлялась слабо, и пока я ее раздевал, стояла, подрагивая, стыдливо прикрывала грудь руками и едва слышно бормотала:

— Господи! Зачем вы это делаете, ведь мы совсем не знаем друг друга?!

Потом, когда я курил и поглаживал ее голову, лежащую на моем плече, она прошептала:

— Господи! Я делаю огромную глупость. Веду себя как шлюха.

— Женщина и должна быть в постели шлюхой, — грубовато заметил я. — В семье — святошей, в компании — королевой. Так говорил кто-то из классиков.

— Наверно, я ненормальная женщина.

— Вполне нормальная, и я сделаю тебя еще нормальной, — самоуверенно заявил я и добавил приказным тоном. — В воскресенье поедем на дачу к приятелю-музыканту, там река, захвати купальник, отдохнем как следует, давно мечтаю подремать в гамаке на свежем воздухе.

За городом она, наконец, повеселела, взяла меня под руку и порывисто проговорила:

— Надо же, мы дышим одним воздухом, над нами одно небо и облака... Я сегодня такая счастливая! Прямо хочется писать на заборах, сараях: «Самый счастливый день!» — потом вдруг загрустила и неуверенно вполголоса произнесла: — Но, по-моему, быть счастливой стыдно... Может быть, и нельзя, потому что вокруг много несчастья. Как вспомню больных... Я два раза была в больнице... почки болели...

— Ну да, в непогоду думать о бездомных, когда наешься — о голодных, — небрежно вставил я, все больше входя в роль супермена, а про себя подумал: «Все-таки в ее душе много ценного; ведь чем чувствительней человек, тем больше охватывает его взгляд, тем ближе принимает чужую боль, тем сильнее его мучения и тревоги. А ограниченный человек живет в ограниченном мире и потому страдает по пустякам и счастлив от ерунды».

На даче, увидев моего приятеля с подружкой, Вера сникла еще больше, похоже — испугалась новых людей. Как я ни пытался ее «расшевелить», ни на реке, куда ходили купаться, ни на террасе, где позднее пили вино и слушали джазовые пластинки, она так и не воспрынула. Приятель непрестанно шутил, подпевал «звездам», его подружка беззаботно, зараз-

ительно смеялась, а Вера только тускло улыбалась и вежливо отвечала, когда ее спрашивали. Она явно чувствовала себя стесненно, словно между ней и веселыми дачниками стоит непреодолимая преграда.

«Может быть, считает, что ее общество неинтересно?» — подумал я и, улучив момент, сказал:

— Вера, будь свободней, раскованней. Никто тебя здесь не обидит. Поддерживай хотя бы беседу, ну что ты грустишь!

— Я поддерживаю беседу, — вяло отозвалась она. — Но мне неинтересно, о чем говорит твой приятель и его знакомая. Я ничего не понимаю в модных пластинках.

— Ну, конечно, лучше говорить о классической музыке или об Исландии, — съязвил я, и она сразу потупилась и сжалась.

На минуту я сравнил ее с жизнерадостной подружкой приятеля и раздраженно подумал: «У нее то задумчивый, то жалобный взгляд, она ничему не радуется по-настоящему. С ней я и сам стану мрачным типом. И вообще, какое-то бездарное лето».

Вечером мы вернулись в город. Еще в электричке, как бы оправдывая свое поведение, Вера сказала:

— По-моему, музыканты и художники живут интересно, но сумбурно. Богемный образ жизни очаровывает, но и губит. Все время сигареты, вино, неразборчивые связи. Это засасывает и губит. Я знаю по знакомым Наташи... Но она сильная, для нее главное — самодисциплина... Потому и не любит сборища художников. Она любит деревню...

Мы спустились в метро, проехали до станции пересадки, и Вера предложила пройти по улицам. «Такой теплый вечер», — промолвила. Она видела, что я злюсь, что мне не понравилось ее поведение на даче, и пыталась загладить свою оплошность, но от волнения делала одну глупость за другой: вначале оправдывалась, говорила, что на даче разболелись почки от вина, хотя и всего-то его пригубила; потом как-то искусственно развеселилась, запела что-то и протанцевала — решила показать, что может быть такой, как все; наконец, смолкла на полуслове и в отчаянии глубоко вздохнула. В этот момент мы шли по улице Горького, внезапно она показала на арку, где начинался переулок, и прямо-таки с мольбой обратилась ко мне:

— Пожалуйста, свернем туда.

Около церкви стиснула мою руку.

— Подождите, я на минутку! — и забежала в церковь.

Вернулась с белым лицом, и, не поднимая глаз, ошеломляюще искренно проронила:

— Я помолилась, чтобы вы не бросили меня.

— Ты такая набожная христианка? — спросил я, когда мы снова вышли на улицу.

— Да, я верю в Бога. А вы разве не верите?

Я неопределенно пожал плечами и выдавил банальщину:

— Мой Бог — моя совесть.

«Динамо», как всегда, встретило нас прохладным ветром, и это обстоятельство особенно подчеркивало мое охлаждение к Вере. Проводив ее, я по пути к метро выкурил две сигареты подряд — меня обуревали невеселые мысли. Было ясно: она влюбилась не на шутку, любовь просто разрывала ее душу, к такому повороту я не успел подготовиться; надо было что-то предпринимать, как-то перевести наши отношения в спокойное русло, но как — в голову ничего не приходило. Я подумал о том, как тяжело ей живется... «Наверняка страдает, что несовременна, не находит контакта с людьми... Конечно, такие, как она, хорошие жены-домоседки, но с ними закиснешь». Я вспомнил своих предыдущих веселых подружек, вроде дачницы приятеля, и меня потянуло к ним... Прохладный ветер, словно на крыльях, нес меня подальше от особняка.

Следующую неделю я все вечера напролет торчал в Доме журналистов среди друзей-единомышленников и веселых подружек. В пятницу нужно было появиться в радиокомитете, и, представляя тревожное лицо Веры, я заранее приготовил оправданье — много работал.

Вера встретила меня не просто тревожно: ее взгляд заматался, она так разволновалась, что стала заикаться. В сквере, куда мы вышли прогуляться, она непрерывно теребила карандаш, который по рассеянности вынесла из редакции, потом взяла мою руку, стала гладить и вдруг порывисто поцеловала ее.

— Не избегайте меня! — проговорила с дрожью в голосе и отвернулась, чтобы я не видел ее слез.

«Она окончательно сломалась, — подумал я в метро. — Но как ее удержать на дистанции, если она уже привязалась, и теперь наши встречи для нее — главное в жизни?! И заземлять ее бесполезно. Ее не переделаешь — она не от мира сего».

Я решил все пустить насамотек и вечером без предупреждения поехал на «Динамо», прихватив торт для чаепития. Несмотря на пасмурное небо и пронизывающий ветер, а может быть, благодаря им, особняк смотрелся особенно зрелищно, я даже задумался: «Есть ли еще такой самобытный уголок в городе?».

Вера что-то читала, Наташа писала натюрморт, но как только я вошел, обе поспешно бросили свои занятия и стали накрывать на стол, при этом Наташа покрикивала на сестру больше обычного, но Вера так обрадовалась моему визиту, что этого не замечала; ее прежнюю печаль прямо-таки сдуло ветром.

— Все у вас, барышни, как-то не так, — сказал я, прихлебывая чай. — Сидите дома, точно монахини. После работы вам не мешало бы заниматься спортом; Вере — для здорового цвета лица, Наташе — для новых впечатлений. Как говорят англичане: «День для трудов, а вечер для отдыха».

— Впечатлений и так полно, — ухмыльнулась Наташа. — После Строгановки зашла в магазины, постояла в очередях, такого насмотрелась, наслушалась!.. Передо мной стояли двое мужчин, и один говорит трагическим голосом: «У меня жуткая неприятность. Представляешь, меня в Швецию не пустили. В последний момент в группу впихнули кого-то из своих. Но я это так не оставляю. Правда, в этом году уже ездил в Польшу...». Вот такая у него трагедия. Он объездил весь мир, только в Швеции не был, и она ему позарез нужна... У нас каждому чего-нибудь не хватает. Одному двух тысяч, чтобы купить дачу за сорок тысяч, другому — десяти копеек на пиво. Ирония судьбы!

— У нас в редакции бывает такой автор, — оживилась Вера. — Постоянно хвастается, только и слышно: «Получил тысячу за пьесу в Польше... Приглашают в Америку, во Францию... Не хочется ехать. Во-первых, я не летаю на самолетах — они бьются; во-вторых, там сейчас к нашим плохо относятся — еще убьют, а я нужен миру». Он считает себя гением, — пояснила Вера, обращаясь ко мне, без утайки показывая, как тронута моим приходом.

Допив чай, Наташа поднялась:

— Ну, ладно, люди! Надо проветриться. Вспомнила, я еще обещала зайти к подруге. Смотрите!.. — она хотела добавить свою присказку о поцелуях, но передумала, видимо, решила — уже не смешно.

— Как-то неловко получается, — сказал я Вере, когда мы остались вдвоем. — Наташа уходит, а наверняка хотела бы порисовать. Как-то я баламучу все у вас...

— Что вы! — Вера всплеснула руками. — Наоборот. До вас мы каждый вечер ссорились, а сейчас стали добрее друг к другу. Вы наш примиритель. Вы очень нравитесь Наташе...

До моего ухода Веру не покидал радостный настрой, но и ее радость была какой-то тихой. А когда я уходил, она проводила меня долгим тоскливым взглядом.

Ближе к осени ветер на аллеях усилился и погнал в сторону особняка первые желтые листья. Временами ветер достигал такой силы, что потрескивали и стонали деревья, а особняк запружали горы шуршащей листвы. Самое странное — те ветры постоянно меняли направление, а случалось, и неслись навстречу друг другу и тогда, сталкиваясь, образовывали непредсказуемые вихри. Это явление чем-то напоминало мое ветреное отношение к Вере.

В один из вечеров, во время «чаепития втроем», приехал отец сестер, мужчина с умным, интеллигентным лицом.

— Папа! — Вера бросилась к отцу, прижалась к нему, заплакала. — Я так соскучилась!

— С приездом, отец! — Наташа подошла, чмокнула отца в небритую щеку и представила меня.

Мужчина тепло пожал мне руку, назвал себя Петром Владимировичем и, доставая из портфеля бутылку водки, спросил:

— Так чей вы поклонник? Мечтательницы Веруни или нашей хозяйки, замечательной Матрены — Наташи?

— Угадай! — усмехнулась Наталья, но тут же выпалила: — Ну, конечно, Веруни! Зачем мне поклонники? Вот еще!..

...Я засиделся до полуночи. С Петром Владимировичем мы выпили всю водку и еще полбутылки какой-то наливки, которую он достал из шкафа и назвал «заначкой от дочерей». Петр Владимирович рассказал о БАМе — «великой стройке, которая никому не нужна»; рассказал легко, с юмором, подтрунивая над «высоким начальством», то и дело прерывался, интересовался московскими новостями.

— Самую большую новость ты знаешь — у Веруни появился поклонник, — смеялась Наташа, пуляя в меня из невидимого пистолета.

Подыгрывая ей, я кивал, но про себя думал, что мое появление в этой семье и в самом деле событие.

Когда я уходил, Вера решила меня проводить и вышла в коридор накинуть плащ.

— Уж ты береги мою дочку. Она, Веруня, хорошая, — сказал мне Петр Владимирович на прощанье.

Когда мы вышли, в лицо ударил шквальный ветер. Старые деревья раскачивались и трещали, молодые клонились чуть ли не до земли, ветви неистово били по дворовым пристройкам — это был мощный натиск стихии. Пригнувшись, мы ступили в аллею, Вера стиснула мою ладонь и поехала.

— Какой сегодня сильный ветер. Скоро осень. Но папа приехал, теперь все будет хорошо... Папа часто выпивает. После смерти мамы стал... Вы, пожалуйста, не выпивайте с ним. Ему нельзя, у него здоровье неважное, — вой ветра заглушал ее слова.

Мы дошли до следующей аллеи, которая вела к метро, я поцеловал Веру в щеку.

— Беги домой, а то мне придется провожать тебя обратно.

— Ага! — Вера послушно кивнула, но на мгновение замерла и вдруг всхлинула. — У меня такое предчувствие, что мы расстанемся навсегда... Не бросайте меня! Мне без вас будет плохо...

В метро, подогретый выпивкой, я почувствовал, что мои мысли скачут между обезоруживающей просьбой Веры и свободой, которую я имел до встречи с ней. Потом внезапно налетевший смерч унес особняк вместе с его обитателями куда-то в Исландию, и передо мной одна за другой возникли прежние мои подруги, веселые, жизнелюбивые, без всяких комплексов — мы легко сходились, беспечно проводили время и так же легко, без выяснений и взаимных обид, расставались... Потом тот же смерч каким-то непонятным образом вернул особняк на место, и я увидел Веру, Наташу, их отца и ударился в размышления: «Каждая семья — микросоциальное государство со своими законами, вождями, друзьями; посещая эти государства, надо уважать чужие обычаи, нравы, и нельзя просто так вторгаться, навязывать свое, разрушать сложившиеся устои; нельзя походя, для забавы привязывать к себе доверчивых людей, тем более играть в любовь»...

В ПОЛДЕНЬ НА УЛИЦЕ

Ошалело сверкает солнце, тянет теплый ветерок, птицы в небе ведут брачные игры, из водосточных труб хлещет, как из пожарных шлангов, одним словом — весна.

...Он вышел из ворот завода посмолить сигарету на солнце-цепеке, поглазеть на девчонок: надо ли пояснять — весна. И вдруг — она; вышагивает с синим зонтом, голову держит высоко, улыбается каждому встречному, что-то шепчет, срывает с веток набухшие почки, пританцовывает; на улице ей явно тесно, это и понятно — весна... Она взглянула на него, дурашливо хмыкнула, прошла мимо; ему стало жарко, несколько секунд колебался, потом все же догнал ее (опять же — весна) и сразу понял: она со странностями. Ну, какая нормальная девчонка будет такое говорить?! Он всего-то произнес:

— Я за вами шпионю, — лишь бы завести разговор.

А она, не меняя улыбки:

— Раньше люди знакомились на балах, а теперь и знакомиться негде, правда? — голос низкий, с хрипотцой, на лице капли, а плащ мокрый, будто вся завернута в целлофан. — Поэтому на улицах столько одиноких людей... Весна, уже совсем весна, — она повела в воздухе рукой. — Продают подснежники, мимозу... Смотрите — всюду шарики мимозы, пушистые, пачкающие! Как все изменилось — попробуй узнай переулок, сквер, киоск...

— Как вас зовут?

— Таня. А люди какие-то деревянные. Ничего не видят, не чувствуют, куда-то спешат... Ну конечно, работа, ну конечно, заботы, но не замечать весну!.. У вас есть любимая улица? У каждого есть. У меня — улица Пирогова. Сейчас там еще не очень, а вот летом... Там уйма зелени — и вся скромная, не бросакая.

— Кто вы?

— Я ведьма. Летаю на метле, — она потрясла зонтом, вновь дурашливо хмыкнула. — Мой зонт волшебного свойства. Чуть что не по мне — фьют! И улетаю...

— Нет, серьезно.

— Я художник, у меня живописная насыщенная жизнь. Как вечная весна. А вы, судя по этой рекламе, — она кивнула на пятна солидола на комбинезоне, — трубочист.

— Что-то вроде. Кручу гайки, работаю слесарем.

— Люблю, когда мужчина все делает своими руками.

— Вот перекур устроил, но надо топать назад. Как вас еще увидеть?

— Зачем? Мы так чудесно поговорили, — она засмеялась. — Пусть все так и останется. Не ахти какое событие — просто весна.

— Давайте вечером поговорим еще?

— Зачем? Все потому что — весна, остальное совсем ни-причем... Надо же, так неожиданно пришла весна. Но плащи еще снимать рано. — Она медленно пошла по переулку.

— Стойте! Я из-за вас опоздаю на работу. Давайте встретимся!

Она остановилась около подъезда, вздохнула.

— Ну, хорошо, придумайте что-нибудь. Запишите мой телефон, — проговорила цифры и «до свиданья» и убежала вверх по лестнице — внезапно, как и появилась: ясное дело — весна.

После работы он позвонил. Она говорила чересчур спокойно, низким голосом — гулким, далеким, как эхо. «Завтра встретимся, — сказала, — сегодня занята». А вечер был теплый: птицы всю горланили, в канавах бормотали ручьи, гуляли парочки. «Занята! — ухмыльнулся он. — Если девчонка хочет, она приходит, а не хочет — придумывает отговорку: то голову вымыла, то подруга зашла — дежурные штучки».

На следующий день он позвонил снова. «Да, да, я вас узнала. Я начинаю привыкать к вашему голосу». Они договорились — он подойдет к ее дому. Она вышла в розовой кофте и малиновой юбке, и в руках — опять синий зонт-«метла». На вид она была его ровесницей, лет двадцати пяти; прямые волосы без всякой прически, зеленые глаза с крапинками, лицо — прямо иконописное. С минуту они смотрели друг на друга, и она дурашливо хмыкала, поджимая губы.

— Хорошо, что пришли, — сказал он, чтобы как-то сломать барьер, — с вами трудновато встретиться. Чем вы так заняты?

— Набрасывала один эскиз, но получилось неважно. Во всем виновата весна.

Они пошли по переулку; она пальцем водила по стенам домов и бормотала хрипловатым голосом:

— Как хорошо пахнут... В детстве я перенесла болезнь почек и на время ослепла. Но у меня обострилось обоняние. Все получилось смешно. Зимой простудилась и лежала в постели, ждала, когда болезнь отступит. Целый месяц лежала и смотрела, как за окном мальчишки катаются на коньках. Раз не выдержала и, когда родители ушли, надела коньки и весь день гоняла как одержимая. Так и схватила воспаление почек.

— И сейчас побаливают?

— Нет, что вы! Теперь я и не знаю, где какие органы, — ничего не чувствую. Зато по запаху определяю любую вещь с закрытыми глазами. У меня обоняние, как у собаки... Вы так можете?

— Наверно, смогу, — похвастался он. — А вы живете с родителями?

— Нет, одна... Мой отец умер, а мама живет с отчимом. Я не могу с ней. В доме должна быть одна хозяйка.

— Вы не замужем?

— Нет... И не хочу. Боюсь потерять мечту.

— Какую?

— Мечту о прекрасном человеке, которого все равно не встречу.

— Зачем тогда мечтать?

— А разве вы всегда мечтаете о том, что может сбыться? Мне это помогает работать. Это мой способ жить... Я даже разговариваю с ним.

— С кем?

— С этим человеком. Особенно весной...

Она взглянула на него прозрачными глазами: то ли шутит, то ли говорит серьезно — не поймешь. «Разыгрывает меня? — подумал он. — Просто работает под тронутую или в самом деле того?» Они прошли весь переулок и теперь пересекали сквер.

— Идеалов, конечно, нет, — продолжала она, — ведь мужчина для женщины главный друг и в то же время главный недруг, потому что женщина по своей сути жертвенница, а мужчина захватчик. Женщина с радостью готова отдать все то, что разглядит в ней мужчина. Разглядит и оценит, — она тяжело выдохнула и предложила: — Давайте посидим.

Он достал сигареты, протянул ей, они закурили.

— Вообще-то у меня есть жених. Ему восемнадцать. С ним я чувствую себя старухой. Ходит за мной как привязанный — смертельно влюблен и ревнует даже к дворовым собакам и деревьям. Правда, он хороший художник. В его работах божественность — они светятся... Но мне жалко его — он слабый. Слабый и ужасно глупый, раздражает своими глупостями. Есть старая истина: можно быть хорошим художником и полным дураком.

— А вы — злая.

— Да. И не люблю добреньких. Они и всех любят, и никого, а уж злые если любят, так сильно... И семьи люблю неспокойные, где стычки — те хоть что-то ищут. А остальные квелые люди. Вообще спокойное счастье — удел ограниченных людей... Вы заметили, сколько стало квелых, спокойных? Кооперативные квартиры, «Жигули», дачи. Скупают ковры, хрусталь. «У всех есть, значит, и мне надо». Музеи, а не квартиры... Все завели библиотеки, для них книги — тоже товар. Мой жених предложил выпускать обои с корешками книг классиков и намалеванным хрусталем. Оклеил комнаты — и все есть. Облегченные, развлеченческие вещи!.. Все-таки он талантливый... Господи, как много у нас трафаретных комнат и трафаретных людей! И как они духовно бедны. Ссорятся из-за мест для стоянок машин, ругаются в очередях, даже весной — противно! — она вдруг замерла, на ее губах застыла улыбка.

Он повернулся в сторону ее взгляда и увидел бабочку.

— Я загадала, если бабочка сядет, значит, я долго не умру...
Надо же: ни цветов, ни листы, и вдруг бабочка...

— А где вы работаете?

— В основном на улице. Собираю образы, краски, сюжеты, а дома только монтирую.

— А чем вы рисуете?

— Что под рукой. Мне все равно чем, лишь бы оставляло

след. И я рисую не ради славы, одобрения, и не ради денег. Просто не могу не работать, — говорит, а лицо острое, взгляд серьезный, и руки сложила молитвенно — точно перенеслась в храм.

— Покажите как-нибудь, что вы делаете.

— Как-нибудь покажу.

— А кто покупает ваши работы?

— Я сдаю их в комбинат. В комбинат графиков. Там, конечно, канцелярская обстановка и чиновники говорят канцелярским языком... Сейчас ведь для искусства дремучие времена... Хорошо, хоть нет гонений и дают заказы. У меня есть заказы, я не самый последний художник, — она посмотрела на него с определенной гордостью и хмыкнула, но не дурашливо.

— Так вы — миллионерша.

— Что вы! Вот купила туфли, теперь целый месяц пью один чай. А это, — она кивнула на юбку, — шью сама... Я живу в живописной бедности, среди картин и книг, но свободно, без надрыва... И беру заказы только те, которые нравятся, а большинство работ делаю для себя.

— Зачем такое искусство? Оно же должно быть для всех.

— Должно, нужно — как я не люблю эти канцелярские слова! Никому я ничего не должна. Неужели вы этого не понимаете? — она недовольно повела рукой, вздохнула и продолжила тоном учителя: — Художник выявляет болезни общества, и выносит их на суд зрителей, и ищет истину, отстаивает справедливость... Конечно, вы в другом мире, но вы хотя бы ходите на выставки?

Он кивнул, чтобы не прослыть «деревянным», и перевел разговор.

— Давайте заглянем куда-нибудь, что-нибудь пожую, выпьем.

— В другой раз. Давайте лучше посидим здесь. Смотрите — клейкие листочки появляются, — она потрогала свисавшую ветку и снова улыбнулась. — Никакая я не миллионерша. И у меня или много денег, или совсем нет — тогда влезаю в долги. А вообще я не люблю деньги. Когда они появляются, стараюсь побыстрее от них избавиться. Накуплю всяких нужных и ненужных вещей и облегченно вздохну. Без денег живется свободнее... Иногда, конечно, худо.

— Может, все же пойдем, выпьем немного.

— Не хочется. К тому же мне скоро нужно возвращаться, гулять с Феклой — моей собакой. У меня чудная Фекла. Лайка. Я ее безумно люблю... Давайте просто посидим, поговорим. Знаете, как приятно поговорить после долгой работы в одиночестве. Вам этого не понять — вы в коллективе, а я все время одна, и мне нужно понимание, поддержка... особенно весной...

По дороге к дому он думал: «Она чокнутая, точно. С одной стороны, вроде нормальная, с другой — то и дело какие-то выдумки, закидоны. Но художница, и красивая до жути. Надо бы поднатаскаться в живописи, а то еще подумает, что я совсем ничего не волоку. И надо рассказать о себе, чтоб знала, с кем имеет дело. Я ведь тоже собой кое-что представляю: на заводе уважают, денежки зарабатываю немалые, скоро мотоцикл куплю...»

Они договорились встретиться на следующий день около ее дома. И снова она вышла в необычной одежде: в зелено-голубой кофте со множеством складок и короткой темно-фиолетовой юбке, и опять в руках держала синий зонт.

— Вы так странно одеваетесь.

— У каждого свой аквариум... Ничего странного нет. Обыкновенно. А потом, по деталям одежды можно судить о человеке. Ведь вкус — это уже взгляд. О Господи, как с вами тяжело, несмотря на весну.

— Угу... Вы обещали показать работы.

— Сегодня у меня дома работает подруга. Может быть, завтра.

— Тогда двинем в ресторанчик?

— Ой, какой же вы неугомонный. Там духота и все эти прилизанные, игольчатые мужчины и конфетные женщины. Терпеть не могу рестораны. Давайте погуляем, ведь весна!..

Она любила бродить в незнакомых районах города, любила тихие переулки, музеи — то, что на него нагоняло тоску.

Через час, когда они забрели на окраину, она вдруг ни с того ни с сего припустилась вперед. Он бросился за ней.

— В чем дело?

— Я загадала, если перегоню вон того мужчину, то у нас с вами будет что-то... Как вызов морали... Вообще-то не верится — уж очень мы разные... Правда, вы, чувствуется, сильный, уверенный в себе. И немногословный. Мужчина должен быть именно таким.

Когда они возвращались, он еле волочил ноги, а она шла вприпрыжку и все рассказывала о себе: как в детстве по вечерам с ребятами делили небо на участки и считали, у кого больше звезд, потом заговорила о лошади, которую решила купить, как подыскивала для нее гараж, придумала имя — Святой Павел, а друзьям объявила, чтобы без овса не заходили. Но гаражи оказались занятыми, и она решила держать лошадь в коридоре. А потом подумала: «Жильцы будут ворчать, да и по ведру овса в день надо, и вообще работу придется забросить, ведь Павла придется пасти».

«Все это интересно, — думал он, — только как бы самому с ней не спятить».

Перед тем как расстаться, они покурили в ее темном подъезде.

— Спасибо вам за вечер, — тихо сказала она. — Завтра можно посидеть у меня. Вам понравится моя Фекла.

Он затаился, огонек сигареты осветил ее лицо — она не дыша смотрела на него. Огонек погас, и она коснулась рукой его щеки.

— До свиданья! — прошептала и убежала.

Он догадывался — у них совершенно разные интересы, и встречи будут ненадежные; он боялся, что не сможет соответствовать ее высоким запросам, но его сильно тянуло к ней, непонятной, загадочной. «Главное, у нее никого нет, — рассуждал он по дороге к дому. — Воздыхатель-жених не в счет — сопляк, куда ему со мной тягаться».

Готовясь к свиданию, он долго плескался в ванной — чтобы не несло соляжкой, полчаса прихорашивался перед зеркалом, потом направился в магазин за бутылкой вина.

Она открыла дверь, и его обнюхала собака с узкой мордой. Комната отражала чисто художническое бытие: вещи располагались непродуманно, случайно; беспорядочно валялись подрамники, холсты; на стенах висели странные картины — портреты уродливых людей, на столе в банке стояли какие-то блеклые, болезненные цветы, над столом, подвешенный к плафону, красовался раскрытый синий зонт. Она встретила его в брюках и свитере болотного цвета и босиком...

— Хотите чаю? Я вас только чаем могу угостить. С печеньем. Или сразу будете смотреть мою живопись?

— Вначале посмотрю.

Портреты ему не понравились — на них все люди были вроде нее, какие-то с отклонениями. Он долго думал, что сказать, потом протянул:

— Написано здорово, но, по-моему, они некрасивые — все эти люди.

— А я люблю все некрасивое: лица, деревья, дома. Все любят красивые ландшафты, киногероев, попугаев. Красивое сразу видно, оно заявляет о себе, но все красивое опасно: огонь, гроза, водопады, лавины... И хищники. И мужчин, и женщины. Красивое притягивает к себе, но может и погубить... А некрасивое всегда прячется... Но в нем много красивого... внутри. Нужно только присмотреться... Вот взгляните на этот полуразвалившийся дом! Разве он не красив? А эти подрезанные деревья-инвалиды?! И у кого только руки поднимаются их подрезать?! Это ж сатанизм!.. Я люблю дикие травы, бездомных животных, нищих, калек. Чем внешне ужасней человек или животное, чем больше слышу о нем гадостей, тем сильнее хочу его понять.

Он про себя усмехнулся: «Говорит, точно размазывает пастилу по стене... Меня-то это не колышет. Мне-то по душе все яркое, броское, а у нее все мрачное, дурь какая-то во всем».

Она достала из-под тахты папку, отбросила в сторону эскизы — какие-то пятна, помарки, потеки, кляксы, и вдруг показала пейзажи — далекие, волнистые просторы; картины напоминали праздничные ковры; он смотрел на них и вдруг вспомнил, как прошлым летом целыми днями гонял на мотоцикле приятеля за городом; носился по раскаленному асфальту и по проселочным дорогам, где по краям рос чертополох и в пыли барахтались воробьи; вспомнил, как пролетал бетонные мосты, и деревянные настилы, и рабочие поселки, и деревни...

— Здорово! — сказал он. — Отлично сделано. На них хочется смотреть без конца. Они как хороший фильм, когда хочется посмотреть вторую серию.

— Спасибо!

Ей было приятно, и он решил что-нибудь добавить, изо всех сил пытаясь говорить по красивей, но ничего не смог придумать.

— Спасибо! — повторила она и дурашливо хмыкнула. — Но мне как раз эти работы не нравятся. Они как охранная грамота, чтоб не приставали, не разносили вот за это, — она

кивнула на уродов в рамах. — Ну ладно, на сегодня хватит. Давайте пить чай.

— Вино, — уточнил он и откупорил бутылку.

Спустя некоторое время он спросил:

— Наверно, скучно по вечерам одной-то? Не с кем поговорить.

— Я разговариваю с Феклой (та уже всю крутилась у стола и клянчила печенье). А еще у меня есть автогонщики, — она отодвинула кресло, и он увидел на полу покореженные и раздавленные игрушечные автомобили: легковушки, пикапы.

Он знал нескольких собирателей: один собирал монеты, соседка — детские книжки... но эти сломанные игрушки! Теперь до него дошло, что она женщина только внешне, а внутри девчонка, девчонка с интересными странностями.

Она привстала, поправила стебли цветов на столе, а ему пояснила:

— Это ирисы. Вот жаль, и первые, и последние цветы не имеют запаха. По легенде, ирисы волшебные цветы, принеешь их к мертвым, и они оживают...

Он поднял стакан:

— Выпьем за вас... за тебя! Ты мне очень нравишься!

Она затаилась, потом наклонилась к собаке и шепнула ей в ухо:

— Скажи, что наш гость мне нравится тоже.

Он подсел к ней, обнял, но она отстранилась.

— Я вообще-то не хотела сегодня встречаться... Боюсь привыкнуть... Не хотела и вот... не смогла. Видимо, потому что весна... С вами почему-то спокойно... Но со мной не может быть ничего хорошего. Для любви люди специально рождаются. А у меня все как-то не так. И потом, я совсем вас не знаю. Где вы работаете?

Он заговорил о заводе, о своем увлечении мотоциклами, но она сразу перебила его и начала рассказывать о своем детстве, о подмосковном городке:

—...Там были горячие лужи, гладкие камушки, хрустящая хвоя и густая, тягучая смола... Я там училась в художественной школе, собирала яблоки, падающие в овраг, и рисовала болотные цветы, похожие на узоры, завитки, вензеля... Кто туда ни придет, сразу ругает те места: «Все маленькое, и реки нет». А мне так дорог тот клочок земли...

Она совсем забыла о нем; смолкла и уставилась в одну точку.

...Он ушел от нее в полночь, когда гасли фонари и по пустынным улицам ползли поливальные машины; ехал в автобусе и усмехался: «Не говорит, а вещает, как актриса со сцены. И вздорная — никогда не знаешь, что она выкинет в следующую минуту, от нее, от сумасшедшей, всего можно ожидать... Правда, зато с ней не соскучишься. И художница, и красивая... Вот только трусливая, что ли, или запуганная чем-то».

Он был крепким парнем-работягой с располагающей внешностью, вполне прилично одевался, слыл компанейским, и в девчонках недостатка не имел — не то что привык к победам, но обычно девчонки особенно не задумывались, встречаться с ним или нет. И вдруг эта Таня. Она даже немного злила его. Он считал ее странность игрой, а всякую привязанность к некрасивому — ложным, надуманным. Он твердо знал: все реальное, жизненное намного ценнее всего выдуманного, но ему не хватало жалости, снисхождения к ней — необычной, чувствительной. А она считала его не тонким, с плохим вкусом, ограниченным — про себя называла «лесорубом», но ей нравилась его внешность; в отличие от жениха, он был настоящим мужчиной.

К новой встрече он настроился решительно: идти к ней и с мужланским напором перевести «прогулки и посиделки» в надлежащие отношения, взять приступом художницу-недотрогу. Но она сразу охладила его:

— Давайте сходим куда-нибудь... в театр.

— Пойдем лучше у вас... у тебя выпьем, посидим.

— У меня нельзя.

— Почему?

— Нельзя и все... И потом, у вас что, уже появились требования ко мне?.. Посидеть, в конце концов, можно и в кафе — мне не очень хочется, но уж ладно... все-таки — весна.

Накрапывал дождь, и наконец ее зонт пригодился, и, пока они шли под синим колпаком, крепко прижал ее к себе; она вздрогнула и заговорила тревожно, запальчиво:

— Все-таки тяжело с вами. Какие-то властные набегги. Вы слишком прямолинейны. Такой же, как все. Похоже, у вас нет никаких интересов.

Внутри у него все содрогнулось — он не мог понять перемены; накануне сама говорила, что нравится ей, и вот получай — такой, как все, нет интересов! Дикая неразбериха в ее голове! Он почувствовал: тонкая нить, связывающая их, вот-вот порвется, но ее резкие слова задели его самолюбие.

Он высказал ей все: и про свой завод, где работают отборные парни, а не какие-то там хлюпики, вроде ее жениха, и про свой цех, где он может собрать любой агрегат, и про мотоцикл «Яву», который вот-вот купит, и, когда прокатит ее с ветерком, она поймет, что все ее разговоры — муть в сравнении с ощущением скорости и пространства.

В кафе она молчала; даже выпив вина, продолжала окаменело сидеть с горькой полуулыбкой. Потом вдруг произнесла — скорее для себя, чем для него:

— Может, мы поссорились потому, что я надела это платье? В нем мне всегда не везло... Нет, здесь другое... Какие-то тяжеловесные отношения. Собственно, я знала наперед, что мы будем ссориться — у нас мало общего. Только слишком рано начали... все-таки — весна.

«Чего нудит? — хмыкнул он про себя. — Все дело в том, что я четко знаю, чего хочу, а она не знает, чего хочет».

Точно угадав его мысли, она глухо сказала:

— Женщины счастливы от маленького внимания: букета цветов, комплимента, — она глубоко вздохнула и радостно посмотрела на него, только и радость у нее была какая-то печальная.

— Может, действительно я дура, слишком много требую от людей?! В сущности, какой я художник?! Просто женщина. Мне надо рожать детей, стоять у плиты... Женщина должна украшать жизнь, создавать уют, теплоту. Так хочется заботиться о ком-то, кому-то быть необходимой... Нет, не кому-то! А настоящему мужчине. Ведь женщина ценит мужчину, который разбудил в ней женщину, поставил ее на место, ну и, конечно, оценил и боготворит... Тянет женщину к земле, заземляет, но и уносит в небо... Мужчину сильного, но и тонкого, заботливого. Только где такого найти? Вся надежда на весну...

Она посмотрела на него нежно, но внезапно что-то припомнила, и ее глаза стали холодными и злыми, как у рыси.

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА УДАЧИ

А. Булаеву

Судьба то и дело играла со мной злые шутки: каждую удачу сопровождала подвохом. Все началось с того, что лет в двадцать я решил креститься, но не потому, что пришел к Богу, а потому, что уговорили родственники. Особенно на меня наседала одна из теток, глубоко церковная особа: чуть ли не ежедневно она посрамляла меня перед домочадцами, называла нехристом, позорищем, черным пятном на светлой репутации всей нашей родни.

От тетки не отставали мои двоюродные сестры:

— Давай тебя окрестим, это сейчас модно, — верещали они.

В общем, допекли меня, и, купив нательный крестик, я отправился в церковь договариваться о святом деле, но по пути каким-то непонятным образом крестик потерял. «Плохое предзнаменование», — подумалось, и точно — в тот же вечер жестокая простуда свалила меня на неделю. Очевидно, Всевышнему стало ясно, что я еще не созрел для серьезной веры, и он наказал меня за показушный порыв. С того момента все и продолжается с разными вариациями, несмотря на то, что я уже почти пришел к Богу, правда, не окончательно.

В двадцать лет я выбирал себе подружек только с экзотическими именами: Виргиния, Земфира, Аделаида... Конечно, на внешность тоже обращал внимание, но прежде всего на имя. Опять-таки здесь не последнюю роль сыграла моя глубоко церковная тетка. Она говорила:

— Красивое имя у женщины — выражение ее красивой души. И наоборот — всякие Зои, Ады, Эллы, Норы имеют уродливые души.

Понятно, у самой тетки имя было красивым и редким («сладкозвучным», по ее выражению) — Элеонора. Представ-

ляясь незнакомым людям, тетка певуче растягивала свое имя на два звука: «Эле» и «онора», при этом далеко выбрасывала руку и сияла, давая понять, что ее душа полна немислимых красот. Это производило сильное впечатление на мужчин, но почему-то ни один из них так и не отважился приударить за теткой — вероятно, боялись, что не смогут соответствовать достоинствам моей родственницы. Факт остается фактом: тетка пребывала в девственности, такой же глубокой, как и ее церковность.

Так вот, следуя заветам этой тетки, я подбирал себе подружек исключительно с благозвучными именами. Однажды познакомился с Лариной и сразу обалдел от ее имени, а тут еще она осторожно призналась мне:

— Вообще-то домашние зовут меня Лаура, а друзья Луиза. Ты можешь называть, как тебе больше нравится.

От этого букета красивых имен у меня закружилась голова.

И душа у нее оказалась красивой: она сразу с невероятной искренностью сообщила, что заканчивает музыкальное училище, что у нее нет никакого парня, родители все лето на даче, и мы можем у нее «потанцевать под проигрыватель».

Пока мы танцевали, моя партнерша то и дело посматривала на себя в зеркало и в такт мелодии музыкально пропевала: «Ларина-Лаура-Луиза»... В разгар наших танцев щелкнул замок двери, и на пороге появилась довольно энергичная девушка; она обеспокоено затараторила:

— Людка! Ты куда пропала?! Звонили с фабрики, сегодня выходим в ночную смену...

Я заметил, что моя Ларина-Лаура-Луиза украдкой подает подружке знаки, но та все не останавливалась:

—...Хорошо устроилась! Каждый день танцуйки, новые диски, а за квартиру кто платить будет? Опять я, да? Очень надо! Или хочешь, чтобы нас отсюда турнули? — и обращаясь ко мне: — Извините, юноша, нам надо собираться на работу...

Самое смешное, когда я встретился с «музыкантшей» второй раз, она легко, без всякой обманчивости, сообщила:

— Я забыла тебе сказать, что работаю на кондитерской фабрике... Мы делаем жуть какие красивые конфеты (про остальное она не стала упоминать). На работе меня называют Лилией... А мне, знаешь, какое имя больше всего нравится? Люция! Можешь звать меня так? — она выпятила губы и пропела:

— Лю-ци-я! Правда, красиво? А в тебе мне, знаешь, что нравится? Твоя фамилия. Имя у тебя плохое, а фамилия — класс! Я выйду замуж только за парня с красивой фамилией.

Вот такой фантазеркой была эта Люда. Люда Иванова.

В двадцать пять лет мне повезло — я купил подержанную машину и, обезумев от счастья, катал всех без разбору. И докатался — машину угнали. Через неделю автоинспекция нашла мое сокровище, но кузов был сильно покорезен. Оказалось, машину угнали мальчишки, которых я от чистого сердца обучал вождению.

— Эти шалопаи заявили, что хотели покататься, но я не верю, — прокомментировал случившееся многоопытный, искушенный инспектор, вручая мне ключи от машины. — Наверняка, собирались распотрошить на запчасти. Но, сами посудите, что заводить уголовное дело? Они еще и паспорта не получали, да и свидетелей нет... А вы кого-то мне напоминаете. Случайно не за «Динамо» играете?

Я сделал вид, что глубокомысленно обдумываю этот вопрос. Инспектор принял меня за однофамильца футболиста.

Меня вечно принимали за кого угодно, только не за самого себя. И все из-за моей необычной внешности: я довольно полный, у меня большой нос, отвислые уши, густые брови и выпученные глаза — они придают взгляду пронзительность. Именно поэтому в общественном транспорте меня принимают за ревизора и показывают проездные талоны, а в кинотеатры пропускают без билетов, да еще с приветствием:

— Пожалуйста, заходите, рады вас видеть...

После того как машина нашлась, мне вновь повезло — сосед жестянщик взялся за три бутылки водки привести кузов в порядок и сделал это отлично. Но не успел я подкрасить машину, как с лобового стекла исчезли щетки-дворники. И оставил-то их всего на полчаса: подъехал к дому в обеденный перерыв, перекусил, вышел — щеток нет. А на следующий день во дворе ко мне подходит один алкаш из соседнего дома, бездельник, некомпетентный во всем, но во все сующий свой нос.

— Дико извиняюсь! Тебе дворники не нужны? — спрашивает и протягивает мне мои щетки (я их сразу узнал по вмятинам на ободах).

— Так это ж мои щетки! — возмутился я.

— Что ты этим хочешь сказать? Что я их стащил? — скривился, прикинувшись дураком, алкаш. — Грубо говоря, как ты можешь такое думать?! Они у меня давно валяются. У кого, у кого, но у тебя — рука не поднялась бы. Я ж тебя знаю. Ты ж ментом работаешь. Помнишь, меня забирал в пивной? (Я никогда не работал ментом, я работаю в строительной конторе). Дико извиняюсь, давай на сто грамм и бери дворники, — заключил алкаш, и мне ничего не оставалось, как расплатиться за свои щетки.

Немало приятных сюрпризов и вслед за ними неприятностей доставило мне почтовое ведомство. Я знал, что вся корреспонденция из-за границы просматривается бдительными сотрудниками КГБ, знал, что это делается, не вскрывая конвертов, и называется перлюстрация. Догадывался также, что и посылки вскрывают, но не думал, что при этом кое-что изымают, беззастенчиво и нагло, без всяких объяснений.

Как-то я получил из-за границы от знакомого посылку с пластинками. Посылка была вскрыта, разорванный картон кое-как склеен скотчем. Позднее выяснилось: часть пластинок конфисковали, но все равно моя радость не знала границ. В благодарность я решил послать знакомому шоколадное ассорти — гордость нашей кондитерской промышленности, но на почте посылку не приняли — оказалось, продукты посылать запрещено. Тогда я решил послать книги, но из пяти книг, которые принес на почту, разрешили отправить только одну, да и на ту пришлось ставить визу в «Союзкниге». Прежде чем упаковать книгу, приемщик перелистал каждую страницу, разглядывал на просвет, его подозрительности не было предела — вдруг я посылаю какие шифровки!

В другой раз мой заграничный друг прислал мне приглашение посетить его сказочную страну; я уже потирал руки, предвкушая прекрасное времяпрепровождение (предстояло плыть на теплоходе из Одессы), как внезапно заболела мать. Я позвонил другу, сообщил, что поездку откладываю, и попросил выслать лекарства. Как известно, в наших аптеках имеются только таблетки от головной боли и горчичники, а в аптеки четвертого управления, где есть все, простым смертным доступа нет. Друг выслал лекарства, но я получил... горох!

— Это издевательство! — крикнул я, ворвавшись в кабинет начальника почты. — Горохом можно лечиться?! Да еще говорят «продукты посылать нельзя!».

— От нас нельзя, а к нам можно что угодно. И успокойтесь, пожалуйста, — начальник вышел из-за стола, протянул мне руку, представился; затем вызвал кого-то из подчиненных, дал команду «разобраться!» — и, как компенсацию за нанесенный ущерб здоровью матери и моему моральному ущербу, вызвался позвонить знакомой из четвертого управления.

— Вам я просто обязан помочь, — заявил. — Я вас сразу узнал.

— Еще бы! — выпалил я, сразу входя в образ неизвестно кого.

На следующий день я получил лекарства, разумеется, за приличную переплату.

В тридцать лет я построил катер (наивно планировал сходить на нем к заграничному другу — не знал, что у нас не пускают в заграничные плавания). На меня свалилась большая удача: по дешевке я достал дефицитный материал — сосновые бруски и фанеру, а под строительную площадку приятель выделил свой гараж. Катер я делал неторопливо, с особой тщательностью, и у посудины получились совершенные очертания и отличные мореходные качества. Можно сказать, в тот год я совершил подвиг, знакомые только ахали; моя доблесть сверкала, как начищенная бляха. И в дальнейшем все, что связано с катером, — сплошное везенье, включая покупку подвесного мотора и пробное плавание по чарующей Оке. К сожалению, в старинном русском городе Муроме, где закончилось плавание, не оказалось порта (я намеревался в Москву катер отправить на барже), пришлось обратиться к железнодорожникам.

— Катер отправить сложно, — сказали мне в багажном отделении вокзала. — Но для вас сделаем исключение. (По отделению пошел шепоток: «Вахтанг Кикабидзе! Сам Вахтанг Кикабидзе!»). И, пожалуйста, мотор и канистры отправляйте отдельно — в контейнере. И гарантию за сохранность катера не даем, он пойдет на открытой платформе, без охраны. Даже для вас обеспечить охрану частного груза не можем.

— Неужели могут стащить? — удивился я.

— Всякое бывает, — пожали плечами железнодорожники-почтовики. — Если узнают, что ваш, вряд ли рискнут.

— Именно тогда и стащат, — заметил один из почтовиков.

Прекрасный отпуск закончился плачевно. Катер прибыл на Рижский вокзал, контейнер на Казанский (и то, и другое я отправлял на Ленинградский), причем открытки о прибы-

тии груза я получил месяц спустя, то есть, пришлось платить немалую сумму за простой груза. И пока я заказывал трайлер, в катере взломали каюту и стащили весла, насос, спасательный круг, надувные матрацы, спиннинг, примус, бинокль, да еще разбили иллюминаторы, очевидно, в отместку, что я мало вещей оставил.

Последний сюрприз почтовое ведомство преподнесло мне, когда я послал знакомому леснику набор столярного инструмента (в благодарность за проведенный у него отпуск). Оформляя посылку, приемщица вместо сдачи протянула мне лотерейный билет, на который через пару дней я выиграл двадцать пять рублей и наполовину оправдал посылку. Кстати, набор стоил пятьдесят рублей, и столько же я заплатил, чтобы его переслать.

Прошло два месяца. Лесник ничего не сообщал о получении драгоценного подарка. «Неблагодарный», — подумал я, и вдруг получаю письмо: «Болтун! Наобещал и ничего не прислал! Больше тебя не приму. Приедешь, натравлю собак!».

Я пошел на почту. «Расследование за счет потерпевшего, за ваш счет», — сказала приемщица и направила меня на главпочтамт.

— Розыск стоит вдвое больше посылки, — заявили на главпочтамте.

Пришлось заплатить — дело упиралось в принцип. Месяца три длился розыск, но так и не дал никаких результатов. Потом еще месяц я проделывал мучительные операции: посылал угрожающие телеграммы в министерство связи и управление железных дорог, в конце концов, плюнул, купил новый набор и послал с проводником — это оказалось надежней и быстрее.

В тридцать пять лет я получил садовый участок от нашей строительной конторы, при этом мне явно повезло. Участков было всего восемь на весь отдел. Решили тянуть жребий. Мне, не- семейному, участок в общем-то был ни к чему, и для профформы, как бы от моего имени, я поручил участвовать в жеребьевке одному парнишке, нашему курьеру. Члены профкома не возражали. И надо же! Парнишка вытянул участок.

— Не пойдет! Это нас сбило с панталыку, — комкая слова, с унылыми лицами заявили мне члены профкома. — В субботу устроим пережеребьевку. Извольте участвовать непосредственно сами.

— В субботу не могу, — сказал я.

В субботу, действительно, приезжал мой заграничный друг, и я запланировал отметить встречу в ресторане «Якорь» (я любил то уютное заведение — на стенах коктейль из морских мотивов; глядя на стены, я вспоминал свои плавания на катере и многое другое).

— В субботу никак не могу, — сказал я. — Пусть за меня тянет парнишка-курьер, я ему доверяю.

Скрепя сердце, члены профкома согласились, видимо, были уверены: второй раз парню не повезет. А он возьми, да опять вытяни мне участок. «Раз уж участок сваливается с неба, грех его не брать», — подумал я. Члены профкома начали было снова артачиться, но тут уж я вспылил:

— Вы что, будете устраивать жеребьевки до тех пор, пока кто-нибудь из вас не вытянет?! Раз согласились на моего представителя, оформляйте участок, и баста!

Клочок земли (четыре с половиной сотки) находился в ста километрах от города, в болотистой местности, но ни географическое месторасположение участка, ни топи, ни комары меня не смутили (собственность — великая вещь!). «Там у меня будут неограниченные возможности для отдыха», — подумал я и первым делом решил посадить на участке яблони и цветы. Приехал на центральный рынок, купил саженцы яблонь и клубни пионов.

— Яблоньки белый налив! — причмокивал продавец саженцев. — Цвет, аромат — закачаешься! А на вкус — и не говорю!..

— Редкий сорт! — ликовал продавец пионов. — Цвет, аромат — закачаешься! Сорт называется Анфиса Перова. Я сам вывел. В честь жены. Она была великая женщина, царство ей небесное!..

В выходные дни я посадил саженцы и клубни в самом солнечном месте участка; там же сколотил скамью, чтобы сидеть, покуривать, любоваться цветами, не вставая срывать яблоки. «Счастливчик я все же», — подумал я, разглядывая свои владения, но тут же приготовился мужественно встретить очередную неприятность — у меня уже выработался определенный рефлекс.

Неприятность не заставила себя ждать: в следующую субботу я приехал на участок и застыл от неожиданности — на месте моих необыкновенных пионов зияли пустые лунки.

Слегка нервничая, сел на скамью, закурил. Вдруг подходит сторож поселка и с живейшим интересом восклицает:

— Вот уж не ожидал тебя здесь увидеть!

— Почему?

— Но ты же не строитель.

— А кто же я? — с умеренным интересом усмехнулся я.

— Ты же военный. Был майор, а сейчас уж, небось, подполковник!

Я ничего не ответил, и сторож сбавил тон:

— Неужели обознался?! Надо же, а так похож! Вылитый мой знакомый майор, да уж, небось, подполковник... Ну, ладно. Вот что! Ты не собираешься сажать цветы? У меня тут есть несколько пионов. Отдам по сходной цене, рублей по пять за штуку...

Он принес сверток, раскрыл, и я так и подскочил на скамье. Это были клубни Анфисы Перовой! Те же изгибы, тот же цвет — одним словом, судьба второй раз (после щетокдворников) разыграла меня, выкинула жестокую насмешку. Я не стал разоблачать прохиндея, только взглянул на него пронзительно, и он покраснел и съежился под моим испепеляющим взглядом.

— Возьму по-Божески, всего по рублю, — пробормотал, резко уценя товар, но на всякий случай подстраховал себя: — Раз уж ты так похож на ... Кстати, яблоньки ты высадил не на свой участок, а на соседский. Вот смотри, где проходит линия, — он показал на бечевку, которая пролежала по земле (и как я ее не заметил?). Ничего страшного, не огорчайся, думаю, соседи будут с тобой делиться урожаем, — и чтобы окончательно замолить свой грех, сказал, что в соседнем поселке находится комбинат бытового обслуживания, где делают голубые и розовые гробы из досок «не пропитанных ядом», и что из тех досок получают хорошие ящики для цветов...

Вскоре мне крупно повезло — меня назначили начальником отдела с приличным окладом, массой привилегий и всем прочим. Я ждал этого дня лет десять, не меньше, но предыдущий начальник, семидесятилетний склеротичный старикан, который постоянно кашлял, сморкался, сопел, кричал и фыркал, и тем самым действовал нам на нервы, никак не хотел уходить на пенсию. И вот, наконец, его спровадили на «заслуженный отдых». На радостях я закатил в «Якоре» щедрый банкет для сослуживцев, но, возвращаясь с банкета, упал и сломал лодыжку. Меня постигло величай-

шее бедствие — полтора месяца провел в гипсе, а потом еще несколько месяцев ковылял на костылях: приходилось посещать разные процедуры в поликлинике. Вот так все и произошло. Как в кино.

С тех пор я не очень-то радовался везению, был уверен — за ним непременно последует какое-нибудь несчастье, и чем крупнее подарок фортуны, тем сокрушительней последующая расплата.

Самое обидное, пока я был на больничном, никто из сослуживцев меня не навестил. Бесчувственные, неблагодарные людишки! Кое-кто даже злословил по поводу моего несчастья. Например, бывший начальник, наведавшись в контору и узнав о случившемся, хихикнул:

— Так ему и надо. Бог наказал за то, что меня подсиживал!

Позднее мы столкнулись на улице. Он шел мне навстречу. Я отвернулся, сделал вид, что его не замечаю, но он подошел, закашлял, зафыркал, схватил меня за локоть.

— Здравствуйте! Вы меня помните?

— Здравствуйте! — холодно произнес я. — Конечно, помню. А вы меня?

— Ну, как же! Кто ж вас не знает! Вас знает весь мир!

Я раскрыл рот от удивления.

— Кто же я?

— Леонид Ильич Брежнев!

В сорок лет я женился. С женой мне невероятно повезло, как никогда, можно сказать — повезло баснословно. У нее было необыкновенное сказочное имя — Мальвина, отличная фигура и лицо без единой морщинки, несмотря на то, что она была старше меня и уже дважды побывала замужем. Ее зажигательный характер и интеллектуальное изобилие оценили все мои друзья. И оценили ее пирог к чаю «Святая Мальвина» (понятно, его она назвала в свою честь) и ее салаты, каждый из которых имел свое название, например: «Блондин Коля», в честь ее родственника, любившего яичницу с луком.

По вечерам мы с женой ужинали в «Ягоре».

— Зачем счастье, если им нельзя поделиться? — очень умно пояснил я жене. — Мы всегда будем на людях, с людьми.

В первое наше посещение «Ягоря» я набрал выигрышные очки. Пока жена причесывалась у зеркала, к ней подскочил скрипач из оркестра:

— Простите, с кем вы здесь?

— Сейчас узнаю, — задорно-шутливо откликнулась жена.

— И не узнавайте! Я вам и так могу сказать.

— Внимательно слушаю.

— С Германом Титовым! Он часто здесь бывает.

Все это жена рассказала, как только мы сели за стол, после чего чмокнула меня в щеку, как вознаграждение за популярность.

— А я-то думала, что ты всего лишь начальник отдела.

Я хмыкнул и принял выигрышную позу. Скрипач тем временем вскочил на сцену и гаркнул на весь зал:

— Дорогие гости! Персонально для присутствующего здесь космонавта Германа Титова исполняется фокстрот «Рио-Рита».

Счастье с женой длилось целых два года и было самым долгим из всего, что мне послала судьба, другими словами, за то время ничего неприятного не случилось, за исключением того, что я отвалил от нашего дома друзей; последнее время они слишком расхваливали салаты жены, а она старалась — изобретала все новые яства и, естественно, называла их в честь тех, кто ее хвалил. Только в мою честь салата не было.

Дальше — больше: некоторые из моих друзей переусердствовали — стали нахваливать и фигуру жены, при этом руками пытались показать, что именно им нравится. Жена в ответ зажигательно смеялась:

— Я вас всех очень люблю!

И показывала свою образованность, и с каждой посылкой появлялась во все более легкомысленном одеянии, то есть вела себя далеко не свято и не сказочно, совершенно не оправдывая свое имя, да что там — попросту пороча его! В конце концов мое терпение лопнуло.

— Разберись в своих чувствах, кого ты любишь, а к кому хорошо относишься, — заявил я жене, а друзей отвалил, чтоб не оказывали на нее вредоносное влияние.

И все пошло хорошо; дальше я относился к жене, соблюдая строгое равновесие между уважением и требовательностью. И вот в тот момент, когда мне все в жизни казалось прекрасным, правильным и разумным, и ничто не волновало, не тревожило, то есть жизнь была полна покоя и радости, когда я уже подумал — Бог сжалился надо мной, ведь я уже прошел суровую школу жизни, даже гордился этой суровостью, в том числе морщинами, и складками на лице, и скудной, но седой

растительностью за ушами,— в этот самый момент я и обжегся о зажигательный характер жены: она попросту ушла от меня.

Не скрою, ее уход застал меня врасплох, и некоторое время я пребывал в шоке, но потом взял себя в руки. Я подумал: «Во-первых, в ее сказочном имени есть что-то сладко-приторное, даже слюнявое; во-вторых, она не такая уж и красивая (ведь, если долго присматриваться к красоте, она надоест); в-третьих, ее интеллектуальное изобилие оказалось занудством, и салаты — так себе; в-четвертых, найду себе более спокойную женщину, да и помоложе, и, само собой, с по-настоящему красивым именем».

Ну, а последний наш с женой разговор происходил приблизительно следующим образом: она набросилась на меня неожиданно, я прямо-таки попал под ураганный обстрел:

— Ты эгоист и сухарь, правильный и ровный, как часовая стрелка. Даже противно. Хотя бы разок вышел из себя. Тебя ничем не расшевелишь.

Некоторое время я ловил ее язвительные слова озадаченно, потом отреагировал на натиск кратко и твердо, по-мужски:

— Так уж я скроен.

— Мерзко ты скроен! — взвинулась жена. — Мерзко! (Это у нее было самое страшное ругательство). Мы живем замкнуто, хуже некуда! Нигде не бываем, кроме твоего дурацкого «Якоря», никто к нам не заходит. В интеллектуальном развитии ты остановился на уровне водопроводчика, духовно не обогащаешься вообще. Тебя ничто не интересует, кроме твоей строительной конторы и выпивки в «Якоре». Это крайняя степень падения!

Она расходилась все больше, чудовищно раздувая мои недостатки.

— То, что тебя вечно за кого-то принимают, — люди просто заблуждаются. В действительности ты похож, знаешь на кого?

— На кого? — я пригнулся, в ожидании удара.

— На предыдущих моих мужей! Они были такие же муд...и!

Она произнесла смертельно-оскорбительное слово, от которого меня и сейчас трясет; рядом с этим смертельным словом страшное ругательство «мерзко» выглядит как детский лепет или как птичий щебет — от растерянности не знаю, как лучше сказать.

МОСТ НАД ОБРЫВОМ

Вот колдовство воспоминаний — почему-то из в общем-то безрадостного, послевоенного детства чаще всего вспоминается светлое. Конечно, нельзя из прошлого выбирать только хорошее, но попробуй не выбирать!

Тот мост был деревянный, с белесыми от времени, пружинящими досками и прогнившими, замшелыми перилами. По нему пролежала дорога из нашего поселка в город. С нашей, поселковой стороны настил моста лежал на склоне, поросшем кустами шиповника и медуницей, со стороны города мост упирался в красноглинистый обрыв. Внизу, вдоль обрыва, бежал еле заметный ручей, вспухавший только после продолжительных дождей; зато весной, когда солнце буравило заснеженный склон, ручей превращался в полноводный мутный поток, а под мостом, в узкости с наибольшей разницей высоты, бушевал настоящий водопад — гордость поселковых мальчишек. Обрыв был обращен к югу и находился под постоянным обстрелом солнечных лучей, а на дне оврага всегда стояла сырость; очевидно, горячий и холодный воздух редко перемешивался, и на границе двух слоев возникал какой-то парниковый эффект, иначе трудно объяснить, почему шиповник распускался и плодоносил необычно рано, а медуница цвела по два-три раза в год.

Когда-то в овраге под мостом обитало множество куропаток. Птицы отличались добродушным нравом и доверчивостью — случалось, даже заходили во двор и клевали зерно вместе с курами, но постепенно их всех перебили: когда мы переехали в поселок, овраг населяли одни вороны.

Тот мост был для нас, мальчишек, постоянным местом встреч: идем ли в школу, направляемся ли в лес или на озеро — встречаемся у моста; и вечера проводили около него, вдали от родительских глаз.

Все мальчишки считали мост главной достопримечательностью поселка, излюбленным местом для игр, и только в меня он вселял страх — и потому, что выглядел слишком ветхим, и потому, что я от рождения боялся высоты. В то время я ни за что не отважился бы лететь на самолете, не катался в городском парке на чертовом колесе, а оказавшись в многоэтажном доме, держался подальше от окна. Я придумал определенное оправдание своей трусости — вывел что-то вроде научного положения о противоестественности всякой оторванности от земли. Кажется, я сделал это впервые в мире, но почему-то никто не оценил моего открытия.

Особый страх в меня вселяли мосты. Я никогда не видел, чтобы они рушились, но постоянно ожидал этих катастроф. И тот мост над обрывом не был исключением. Помню, мы прожили в поселке уже месяц, а я все не осмеливался его пройти — мне казалось, как только дойду до середины, он непременно затрещит, зашатается, и вместе с обломками я полечу вниз. Каждый раз, когда на мост въезжала машина или вступала лошадь с телегой, я ждал, что он вот-вот развалится. Когда мы ходили в лес за грибами, все ребята спокойно проходили настил, но я выдумывал смехотворные предлоги и лез через овраг. В конце концов, эти увертки разоблачили, и ребята стали откровенно смеяться надо мной; я остро переживал насмешки, но ничего не мог с собой поделать.

Однажды в поселок приехали отдыхающие из города, и вечером у моста появился новый мальчишка, долговязый, остроносый, с копной светлых волос. Его звали Колькой. Общительный Колька быстро вписался в нашу компанию, больше того, благодаря своей великолепной фантазии сразу выделился в лидеры. До него все наше времяпрепровождение сводилось к набегам на чужие сады, стрельбе из рогаток, писанию угрожающих записок пугливым старушкам и прочим бездарным проделкам (наших талантов только на это и хватало). Колька придумал массу интересных занятий: предложил перегородить ручей и в образовавшемся водоеме кататься на плоту, научил нас делать планы и пускать их с обрыва — чей улетит дальше.

С появлением Кольки наша жизнь приобрела новый смысл; я даже подумал, что на свете и не может быть ничего более увлекательного, чем подобные занятия. Но вскоре Колька доказал — есть вещи намного важней.

Как-то я пошел в лес срезать прут для лука; преодолев овраг, прошел поле гречихи и очутился на опушке леса, где росли кусты орешника. Срезав самую гибкую ветку, я направился к поселку, по пути то и дело выгибая прут, представляя будущее оружие. Неожиданно около моста я увидел Кольку — он стоял перед этюдником на треноге и что-то рисовал, и был настолько увлечен, что не заметил, как я очутился за его спиной, а когда заметил, не удивился и сразу ввел меня в художническую атмосферу.

— Так, пространство обставили, накидали где что. Теперь схватим общую цветовую гамму, — пробормотал, давая понять, что воспринимает меня как соучастника творчества.

На картоне скудными изобразительными средствами, всего одной коричневой краской был нарисован обрыв, мост, наш поселок... Но тут же, размешав на палитре краски, Колька начал класть широкие яркие мазки, и на моих глазах рисунок расцветился, расплывчатые контуры приобрели законченные формы. Это было настоящее волшебство.

Кольку все больше охватывал азарт: словно фехтовальщик, он то делал выпад к этюднику и наносил кистью очередной мазок, то отскакивал и, наклонив голову, сосредоточенно рассматривал свое произведение, и все время морщился.

— Не то, не то, — бормотал и мучительно искал новые цветовые решения.

Наверное, все это длилось около часа, не меньше, но мне показалось — прошло всего несколько минут. Наконец Колька вздохнул, отложил кисть и устало произнес:

— Ну, вот теперь вроде получилось, как думаешь?

Он хотел услышать отзыв о своей работе, но я не смог выразить восхищение — только кивнул и еле слышно выдавил:

— Похоже!

Через некоторое время я очухался, разговорился, и как-то само собой у меня вырвались слова о том, что все же он, Колька, мог бы красить и поаккуратней. Окончательно придя в себя, я обнаглел и сделал Кольке критическое замечание по поводу его слишком разноцветных домов и невероятно огромных деревьев.

— Этого ведь нет, разве ты не видишь? — возмутился я. — Так не бывает!

— Не бывает, — согласился Колька, убирая этюд. — Но ведь так красивой. Художник ведь не фотограф, он рисует так, как хочет чтобы было.

Он вскинул этюдник на плечо, и мы пошли к поселку.

— Представляешь, как было бы красиво, если бы дома в вашем поселке раскрасить в разные яркие цвета... И сараи, и заборы... Вот было бы весело!..

Тот огненно-памятный день стал значительным событием: предельно ясно Колька объяснил мне основы живописи и так сумел увлечь меня, что за разговором я и не заметил, как мы прошли мост.

Искусство оказалось сильнее врожденного страха, оно навсегда сломало барьер трусости перед реальными мостами и, главное, излечило меня от нерешительности. Мосты стали для меня некими символами — переходами в новую жизнь. Повзрослев, я с невероятной легкостью переезжал на новое местожительство, устраивался на новую работу, заводил всевозможные знакомства и менял увлечения — как бы безбоязненно проходил невидимые мосты.

Иногда мне кажется, что вообще вся моя жизнь по сути дела — длинный мост: временами — величественный пролет без опор над цветущей равниной, то вдруг — зыбкая шаткая стлань над топью неведомой глубины, все зависит от житейских радостей и болей в то или иное время. Но что немало важно, в юности этот мост казался бесконечным, уходящим ввысь, в зрелости я заметил: мост выпрямился, местами даже снижается, а по сторонам нет-нет да мелькнет знак, извещающий о том, что каждая дорога когда-нибудь кончается; теперь, под старость, я четко вижу, мост стремительно уходит вниз, и где-то там, в тумане низины, еще не видится — только угадывается — последний пролет и зияющая за ним пустота.

Ну, а начинается мой жизненный мост с того — над обрывом. Именно на том мосту я сделал немало значительных открытий (кроме положения о заземленности). Например, познакомился с мальчишкой, который не говорил ни одного слова правды, причем врал со все возрастающей мощью, и, помнится, даже его родители с трудом представляли, что в конце концов получится из этого маленького чудовища.

Он был плотным подростком с прыщавым лицом, на котором постоянно играла хитрая ухмылка; она исчезала только

когда он начинал говорить: в эти минуты его лицо выражало полнейшую серьезность — на нее все и покупались. Его звали Эдик. Он жил недалеко от поселка, в заводских домах со множеством лестниц на «черные ходы». В день нашего знакомства я начал было рассказывать, как мы возвели плотину и сколотили плот, но Эдик перебил меня:

— Мы с отцом построили лодку и плавали по Волге.

Я попытался рассказать про Кольку, но он сразу наглово махнул рукой:

— Я в прошлом году закончил художественную школу. Мои работы сейчас в Москве на выставке.

Заметив мою растерянность, он победоносно хмыкнул и ошарашил меня еще больше: сообщил, что учится на одни пятерки, является первоклассным спортсменом и обладателем кое-каких морских сокровищ. Под конец, чтобы окончательно доконать меня, он обещал назавтра продемонстрировать свое богатство и подарить одну из морских раковин. Я его не просил, он сам предложил. По нашим понятиям это выглядело невероятной щедростью, почти наградой, и я почувствовал — здесь что-то не то, но у меня еще не было оснований ему не верить.

На следующий день, совершенно забыв о своем обещании, Эдик выдал мне очередную порцию похвальбы, заявив, будто знаком со всеми знаменитостями города, после чего его ухмылка уже перемежалась едким смешком. В какой-то момент я осадил его и напомнил про раковину. Он, не моргнув, пообещал подарить ее через два дня.

Но два дня растянулись на неделю, потом на месяц, и все это время, выслушивая ложные обещания, я поддакивал ему, как бы позволяя себя дурачить; на самом деле с любопытством ждал, куда его заведет вранье.

Вскоре я заметил, что он врет не мне одному. Стоило кому-нибудь из ребят заикнуться про книгу, которой нет в школьной библиотеке, как он тут же, с полнейшей невозмутимостью, объявлял:

— Чепуха! У меня их несколько штук. Завтра дам.

И не давал.

Бывало, сидим на «черном ходу», а он заливает что-нибудь вроде того, что знаком с полярными летчиками. Если кто-нибудь из ребят подозрительно разглядывал его или, чего доброго, хихикал, он распалялся и загибал еще похлестче. Казалось, он просто-напросто издевается над нами, прини-

мая за дураков. Это было какое-то патологическое вранье с определенным садистским уклоном, какое-то идиотское самоутверждение. Надо отдать ему должное — он никогда не повторялся, то есть был неистощим на выдумки.

После того как Эдик обманул меня с раковой (которую, ясно, так и не подарил), я перестал воспринимать его всерьез и много раз собирался высказать ему все, что о нем думаю, но так на это и не решился — в то время мать постоянно внушала мне, что «худой мир лучше доброй ссоры», и этим сомнительным правилом я руководствовался довольно долго.

Вскоре семья Эдика переехала в новый район, и больше мы не виделись.

Мы встретились через много лет, когда я был в том городе проездом; встретились случайно, около гостиницы, в которой я остановился. На нас обоих годы наложили след — мы с трудом узнали друг друга. Он отяжелел, стал внушительных габаритов, едкая ухмылка уступила место вполне доброжелательной улыбке, в движениях появилась неторопливость, уверенность. Он неподдельно обрадовался нашей встрече, предложил зайти в кафе «отметить событие» и, когда мы сели за стол, рассказал о себе.

Он работал инженером, был женат, имел сына; причем, как объяснил, женщины от него всегда шарахались, только одна считала талантливым — на ней он и женился.

После первого стакана вина он вдруг засмеялся.

— Знаешь, что сейчас вспомнил? Каким я был в детстве вралем. И как вы меня терпели?

Я ответил расплывчато, в том смысле, что в детстве все мы были хороши — не в одном, так в другом.

После второго стакана он расхохотался.

— А все же, скажу тебе, мое детское воображение пошло на пользу. Я иногда пишу рассказы. Фантастические. Пару даже напечатали в одном журнале, — он подмигнул мне, и я не понял — говорил ли он правду, или шутил, или от вина его занесло, и он попросту врал точно так же, как мальчишкой когда-то.

После третьего стакана он внезапно стал серьезным.

— Недавно закончил роман. Хочу послать в центральное издательство.

Это сообщение меня насторожило; я подумал: «Неужели его детская патология пустила корни? Неужели он так и не

вышел из образа, только его фантазия стала посолидней?». Но я ошибся.

Из кафе он повел меня к себе и по пути пересказал содержание романа, а дома подарил журнал с рассказом и сделал надпись: «Другу детства от бывшего трепача, с самыми добрыми пожеланиями».

На том мосту детства у меня произошла еще одна встреча — с девчонкой Алей. Когда я вспоминаю ту встречу, наш деревянный, расшатанный мост кажется мне легким, еле различимым, романтическим мостиком, меня охватывает элгический настрой, и все, что было в детстве, представляется намного прекраснее того, что произошло в зрелом возрасте.

Аля жила в тех же домах, что и Эдик, и была некрасивой, нелюдимой тихоней; она ежедневно подходила к мосту, но никогда не принимала участия в наших играх; больше того — всячески выражала полное безразличие ко всему нашему клану: обычно стояла на противоположной стороне и, облокотившись на перила, смотрела вниз. Каждый раз, когда мы звали ее к себе, она с брезгливой неприязнью качала головой и сбегала по склону оврага к ручью; разгоняя оводов, переходила вброд мелкие рукава ручья и исчезала в кустах шиповника. Всем своим видом эта дурнушка давала понять, что в жизни есть гораздо более стоящие занятия, чем какие-то глупые мальчишеские игры.

Как-то вечером я ждал отца у завода и вдруг увидел Алю — она сидела на дереве и смотрела на крышу своего дома.

— Что ты там высматриваешь? — спросил я.

— Лунатиков, — просто ответила Аля.

Я усмехнулся.

— Не веришь?! Залезай, сам увидишь. Только сейчас еще рано, лучше попозже, когда стемнеет.

Встретив отца, я прошелся с ним до дома и помчал назад. Аля все еще восседала на дереве; когда я забрался к ней, она, не отрываясь от крыши, объяснила, что лунатики взлетают на дома с помощью зонтов или залезают по водосточным трубам, что некоторые из лунатиков проникают на чердаки и в комнаты и что однажды она видела, как утром рабочие снимали одного лунатика, зацепившегося за трубу.

— Я тоже хочу быть лунатиком, — высказала Аля не совсем ясную мысль; усиливая торжественность момента, она сделала страшные глаза и приложила палец к губам.

С нарастающим страхом я уставился на обшарпанную крышу, но разглядел только чердачное окно с поломанной решеткой.

На том чердаке складывали разный хлам: старую мебель, драную одежду, битую посуду. Однажды на чердаке поселился брат Али. Ему было семнадцать лет, он работал на заводе и во всем старался показать самостоятельность; в один прекрасный день объявил родителям, что «задыхается в тесных комнатах», и перебрался на чердак; там перекидал всю рухлядь из-под окна в угол, поставил железную кровать, стол, и с того дня, когда бы мы к нему ни поднимались, у него во рту тлела папироса.

Мы сильно завидовали «отшельнику», но как-то залезли на чердак в дождь и увидели: все жилище парня в водяных струях; сам он сидел, скрючившись, на кровати под зонтом, а вокруг стояли булькающие и звенящие ведра, банки, кастрюли, причем размер посуды строго соответствовал дыре над ней. После этого мы поняли, что парень отказался от нормальных условий не ради свежего воздуха, а просто захотел иметь собственный угол.

В тот вечер, когда мы с Алей сидели на дереве, небо было затянуто тучами, только в двух-трех местах в разрыве облаков, как из бездонных колодцев, сверкали звезды. Мы сидели долго, и у меня затекли ноги, я уже собрался слезать с дерева, как вдруг Аля вскрикнула. Я посмотрел в сторону ее взгляда, и внутри у меня заледенело: по крыше двигались два лунатика; переступали осторожно, расставив руки в стороны. Дойдя до трубы, лунатик, который был повыше, протянул руку маленькому лунатику и помог спуститься вниз, к решетке на краю крыши. Там они присели и стали смотреть на звезды.

Затаив дыхание, я боялся шевельнуться, но внезапно из-за облаков выглянула луна, осветила лунатиков, и мы узнали в них брата Али с девушкой.

После окончания школы я уехал в Москву, но каким-то замысловатым образом судьба распорядилась так, что мы с Алей встретились вновь. Это случилось в начале лета, мы ехали в одном троллейбусе и стояли рядом на задней площадке, и оба одновременно повернулись и, узнав друг друга, испытали искреннюю радость от неожиданной встречи. Аля рассказала, что в Москве уже два года, работает лаборанткой, снимает комнату, три раза в неделю ходит на вечернее отделение пединститута.

— Совсем нет времени на свидания, — горько усмехнулась. — Днем работаю, вечером учусь.

Она похоронела, из угловатого подростка превратилась в юную особу с безукоризненно стройной фигурой, и от ее детских фантазий не осталось и следа — передо мной стояла деловая, немного усталая девушка, которая мне явно нравилась (пока, правда, только в эстетическом смысле). Я решил ее взбодрить и изобразил опытного наставника.

— Не огорчайся, Аля! Зато представляешь, как ты будешь любить свою квартиру, когда она появится? Выйдешь замуж за богатого и любимого человека, у вас будет куча детей, роскошная машина, яхта и дача на Багамских островах. Еще меня возьмешь садовником.

— Этого ничего мне не надо, особенно богатого мужа. Главное любимого, а вот квартиру, хоть малюсенькую, но свою, хотелось бы иметь. Ведь даже не могу никого к себе пригласить.

— Все у тебя будет отлично, — уверенно заявил я. — И не вешай нос. Я ведь тоже не богатый — и ничего. Зато мы с тобой живем в столице, и давай не будем унывать, и найдем время для свиданий. Вот давай в воскресенье поедем на «Ракете» на Пестовское водохранилище. Искупаемся, позагораем. Смотри, отличная погода установилась.

— Хотелось бы, но я договорилась с подружкой делать курсовую... Ладно, уговорил. Позвоню ей, сделаем потом. А то еще ни разу не искупалась. Но с условием — без всяких приставаний, идет?

Дни стояли жаркие, но дело было в начале недели, и я все боялся, что до воскресения погода испортится, или Аля забудет, или передумает, но она точно пришла в назначенное время. Мы договорились встретиться у касс Речного вокзала. Я увидел ее издали: она быстро шла в открытом легком платье, с большой сумкой через плечо — от ее усталости не осталось и следа.

— Привет! — махнула мне рукой.

Мы взяли билеты до Пестово и через час уже барахтались в воде, жарились на песке, пили шипучий лимонад, я любовался ее фигурой, и она уже мне нравилась не только в эстетическом смысле. Перед отъездом с пляжа мы заключили договор — выбираться на природу каждое воскресенье. А уехали раньше намеченного времени; Аля сказала:

— Уезжать от хорошего надо чуть раньше, когда жалко уезжать, а не когда считаешь часы до отъезда.

На обратном пути заехали ко мне. Увидев мою захлавленную комнатенку, Аля поморщилась (точно сама жила в комнате, усыпанной цветами), тут же бросила сумку на тахту, скинула туфли и начала наводить порядок.

В следующее воскресенье она опоздала на двадцать минут и выглядела не такой веселой, зато внешне была неотразима: в новом брючном костюме, на голове — шляпа с широкими полями, на кончике носа — большие затемненные очки. Пока мчали по каналу, она тускло взирала на берега; со мной почти не разговаривала — произнесла всего пару фраз со скупающей миной; на пляже все время посматривала на часы, а как только мы вернулись в город, сразу заспешила домой.

На третью встречу она опоздала почти на час и поехала в Петстово с неохотой, словно я тащил ее на аркане, но снова была в новой модной одежде, на ее руке сверкал дорогой браслет.

— Ты сказочно разбогатела? Распухаешь от богатства?

— Ты об этом? — она небрежно показала на браслет. — Это подарки... Родственники.

Купаться она не стала, переделалась в купальник, постояла с полчаса на солнце с закрытыми глазами и пошла в кабину переодеваться.

— У меня сегодня свидание... деловое.

Больше она не приходила. Но через два года, когда я уже жил в другом месте, она внезапно объявилась снова. Однажды под моим окном остановился вишневый «Москвич», из него вышла красивая женщина в облегающем кожаном костюме цвета «металлик», сняла перчатки и крикнула:

— Привет! Еле разыскала проезд к тебе.

Это была Аля, только освещенная счастьем.

— Отлично выглядишь! — выпалил я, высунувшись.

— Стараемся! — она прищелкнула языком. — Выходи, прокачу!

Все получилось, как я предсказал в шутку. Она вышла замуж за преуспевающего, обеспеченного мужчину и теперь жила в большой, хорошо обставленной квартире. У нее уже был ребенок и дача... Вот только в садовники она меня не пригласила, но я не очень-то расстроился, поскольку уже был увлечен работой и не стал бы тратить время на разведение цветов.

ЗАТЕМНЕННАЯ ЧАСТЬ ЛЕСА

В городе она чахла день ото дня и с щемящей тоской то и дело смотрела в небо, словно птица с подрезанными крыльями.

—...Здесь сплошной асфальт и глухие стены, не дома, а ловушки, а у нас в деревне простор: луга и озеро, синие травы, цветы, землеройки, стрекозы, — говорила она мужу. — У нас летом в домах настезь распахнуты окна и двери, а здесь решетки, засовы, — в ее глазах появлялось целое озеро презрения — такое же огромное, как там, в деревне, где они впервые встретились. — Здесь все механизировано, даже людей знакомит, сводит вычислительная машина. А все должно оставаться как есть, по природе. Загадка, тайна жизни должны оставаться, их нельзя разрушать всякими вычислениями...

За полгода жизни в столице она так и не смогла вжиться в непривычную среду, так и осталась дикаркой с первобытными чувствованиями. Первое время ее иногда охватывало радостное возбуждение; ванной с горячей водой, газовой плитой, холодильником, телефоном она восторгалась как ребенок; витрины магазинов, кинотеатры приводили ее в тихое восхищение; когда они с мужем находились в квартире вдвоем, в ее голосе звучали веселые нотки, на лице появлялась счастливая улыбка, но это была недолгая, нечаянная радость — вскоре она сникала и мысленно возвращалась в деревню.

— Как там без меня мама, сестренка? — чуть не плача, обращалась к мужу.

Даже в самые счастливые минуты она не забывала о несчастных, о тех, кто нуждался в ее поддержке и помощи.

Если же заходили приятели мужа, она некоторое время молчаливо сидела с гостями и вслушивалась в разговоры;

когда обращались к ней, краснела и отвечала, запинаясь, но с такой неслыханной обескураживающей откровенностью, что всех ставила в тупик. Заметив на лицах замешательство, она еще больше смушалась и нервно теребила платье или съезживалась, обхватив себя за плечи. Случалось, в компании разгорался спор, и если тогда спрашивали ее мнение, беспрекословно держала сторону мужа, и вновь всех обезоруживала — уже своей искренней беспредельной преданностью. Находиться в компании было для нее мукой; не раз она внезапно вставала, уходила на кухню и писала родным письма.

На шумных многолюдных улицах она и вовсе терялась. Первые дни без мужа вообще не выходила из дома, а когда они вместе отправлялись в магазины за покупками, шла вцепившись в его локоть и то и дело пугливо, с опаской озиравшись по сторонам.

— Почему все на меня так смотрят? — спрашивала.

— Ясно почему — ты красивая.

— Не-ет. Сразу видно, что я не горожанка... И не знаю, смогу ли стать городской женщиной. Здесь, в городе — жуткий шум, беспорядочная жизнь, бесовщина. Все куда-то несутся, говорят громко, твои приятели кого-то изображают, как на маскараде, их суждения скороспелые, а слова заученные, обкатанные... Горожане оторвались от природы и за это заплатились: все нервные, издерганные, нет у них в душе спокойствия — смута одна. И любви к ближнему нет — каждый живет сам по себе.

...Они встретились на озере, около ее деревни — то лето он, студент-выпускник, проходил практику в соседнем городке и однажды, после купанья, загорал на берегу озера. Стоял знойный полдень, над водой текли запахи разнотравья, слышалось гуденье пчел. Внезапно в это гуденье вплетась чья-то песня, какая-то певунья с молодым, чистым голосом приближалась к песчаной отмели. Приподнявшись, он увидел: вдоль берега идет девушка, в светлом платье, с еще более светлыми распущенными волосами. Идет босиком, аккуратно раздвигая цветы и травы. Она вышла прямо на него, и моментально смолкла, и застыла, уставившись на незнакомого мужчину.

— Замечательно поете, — он широко улыбнулся и широким жестом пригласил певунью присесть, как бы щедро отдавая ей часть своих владений. — Спойте еще что-нибудь...

Но девушка стояла неподвижно. Серьезный, недоверчивый взгляд, ни тени улыбки, рот пухлый, немного упрямый — этакая диковатая деревенская простушка, но с отличной фигурой и, судя по выражению лица, с характером — он это понял сразу.

— Спойте еще что-нибудь, — повторил он, — и присаживайтесь. Не бойтесь, я не кусаюсь.

Поколебавшись, она все же подошла и присела, тщательно надвинув платье на колени. Из-за трав, тяжело дыша, выскочил большой пес-дворняга. Бросил на студента суровый исподлобья взгляд, припадая на переднюю лапу, подбежал к девушке и плюхнулся рядом.

— Это ваш телохранитель?

— Его зовут Джуля, — глухо пояснила девушка, все еще пристально изучая незнакомца. — Он ничейный. Ночует, где вздумает... Он свободолюбивый, гордый. Только меня признает...

— Сразу видно, он вас любит.

— Ходит за мной по пятам, — немного оживившись, кивнула девушка и погладила собаку. — Но из дома вырывается... Я его и заботой, и лаской окружаю, все равно вырывается... Он лучше погибнет, чем будет жить в доме... Вот однажды попал под машину... Теперь калека, — почувствовав, что слишком разговорилась, она опустила глаза и снова надулась.

— Вы из этой деревни? — он показал на косогор, где виднелось с десятков домов под раскидистыми деревьями.

— Угу.

— Издали деревня как картина. Наверное, и вблизи не хуже. Вот бы провести лето в вашей деревне.

Она сдула волосы, падавшие на лоб, и пожалала плечами, как бы говоря: «Кто вам мешает?»

— А вам не скучно здесь жить? — вдруг спросил он, вспомнив, что большинство сельской молодежи стремиться перебраться в город.

— Не-ет, — она покачала головой. — И некогда скучать. С утра на работу, вечером надо полоть, поливать огород, загонять коз, кормить поросенка... Потом мы с сестренкой еще вяжем кружева... Хм, скучно! Всегда можно покататься на лодке — вон у нас какое озеро!

— Озеро прекрасное. Хорошо бы прокатиться на лодке. С вами. И с Джулей, конечно. А лучше без него.

Она не обратила внимания на его полушутку-полунамеки, а может быть, просто не поняла.

— Хм, скучно! По вечерам Зинка, моя подружка, выносит во двор проигрыватель, и все собираются у нее. Полный двор набивается. И дети, и собаки, и кошки приходят. Ведь музыке любят все: и люди, и животные, и растения, — она вновь погладила пса, который совсем раскис на солнцепеке, потом откинула волосы и вздохнула. — Но, конечно, в городе интереснее... А вы горожанин — сразу видно. Белокожий, не такой, как наши, — она покраснела от своей смелости, но продолжила:

— Я не люблю горожан. Они все самоуверенные, наглые, после их культурных выездов на природу вокруг озера банки, окурки... Высыпят из автобуса, как орда, все переломают, всех распугают. Их накажет Бог... Они говорят: «Бога нет», но почему тогда борются с Богом?! Зачем бороться с тем, чего нет, как они считают?!

Он попытался защитить свое никчемное сословие, сказал, что горожане разные и что он, например, бережно относится к природе и «иногда» обращается к Богу — «когда бывают неприятности».

Они проговорили еще с полчаса, потом он проводил ее к деревне, причем пес шел между ними и все время недовольно бурчал. На околице они попрощались. Она посмотрела на него долгим взглядом, и в нем уже не было прежней настороженности.

— Давайте в воскресенье покатаемся на лодке, а потом послушаем музыку у Зинки, — предложил он.

— Хорошо, — просто ответила она.

Романтическая встреча у озера, катанье на лодке (она все-таки и пса прихватила с собой на всякий случай, хотя тот и не хотел лезть в лодку — видимо, раньше них почувствовал, чем кончатся эти катанья и смирился с тем, что отходит на второй план), вечернее гулянье за деревней после того, как прослушали Зинкины пластинки, — все это вскружило ему голову, а ее преобразило: ее стесненность и замкнутость перешли в открытость и доверчивость, без всяких сдерживающих границ.

Они катались по озеру и в последующие воскресенья, а потом он стал приезжать в деревню каждый вечер.

От его знакомых горожанок она отличалась естественностью и нравственной чистотой, без всякой наигранности

восторгалась простыми вещами, будь то кухонная утварь, которую он купил в городке и подарил ее матери, или его складное бамбуковое удилище. Она была неиссякаема на выдумки: то предложит вылазку в лес «рассматривать мхи» и покажет место, «где обитает леший», то приведет на дальний залив озера и почти серьезно скажет:

— Здесь живет водяной, может затащить в глубину.

А от ее внешности он потерял сон; вернувшись ночью в общежитие, только и видел — она идет по тропе, гибкая, смуглая, светловолосая, идет и напевает что-то веселое...

Ее тянуло к нему, как тянет каждую созревшую девушку к парню с легким характером, с которым интересно и надежно, а он был еще симпатичным и простым, не то, что туристы, которые совершали набеги на озеро. Некоторое беспокойство в ней вызывало то, что он из другого мира, но он ни разу не подчеркнул дистанцию между ними, словно между цивилизованным городом и патриархальной деревней нет существенной разницы, и вообще среда не влияет на человека. Больше того, он проявлял неподдельную заинтересованность сельской жизнью: внимательно, без насмешки, выслушивал ее рассказы о доярках, коровах и телятах, а ее кружева назвал «самой красивой паутиной». О жизни горожан он говорил мало и нехотя, как о чем-то малоинтересном, правда, однажды заметил, что «идеально было бы зимой жить в городе, а летом в деревне».

Она работала телятницей на животноводческой ферме в пяти километрах от своей деревни. Каждое утро на велосипеде ездил через луга на работу, и ее всегда сопровождал Джуля; под вечер он прибежал к ферме, чтобы встретить свою любимицу. С появлением студента пес провожал ее только до дома, затем тактично удалялся.

Она привела своего поклонника в дом на глазах у всей деревни и сделала это безбоязненно, даже с некоторым вызовом. И ее мать, и младшая сестра-школьница встретили его приветливо. Мать пожаловалась на расшатанное крыльцо и протекающую крышу сарая и без всякой задней мысли объяснила, что «нет мужских рук». Сестра похвасталась отметками в тетрадках и сказала, что хочет стать учительницей, «чтобы учить детей правде и любви к животным».

В их ветхой избе стояла предельно скромная мебель, но полы были тщательно вымыты, застелены половика-

ми, стол покрывала расшитая накрахмаленная скатерть, на окнах висели кружевные занавески и связки благовонных трав.

— Хорошие запахи дают хорошее настроение, помогают работать, а если заболешь, от них выздоравливаешь, — пояснила она своему ухажеру.

Они пили чай, заваренный листьями смородины; мать говорила о будничных делах, о сенокосе и огороде, об угасании деревни и дачниках, скупающих за бесценок дома; говорила о чем угодно, только не о влюбленных, словно это была запретная тема, святое таинство, которое благословляют не на земле, а на небесах; это подтверждали и ее действия: время от времени она поворачивалась к иконе, которая висела в углу, и молилась. И влюбленные помалкивали о своих отношениях, только школьница хитровато посматривала в их сторону и корчила разные замысловатые гримасы.

Ближе к осени, под конец практики, он сделал ей предложение, и она восприняла это, как великую милость.

— Ты очень хорошая и красивая, — сказал он и легко обнял ее.

Она затаилась, наклонила голову, так что волосы совсем скрыли ее лицо, еле слышно прошептала:

— Спасибо.

— Ты мне очень нравишься, — он поцеловал ее в ухо. — Я влюбился в тебя.

— Спасибо.

— Давай поженимся.

— Спасибо.

Приятели в общезнании назвали его «дуралеем». По их понятиям, он совершил грандиозную глупость, самоубийственный шаг. «Она ударится в накопительство, превратится в мешчанку, знаем мы этих из простонародья, «из грязи в князи», — говорили приятели, а он усмехался:

— Я догадывался, что вы не будете рукоплескать, но мне все равно. Она будет прекрасной женой, моя милая молочница и кружевница! Она вяжет потрясающие кружева... Ваши городские девицы всем пресыщены, их ничего не удивляет, у них такие запросы! А она счастлива от мелочей.

— Ну да, ты будешь ее звать «сельская дурочка», а она тебя «городской идиотик», — не унимались приятели.

— Завистники — вот вы кто! — парировал он.

Для большей прочности и долговечности брака они устроили три свадьбы: первую, довольно скромную — в деревне, вторую, еще более скромную и чопорную — с его родителями, третью, бурную и расточительную — со столичными друзьями.

Она резко перешла из одной среды в другую и сразу же задохнулась в городе, как рыба, выброшенная на берег. Уже через месяц ее ничто не радовало; она добросовестно выполняла функции домработницы, безропотной прислуги, возлюбленной, с еще неразбуженным темпераментом, но не была мужу единомышленницей, не жила его интересами. И все время думала о родных.

—...Мама без меня не справится с хозяйством, и кто поможет сестренке в учебе? — то и дело говорила мужу. — Я знаю, им без меня плохо... И я скучаю по ним. Так и слышу голос сестренки: то ее смех, то плач... Это грех — нельзя строить свое счастье на несчастье других... И по Джуле соскучилась...

Он успокаивал ее, говорил, что на следующее лето они обязательно поедут в деревню, рассказывал о своей новой работе, пытался заразить будущим: отдыхом у моря, машиной, на которую начал откладывать деньги. Она улыбалась, но смутно, удрученно:

— Да, мама всегда говорит: «Жизнь прожить — не поле перейти».

Он заметил — за прошедший месяц она внешне резко изменилась: ее красота стала какой-то надломленной, в движениях исчезла гибкость, взгляд потускнел, волосы потемнели. Она была хороша в деревне, в своей привычной среде, а в город явно не вписывалась: в городских одеждах чувствовала себя стесненно, на улицах в сутолоке выглядела уязвимой, незащищенной, не понимала говор москвичей, значение многих слов, постоянно ловила, как ей казалось, «осуждающие взгляды». «Чтобы отражать чужую злую энергию», носила зеркальце в кармане.

Еще по приезде она попросила его сколотить деревянные ящики и развела на балконе осенние цветы, посадила лук, укроп, петрушку.

— Вряд ли наш огород даст урожай, — шутливо заметил он.

— Это требует много времени, но если ухаживать и утеплить балкон... — она обстоятельно и подробно объяснила, как выращивать осенние культуры.

Но, несмотря на все ее старания, до заморозков, кроме цветов, вырос только лук, да и тот был бледным и тонким. И цветы особой яркостью не отличались.

— Здесь и воздух, и солнце не те, что у нас, — горько усмехалась она.

Ее привязанности оказались намного устойчивей, чем он предполагал, но все-таки не придавал этому большого значения. «Привыкнет, — думал. — Главное, ее не надо развлекать, куда-то водить для увеселений. Она домашняя, а это самое ценное в жене».

Днем она прибирала в комнате, стирала, готовила ужин, но все делала без горенья, скорее по обязанности, при этом двигалась по квартире медленно и бесшумно, как улитка, и никогда в квартире не пела. И крайне редко выходила в коридор, где находился мусоропровод — стеснялась соседей по лестничной клетке, и, отвечая на их приветствия, смотрела недоверчиво, отчужденно. Сделает домашние дела, посмотрит телевизор, возьмет вязание, но тут же отложит, подойдет к окну и видит... деревню на косогоре, заливные луга, озеро... Временами ей хотелось все бросить и немедленно уехать к родным, но привязанность к мужу, долг перед ним удерживали ее.

— Я словно в паутине, — бормотала она, — и как мне из нее выбраться? Это дьявол заманил меня в город.

По вечерам, ожидая мужа, она одиноко сидела в сквере перед домом, потерянная, подавленная, безучастная ко всему происходящему. Как-то он услышал от нее какое-то странное измышление:

— Сейчас вон там пробежало что-то восьминогое, быстробегающее...

Он отнес это к ее очередной «деревенской» выдумке и все свел к шутке, но через некоторое время она потеряла сон — не раз среди ночи он заставал ее стоящей у окна в ночной рубашке, с застывшей улыбкой и взглядом, устремленным в черную пустоту. А потом...

На окраине города она обнаружила лесопарк и стала чуть ли не ежедневно туда ездить; гуляла вдоль пруда, подкармливала бездомных собак и птиц.

— Как там, в зеленом заповедном уголке? — спрашивал он. — В воскресенье можем погулять вдвоем.

— Там много деревьев и есть пруд, — вздыхала она. — Все сумеречное, не такое, как в деревня, но все же... В городе душливый запах, потому и деревья, и люди больные... В лесопарке гуляют старики и старушки, тоже кормят собачек и голубей, но относятся к ним неправильно. Не понимают, их надо любить не как людей, а по-другому, собак — по-собачьи, птиц — по-птичьи... А молодежь там бесстыдная. Пустоцветы. Болтают что-то и лопаются, как болотные пузыри... Там есть памятник какому-то ученому, у него глаза живые, куда не пойду, смотрит мне вслед... Недавно его губы зашевелились, и я услышала: «Ты большая грешница». У меня предчувствие — что-то случится...

Она сильно нервничала, даже покрылась красными пятнами. Это уже была не выдумка, и в него вселилась тревога. Он понял — городская атмосфера, словно сильнодействующий яд, поглощает всю ее жизнь.

Зимой она впала в депрессию: подолгу остекленело смотрела в одну точку, то вдруг смеялась каким-то тайным мыслям. Возвращаясь с работы, он находил на столе бумажные клумбы, картонные деревья, какие-то пятна, подтеки.

—...Здесь солнечная поляна, а это затемненная часть леса, — объясняла она со смущенной улыбкой.

— Какая затемненная часть леса! Ну, что ты говоришь, дорогая?! — он обнимал ее, дружелюбно встряхивал, но внутри чувствовал нарастающий страх.

— Нет, правда. Вот смотри — тыходишь, ничто не меняется, а я подхожу — все оживает, появляются краски, — прерывисто дыша, судорожными движениями она переставляла бумажно-картонные изделия...

Он вызвал врача. Врач выписал таблетки, и на какое-то время она избавилась от навязчивых представлений, сон налачился, но часто во сне из ее груди вырывался тихий жалобный стон. Она стала еще более вялой, ходила по квартире, словно под гипнозом, отвечала невпопад, задавала вопросы, от которых он терялся, и после каждого письма из деревни начинала плакать.

...Приближалась весна. Однажды, вернувшись с работы, он увидел на столе записку: «Наверно, я никогда не смогу стать горожанкой. Тебе нужна другая жена. Прости меня, милый!».

ЧАЕПИТИЕ С ПРИВИДЕНИЕМ

По части музыки Андрей бесспорно был велик, его владение гитарой производило сильное впечатление. Не меньше впечатляла и его могучая вера в неисчерпаемые возможности своего инструмента, особенно когда он демонстрировал искрометные пассажи, замысловатые ходы или импровизировал, расцвечивал мелодию тончайшими красками, можно сказать — устраивал настоящий водопад звуков. Не случайно сокурсники звали его «знаток нюансов». Уж кто-кто, а они знали толк в нюансах — как-никак, заканчивали струнное отделение Гнесинки, а это вам не фунт изюма съесть! Наверняка, среди читателей дураков нет, и они прекрасно понимают, о чем идет речь. Но это все — увертюра, опера — дальше.

На исходе дня, после занятий в институте, Андрей с зачехленной «семистрункой» являлся в Дом литераторов — знаете его? Ну, кто ж не знает пристанище гениев! Так вот, в том заведении, сугубо для литературных людей, наш герой, музыкальный человек, принимал ключи от работников всяких бюро и секторов, до полуночи провожал трезвых, слегка выпивших и вдрызг пьяных господ литераторов, а потом по обыкновению запирали входную дверь, гасили свет в холле и лестничных пролетах и, усталый, садился за стол под настольной лампой, предварительно раскрыв ноты «классики» и расчехлив инструмент с неисчерпаемыми возможностями.

Как вы поняли, Андрей работал ночным сторожем, что давало ему, кроме денег, естественно, возможность в спокойной обстановке еще больше повышать свое высокое мастерство, совершенствоваться и без того недюжинную технику. В данном случае для рассказа-оперы он заменит целый оркестр. Но на минуту задержимся; для полноты картины не-

обходимо представить общий вид вахтерского закутка. Свет лампы четко обозначал формы массивного шкафа и напольных часов, дальше ночное освещение высветляло и утемняло сглаженные очертания тахты с вечно спящим старым котом Борькой, еще дальше в тусклом полумраке читались зыбкие, неустойчивые контуры досок с афишами, за ними зияла плотная бесформенная чернота. Как вы догадываетесь, слабо звенящая музыка гитары как нельзя лучше выявляла глухую тишину Дома.

Здесь и начнем первый акт оперы. Итак, однажды глубокой ночью в мертвой тишине абсолютный музыкальный слух Андрея уловил какие-то странные скрипы, которые доносились из дальних лабиринтов Дома. Борька ничего не уловил и продолжал дрыхнуть без задних ног. Великий гитарист, «знаток нюансов» имел сильно развитые плечи и был не из робкого десятка и, разумеется, сильно не сдрейфил, не разогнал фантазию, то есть не представил домовых, скелетов и прочее, но его чувствительная музыкальная душа ушла в пятки, а по спине, точно рябь по воде, пробежали мурашки. Первой мыслью Андрея было вооружиться гитарой и выйти навстречу опасности, но, как известно, первые мысли всегда слабые, уже через секунду наш герой сообразил, что между разбитой гитарой и разбитыми головами есть существенная разница — инструмент дороже, особенно если головы глупые, а иные по ночам не шастают. Зато вторая мысль была блестящая: схватить тяжелый предмет. К несчастью, такого под рукой не оказалось. Тогда невероятным усилием воли Андрей загнал свою хрупкую душу на место, геройски шагнул в холл и напряг зрение, но, как ни силился, ничего не разглядел.

А скрипы явственно усиливались, к ним прибавился кашель и гулкие шаги — какое-то привидение спускалось по лестнице из верхней Зеленой гостиной. Андрей включил свет в холле и различил на последних ступенях лестницы бесформенное темное пятно. Через несколько секунд пятно материализовалось в «непризнанного гения» поэта Шарута, «непросыхающего» пьяницу в последней стадии, яростного курильщика, завсегдатая Дома; у поэта было заспанное, опухшее лицо, которое обрамляло вполне различимое винное облако — настолько различимое, что Андрей его усек на расстоянии десяти шагов.

— Хорошо, что ты здесь, у меня сумеречное состояние души. У тебя чего-нибудь есть промочить горло? — без вступительного приветствия обратился поэт к Андрею, но услышав в ответ про чай в термосе, поморщился и, явно спутав время суток, буркнул: — Буфет скоро откроют?

Наш музыкальный герой, воспитанный человек, воспитанный, кстати, на «классике», о которой уже упомянуто, предельно вежливо объяснил напившемуся до потери сознания поэту, что к чему, и еще раз предложил крепкий горячий чай, при этом кивнул на гитару, давая понять, что готов скрасить чаепитие нюансами.

— Пивка бы, куда ни шло, а чай — ну его в болото! — хмыкнул поэт и, рассуждая последовательно, добавил: — Только кишки промывать, — с этим многозначительным добавлением он направился в туалет «ополоснуть башку под краном» и вернулся с сигаретой в зубах, более-менее очухавшийся: — Катануть к вокзалу, что ли? — он плюхнулся на стул. — Ладно, давай чай. Чувствую, моя историческая жена сегодня меня не дождетя... А разбудило меня твое ублажающее искусство; думаю: «Где-то танцы начались, надо промочить горло». А это оказывается, ты сандалишь на гитаре.

— Я не сандалю, — обиделся «знаток нюансов». — Я серьезно отношусь к музыке, играю классику.

— Похвально, — изрек поэт, затягиваясь дымом и прихлебывая чай. — А то сейчас полно развелось всяких бардов, им главное — заявить о себе. Играют дребедень или красивую бредятину, если бредятину можно назвать красивой. Шарлатанство это все. А слова у бардов — сплошное графоманство. Все они графы, до единого! Работают по шаблону и всюду мелькают. Так и создается популярность. Все это шуршанье, сиюминутная известность... О таких у меня есть стих, слушай!

Чай благотворно подействовал на сложный организм гениального поэта, и он с подъемом прочитал свое произведение; потом, без передыха, еще одно на ту же тему и усталился на Андрея.

— Видал, какая мощь, какой напор?! Чувствуешь внутреннюю конструкцию стиха? — он как бы заманивал своего слушателя на высоты поэзии. — Я гениальный поэт, но меня мало печатают.

Андрей оценил Божий дар незваного гостя, похвалил стихи и, с некоторым волнением (не забывайте про тонкую музыкальную душу), налил себе чай. Он не подозревал, что получил два стихотворения лишь для затравки, начального разбега, но вы-то предвидите, чем это кончится, верно? Само собой, дальше на несчастного музыканта обрушится бесконечное чтиво. Знаете, как это бывает! Говоришь поэту: «Извини, спешу, в другой раз», а он хватает тебя за рукав: «Послушай последнее», и мучает тебя, выдает еще штук шесть своих бессмертных творений. Андрею было самое время — взять гитару и продолжить штудировать классику, а он, музыкальная голова, вернулся к началу разговора.

— Слабые песни не всегда от халтуры, скорее — от неумения, непрофессионализма и дурного вкуса.

— А где отбор? — повысил голос окончательно протрезвевший поэт и затушил сигарету в блюдце. — Выразительная ситуация. Кто выпускает эту внушительную муть на публику? И ведь за деньги. Нажива и высокое искусство — несовместимые вещи (вы заметили, поэты не церемонятся с мощными выражениями?).

— Это верно, — вздохнул Андрей. — Я тоже мог бы играть шлягеры в ресторане. За приличные деньги. Но нет, спасибо. Лучше буду здесь сторожить, но играть то, что нравится... Я счастливый, занимаюсь любимым делом, — наш герой расправил плечи, всем своим видом показывая, что его высказывания не пустые слова и счастье на самом деле распирает его, даже лезет наружу и готово осчастливить других.

Зацикленный на себе, поэт не прочувствовал состояние собеседника, но кое-что до него дошло, он снова закурил и продолжал гнуть свое:

— Нельзя быть слегка нечестным. Встанешь на гибельный путь, с него шиш свернешь — судьба накажет. Один мой знакомый решил накатать детектив на потребу публики. «Заколочу бабки, — сказал, — потом сяду за серьезный роман». Накатал километры, получил кучу денег, сел за роман и... крышка. Да, я об этом написал стих, послушай!

Как водится у поэтов, он прочитал целую поэму и, довольный, что встретил благодарного слушателя, протянул чашку:

— Подлей еще чайку!

На этом заканчивается первый акт оперы, и самое время без всякой связки вставить интермедию. Некоторое время поэт сидел неподвижно и величественно молчал.

— По-моему, главное в литературе — найти взаимосвязь всего живого, единство душ, как в музыке органичность, — проговорил Андрей.

— Ну да, вселить беспокойство в читателя за судьбу другого человека, — согласился поэт, — вызвать сострадание, желание помочь обиженным, одиноким, поднять падших духом — вот задача... Ну, и форма должна соответствовать, быть на высоком уровне. Литературная техника может быть изощренной — некое сложное письмо, но точное и ясное, чтоб все работало на целостность. Вот послушай такое...

Здесь начинается второй акт оперы. Поэт нервно курил и читал свои стихотворения, одно за другим, читал в течение получаса — почти весь второй акт оперы; за это время они полностью опорожнили термос, а кот Борька успел три раза поменять позу. Кстати, Борька вообще не любил ни литературных людей, ни музыкальных; первых за говорильню, вторых за звуки — вся эта публика действовала ему на нервы. Он любил красивых женщин.

В один из моментов, когда поэт в отличном настрое закончил что-то лирическое, Андрей взял гитару и проиграл несколько незатейливых музыкальных фраз.

— Это так и просится на музыку», — сказал и в дальнейшем окрашивал литературную беседу нюансами, то есть опера уже всю захватила аудиторию, состоящую, к сожалению, из одного кота, к тому же беспробудно спящего и, возможно, видящего во сне красивых женщин.

— Перекладывать мои стихи на музыку — вещь безнадежная, — отмахнулся поэт, разгоняя дым, но будучи, как многие гении, человеком противоречивым, тут же взял свои слова назад: — Впрочем, нет, возможно, если проникнуться. У этих бардов искусство яростное, а у меня сердечное... Вот есть еще такое, — и он с немыслимым напором продекламировал свое лучшее стихотворение, которое оставил напоследок, как бы для финала оперы, причем оставил случайно, по забывчивости, тоже свойственной многим гениям.

Ох, уж эти гении! От них и не знаешь, чего ожидать. Конечно, тяжелоовато общаться с ними, зато интересно, соглас-

ны? Так вот, последнее, ударное стихотворение произвело на Андрея должное впечатление. В том стихотворении была жгучая проблема — боль за судьбу природы и животных, и эта боль пронзила чувствительную душу музыканта, а поскольку он уже пребывал в творческом состоянии, ему ничего не стоило довести себя до экстаза, когда сочинения сами выходят из-под рук. Понятно, здесь, в финальной части, опера достигла наивысшего накала, даже Борька вскочил, потянулся и устался на закуток, в ожидании развязки либретто.

— Это готовая баллада, — бормотал Андрей, спешно перебирая струны, — здесь есть и мелодичность, и ритмика. Сейчас мы все организуем.

— Да, ладно, — внезапно заскромничал поэт. — Это ты хватил! Сейчас никак не годится, не то время. Давай бумагу, запишу слова, дома попробуешь что-нибудь сочинить. А не получится, отнеси на помойку.

Как многие гениальные люди, поэт небрежно относился к своим творениям, раздавал их направо и налево, правда — вторые экземпляры, первые оставлял в голове.

— Зачем дома?! Уже получается! Приблизительно так, — и наш талантливый герой заиграл, напевая поразившие его строчки.

Каждый здравомыслящий человек понимает, что первый проигрыш вышел сыровато, но второй прозвучал вполне прилично, если не сказать больше, ну, а на третий, когда наш герой добавил своих фирменных нюансов, баллада уже выглядела законченным шедевром.

Вот так и заразил своим творчеством литературный человек музыкального человека — произошло точное попадание мысли и чувств, но надо иметь в виду, последний был подготовлен к такого рода восприятию и потому их состояния моментально уравнились, как жидкость в сообщающихся сосудах. Что немаловажно — искусство объединило, слило воедино два крайне разных земных мира: молодого, совершенно не курящего и не пьющего музыканта и поэта в возрасте, отчаянного курильщика и горького пьяницу с большим стажем.

Вот так просто и рождаются великие произведения, и, как все великое, они яркие, просты и прочее. А все почему? Слова-то были нешуточные, они захватывали, теребили

душу, звали, уводили и прочее; и главное, эти слова стояли на своем месте, да так органично и цепко, что, казалось, — давно там стоят, все это видели и знали, но не хватило пороку прочитать. А поэт прочитал. И мелодия, казалось, витала в воздухе — протяни руку и бери, но в том-то и загвоздка: не всем дано ее поймать. А наш герой поймал играючи, ухватился за одну ноту, и вытянул всю тему, и записал на нотной бумаге. И теперь эта музыка нас будоражит, потрясает и прочее. Короче, прекрасная баллада заполнила закуток, а когда соавторы запели дуэтом, баллада растеклась по всему холлу, достигла отдаленных сводов и проемов и сквозь стены выплеснулась на улицу, уже светлевшую улицу. Так что первые прохожие оказались и первыми слушателями.

ПРЕКРАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Ни один мужчина, ни один нормальный мужчина не имел таких диктаторских замашек, как Игорь. Масштабная, величественная фигура, он постоянно перегибал палку — жестоко тиранил близких, отчаянно пытался переделать жену, друзей и вообще весь мир. Он считал, что без него все пропадут, все развалится, небо упадет, солнце потухнет. При всем при этом он не выглядел клиническим идиотом с диким нравом и в некотором отношении был прав: лидер и должен быть жестким, иначе каждый начнет навязывать свое мнение, делать по-своему, тянуть воз в свою сторону. А Игорь был капитаном нашей байдарочной флотилии, ветераном речных походов, особым образом одаренным человеком: он много знал и умел, и держал в голове сотни вещей одновременно, потому все время и владел нами, и мы невольно ему подчинялись.

Когда он выходил из палатки — а капитан и на суше остается капитаном, и, кстати, от него, даже спящего, исходила властная мощь, — наступала тишина; мужчины настораживались в ожидании взбучки, их сердца начинали биться учащенно; про чувствительные женские сердца говорить не приходится — они просто-напросто замирали от страха.

— Пошевеливайтесь, мужики! — свирепо бросал наш могущественный вождь, широкими шагами пересекая поляну. — Только и умеете делать песочные куличики! Чуть трудности — прячетесь за юбки жен, трали-вали. Чуть не везет — ссылаетесь на плохое Отечество, дрянные условия. Придумали себе, понимаешь, маски мучеников. Не везет тем, кто ничего не делает, чтобы улучшить свою жизнь, не пытается изменить положение, сидит сложа руки, ругает судьбу, несправедливость... А вам, сударыни, — он переводил взгляд

на слабую половину компании, — вам помогу разобраться в жизни (он любил пафосные обороты, то есть в некотором роде был художником, его искусство следует назвать бунтарским; как всякий художник, он создал себе определенный образ, его приняли, и задача состояла в том, чтобы продлевать это изображение).

Дальше Игорь направо, налево отдавал приказания и следил, чтобы мы «не пугливо и бестолково, а добросовестно» выполняли всякую, даже самую черновую, работу, то и дело подходил и показывал, как усовершенствовать наши потуги, постоянно присутствовал во всех делах, и, надо сказать, мы нахватались немало полезного от его яркого присутствия.

Игорь знал себе цену, знал, что найти ему замену не так-то просто, и держался уверенно и дерзко, временами с торжествующим нахальством.

— Общество — это воронка: все толпятся, пытаются пролезть в узкость, но пролезают единицы, — говорил он, имея в виду нас, заурядных экспонатов, и себя — многоталантливую личность.

В то знойное удушливое лето мы две недели шли на байдарках по Ветлуге. Еще в Москве во время сборов Игорь бурно требовал:

— Готовьтесь ответственно. Мы выбрали для похода неплохую погоду, но по последним данным Ветлуга сильно обмелела, так что местами придется тащить лодки волоком. Надеюсь, мы благополучно преодолеем препятствия, опираясь на мой опыт (на эти слова он сделал особый упор). И с помощью Бога, естественно (он частенько поминал Бога, хотя ни разу не заглянул в библию). И готовьтесь к встречам с башковитыми местными жителями. С ними ведите себя прилично, не выпендривайтесь. Учтите, в сельчанах обидчивость очень сильна. Впрочем, они быстро поставят вас на место — там, на Ветлуге, великие люди появляются каждые полчаса.

Жена Игоря тоже собиралась с нами в плавание, но ее старания выглядели беспомощными и жалкими; хрупкая музыкантша, с невообразимо белой, прямо-таки прозрачной кожей, она напоминала стеклянную бабочку, которая живет в каком-то другом мире, а среди нас присутствует только ее отражение.

— Байдарочные походы не для тебя, — объявил Игорь жене. — Ты думаешь, это прогулки в край чистых роднич-

ков и фиолетовых колокольчиков, а там топи и мошкара... Да и под рюкзаком ты сломаешься. Сиди дома, музицируй и жди меня... Женщина вообще создана для того, чтобы страдать, — безжалостно заключил он и, взвалив байдарку на плечи, исчез из дома.

Ветлуга — приток Волги, великой многоводной Волги — один из самых безобидных притоков, спокойная речушка с песчаным дном и пологими берегами; она петляет среди лесов, полных трав и цветов. Там вообще немало всяких красот, но все они четко дозированы, без переизбытка. Известное дело, когда слишком много красоты, перенасыщаешься, и каждая красота в отдельности теряет самобытность и неповторимость. Единственно, что нам мешало рассматривать красоты (портило все картины), это ненасытные комариные тучи.

Так вот, мы шли по Ветлуге, несмотря на комаров, любовались красотами, на стоянках разбивали лагерь, устраивали вылазки в лес за грибами и ягодами и набирались впечатлений, общаясь с местными жителями.

Этого самого общения было хоть отбавляй — простодушные сельчане, подстегиваемые жгучим любопытством, так и липли к нам; дотошно рассматривали наше снаряжение, выпрашивали, что к чему, а после застолья у костра (именно застолья, поскольку у нас был складной дюралевый стол), на которое Игорь щедро всех приглашал, с подкупающей открытостью рассказывали о себе. Руководил застольем, естественно, наш капитан; он вел стол артистично, тембр его голоса постоянно менялся и смахивал на игру воды на перекате. С нами, как всегда, говорил в наступательном тоне, смотрел с прищуром — во взгляде усмешка:

— Вырази свое мнение, выкладывай, что думаешь по этому поводу, но коротко, без всяких трали-вали... Успокойся, уймись, не возникай, дай другим высказаться!..

К нашим гостям обращался предельно вежливо:

— Расскажи об этом поподробней, но вначале, если не возражаешь, пропустим по стаканчику наливки, чтобы мы выслушали тебя внимательней и прочувственней.

Что особенно знаменательно на Ветлуге — несмотря на убожество деревень, жители сохранили светлый взгляд на мир и нас встречали исключительно радушно. Здесь необходимо пояснение: встречали в основном жительницы; муж-

чин в деревнях почти не было — после армии парни, как правило, оседали в городе. Девушки и женщины без устали расхваливали свои места:

— И воздух здесь чище, и трава зеленее, и вкуснее вода, и цветов таких негде не сыщешь...

При этом их глаза становились как эти неповторимые цветы, и они сами словно покрывались цветами. Они посмеивались над «суетливой городской жизнью», а пригубив наливку, без всяких просьб, затягивали песню. И все, с кем мы сталкивались, пытались еще больше скрасить наше, и без того красочное, пребывание на Ветлуге. Одна девушка с невероятным рвением показывала грибные поляны, чуть ли не насильно отвела на «рыбную заводь»; другая вызвалась, «если чего надо». съездить на велосипеде в райцентр, а перед нашим отплытием притащила охпку моркови с ботвой, «прямо с грядки» — сказала и протянула как прощальный букет, а потом еще долго сопровождала байдарки по берегу, выкрикивая, где огибать топляки и заманихи; по ее лицу было видно — она готова плыть с нами, куда угодно и на сколько угодно, только позови.

Ох, уж эта доверчивая, податливая славянская душа! Ее унижают, над ней издеваются, а она все терпит, все прощает. Ну, разве не издевательство над людьми — при таких пространствах выделять под частную собственность шесть соток земли?! И платить копейки за тяжелый труд на земле?! А бездорожье, когда магазин и почта за пять-семь километров, телефон и медпункт и вовсе в райцентре?! Но сельским жителям не свойственно плакаться; они довольствуются немногим. Спросишь про пенсию у какой-нибудь старушки, а она только махнет рукой:

— Какая пенсия?! Подачка одна. Еще чего, хорошую пенсию захотели! С жиру беситься будем, — и тут же на лице появится улыбка: — Но я картошки много посадила и курочек держу. Не пропаду.

И здесь нет никакой бравады — сельчан спасает природная смекалка и оптимизм, да и деньги на Руси никогда не были главным; на первом плане — дружелюбие, милосердие, сострадание.

Редко, но появлялись на реке и представители мужского населения. На одной из стоянок к нам заглянул парень с вы-

тянутым небритым лицом; назвался трактористом Федором и с ходу, в виде подарка, протянул банку солярки «на случай непогоды, чтоб разжечь костер». Затем, с видом знатока, осмотрел наши плавсредства, поинтересовался их остойчивостью и ходкостью и заявил:

— Наши долбленки лучше. Ваши того гляди пропорют днище, а наши идут как рыбки даже против течения. Улавливаете?

Игорь кивнул за всех нас.

— В другой раз навещаетесь сюда, такой тяжелый груз брать ни к чему, — продолжал тракторист. — Возьмете наши долбленки. У нас народ не прижимистый, дешево отдадут. А если вернете, то и за просто так.

— Ценная мысль, — сказал Игорь. — Поплывем как дикари на пирогах, трали-вали. Окунемся в настоящую первобытность. И палатки не возьмем — будем строить вигвамы.

— И спички, и консервы не возьмем, — насмешливо проронил кто-то из нашей команды.

— Именно! — повысил голос Игорь, — Зато будет возможность проверить, на что мы способны. Поставим опыт на выживание. Бог нас не оставит...

— А ниже по реке, ближе к городу, народ прижимистый, избалованный, — гнул свое тракторист — он рассказывал о том, что для него имело значение, и не вникал в отвлеченную болтовню. — Там за лодки обдерут как липу.

— Продолжай, Федор, не отвлекайся, — вставил Игорь.

— Там жизнь беспокойная — деревенские с дачниками воюют. Дачникам-то участки выделяют получше. И стройматериал они завозят первый сорт. Ну, деревенских и заедает. Одну дачку спалили, сказали: «Нам новых буржуев не надо».

— Это ж вопиющее варварство! — вскипел Игорь. — И что за угловатые речи?! Сколько раз замечал — кто коряво говорит, тот коряво и мыслит. Но ты, Федор, продолжай. Ты выдаешь драгоценную информацию.

— Да погорелец новый домишко отгрохал. Кирпичный. Только ему записку подкинули: «А это произведение искусства мы взорвем». И что он, дачник то есть, сделал? Оставил бутылку ацетона с наклейкой «водка». Ну, весной открыл дачку, а там два трупа.

— Слушай, Федор, — Игорь поднял руку. — Это можно принять только в порядке бреда. Не пугай наших женщин, смотри — они уже съежились от страха. Расскажи что-нибудь прекрасное!

— А прекрасное все здесь у нас, — тракторист расплылся и обвел рукой поляну; его улыбка была шириной с Ветлугу.

На другой, более шикарной стоянке, где были заросли орешника и в остроконечных травах прямо кишели жуки, к нам зачастил толстогубый пастух Иван, мужик лет сорока. Отогнав коров в луга, этот Иван появлялся в лагере и заводил осторожный, чрезвычайно тонкий разговор:

— Можно два слова? Я вот смотрю на ваши мытарства и кумекаю: неужто людям в радость такой мученический отдых? Слепни, комарье, сон на земле, кострища — вон как прокоптились...

— Видишь ли, в чем дело, — отзывался Игорь, — для нас, горожан, повкалывать на природе — лучший отдых, траливали. Ведь мы целый год сидим в своих конторах без движения, наращиваем зады... Вот ты-то все время работаешь на свежем воздухе. Видит Бог, ты счастливчик.

— Ну, если вы называете это работой, то я работаю, — Иван смотрел в сторону лугов, где паслось его разноцветное стадо, потом снова обращал взор на наш лагерь и пытался сформулировать новую мысль: — С позволения сказать, ну какая радость без толку махать веслом, гнать неизвестно куда? Краше наших мест все равно не сыщете. Остановились бы тут, поселились бы в избе — у нас полно пустующих, к ним дачники еще только приглядываются... Баньку бы приняли, попарились бы всласть с березовыми веничками. У меня имеются.

— Иван, ты прекрасный человек, — говорил Игорь. — Не знаю, как тебя и благодарить. Клянусь, мы не забудем о твоём благородном порыве, но, понимаешь, какая штука, мы непоседы, больше двух-трех дней на одном месте нам никак не усидеть. Здесь красотища, роскошества хоть куда, ей Богу! Но нам кажется — впереди нас ждут красоты не хуже, а может, даже... Впрочем, наверное, это заблуждение, траливали, но это заблуждение нас и подгоняет. В широком смысле слова.

После одного из таких малоубедительных доводов, когда Игорь от имени нашего табора отказался ночевать на сенова-

ле пастуха (тот обещал угостить мочеными яблоками), Иван надулся и решил покинуть нас. Желая смягчить свой отказ, Игорь сказал:

— Давай вот что. Неси свои яблоки, а у нас есть наливка, устройм шикарный обед.

Во время обеда мы что-то разгулялись не на шутку, и после трех бутылок наливки мужская половина компании потребовала от Игоря дополнительного «горючего» (в честь хорошей погоды, приличного улова рыбы и прочего). Кстати, стоянку затоплял резкий полуденный свет, и сухой обжигающий воздух придавал алкоголю дополнительную силу. На наши требования Игорь скорчил кислую ухмылку и провозгласил траурным голосом:

— Клянусь Богом, наливки больше нет. Такова наша оснащенность. Прикончили последние три бутылки.

Услышав эту скорбную цифру, мы приуныли, но внезапно оживился Иван; он объявил, что в сельмаг соседней деревни накануне завезли «Рябиновку», и он готов быстро туда «сшастать».

— Сможешь, без дураков? — усомнился Игорь, явно принося возможности нашего друга-собутельника.

— Не впервой, — Иван встал, одернул рубаху и напустил на себя важный вид, тем самым подчеркивая всю серьезность предстоящего дела.

— Вообще-то я не любитель затяжных выпивок, траливали, — произнес Игорь, — но уж ладно, сегодня можно расслабиться, завтра нам предстоит длительный переход.

Наш вождь выделил Ивану приличную сумму — десять рублей на пять бутылок, с тем, чтобы пару распить, а остальные приберечь для следующей стоянки.

— Скоро вернусь, — бросил Иван и исчез в зарослях орешника.

Прошло часа три, не меньше. Уже вечернее солнце клонилось к закату, в низинах появились мглистые клочья тумана, уже Ивановы коровы сами по себе побрели в деревню, а пастуха все не было. За это время наши головы проветрились, и в них появился новый строй мыслей: «Чего завелись? Надо было выделить Ивану напарника. Может, что случилось?!». Вначале Игорь с вялой озабоченностью ходил вокруг костра и только морщил лоб и бормотал:

— Несуразная ситуация. Простор для догадок, трали-вали.

Но вскоре его волнение усилилось:

— Здесь что-то не так, голову даю на отсечение! — и, наконец, ткнул в меня пальцем: — Посылаю тебя в деревню на разведку.

Я двинул к домам, теснившимся на косогоре. Первая же встреченная мною женщина, узнав, что я разыскиваю пастуха, разразилась смехом.

— Иван-то? Небось, где-нибудь отсыпается пьяный в канаве. Берет у всех деньги в долг и пропивает...

Вернувшись в лагерь, я сообщил этот безрадостный факт.

— Ничего себе вечерочек! Новости прекрасные, лучше не бывает, — хмыкнул Игорь. — Неужели этот прощельга нас облапошил?!

Женская половина компании позеленела от злости.

— Жульничество! Надо его проучить, чтобы больше не выкидывал таких фокусов! Отлупить, и никаких гвоздей!

— Не психуйте! — Игорь поднял руку, прерывая искрометные мысли женщин. — Если он так мелко нас обманул, проучить его, бесспорно, надо. Напомнить, что такое честность. Поступим так: разыщем его дом, возьмем какую-нибудь дорогую вещь, вроде телевизора, и вернем, когда отдаст деньги.

Затяга обещала быть интересной, и в деревню мы отправились всей компанией. Наш грозный настрой держался до тех пор, пока около молочной фермы нам не указали на дом пастуха — покосившуюся избу, с окнами, местами забитыми фанерой; вокруг избы бушевали сорняки. Мы сразу поняли — дорогих вещей в таком жилище быть не может, но все же отворили дверь.

В тускло освещенной комнате стояла допотопная мебель бредовой раскраски, за простенькой занавеской, засиженной мухами, виднелись печь и дешевая кухонная утварь, из «дорогих» вещей мы разглядели старый радиоприемник «Рекорд» и будильник с вывернутыми наружу внутренностями. Вдрызг пьяный Иван лежал, распластавшись, на кровати и блаженно улыбался — он уже находился вне времени и пространства и был счастлив по уши. Перед кроватью на полу играли двое полуголых чумазых детишек.

Несмотря на это удручающее зрелище, Игорь растормошил доходягу-пастуха и, стараясь удержать в голосе негодование, спросил:

— Ты почему нас надул?! У тебя совесть есть?!

Но у Ивана начисто отшибло память, он смотрел на нас как на пришельцев из другого мира; сидел на кровати, улыбаться, и вся его пьяная физиономия выражала тихое, бессмысленное счастье.

В избу вбежала молодая и красивая, по-настоящему красивая женщина, с большими пытливыми глазами; вытирая руки о передник, обеспокоено проговорила:

— Он взял у вас деньги? Сколько? — она достала из кармана кошелек.

— Не в деньгах дело, — меняя тон, тихо сказал Игорь. — Просто он нас надул, и, если его не проучить, он и других туристов...

— Не трогайте его, — взмолилась женщина. — Он сейчас все равно ничего не соображает, — она протянула несколько купюр. — Вот возьмите.

Игорь замотал головой и направился к выходу.

— Вы его жена? — спросил кто-то из наших спутниц.

Женщина кивнула и устало опустилась на стул; сняла косынку — на плечи упала копна роскошных волос.

— Что ж живешь с таким пьяницей? — глухо спросил Игорь у порога.

Женщина не ответила, только наклонила голову — волосы совсем закрыли ее лицо.

— А кем работаешь?

— Дояркой... Услышала, разыскиваете нашу избу, сразу поняла — что-то неладное. Вот и прибежала.

— Тебе надо с ним развестись, — Игорь кивнул на Ивана, который снова завалился на кровать, с еще более счастливой улыбкой. — Это не жизнь. И вообще тебе надо уехать отсюда в город. Ты молодая, красивая, не пропадешь.

— Кому я там нужна... с двумя детьми, — женщина глубоко вздохнула и отвернулась.

В лагерь мы возвращались понурыми, наш вождь долго молчал, правда, вышагивал впереди и, как бы подбадривая себя или нас, бормотал: «Трали-вали, трали-вали», — в том смысле, что все это суета, что все это отойдет в прошлое

и превратится в историческое предание. Игорь явно давал понять, что он по-прежнему сильный, деятельный, просто с ним случилась маленькая неприятность. Только у реки, чтобы подытожить поход в деревню, он сказал:

— Бог с ним, с Иваном, простим ему этот грех, и не стоит надолго запоминать этот жаркий денек. Ведь высокие требования можно предъявлять только близким людям. А вот доярку жалко. Совсем молодая и красавица. Впрочем, в этом захолустье наверняка женщина рассуждает: «Хорошо хоть такой муж есть». Здесь выбирать не приходится...

Вернувшись в Москву, я часто вспоминал красоты Ветлуги: песчаные отмели, цветы на берегах — этакое желто-розовое пространство, облака, которые клубились, разрастаясь над рекой. Но, честно говоря, больше всего запомнились красавица доярка и комары.

ВЕЧЕРНИЕ СКАЗКИ

В раннем детстве на меня сильнейшее впечатление произвела сказка «Три поросенка». Я ужасно злился на двух неразумных поросят, которые построили себе ветхие домишки, и безмерно восхищался их смышленным братом, который возвел основательный кирпичный дом. Сказку мне читала мать по вечерам, перед сном, и помню, я испытывал нешуточный страх, когда волк ломал домишки неразумных поросят, даже залезал под одеяло, но сразу же успокаивался, как только поросята прятались в доме смышленного брата. Эту сказку я просил читать мне каждый вечер, года два подряд, хотя давно выучил ее наизусть; случалось, даже — подсказывал матери, когда она записалась на каком-нибудь слове. Просил читать и утром, и днем, но мать, под разными благовидными предлогами, уклонялась от моих просьб и подсовывала мне бумагу с карандашами, чтобы я учился рисовать. А отец философски заключал:

— Вечерние сказки не рассказывают днем, — и перечислял работу по дому, которую мне следовало сделать.

Кстати, я и сейчас отлично помню ту сказку. Многие стихи наших великих классиков забыл, а «поросят» могу пересказать один к одному. И, благодаря этой сказке, с детства люблю все прочное, крепкое, надежное. И не случайно, став взрослым, построил не просто катер, а нечто похожее на броненосец, а позднее соорудил не дачу, а крепость — ни один грабитель не взлезет. И, конечно, отношения с людьми строил на прочной основе: на общности занятий, интересов, увлечений. Прежде чем с кем-либо заводить дружбу, подолгу приглядывался к человеку, у наших с ним общих знакомых выспрашивал про черты его характера, привычки, взгляды в искусстве и политике, а его самого дотошно пытал, что он любит, что не любит, и его симпатии и антипатии сопостав-

лял со своими. Только если его пристрастия соответствовали моим, вступал в дружбу.

Особую придирчивость я проявлял к женщинам, им просто-напросто устраивал экзамены с полсотней вопросов, при этом незаметно загибал пальцы: на правой руке — плюсы, на левой — минусы. Вначале я спрашивал, в каком месяце родилась женщина, и по знаку Зодиака определял, что она из себя представляет (астрология была моим коньком); затем приступал к другим вопросам. Не все выдерживали мои тесты. Ну, а тем, кто выдерживал, я организовывал новое испытание: приглашал пожить у меня в качестве домработницы, чтобы посмотреть, как она хозяйствует, бережно ли относится к вещам, внимательна ли ко мне или не очень — словом, какова она в быту? При этом я поэтично провозглашал:

— Быть барыней легче, чем служанкой!

Этот, самый серьезный «экзамен» не прошла ни одна особа! В общем, до сорока лет я так и не встретил женщину, которая устраивала бы меня во всех отношениях.

Я жил бобылем в двухкомнатной «хрущевке»; временами приходилось туговато: после работы ходил по магазинам, готовил еду, мыл посуду. Быт отнимал немало времени, а ведь я, кроме работы на заводе, писал стихи — то есть имел дело с вечностью, и был выше всякой житейской обыденщины. По вечерам меня ждал письменный стол и стопка бумаги, а приходилось заниматься «копошением», как я называл домашнее хозяйствование. Правда, подшивать и стирать белье я относил своей тетке, но ее подмога выглядела мелочью в сравнении с остальной работой по дому.

Моя тетка, шестидесятилетняя толстуха с грубым лицом, была, в общем-то, добросердечной старушенцией, но слегка тронутой, да еще старой девой. По ее словам, в молодости на ее дни рождения приезжали два автобуса женихов, но она так и не выбрала среди них «достойного».

— Одни были слишком шустрые, чумовые, другие — не поймешь что, ни рыба ни мясо, — заковыристо объясняла она. — Бог забыл сделать так, чтобы люди встречали равных себе. Вот и получается, что хорошие люди никак не могут встретить свою половину.

Тетка и в шестьдесят лет молодилась: носила какие-то карикатурные широкие одеяния, скрывающие несовершенства

ее фигуры, делала на голове сложные укладки, и носила бусы до пола, и выливала на себя по флакону в день «душистой воды» — от нее разило, как от парфюмерной фабрики. Частенько тетка сообщала мне что-нибудь эдакое:

— Вот говорят, что я старая, некрасивая, а меня, между прочим, недавно два раза пытались изнасиловать.

Все это она говорила звонко, растянуто, ее голос имел необычную акустику — он напоминал позвякивание связки ключей и совершенно не соответствовал теткинemu мужланному лицу. Кстати, в молодости тетка мечтала стать оперной певицей, но «разные халды пренебрегли ее талантом».

Долгое время мы с теткой общались только по воскресеньям, когда я приходил к ней «отобедать» и заодно приносил белье, но потом в тетке вдруг проснулись материнские чувства, и она стала заботиться обо мне, кроме стирки белья, взяла на себя и часть моих «копошений»: приходила убираться в квартире, приносила кое-какие продукты, при этом читала мне занудливые лекции, залиvisto тянула:

—...Да-а, племянник, одному мужчине жить тяжело... Хорошей жены ты не встретил... У тебя израненная душа. Это удручает... Сейчас женщины отвратные. Душевных днем с огнем не сыщешь... В совместной жизни главное что? Родство душ, одинаковый уровень сердечности... А любовь — сказки одни...

И это говорила она, теоретик. И кому? Мне, прожженному практику, который уже не один год принимал «экзамены» у женщин и изучил их, как свои пять пальцев.

Однажды в воскресенье, как обычно, я пришел к тетке «отобедать», а на двери записка: «Загляну в магазин. Подожди». Я присел на скамью во дворе под деревом. Неожиданно рядом присела блондинка лет тридцати, пухленькая, с приветливым лицом, простоволосая — ее волосы падали до пятой точки и блестели, словно облитые сиропом.

— Вы кого-то ждете? — обратилась она ко мне. У нее голос был такой же звонкий, как у тетки, но более переливчатый, и он, как нельзя лучше, соответствовал ее лицу.

— Тетку, — буркнул я, машинально кивнув на подъезд напротив.

— Я тоже живу в этом доме, — блондинка показала на подъезд в конце дома. — Недавно сняла здесь квартирку и еще ни с кем из соседей не познакомилась... Здесь хорошо, много

зелени, уютный дворик... — ее голос слышался, как перезвон колокольчиков, но, несмотря на это акустическое чудо, я не очень-то хотел поддерживать разговор, был уверен, что мы не найдем ничего общего. Даже про себя усмехнулся — мол, знаю я этих блондинок! Но она явно решила меня разговорить:

— А вы чем занимаетесь? Ой, нет! Давайте я угадаю! Вы... — она с улыбкой уставилась на меня, прищурилась, — вы, наверное, работаете на заводе... Но, по-моему, у вас творческая душа. Может быть, вы рисуете или пишете стихи?

Я подивился такой проницательности и кивнул:

— Пишу стихи.

— Ой, как интересно! — блондинка всплеснула руками. — А как вас зовут? Меня Нелли.

Я назвался.

— Пожалуйста, прочитайте что-нибудь свое! — Нелли пододвинулась и дотронулась ладонью до моей руки. — Что-нибудь про любовь.

— О любви не пишу, — остановил я ее порыв. — Я пишу на вечные темы.

— А разве любовь не вечная тема? — Нелли расширила глаза, но тут же снова сузила. — Ну, хорошо, прочитайте что-нибудь о вечном. Пожалуйста!

Я набрал побольше воздуха и выдал одно из самых своих ударных произведений. А когда закончил, увидел серьезное изумление на лице Нелли.

— Вы гений! — проговорила она притихшим голосом.

— Я тоже так считаю, — кивнул я, отбросив всякую фальшивую скромность.

— Вы гений! — повторила Нелли уже с улыбкой. — Прочитайте что-нибудь еще!

В этот момент показалась тетка с какими-то пакетами.

— В другой раз, — сказал я, вставая.

Нелли тоже поднялась со скамьи.

— Хорошо, в другой раз, — она поспешно достала из сумки записную книжку, вырвала листок и начеркала свой телефон. — Позвоните мне. Я готова слушать ваши стихи до бесконечности.

Надо сказать, к этому времени я уже накопил целый чемодан стихов и, понятно, как каждый поэт, нуждался в слушателях. Но приятели отмахивались от моих творений,

женщины ничего не понимали в них, говорили «как-то сложно очень», «я плохо разбираюсь в поэзии, читаю романы»; ну, а из журналов, куда я посылал кипы подборок, их возвращали с разгромными рецензиями, да еще с наглыми пожеланиями «заняться чем-нибудь другим». Даже тетка, которой я не раз пытался прочесть стихи, сразу же придумывала себе какое-то «срочное дело» и увиливала от моего чтения.

«Ну, ладно тетка, у нее не все в порядке с головой, — размышлял я. — И черт с ними, с приятелями — они ничего не петрят в поэзии, но почему мои стихи не хотят печатать в журналах?». Несколько лет меня мучил этот вопрос. Ответ дала Нелли в первую же нашу встречу.

Я позвонил ей через пару дней после посиделок во дворе теткиного дома. Мы договорились встретиться у входа в центральный парк. Нелли пришла обновленной — в ослепительно синем платье с красным цветком в волосах.

— Привет! — помахала рукой еще издали, а подойдя ближе, сказала: — Вы обещали почитать стихи. Я сгораю от нетерпения.

Мы расположились в полупустом открытом кафе, и за лимонадом я целый час читал стихи.

— Чудесно! Изумительно! — сопровождала Нелли каждое стихотворение.

Когда я, наконец, смолк, она спросила:

— А где можно прочесть ваши стихи? В каком журнале?

— Ни в каком. Их не печатают.

— Хм, не печатают! Такие чудесные стихи! Да куда они смотрят?! — возмутилась Нелли. — Я знаю точно — в журналах печатают только своих, по знакомству! Но они еще спохватятся, сами будут упрашивать вас дать какое-нибудь стихотворение... Меня так ваши стихи просто пробирают до мурашек. Чудесные, изумительные стихи! Я так потрясена, что сегодня не смогу уснуть. Я вообще все эти дни думала о вас.

Стало ясно — она влюбилась в меня. Я тоже испытывал к ней некоторый интерес, тем более, что, наконец, встретил женщину, которая оценила мой талант. Именно поэтому я решил устроить ей облегченный «экзамен» — всего десятка два вопросов, не больше, чтобы выяснить основное. «Потом, по ходу дела, узнаю все», — подумал про себя.

После первых трех вопросов, на которые Нелли ответила с улыбкой, подробно и искренне, она внезапно рассмеялась:

— Вы будете проверять мои ответы на детекторе лжи?

— Не буду, — твердо заявил я. — У меня большой опыт, и я прекрасно знаю, когда говорят правду, а когда врут. И не ошибаюсь. Меня никто не проведет.

С неделю мы встречались в парке; за это время я узнал у Нелли все, что хотел знать о ней. В общих чертах ее биография выглядела так: мать музыкантша, отец дипломат. Долго жила с родителями в Италии. Училась музыке, живописи. Сейчас работает модельером в Доме моды. Недолго была замужем, муж оказался пьяницей. Снимает квартиру, потому что жить без родителей «комфортней». У нас оказалось много общего; можно сказать, мы были из одного теста, она даже любила все то, что любил я. Абсолютно все то же самое, точно наши вкусы сделаны под копирку. К примеру, суп из плавленых сырков и пиво с воблой. Я поразился и даже сказал ей:

— Мы с вами похожи.

Она рассмеялась:

— Мы должны дружить. У нас будет крепкая дружба!

Короче, Нелли блестяще сдала «экзамены», и я предложил ей стать домработницей. Нелли встретила мое предложение с радостной готовностью:

— Как интересно! Давно мечтала быть домработницей у талантливого мужчины. Женщина должна украшать жизнь мужчины... — и вдруг тихо, с придыханием добавила: — А перед сном я буду вам что-нибудь читать. Что-нибудь сказочно-интересное.

Мне понравилось это ее добавление — сразу вспомнилось детство и вечерние сказки матери.

Я выделил Нелли меньшую из комнат. Она привезла свои вещи и сразу повесила на кухне новые занавески оранжево-рыжего, полыхающего цвета.

— Теперь здесь всегда будет солнце! — восторженно заявила она. — В любую погоду с самого утра! Каждое утро надо начинать с положительных эмоций, а солнце устанавливает хорошее настроение.

Как домработница Нелли показала себя с самой лучшей стороны: она тщательно прибиралась в квартире, стирала и гладила белье (я перестал его таскать к тетке), готовила

вкусную еду — и все это делала играючи, с улыбкой, а ведь сама проводила в Доме моды восемь часов и, само собой, там уставала, но ни разу ни на что не пожаловалась; даже за домашней работой негромко напевала всякие мотивчики. Что и говорить, у нее был легкий, веселый характер.

За ужином она всегда спрашивала:

— Вам нравится? Вкусно? Я старалась. Положить еще? — и смотрела на меня нежно, влюблено. Как-то даже попросила: — Подарите мне свою фотографию, я поставлю ее рядом с иконой.

После ужина я уходил в свою комнату писать стихи, и, пока писал, Нелли ходила на цыпочках, а после того, как я вставал из-за письменного стола, подбегала и просила прочитать «новое». И всегда я слышал:

— Чудесно! Изумительно!

Кстати, с тех пор, как Нелли переехала ко мне, на моем столе всегда красовались живые цветы — они, конечно же, способствовали моему вдохновению. За короткий срок я сочинил две сотни стихов и три поэмы о вечном — из меня строчки вылетали сами собой, я еле успевал их записывать.

По вечерам, когда я укладывался спать, Нелли, как и обещала, что-нибудь мне читала. Брала с полки одну из двух книг серии «Жизнь замечательных людей» (я собирал эту серию), садилась на стул рядом с моей тахтой и читала вслух. Читала тихо, переливчато — казалось, где-то далеко бежит серебряный ручей. Под ее убаюкивающий голос я и засыпал.

Когда Нелли прочитала «замечательных людей», она стала на ночь рассказывать мне о своей жизни в Италии: о солнечных пляжах на берегу «самого чистого моря», о красивых домах и музеях во Флоренции, о Риме, где «на улицах вечный карнавал», о каналах, мостах и узких улочках Венеции, «а на площади собор, и утром и вечером длинные синие тени»... Нелли рассказывала в мельчайших деталях о том, как училась музыке и живописи у известных мастеров, как слушала оперы в театрах, смотрела картины в музеях... Каким-то странным образом и я переносился в ту страну и... засыпал не в какой-то «хрущевке», а где-нибудь в особняке у венецианских каналов.

Нелли все больше осваивалась в моей квартире и, спустя месяц, как-то незаметно из домработницы перешла в домо-

хозяйки, а чуть позднее, уже вполне заметно, и в должность гражданской жены. Это произошло так.

Однажды вечером, когда я писал очередной цикл стихов, Нелли внезапно вошла в мою комнату в халате немислимой расцветки — там были все цвета радуги, и он был полупрозрачным. С загадочным блеском в глазах Нелли прокрутилась на месте и спросила:

— Как я выгляжу?

— Неплохо, — выдал я, ошарашенный тем, что виднелось под халатом.

Приблизившись, страшно волнуясь, Нелли проговорила:

— Я давно хотел спросить... Неужели, как женщина, я вам не нравлюсь?

Пока я соображал, что ответить, она подошла вплотную, обняла меня и зашептала:

— Я люблю вас! Страсть прямо прожигает мой халат! — видимо, чтобы он не сгорел, она сбросила его.

Не вдаваясь в подробности, скажу — в тот вечер все и произошло, совершенно неожиданно для меня. Понятно, после этого Нелли и стала гражданской женой. Надо признаться, вначале я испугался ее нового статуса, ведь за долгие годы холостяцкой жизни привык к свободе; даже подумал: «А не примет ли ее любовь угрожающие размеры, не станет ли она чего-то требовать, выяснять отношения, да еще, не дай Бог, скандалить?» Я испугался, что от всего этого может пострадать мое творчество. Но надо отдать должное Нелли — она продолжала вести себя ненавязчиво, с еще большим усердием хозяйствовала, все чаще распевала веселые мелодии, а ко мне относилась — лучше нельзя придумать: то и дело подсакивала, обнимала, целовала и ликовала с широкой улыбкой:

— Гений, мой любимый! — и дальше, заливаясь смехом: — Посвяти одно стихотворение мне! Я выучу его наизусть и буду петь, как молитву!

В качестве гражданской жены Нелли пробыла около года, и за это время между нами не случилось ни одной размолвки. Больше того, наши отношения становились все прочнее и надежнее. В общем, я решил сообщить тетке о своем семейном положении. Приехал к ней и все выложил одним духом. Тетка страшно удивилась, стала нервно теревить бусы.

— И кто ж эта твоя избранница?

Я описал Нелли и заключил:

— ...Она живет в последнем подъезде твоего дома.

— Это уж не та ли блондинка-выдра? — вспыхнула тетка уже не звонким — громыхающим голосом. — Она ж аферистка! Всем говорит: «Жила в Италии, модельерша»... Она из деревни! Работает швеей на фабрике... У меня все выпрашивала: «Как ваш племянник? Что он любит?»... Думаешь, ты ей нужен? Вот! — тетка показала мне фигу. — Ей нужна твоя квартира!.. Не вздумай расписываться с ней! Как распишешься, она тебя отравит. Или ужокошит молотком, когда заснешь...

Теткины слова были для меня как удар молнии. «Значит, и папа дипломат, и Италия, и Дом моды — все вранье!» — в меня вселилась злость немалой силы. Первой мыслью было — порвать с ней, без всяких разговоров. Потом решил — разоблачить; я уже видел, как она краснеет, заикаясь оправдывается... Но по пути к дому я немного остыл: «Все же полоумная тетка хватилась через край — «отравит, ужокошит!»». Конечно, неприятно, что она столько морочила мне голову, но, может, ей просто хочется быть «итальянкой», «модельершей», чтобы соответствовать мне поэту? Я вдруг увидел Нелли — она рассказывает мне перед сном об Италии: голова запрокинута, волосы почти закрывают лицо, виднеется только профиль; тихим голосом она рассказывает мне очередную «вечернюю сказку». «Она, конечно, все придумала, но, чтобы так фантазировать, все-таки надо быть талантливой... И чего я добьюсь разоблачением?! Ну, признается она в обмане, и что? Только испортятся наши отношения... Я уже привык к ней такой, какой она хочет быть. Привык к ее заботе обо мне и восторженным откликам на мои стихи, а без ее «вечерних сказок» вряд ли уже смогу уснуть. И даже если она играет в любовь, я готов обманываться и дальше. Пожалуй, в совместной жизни и должна быть доля игры — это делает отношения более легкими, радостными, без всяких тяжело-весных выяснений, и потому более надежными, ведь хорошее никто не захочет разрушать... Пусть все останется, как есть!»

СМЕЕТСЯ И ПЛАЧЕТ

Весной в том поселке на пригорках острая трава, на кустарнике желтый мох, над платформой клубится пар, вдоль железнодорожной колеи бегут ручьи, а в воздухе гомон птиц. Обычно Андрей приезжает в поселок в марте, когда с крыш еще сползает снег. Хозяйка сдает ему веранду, на которой, кроме стола, лавки и раскладушки, на случай заморозков имеется железная печурка, но веранда с двойными застекленными рамами, тепло держит хорошо, и топить печурку Андрею не приходится.

До поселка пятнадцать минут езды на электричке от станции метро «Войковская», так что после работы Андрей добирается до своего пристанища быстрее многих сослуживцев, живущих в центре города.

— Я нервный, врачи советуют жить на природе, — объясняет Андрей приятелям свое добровольное затворничество.

Кто-кто, а приятели знают, как у него «шалют нервы», какой он раздражительный и болезненно подозрительный — на себе не раз испытывали его «закидоны», потому и посмеиваются:

— Таких, как ты, успокаивает не природа, а женитьба.

В том поселке среди однотипных домов попадаются и необычные — сплошь из балконов, террас, веранд, и ясно: владельцы этих дач стремятся уйти от стереотипов. И среди поселчан немало оригиналов, для которых покататься на велосипеде или почитать книгу важнее всяких грядок. А около платформы на столбах рядом с объявлениями о «купле-продаже» вдруг прочитаешь нечто прекрасное: «Ну, кто смелый? Кто возьмет на себя хозяйство: большой дом, восемь соток земли, троих детей и блондинку средних лет с хорошим характером?!».

Так получилось, что в прошлом году Андрей выбрался в поселок только в середине мая и не застал раннего пробуждения природы, но все равно время было замечательное: цвела черемуха, в садах распевали соловьи, дачники уже вовсю работали на участках. Лишь соседний участок, как всегда, пустовал. Он принадлежал известному писателю и был одним из самых обширных в поселке, с высоченными, разлапистыми елями, за которыми виднелся строгий двухэтажный особняк — «холодный дом», как его называла хозяйка Андрея. Летом время от времени писатель навещался на дачу. Он приезжал на старомодном «ЗИМе», отпирал входную дверь и несколько дней из дома доносился стук пишущей машинки и хриплый кашель.

Писатель был пожилым человеком, худощавым и поношески изящным. По слухам, с женой он разошелся и жил один в районе Садового кольца. Говорили также, что у него какая-то неизлечимая болезнь. Андрей прожил в поселке два летних сезона, но видел знаменитого соседа всего несколько раз, а разговаривал с ним и вовсе однажды.

Как-то Андрей ремонтировал хозяйскую изгородь; только прибил рейки, как рухнул сгнивший столб. Некоторое время незадачливый плотник в растерянности соображал, что делать дальше; вдруг слышит, его окликает писатель:

— Молодой человек! — и машет рукой, стоя около калитки. — У меня за гаражом лежат столбы, из них можно что-нибудь подобрать, — и, когда Андрей подошел, ободряюще, с улыбкой добавил: — Главное — не раскисать от неудач. Человек ведь и проверяется в минуты неудач, горьких испытаний.

Он помог Андрею выбрать столб и подробно, со знанием дела, объяснил, как его следует обтесать, обмазать дегтем и утрамбовать в яме битым кирпичом.

В прошлом году, в конце мая, писатель неожиданно приехал на участок с молодой брюнеткой. На вид ей было чуть больше двадцати лет, держалась она чересчур свободно: с беззаботным смехом выскочила из машины, пронеслась по участку, точно измеряя владения, которые ей нежданно-негаданно достались, потом подбежала к писателю и с чарующей улыбкой, открыто и безбоязненно обняла и поцеловала его.

Вбежав в дом, она распахнула настежь окна и, явно давая писателю понять, что она усердная хозяйка, а не какая-нибудь легкомысленная бездельница, стала наводить в комнатах по-

рядок. С веранды Андрей отлично видел эту деятельность: она двигала мебель, снимала занавески, мыла посуду, при этом то громко пела, то заразительно смеялась и все время поглядывала на себя в зеркало.

— Небось, уверена, что она картинка — глаз не оторвешь, — усмехнулся Андрей.

Сложена она, действительно, была неплохо и лицо имела довольно привлекательное — словом, на взгляд Андрея, выглядела смазливой девицей, но не больше. А вот ее поведение вызывало у него неприязнь: он считал, что новоиспеченная хозяйка вела себя чересчур показно, что ее веселье — всего лишь ловкое притворство. В тот день прошел первый теплый дождь, и она, мокрая и развеселая, танцевала перед домом — шлепала в ботах по лужам, выписывала некие водяные знаки, предварительно запустив на террасе магнитофон. А писатель наблюдал за ее танцами из окна и, радостно улыбаясь, аплодировал.

— Как можно представить весну без майского дождя?! — она раскидывала руки, готовая обнять весь участок, и непрерывно смеялась.

Девица слишком изображала переполненную счастьем, и, по понятиям Андрея, за этим виделся определенный расчет.

В полдень они обедали на террасе, и опять брюнетка корчила из себя внимательную, заботливую хозяйку. Повязав яркий передник, пританцовывающей походкой, картинно накрывала на стол, все время что-то подавала писателю, что-то пододвигала к нему — казалось, готова ползать за ним на животе и носить в зубах его тапочки. Она без умолку болтала, прямо не закрывала рот и беззастенчиво показывала себя, уверенная, что красивей и добросердечней, чем она, женщин не бывает. Похоже, это же она внушала и писателю. Обычно невозмутимый и сдержанный, рядом с ней он испытывал состояние возбуждения: не отрываясь, любовался ею, с наивной бесхитростностью внимал ее словам.

После обеда они гуляли по поселку; вначале шли взявшись за руки, потом в обнимку, причем она так и висла на нем, — можно было подумать: любит без памяти, не ест и не спит без него и будет ему верна до последнего вздоха. Они выглядели смешно, нелепо: он — седой, лысеющий, в темном костюме, и она — юная, легкая, в открытом коротком платье. В этом контрасте было что-то противоестественное, не зря посель-

чане посылали вдогонку писателю косые, осуждающие взгляды — по их нравственным меркам, он вел себя вызывающе и глупо. Демонстрируя свое легкомысленное знакомство, он игнорировал общественные устои поселка. Некоторые сочувствовали писателю, говорили, что этот приступ поздней любви непременно закончится печально — молодая любовница доконает его. Но к вечеру пришли достоверные сведения, что брюнетка вовсе не любовница, а новая жена и что посельчане являются свидетелями не какого-то легковесного приключения, а медового месяца законных супругов.

Вечером хозяйка сообщила Андрею:

— Ей двадцать два года. Она недавно приехала из Ростовской области и работает на заводе по лимиту. Говорят, их даже расписывать не хотели... И где она его подцепила только?.. Но хваткая. Сразу поняла: у него положение, квартира, дача... И как он, умный человек, не видит, что она играет в любовь! Какие все же мужчины близорукие... Сколько вокруг хороших одиноких женщин, которые были бы примерными женами, так нет! — выбирают себе разных свистушек...

В последующие дни брюнетка полностью подкрепила первое впечатление о себе. Переделав на новый манер все внутри дома, она привезла из города целый «пикап» всевозможных вещей, среди которых Андрей заметил садовый инструмент и цветочную рассаду, велосипед, проигрыватель и кучу пластинок. Потом она принялась за участок: разбила цветники, дорожку от калитки уложила плитками, меж деревьев повесила гамак. Но самое странное брюнетка устроила за домом — там она исхитрилась соорудить некий спорткомплекс: разметила площадки для игры в теннис и бадминтон, установила какой-то диковинный тренажер, под навесом на лавке разложила ракетки, мячи, кегли, фризби.

Андрей понял — молодая жена решила обосноваться на даче обстоятельно и надолго, а главное, полностью изменить уединенный, деловой образ жизни писателя. Так оно и получилось. Уже через неделю писатель, точно мальчишка, с непонятным рвением гонял на велосипеде в продовольственный магазин, а на спортплощадке с женой махал ракетками, катал шары и при этом восклицал с сияющей улыбкой:

— Ты умница! Именно этого мне и не хватало. Ты превратила холодный дом в настоящий оазис красоты и здоровья. Я так

благодарен тебе... Знаешь, сегодня утром мне даже работалось как никогда... Ты облегчаешь, скрашиваешь мою жизнь, а я помогу тебе найти себя, попытаюсь обозначить твою судьбу.

В ответ она заливалась звонким смехом.

Теперь по утрам она выскакивала на террасу, запрокидывала голову, улыбалась и потягивалась, как бы возвещая всему поселку, что видела золотой сон. Потом звала писателя, и они делали гимнастику — подпрыгивали и махали руками.

После завтрака писатель уединялся в кабинете, садился за пишущую машинку, а его благоверная порхала по кухне, но уже вела себя более-менее тихо. «Не хватало еще, чтобы и сейчас, когда писатель работает, устраивала танцульки», — раздраженно думал Андрей.

Чем занимались «молодожены» днем, Андрей не знал — к этому времени он уезжал на работу, но, по словам хозяйки, «молодая жинка» (так она называла девицу) время от времени чуть ли не насильно тянула писателя на спортплощадку.

По вечерам писатель читал девице отпечатанное на машинке. Она охала и ахала, прерывала чтение возгласами:

— Потрясающе!

А когда он откладывал листы, с откровенно прямой лестью превозносила его талант. Андрей слышал почти все, что она говорила, а то, чего не слышал, домысливал. Восторги девицы злили его не на шутку, ему так и хотелось крикнуть: «Заткнись, лицемерка!»

Тем не менее, от нового образа жизни писатель заметно посвежел и помолодел, но Андрей-то чувствовал, к чему ведут спортивные игры, всякие губительные страсти. Он был уверен, что провинциалочка все четко вычислила и действовала методично, изуверски, без всякой жалости и сострадания. Она прекрасно знала, как влюбить в себя одинокого, доверчивого человека, и знала, как можно избавиться от него. Изредка встречаясь с ней взглядами, Андрей видел ее едкую ухмылку — у этой бестии все было написано на лице, и Андрей просто поражался недогадливости писателя, «знатока человеческих душ».

Спустя неделю писатель съездил в город и вернулся с полной машиной свертков и коробок. Как правило, по утрам он работал, а здесь уехал ни свет ни заря. «Явно укатил по указке жены, — решил Андрей. — Она приумножает свой буду-

щий капитал. Но это только начало, скоро она покажет себя во всем блеске».

В выходные дни к ним зачастили гости. Они приезжали шумной ватагой и, заполонив дом и участок, устраивали такое веселье, что соседи только укоризненно вздыхали. А гости знай себе расхваливают супругов. Особенно ее. Веранда Андрея была хорошим наблюдательным пунктом, и он отчетливо все видел и слышал. То один, то другой мужчина подходил к писателю и говорил:

— Она прелесть! Лучшей жены и желать нельзя. Веселая, умная.

— Да, да, — наивно соглашался он. — Никогда не думал, что под старость мне так повезет... Она, знаете ли, по-настоящему любит меня. И я ее... Это кажется смешным, но, тем не менее, это так... Она необыкновенная, все тонко чувствует... Интуитивно догадывается о том, к чему я пришел в результате многолетних раздумий... Она перепечатывает мои работы, завела картотеку, в которой отмечает все, что я сделал, и ходит за меня по издательствам... Но главное — она заменила мне всех врачей и медсестер. Научилась делать уколы и массаж...

«Ну ладно писатель, — рассуждал Андрей. — Он просто потерял голову от этой красотки, но куда смотрят его знакомые! Почему они, взрослые люди, считают сожителем столь разных людей райской гармонией! Неужели им невдомек, что подобные отношения никакая не любовь, попросту изощренная игра насквозь порочной девицы!»

Гости засиживались на даче до темноты, потом писатель с женой провожали их до платформы, а вернувшись, устраивались на ступенях террасы и о чем-то вполголоса разговаривали. Иногда она поспешно вскакивала и в комнате тихо включала музыку, затем снова садилась на ступени и ласкалась к нему, и все время, затаив дыхание, смотрела на него, как зачарованная — весь ее вид выражал безграничную покорность и преданность.

Андрей наблюдал за романтической парочкой, и гнев искажал его лицо. «Это надо же так прикидываться! — думал он. — Поглаживает его плечи, а сама наверняка подсчитывает, сколько ей достанется после его смерти». Для Андрея было совершенно ясно, что ласки подобных практичных девиц находятся в прямой зависимости от степени богатства мужчин. Андрей твердо решил вывести ее на чистую воду.

Однажды в полдень, улучив момент, когда она вышла за калитку, Андрей подошел и, сухо поздоровавшись, сказал:

— Поздравляю вас, соседка, с удачным замужеством.

— Спасибо! — она вздернула плечи и растянула рот в издевательской улыбке. — Меня только тревожит здоровье моего мужа.

— Еще бы! — зло усмехнулся Андрей, как бы делая промежуточный ход.

Она изобразила величайшее изумление, словно не догадываясь, что Андрей имел в виду, словно все, в чем он ее подозревает, — ложные обвинения.

— Конечно, ведь он далеко не молод, — пояснил Андрей.

— Не поэтому, — фыркнула она. — Он болен давно. А сейчас он как раз молодой. У него молодой дух, и он оптимист, не то, что молодые по возрасту мужчины. Те зациклены на себе. Они эгоисты, живут только для себя. И помешаны на своей необыкновенности... А мой муж умный, талантливый и скромный. И очень добрый, отзывчивый, вот только... — она перешла на плаксивые нотки, — болен. Но я излечу его. Мы занимаемся спортом, много гуляем, осенью поедем к морю.

Больше Андрей с ней не разговаривал, только насмешливо здоровался при встрече, а она, отвечая на его приветствие, с брезгливым холодком смотрела в сторону.

В середине лета у писателя случилось обострение болезни. Девушка выводила его на участок, усаживала в кресло в тени под деревьями, рядом ставила столик с лекарствами. Она укутывала его пледом, читала вслух журналы и книги, говорила кротким голосом с горестным выражением на лице. Она выказывала прямо-таки искреннюю озабоченность, страшнейшее беспокойство состоянием его здоровья. В ответ он робко улыбался, как бы извиняясь за свою немощь, за то, что доставляет ей столько хлопот.

— У тебя такой прекрасный голос, — бормотал он. — Твой голос — лучшее лекарство для меня.

Случалось, она ненадолго отходила от мужа и тогда вроде бы украдкой всхлипывала и что-то взволнованно шептала, а после того, как на даче побывал врач, долго сидела за домом в глубоком унынии, опустив голову, и плакала почти неподдельными слезами. За всей этой слезливостью, наигранным огорчением пронизательный Андрей видел раздражение, вызванное тем, что ей приходится возиться со стариком, тратить свою юность

на беспомощную развалину. «Вот актриса! — сквозь зубы цедил он. — Строит из себя бескорыстную жертву».

Вскоре писателя увезли в больницу, и почти месяц дача пустовала. Но потом супруги появились вновь.

— В больнице сказали, что он безнадежен, — сообщила хозяйка Андрею. — Она забрала его оттуда. Хочет пригласить травознаек.

В самом деле, на дачу стали навещать гомеопаты и старухи с разными зельями. Девушка как бы в отчаянии металась от одних врачей к другим. Она просиживала около больного целые часы, иступленно ломала руки и что-то монотонно причитала. От этого бесчеловечного артистизма Андрей прямо-таки выходил из себя, шастал взвинченный по веранде и сыпал проклятия.

В какой-то момент писателю стало лучше. Раза два он даже прошелся по участку, одной рукой опираясь на локоть девушки, другой на палку. Он смотрел на уже увядающие цветы и желтеющую хвою и грустно улыбался; казалось, прощается со всем тем, что много лет ему служило приютом уединения и тишины, а последние месяцы — обителью счастья. На его лице была гримаса бесконечной скорби; казалось, он хотел сказать: «Как жаль, что именно сейчас, когда я только начал новую жизнь, меня так скрутило».

На исходе лета он умер. В тот день Андрей проснулся от странных звуков; приподнявшись, увидел, что на террасе писательского дома сидит девушка и, обхватив голову, протяжно воет.

Одни из посельчан говорили, что у писателя просто остановилось сердце, другие уверяли, что он принял на ночь снотворное и оставил записку, в которой просил прощения у молодой жены и сообщал, что не хочет быть ей обузой. Андрей считал последнее ближе к истине, но подумывал, что снотворное скорее всего подсунула сама девушка.

Через несколько дней Андрей съезжал с дачи. Собрав вещи, зашел попрощаться с хозяйкой. Она уже ждала его: напекла пирогов, разогрела самовар; за чаепитием сообщила последние новости:

—...А «жинка»-то, оказывается, уехала к матери в свою Ростовскую область. Выписалась из Москвы и уехала... И квартиру и дачу — все оставила первой супруге писателя...

ПУСТЬ ЗАВИДУЮТ!

Один мой знакомый — да что скрывать, в сущности это мой недалекий двоюродный брат — вообразил себя крупным поэтом. К пятидесяти годам он накатал множество стихов и даже издал пару сборников, но в его виршах чего-то не хватало, не знаю точно чего — пожалуй, души; они были неплохо отделаны, напичканы образами, но не будоражили, от них не становилось жарко или холодно. Все его строфы воспевали любовь. Это и понятно, для многих творческих натур женщины — почти основа жизни, именно почти, потому что все же основным является творчество.

Я работаю продавцом художественной литературы, то есть в какой-то степени тоже творческий человек, но, несмотря на зрелый возраст, еще окончательно не решил, что для меня важнее: женщины или книги, хотя уже склоняюсь к мысли: ни то, ни другое, а третье — общение с друзьями.

Так вот, о моем братце. Представьте себе рафинированного сноба, который пыжится выглядеть необычно, самоутверждается за счет роскошного костюма, эффектной прически, в компании пытается быть современным, щеголяет модными словечками, покуривает дорогие сигареты, но выглядит нелепо и курить не умеет: наберет дым за щеки и выпускает длинной струей. Все это и многие другие парадные демонстрации — от внутренней неуверенности и своей незначительности; известное дело, когда у человека маловато за душой, он старается привлечь внимание внешними атрибутами и показными штучками. Брат напоминает наших эстрадных идиолов: полуголоое тело, подпрыгивание, оглушительный визг, шокирующий текст — и ноль таланта, ничто не трогает сердце. Некоторые из этих самых идиолов прекрасны внешне и, возможно, прекрасны в семье, в дружбе, в постели, но зачем лезут на сцену! Оставались бы в семье или в постели.

Крайне интересен мой братец в интерьере своей холостяцкой квартиры, здесь с него спадает показной налет и обнажается истинное лицо — этакого седовласого юнца, большого мальчика, который так и не избавился от идеалистических представлений и стоит одной ногой в прошлом, другой в будущем, а настоящее переступает. Он живет в тумане, в пыльном тумане, в прямом смысле слов: годами не вытирает пыль «чтобы уйти от пошлой реальности». У него пыльные окна и занавески; толстым слоем пыль покрывает все вещи, большинство из которых страшно старомодные, из немыслимо далекого прошлого.

— Старые вещи, как ничто, дают почувствовать время, — изрекает брат. — Я собиратель прошлого... Пуританских ценностей...

Свои странности есть у каждого, но брат переплюнул всех. Как-то я хотел сдуть пыль с одной штуковины, чтобы лучше ее рассмотреть, брат тут же вспыхнул:

— Не вздумай! На старых вещах не только пыль, но и печаль!

Он вообще постоянно меня поучает:

— Тебе надо сменить гардероб (надо сказать, я годами ношу одни и те же вещи; галстуки не терплю, брюки не глажу, бреюсь раз в неделю).

И поправляет меня брат частенько:

— Не сколько времени, а который час. В твоём возрасте пора бы уже грамотно выражаться по-русски.

Я уже говорил, что достаточно близок к творческим людям, можно сказать, мы вращаемся бок о бок, как шестеренки, это вращенье особо заметно в клубе книголюбов — самом суматошном месте в городе, где по вечерам собираются поэты, художники, представители моей профессии; и, разумеется, это вращенье особо шумное под водочку, без которой нам никак не обойтись, без которой мы просто-напросто заржавели бы. Брат иногда наведывается в клуб, но открыто презирает наши дымные застолья. Брезгливо выпятив губы, он говорит мне:

— Меня поражает слабость твоего интеллекта (это говорит он, недалекий, ничего не петрящий в жизни стихоплет!). Сколько можно пьянствовать и попусту чесать языками? Сумбурные сборища — это более чем несерьезно. И эти ваши некрасивые грубые женщины!.. Ты на глазах распадаешься как личность. Дикий случай...

Скажу честно, общаясь с моим братцем, надо иметь крепкие нервы. Я-то его, полусумасшедшего, всерьез не воспринимаю, ведь он живет отшельником — ни друзей, ни женщин; на его дни рождения приходят, как на похороны, одни родственники: я и две наши тетки. А женщины... Их у него за пятьдесят лет было всего две: жена, которой он пускал пыль в глаза, — говорил о своей нечеловеческой славе, будто уже обеспечил себе бессмертие и стоит вровень с Пушкиным; лет пять она верила в эту ахиною, потом разобралась что к чему и бросила его. И была какая-то помаргивающая девица, которой он тоже пытался запудрить мозги, но она раскусила его еще быстрее. Такая горькая хроника. И вот этот дилетант в женском вопросе на прошлой неделе мне говорит:

— В одной редакции работают две секретарши, мои приятельницы. С одной из них у меня, возможно, будет грандиозный роман. Она сильно мной увлечена. В субботу я пригласил их в клуб, закажи столик, посидишь с нами. Но учти, это женщины высшего класса — не ваши клубные шлюхи. Они дамы комильфо, ты таких и не видел никогда. Веди себя предельно деликатно, тактично, без единого грубого слова. Сможешь?

— Постараюсь, — ляпнул я, подивившись везенью брата и его белоснежной идее.

— И смотри, не напивайся и будь гладко выбрит, прилично одет. И никого из своих дружков не подзывай, посидим вчетвером спокойно, — предвосхищая романтический вечер, брат сладострастно причмокнул.

Скажу начистоту, несмотря на немалый опыт в любовных делах, в субботу с утра я почувствовал некоторое волнение; как представлю приятельниц брата —этаких голливудских кинозвезд, по спине бежит что-то вроде озноба. Мы договорились встретиться в семь вечера. Какая была погода, не помню. Ну, пусть будет ветрено и дождливо — ведь с годами нравится всякая погода. Хотя, к черту! Лучше — светлый теплый вечерок. Я приехал в клуб раньше времени, заказал столик, выпил рюмку водки для храбрости, потом еще одну с известным поэтом и две — с неизвестным художником, и сразу почувствовал себя легко и весело. К сожалению, брат не оценил моего приподнятого состояния — появившись, мгновенно смерил меня изучающим взглядом, подошел и зло процедил:

— Уже принял, гад! В темпе ухаживай за дамами, помоги снять плащи!

Около зеркала крутились две высоченные крашенные блондинки, с невероятно яркой косметикой сверх всякой меры, обе вульгарные — дальше некуда; я не успел подойти, как одна откровенно подмигнула мне, другая выпятила губы, поддернула кверху и без того короткую юбку и, отключив зад, на мгновенье замерла, давая понять, что готова на все. Я понял, этих краль надо сразу тащить в постель, а не вести в ресторан элитарного клуба, но братец уже всю обхаживал блондинок: называл уменьшительными именами, у одной похвалил кофту — «мой любимый абрикосовый цвет», у другой, словно ботаник, внимательно рассмотрел брошь-цветок и восторженно щелкнул языком; с повышенной предупредительностью показал кинозал, где «бывает нечто интеллектуальное», и туалет, где «удобней привести себя в порядок», а когда блондинки процокали в интимное заведение, ни с того ни с сего умиленно брякнул:

— Королева и в туалете остается королевой.

Похоже, он совсем спятил от своих красоток и из кожи вон лез, чтобы соответствовать их запросам: спину выпрямил, живот втянул, победоносно осмотрел завсегдатаев клуба — те уже всю пялились на наших блондинок; в мужской клуб редко заглядывали женщины, и когда появлялись даже страшные — какие-нибудь квадратные, на них смотрели как на красавиц. А тут такое явление!

Пока шли в ресторан, брат чего-то верещал, что-то о себе, в том смысле, что он человек здравомыслящий, искушенный в делах и решительный в поступках. Блондинки молчали, всем своим видом показывая, что их молчание полно значения; я обнял одну из них — по имени Камилла; она закатила кошачьи глаза, прижалась ко мне и кокетливо хихикнула:

— Мне жуть как нравится красивая жизнь.

Похоже, это было правдой — на ней висело множество украшений, и она пахла, словно фруктовый сад, причем плодовый (позднее я узнал — у нее двое детей).

Брату показалось, что я чересчур увлекся — он подскочил и, как бы извиняясь за мою невоспитанность, расплылся перед Камиллой:

— Это брат так шутит. Показывает, как здесь себя ведут некоторые непризнанные поэты, — а меня сурово отвел в сторону: — Эта моя! Ухаживай за ее подругой.

Я переключился на подругу этой самой Камиллы, не помню, как ее звали, пусть — Маша; в общем-то, блондинки выглядели совершенно одинаково, и мне было все равно, какую тискать. Как только сели за стол, я сказал:

— Ну, девочки, что закажем? Водочку, салатик?

Брат вытаращил глаза и с отвращением поморщился:

— Ты хотя бы думай, что говоришь! Какая водка? Шампанское, коньяк!

В Камилле несколько секунд боролось «королевство», в которое ее возвел брат и в которое она играла, и врожденная порочность, последняя победила, и она игриво подернула плечом:

— А я бы выпила водки.

Маша ничего не сказала, ей было без разницы, что пить, она зыркала по сторонам, всем улыбалась и только и думала, какую часть тела показать.

— Под водочку хорошо идет селедка с картошкой, — продолжал я гнуть свое, но тут же почувствовал под столом удар брата, а над столом увидел его неестественно сияющую физиономию — он по-лакейски, с большой предосторожностью заглядывал в глаза своей Камиллы:

— Вы, Камилла, не откажетесь от паровой осетрины? И закажем фрукты. А кофе с мороженым позднее.

— Как скажете, — откликнулась «его любовь».

«Моя» Маша по-прежнему вертелась на стуле. Я погладил ее попу и шепнул:

— Клево здесь, верно? А потом двинем ко мне.

— Ага, — она кивнула, глядя куда-то мимо меня: ей было все едино — с кем и куда ехать.

Пока ждали заказ, брат решил развеселить наших подружек и не нашел ничего лучшего, как рассказать о своих болезнях (он вообще страшно любит рассказы о болезнях и умеет болеть — знает все причины и следствия своих недугов, ему в пору писать кандидатскую по медицине, а он строчит стишата), — дотошно и обстоятельно поведал о больнице, в которой недавно лежал, какие сдавал анализы, какие его окружали медсестры. Этим дурацким рассказом он преследовал

двоякую цель: бил на жалость, мол, болезни — издержки холостяцкой жизни (разумеется, он готов ее изменить с такой, как Камилла), и демонстрировал искусство общения с женщинами, представлялся опытным мужчиной (ведь медсестры не просто окружали его, но и влюблялись в него по уши).

—...Одна была строгая, официальная, холодная, другая постоянно посылала мне воздушные поцелуи и все говорила: «Когда выпишетесь, у нас будет нечто фантастическое». Но в день выписки, увидев меня, затряслась от страха и убежала. Зато строгая, холодная подошла и протянула свою визитку. В шутку я могу завести легкомысленный роман, всерьез — никогда! Ведь любовь — это избирательность, — брат взирал на Камиллу, будто на хрустальный замок.

— А где же подробности? — произнесла его «королева», явно намекая на сексуальные моменты.

Но никаких моментов не последовало — их попросту не было, брат держал эту историю наготове, но не смог придумать достойную концовку, его воображение дальше слюнявых поцелуечиков не шло. Чтобы поправить дело, я сказал:

— У меня была знакомая, которая с утра звонила и кричала в трубку: «Я тебя хочу!». Приезжала на такси, сбрасывала одежду, ныряла в постель, целовала меня до синяков...

Камилла залилась далеко не королевским смехом, Маша выдохнула:

— Класс!

Но брат метнул в мою сторону гневный взгляд:

— Может, ты умолкнешь?! — и снова повернулся к Камилле: — А однажды в своей палате я устроил поэтический вечер, после чего мне не давали прохода. Одна больная поджидала в холле под часами и каждый раз спрашивала: «Который час?». И томно опустив глаза, вздыхала: «Я в палате одна, ночью смотрю в окно».

Официант принес заказ и, к моему облегчению и к радости блондинок, прервал болтовню брата. После первой рюмки (мы с Машей выпили водку и в дальнейшем пили только ее, родимую; Камилла, чтобы не обижать брата и не выходить из образа «королевы», пригубила коньяк, но тут же попросила налить ей водки и дальше чередовала напитки; брат потягивал только коньяк; шампанское наши дамочки использовали в качестве запивки), — так вот, после первой рюмки Маша затараторила:

— У меня мечта... закадрить Юрия Антонова. Он здесь бывает?.. И хочу съездить в Венгрию, говорят там классно...

А Камилла откинулась на стуле, потянулась, как бы скидывая тяжелую королевскую мантию (ее уже тяготили обязанности важной особы), расстегнула на кофте верхние пуговицы, обнажив бюстгальтер приличных размеров, и, заметив, что за пианино сел тапер, потянула брата за руку.

— Пошли танцевать!

— С величайшим удовольствием, но... я не умею, — проронил брат. — И потом, здесь не принято.

— Плевать! — Камилла решительно забросила «корону» и перешла в свою естественную плоскость. — Пойдем с тобой сольемся в экстазе, — кивнула мне и встала. — Пусть смотрят, пусть завидуют!

В танце она прижималась ко мне животом, неистово крутила бедрами, бормотала, как ей нравится красивая жизнь, и еще успевала разглядывать посетителей и, по-моему, была не прочь потанцевать на столе.

Пока мы вращались в середине зала, брат прикончил третью рюмку, вероятно, чтобы приглушить ревность: на его лице я прочитал далеко не легкое чувство зависти ко мне, умеющему танцевать. Как все неопытные застольщики, после третьей рюмки брат захмелел и, желая подыграть своей разгулявшейся «королеве», показать, что и он не чужд эксцентричны выходок, рассказал пошлый анекдот и пару раз неумело, стесняясь, ругнулся — его анекдот не понял даже я, о секретаршах и не говорю. Заметив наши растерянные физиономии, брат закурил, закашлял, прослезился. В это мгновение меня сзади кто-то хлопнул по плечу, и я услышал поставленный баритон:

— Ленька, здорово, черт! Ты, как всегда, с женщинами ошеломляющей красоты! — за моей спиной стоял стариннейший друг Сашка Булаев, человек необузданный, с широким размахом — он был выпивши, невероятно развеселый, словно только что с праздника; впрочем, он каждый вечер устраивал праздники, один величественней другого, и утром никогда не жалел, что накануне много выпил.

— Я к вам! — гаркнул Сашка и бесцеремонно поставил на стол бутылку водки, кивнул брату, вроде, и не замечая его недружественного прищура, с насмешливым любопытством осмотрел наших дамочек.

— Садись, — ляпнул я по простоте душевной и тут же встретил ледяной взгляд брата — он шевельнул губами: «Не порть вечер!».

Сашка отошел за стулом, и я сказал брату:

— Не преувеличивай страхи, он мой друг, отличный мужик.

— Ну, приведи еще целую кодлу, — пробормотал брат приглушенным голосом, а Камилле пояснил: — Чем человек глупее, бескультурней, тем больше его тянет в стадо.

Сашка подошел — в одной руке тащил стул, другой обнимал официанта.

— Все самое лучшее! — приказал официанту, плюхнулся на стул, представился: — Александр. Фотограф. Неженатый, — открыл свою бутылку. — Польская. Из посольства. «Житная» называется.

— Пшеница, в переводе с польского, — сказал брат, желая сверкнуть обширной эрудицией.

— Нет. Рожь, — поправил Сашка и загоготал. — Очень полезна для души.

— Уморительно, хоть плачь! — Камилла протянула рюмку.

— Класс! — Маша тоже подвинула рюмку. — У меня мечта... съездить в Польшу.

— Поедем! — загрохотал Сашка. — Денег полно. Путевки раздобыть несложно. Но вначале всех приглашаю к себе. Обещаю сделать групповой портрет. Я лучший фотограф в Москве. Ленька, подтверди.

— За приятное знакомство! — Камилла подняла рюмку и расплылась.

— За вас! — Маша повернулась к Сашке.

— Вперед! — Сашка опрокинул рюмку, крякнул и безмятежно, с простодушной непосредственностью заехал в другую область: — Однажды я встретил женщину, она была страшно одинокая. Стало жалко ее, и я женился, ха-ха! А она играла в одинокую, привязывала и закабаляла жалостью. Через год я это раскусил и развелся. Теперь абсолютно свободный, ха-ха!

Маша тут же прильнула к нему и начисто забыла обо мне, и о брате, и о подруге. Камилла тоже выпила, подмигнула мне и, скосив глаза в сторону Сашки, подняла большой палец, а вслух возвестила:

— Мы тоже свободные.

Брат пить не стал, а на слова Камиллы угрюмо пробурчал ей в ухо:

— Напрасно вы так говорите. Он прохвост и ведет себя по-хамски.

Официант принес кучу закусок, но Сашке этого показалось мало, он притащил из буфета еще две бутылки шампанского и коробку шоколадных конфет, потом снова исчез и вернулся с букетом роз. Пока он отсутствовал, брат выдал мне очередную порцию недовольства (разумеется, рассчитывая на уши слушательниц):

— Этот твой друг обнаглел от богатства. Считает, что за деньги можно все купить, они заменяют ему и знания, и культуру. И ты дуешь с ним в одну дудку.

Дело попахивало ссорой; в таком положении спасает только чувство юмора. Я пошутил:

— В компании нужен весельчак, как массовик-затейник.

Но брату было не до шуток, он настроился весьма решительно.

— Вы оба допрыгаетесь! Или ты его турнешь из-за стола, или...

— Он смешной такой... и добрый, — проворковала Камилла, и брат, помрачнев, опустил голову.

Мы выпили еще, и Сашка продолжил веселить компанию — он выступал особенно настойчиво, точно и не замечал надутого брата, точно нарочно шел на риск.

—...Ленька знает, я был бедным фотографом. Раз еду в троллейбусе, и ко мне обращается молодая парочка: «Не могли бы вы нас снять?». А с камерой я не расставался... Я думал, они просто хотят запечатлеть свое счастье, но они привели меня на квартиру, разделись, сказали: «Снимайте!» и показали много секса. Потом пленку забрали и хорошо заплатили, ха-ха!

— Класс! — чуть не вскрикнула Маша, она уже напилась и готова была прямо за столом устроить стриптиз.

— Я хотела бы иметь свое фото... обнаженной, — засмеялась Камилла, и брат шархнулся от нее.

— Вы это серьезно? Чем больше женщина раздевается, тем меньше на нее обращают внимание... исчезает тайна.

— Чепуха! — Камилла вздернула плечи и состроила невинные глазки. — Когда я мало на себя надеваю, сбегается пол-улицы. Сниматься в одежде так старомодно.

Брат налил себе коньяк, опрокинул рюмку, поперхнулся и в полном расстройстве склонился над столом — наконец до него дошло «королевство» ненаглядной.

А Сашка все нагнетал обстановку, даже нарочно хотел казаться хуже, чем есть на самом деле.

—...Дальше я снимал на пляже нудистов. Отбоя от желающих не было — денежки так и сыпались. А я, не скрою, люблю, когда их много. Люблю их тратить, ха-ха!.. Ну вот, потом дал объявление — ну, немного зашифрованное. И что вы думаете? Телефон раскалялся от звонков... Однажды за мной заехали на «мерседесе», и я очутился в шикарной квартире, да... Две пары устроили интим. Денег мне отвалили, еле унес.

— Омерзительно! Замолчите!.. — брат стукнул кулаком по столу: с ним случилась истерика, ясное дело, недостойная взрослого мужчины, но она внушала некоторые опасения.

Наши дамочки притихли; Сашка понял, что переборщил, не предвидел бурную реакцию брата и красиво закруглился:

— Фотомиры, как ничто, дают почувствовать время.

Пошатываясь, брат встал из-за стола, и я подумал — сейчас огреет Сашку бутылкой, но он зло бросил мне:

— Отойдем!

Мы вышли к гардеробу, и он вцепился в мою рубашку.

— Ты негодяй! Весь вечер пошел насмарку! Зачем посадил этого подонка?! Ведь предупреждал — никого не сажай... И Камилла хороша... — он уронил голову и чуть не расплакался от сознания, что потерпел полный крах.

Когда мы вернулись, Сашка галантно распрощался, поцеловав руки наши дамочкам, меня хлопнул по плечу, а перед братом извинился:

— Простите, если сказал что-то не так. У меня бездна недостатков, но, поверьте, совершенно не хотел вас обидеть. Я сильнейшим образом уважаю всех Ленкиных друзей.

Через два дня я встретил его в клубе.

— Этот твой родственничек полный идиот, — начал он, после того как обнял меня и разлил водку, — трясется над бабами, которые в общем-то так себе... Когда вы с ним отошли, обе сунули свои телефоны. Я не просил, сами дали... Этой самой Камилле я позвонил, она сразу: «Здравствуй, дорогой». Я говорю: «Хочу с тобой встретиться». «Я тоже», — отвечает. «Хочешь, — говорю, — сразу приезжай ко мне, или пойдем в ресторан». «Как ты хочешь, дружочек», — говорит. Короче, она приехала и показала чудеса секса. А сегодня с утра и эта Маша приезжала, показала стриптиз.

СЧАСТЛИВЕЦ С НАШЕЙ УЛИЦЫ

Я отчетливо его помню. Он жил в конце нашей улицы. Бывало, идет по тротуару, высокий, стройный, в гимнастерке, перетянутой портупеей, с планшеткой, перекинутой через плечо, в пилотке, небрежно, с некоторым шиком сдвинутой набок, в новеньких скрипучих сапогах. Идет и навистывает модный мотивчик, со всеми здоровается, вскидывая руку к пилотке, и улыбается приветливо и дружелюбно — улыбка, как нельзя лучше, выражала его приподнятое состояние.

Когда он шел по нашей улице, мы, мальчишки, стонали от зависти, а девушки застывали в тихом восторге. Его имя было Ростислав, но все звали его Ростик. Мы знали о нем все: он закончил летное училище и служит в части на окраине нашего городка, живет с матерью-старушкой, у него есть девушка — по воскресеньям он гуляет с ней в парке и фотографирует ее «лейкой», он играет в защите местной футбольной команды «Крылья Советов», любит музыку и курит папиросы «Казбек»... Мы считали его невероятным счастливецом и торопили время, чтобы скорее вырасти и тоже стать летчиками.

В то предвоенное время на нашем аэродроме базировались самолеты И-2, которые назывались АДД — авиацией дальнего действия... Мы прибегали к закрытой зоне аэродрома, ложились на бугор и часами смотрели, как за колючей проволокой механики готовили машины к полету, как по летному полю сновали бензозаправщики, а с бетонной полосы на тренировочные полеты то и дело с ревом взлетали бомбардировщики. Мы знали их по номерам, и, когда взлетал экипаж Ростика, нас охватывал безудержный восторг, мы вскакивали и с криками бежали вдоль изгороди вслед за улетающим самолетом.

Иногда по вечерам Ростик появлялся на улице; мы сразу окружали его, чуть не висли на нем, а он, с неизменной улыбкой, по-взрослому, здоровался с каждым из нас за руку и называл «орлята»... Присядет на скамью, достанет папиросу, постучит ею о пачку, выбивая осыпавшийся табак, закурит и радостно скажет: «Прекрасный вечер!» Или: «Прекрасная погодка!» Или: «Сегодня прекрасно поработали!»

«Прекрасно» было его любимым словом. И наш городок был для него прекрасным, и на прекрасных самолетах он летал, и его девушка Аня была самой прекрасной на свете — не случайно он столько ее фотографировал! Ростик рассказывал нам о скоростных истребителях и о самом большом в мире самолете «Максим Горький», об испытателях парашютов, о перелетах Чкалова и о спасении челюскинцев. Он рассказывал увлеченно, с жаром, так, что нас начинала бить дрожь... Потом вдруг встанет, одернет гимнастерку:

— Ну, я пошел!.. А для вас есть прекрасное задание — научиться делать планеры и закаляться, как сталь. Сами понимаете — авиации нужны сильные и отважные парни...

Мы не пропускали ни одного матча команды «Крылья Советов». Особенно болели за Ростика, для нас он был лучшим защитником в мире. Даже когда «Крылышкам» забивали голы, мы не видели промахов своего кумира, просто считали, что вратарь «шляпа», и уж, конечно, не замечали мастерства соперников.

Однажды в воскресенье, направляясь с Аней в парк, Ростик пригласил и нас «покататься на карусели и сфотографироваться» — сделать, как он сказал, «прекрасный групповой портрет на память». Кажется, это был его последний снимок, и мне думается, он сделал его неспроста, предчувствуя долгую разлуку.

Мы получились смешно: горстка замызганных сорванцов вокруг Ани в ослепительно белом платье; у нас — напряженные позы, вытаращенные глаза, вымученные улыбки, а Аня, точно фея, — одного из нас обнимает за плечи, другого держит за руку, стоит непринужденно и улыбается фотографирующему нас Ростикку. До сих пор я храню тот снимок как бесценную вещь, как лучшее напоминание того безмятежного времени и... как свою боль.

В начале войны завод, на котором работал отец, демонтировали и отправили за Волгу. Вместе с заводом эвакуировали

семьи рабочих. Собирались второпях, брали с собой самые необходимые вещи; грузились в старые, продуваемые товарные вагоны, которые точно в насмешку называли «теплушками».

Наш товарняк тянулся медленно, подолгу простаивал на запасных путях, пропуская воинские эшелоны, спешившие на запад. В одном вагоне с нашей семьей ехала Елена Николаевна, мать Ростика, и Аня с родителями.

Елена Николаевна, сгорбленная старушка с усталым лицом, закутавшись в плед, сидела около печурки-«буржуйки», которая стояла посреди вагона, и рассказывала Ане о сыне. Почти с детской непосредственностью Аня выспрашивала у Елены Николаевны всяческие подробности из жизни Ростика до их знакомства, а после разговора забиралась на полку и рассматривала фотографии своего возлюбленного. Посмотрев фотокарточки, она перевязывала их бечевкой и прятала в чемодан. Я был уверен — эти снимки представляли для нее единственную настоящую ценность из всего утлого скарба ее родителей... Глядя на Аню, я испытывал романтическое любопытство к тайной связи между нею и Ростиком, ощущал себя причастным к великой любви.

Наш состав прибыл в Заволжье в конце лета. От железнодорожной станции до рабочего поселка, где нам предстояло жить, семьи и заводское оборудование перевозили на грузовиках по расхлябанной, размытой дороге, среди черных от дождей построек и жухлых кустарников. Часть эвакуированных, в том числе Елену Николаевну и Аню с родителями, расселили по частным квартирам. Нам предоставили общежитие металлоремонтного завода — дощатый барак со множеством комнат; раковина и туалеты — в одном конце коридора, кухня — в другом. Сколько я помню, в общежитии всегда царил полумрак и холод, только на кухне было тепло от «буржук». На кухне все и собирались: женщины готовили чечевичные похлебки, мужчины угрюмо курили самокрутки и обсуждали дела на фронте, мы играли в «махнушку» — кто больше подбросит ногой кусок меха со свинцовым кругляшом.

В школу ходили за три километра; на весь класс выдавали три-четыре учебника, тетрадей не было — писали на оберточной бумаге. После школы гоняли тряпичный мяч, играли в «расшибалку» и «чижа», лазали по свалке в поисках «ценных штуквин», через туалет пролезали в кинотеатр «Возовец».

Как-то, возвращаясь из школы, я повстречал Аню. Она первая окликнула меня и удивленно спросила:

— Чтой-то ты несешь ботинки в руках?

— Не видишь разве, они почти новенькие, — ответил я. — Мать недавно купила на базаре. Сказала: «Береги»... Я и берегу.

— Дурачок! Надень сейчас же, простудишься!

Аня заставила меня обуться, рассказала, что работает учетчицей на заводе, и похвалилась письмом от Ростика, при этом ее лицо посветлело. Я смотрел на нее и думал, что, когда вырасту и стану летчиком, у меня тоже будет невеста, такая же красивая и преданная, как Аня.

Однажды зимой мать послала меня в керосиновую лавку... Я брел по грязному, перемешанному с гарью снегу, пинал попадавшие куски льда и вдруг чуть не столкнулся с Еленой Николаевной. Она везла дрова на санках, ее седая голова была укутана драным платком, полушубок опоясывала веревка, из бот выглядывали тряпки. Она шла зигзагами, то и дело проваливаясь в придорожные сугробы. Когда я поздоровался с ней, она подняла на меня темные запавшие глаза:

— А-а, это ты! Здравствуй, здравствуй!.. Ты Аню случайно не видел? Первое время она часто заходила, а сейчас что-то редко... Вот уже месяц как ее не видела.

Я помог старушке подвезти санки, и в благодарность она пригласила меня «попить чайку».

Елена Николаевна жила в полуподвальной комнате, где стояли железная пружинная кровать с матрацем, из которого вылезали клочья ваты, «буржуйка» с длинной трубой, тянувшейся через весь полуподвал и выставленной в маленькое окно у потолка, расшатанный табурет и стол с алюминиевой посудой и свечой в ручейках застывшего воска.

Когда мы вошли в помещение, нас встретил тощий пес.

— Это Артур, — сказала Елена Николаевна. — Он был ничейный. Вдвоем-то нам веселее коротать время... Ты животных-то любишь? У нас с Ростиком всегда были животные... А в школе у тебя как, все хорошо? А мама с отцом как?.. Давай-ка с тобой растопим печурку, да заварим кипяток сухариками и попьем. Сухариков у меня много...

За чаем Елена Николаевна сказала:

— Хорошо, что тебя встретила. И помог мне, спасибо. И вот что. На-ка почитай мне письмо от Ростика... У самой-

то у меня зрение стало никудышное... Недавно получила. С фотографией...

Она достала из-под матраца конверт и протянула мне.

Я начал читать и сразу понял — старушка уже знала письмо наизусть: подсказывала слова, когда я запинался, и поправляла по памяти. Ростик писал про свой экипаж: о командире, штурмане, стрелке-радисте, о том, что у них замечательный самолет — «летает прекрасно, как пчела». Писал, что в их отряде появился лисенок. Его подобрали полузамерзшим и назвали Лиской. С Лиской они делятся пайком и берут с собой на вылеты. «Первое время, — писал Ростик, — Лиска боялась шума. А теперь привыкла, только надеваем комбинезоны, сама бежит к самолету и лезет в кабину». Ростик просил мать беречь себя и не волноваться за него и заверял, что они обязательно разгромят фашистов. В конце письма сообщал, что послал Ане пять писем, но получил только два, и те давно. «Почему она редко пишет?» — спрашивал он.

На фотографии Ростик выглядел отлично, как и прежде, как всегда: тот же приветливый взгляд, та же улыбка. На руках он держал остромордую зверюшку с пушистым хвостом.

— Вот так, — вздохнула Елена Николаевна, когда я закончил чтение. — У меня Артур, у него Лиска... А почему Аня ему не пишет, я и сама не знаю. Ведь она отзывчивая девушка и любит Ростика... И ко мне не заходит. Работы у них, конечно, много, они и в ночь работают, но все же не написать... Может, заболела? Ты бы ее разыскал, она где-то у завода живет...

Слова Елены Николаевны сильно озадачили меня, я никак не мог понять, почему Аня не пишет Ростiku. Ее молчание я воспринимал как личное оскорбление: «Пусть работает, пусть заболела, но не написать Ростiku!»

Неделю я проторчал у заводской проходной и наконец увидел ее. Она вышла с парнем в черном флотском кителе, весело кивнула мне, но тут же, прямо на моих глазах, как ни в чем не бывало, взяла матроса под руку, и они зашагали к остановке автобуса. Оторопев, я застыл; потом спохватился и устремился за ним.

Некоторое время я выслеживал их и отчетливо слышал, как он назвал ее «чудо природы», и видел, как на ее лице появилась счастливая улыбка. Потом до меня донеслись ее слова:

— Заходите ко мне в цех...

Дальше все дорисовало мое воображение, я понял: у Ани появился новый поклонник. «А как же Ростик?!» — моему возмущению не было предела.

Вскоре я выведал у заводских подростков, что матрос — вовсе не матрос, а шофер, что матросом он никогда не был и вообще освобожден от военной службы из-за какой-то болезни: просто живет рядом с Аней и провожает ее, «чтобы не напали хулиганы». Я немного успокоился, но все же решил выяснить, почему она не пишет Ростику.

Из-за Ани я сильно запустил занятия в школе, и, когда об этом узнал отец, мне порядком влетело. Слежку пришлось прекратить... Но к Елене Николаевне я продолжал наведываться раз в неделю. Весной она получила еще одно письмо; Ростик писал, что жив и здоров, что они каждый день «бомбят фашистов», что у них «вовсю бушует прекрасная весна, и девушки-техники, которые готовят самолеты к полету, кладут в кабину букетики цветов, чтобы мы знали, что нас ждут на земле». «А Лиска все летает с нами — она приносит удачу». В конце письма Ростик снова спрашивал, «почему Аня совсем не пишет?».

В тот день, когда я перечитывал Елене Николаевне это письмо, она сообщила мне, что в наш поселок приехал цирк шапито. Наутро на окраине поселка я и в самом деле увидел крытый грузовик и прицеп-фургон, облепленный афишами. Фургон был с дверью, окнами и откидными ступенями — целый дом на колесах... Подойдя ближе, я услышал в фургоне рычание собаки и мяуканье кошки. Заглянул внутрь, а там за яркими костюмами на табурете сидит усатый толстяк и... лает и мяукает. «Сумасшедший, что ли?» — подумалось.

— Похоже? — спросил мужчина, заметив меня.

Я кивнул...

— Ну, тогда садись, слушай дальше, — и он засвистел соловьем, заквакал лягушкой.

— Здорово у вас получается, — я прищелкнул языком. — Только зачем?

— Приходи вечером, узнаешь... Тебя как зовут? Меня Игорь Петрович...

Вечером около грузовика появился огромный шатер и будка-касса, вокруг которой выстроилась очередь. Я заглянул в фургон — Игорь Петрович сидел на прежнем месте и что-то клеивал.

— Залезай! — махнул он. — Вот билет на самое лучшее место. Отдашь контролерше, она тебя посадит. Только уговор — после представления поможешь разбирать лавки, договорились?

Я кивнул и, прижав билет к животу, дунул к шатру, потом взглянул на билет, а вместо него увидел клочок бумаги, на котором было написано: «Маша! Пропусти этого мальчугана!». Оторвавшись от «билета», я вдруг увидел — к шатру подкатила полуторка, и из нее вылезли Аня с «матросом». Они не заметили меня, хотя прошли совсем рядом, в двух шагах.

— Машина любит чистоту и смазку, а девушка — любовь и ласку, — проговорил «матрос», обнимая Аню.

Неожиданная встреча и присказка «матроса» сильно задела меня... Я мысленно сопоставил «матроса» с Ростиком, и на меня нахлынула жгучая обида, какая-то горечь подступила к горлу.

В том городке, где мы жили до войны, не было цирка, так что я совершенно не представлял, какое зрелище меня ожидает; только войдя под полог шатра и увидев множество ярких ламп и красный плюш на круглой арене, догадался — меня ждет что-то захватывающее. Оркестр из четырех музыкантов грянул марш, и я тут же забыл об Ане с «матросом», и о своих неурядицах в школе, и о родителях, которым даже не сказал, куда направился. Я ждал волшебства, и не обманулся...

Теперь, вспоминая то представление, я понимаю, что выступали довольно посредственные провинциальные артисты, но они были первыми циркачами, которых я видел, и поэтому навсегда остались в памяти. И еще — до сих пор передо мной стоят усталые лица зрителей — заводских рабочих, для них-то представление было отдушиной в тягостной, полной изнурительного труда и лишений жизни.

Больше всех запомнился клоун; он вышел на арену с резиновыми надувными зверями и, щелкая хлыстом, стал изображать укротителя: то стравит медведя с тигром, то сунет голову в пасть льва; и звери, словно живые, раскачивались и рычали. Иллюзия подлинности была полной, зрители покатывались от смеха, а я так просто давился хохотом... Когда погасли лампы и зрители начали расходиться, я увидел на манеже Игоря Петровича, и до меня дошло, кто за зверей подавал голоса.

— Ну как, понравилось? — спросил он, подходя.

Я ничего не смог ответить, только радостно закивал...

Мы принялись убирать лавки, и вдруг на полутемную арену выбежал черный пес и начал танцевать на задних лапах. Я остановился, стал наблюдать за собакой. А она расходилась вовсю: то прыгнет через невидимую планку, то перевернется в воздухе. Проделав трюки, пес раскланялся и заковылял к выходу, но наткнулся на барьер. Я засмеялся.

— Наш Чавка, — услышал я за спиной голос Игоря Петровича. — Он слепой... Два года назад после представления у нас загорелся шатер. Стали его тушить, а он рухнул и накрыл одного гимнаста. Думали, сгорел, вдруг видим — Чавка его из огня волочит. Оба дымятся. Сбили с них пламя, облили водой. Гимнаст выздоровел, а Чавка остался слепым.

Направляясь к дому, в одном из окраинных проулков я внезапно снова увидел полуторку «матроса». Машина стояла в тени под деревьями, но я заметил огонек папиросы в кабине, подкрался поближе и ясно разглядел рядом с «матросом» Аню.

...Летом мы подрабатывали на кирпичном заводе — подвозили к печи вагонетки с сырыми кирпичами. Несовершеннолетним разрешалось работать только по три часа, поэтому во второй половине дня мы отправлялись в парк, где проходили военную подготовку призывники в армию — мы смотрели, как они разбирают и собирают ружья, кидают учебные гранаты, и, конечно, мы ужасно жалели, что не можем вместе с ними отправиться на фронт.

Как-то в воскресенье, направляясь в парк, я заметил на скамье парочку. Молодые люди сидели в тени кустов и пили фруктовую воду.

—...Прохладная и вкусная, как раз то, что я люблю, — услышал я и сразу узнал голос Ани.

Сделав дугу, я приблизился к скамье со стороны кустов... Аня сидела с «матросом». Он что-то говорил вполголоса, а она, облокотившись на спинку скамьи и положив голову на руки, внимательно его слушала и то и дело вздыхала:

— Как интересно!

Мои прежние подозрения мгновенно подтвердились... «Вот сейчас, когда она здесь строит глазки этому «матросу», Ростик летит на своем бомбардировщике и бьет по вра-

гу», — подумал я, и ненависть к Ане охватила меня. Я следил за ними около часа. В какой-то момент «матрос» обнял Аню, и она с готовностью упала в его объятия. Я чуть не потерял равновесие и схватился за ветку; «матрос» обернулся.

— А-а, это ты, свисток! Ну как она, жисть-жестянка?.. Пойдем, Анютка!

Она даже не взглянула на меня, да и как могла взглянуть — ее глаза были закрыты, точно она в обмороке; покорно встала и взяла его под руку. Они проследовали к выходу из парка...

Я шел за ними до самого ее дома и, пока они прощались, стоял за деревьями и бросал в ее сторону гневные, презрительные взгляды... Когда «матрос» ушел, а она направилась к крыльцу, я вышел из укрытия и преградил ей дорогу. Видимо, у меня был угрожающий вид — ее лицо вспыхнуло.

— Предательница! — задыхаясь, проговорил я.

— Почему? Чем я тебя обидела? — удивленно спросила она, то ли не догадываясь, что я все знаю, то ли притворяясь, то ли просто еще витая в романтических облаках.

— Прокатись на машинке со своим липовым матросиком! — выпалил я и пошел в сторону. Где ей было знать, что их отношения с Ростиком давно были и частью моей жизни.

Как-то осенью, возвращаясь из школы, я увидел на окраине поселка мужчину в летной форме. Незнакомец шел, прихрамывая, опираясь на палку, рассматривал номера домов, что-то выспрашивая у встречающих прохожих.

Я подбежал к нему, он улыбнулся и отдал мне честь — точно так же, как и Ростик когда-то...

— Вот, ты, наверное, все здесь знаешь... Где здесь проживает Елена Николаевна?

— Знаю, пойдете. А вы... вы от Ростика?

— Угу, — нахмурившись, буркнул летчик.

Он смолк, а я насторожился, меня охватило какое-то недоброе предчувствие, и я поспешил его отогнать:

— Вы с ним вместе летаете?

— Отлетали, брат, — тихо проговорил летчик. — Я вот с протезом... А Ростик... Ростика уже нет. Погиб он. Вот не знаю, как это выложить его мамаше и невесте...

ВИД С ХОЛМА

Всю жизнь я ходил по земле, но посматривал на небо. Так получилось, что мое жилье всегда соседствовало с кладбищами, и волей-неволей я никогда не забывал о потустороннем мире.

До войны мы жили в Москве на мощеной пыльной улице около церкви. Наш дом примыкал к небольшому кладбищу за церковью — из окна виднелись черные витиеватые изгороди, кресты. В будние дни по кладбищу бродили разные любопытные — рассматривали фотографии усопших, читали посвящения, качали головами, вздыхали, но, по-моему, ничего близко к сердцу не принимали — я не раз наблюдал, как такие празднующиеся, отходя от церкви, затягивали песню.

По воскресеньям кладбище заполняли родственники умерших; они подправляли могилы, ставили банки с цветами и подолгу сидели на лавках, прикладывая платки к глазам. Утром на кладбище всю горланили птицы, а вечером слышался стук палки ночного сторожа, и среди надгробий прыгало светлое пятнышко от его фонаря. Случалось, сторож будил какого-нибудь полуночника, отсыпавшегося на могиле, и тогда слышалась долгая перебранка.

Мальчишкой я часто ходил с бабушкой в церковь. Особого впечатления церковь на меня не производила: я смотрел на зеленоглазых святых в позолоченных рамах, слушал хоровое пение, а сам думал, когда же наконец начнем с бабушкой зажигать свечи, и она даст мне вкусную просвиру. И церковные праздники я любил не за духовность, а за чисто земные отдельности: Вербное воскресенье — за то, что дарили вербу, Прощеное воскресенье — за то, что мне прощали все проступки, Пасху — за раскрашенные яйца и сладкий кулич. А глав-

ное, я любил церковные праздники, потому что их было много, и в эти дни меня не заставляли работать по дому.

В комнате у бабушки висела икона с лампадкой. Перед сном бабушка подолгу молилась и просила Бога о спокойствии для умерших. В основном для дедушки; чтобы там, на небе, у него общество было интересным, чтобы он почаще виделся с родственниками. Еще бабушка настоятельно просила Бога присматривать за нравственностью дедушки. Мне думается, об этом бабушка просила потому, что при жизни ее супруг был большой любитель поговорить о грехах своей молодости. Наверное, бабушка боялась, что и в загробном мире дедушка не оставил своих увлечений и Бог отправит его в ад, и тогда они с бабушкой не смогут встретиться. Каждый раз, когда я слышал бабушкины молитвы, потусторонний мир представлялся мне чем-то вроде нашей улицы, только с множеством цветущих садов, где из каждого дома льется музыка и полно лотков с бесплатными угощениями, где не нужно думать ни о еде, ни о работе. Короче, мне казалось, на том свете совсем не хуже, чем на земле, а кое в чем даже лучше.

Что мне не нравилось в бабушкиных молитвах, так это ее туманные просьбы к Богу. Они никак не вязались с моим представлением о Всевышнем. Я рассуждал так: раз он может все, а это мне постоянно внушала бабушка, — значит, от него и надо требовать конкретных вещей. Я начал с малого. Как-то шел по берегу Москва-реки и рассматривал следы птиц на глине: разные спиральки, галочки и лесенки. «Эх, — подумал, — найти бы сейчас несколько копеек, купил бы мороженое». И только об этом подумал, смотрю — передо мной лежат монеты. На следующий день мои желания усложнились: мне надоели осенние дожди — и я попросил Бога сделать зиму. К вечеру ударил морозец, грязь на дороге заостенела, и в воздухе закружили снежинки.

После такого явного проявления власти Создателя я пришел к выводу, что он готов выполнить все наши просьбы, просто не всегда может их разгадать. Чтобы он не тратил время на разгадки, я решил просто писать свои желания на бумаге. Помнится, тогда мне очень хотелось заиметь щенка. Я написал Богу записку и прикрепил ее на заборе у дома. Утром чуть свет подбежал к ограде и не поверил своим глазам — около забора сидел щенок. Придя домой, я составил внушитель-

ный список необходимых мне вещей. Целую неделю записка висела на заборе, но Всемогущий почему-то не расщедрился. Я нешуточно разозлился на Бога и несколько вечеров отчаянно доказывал бабушке его бессердечие.

Позднее я вообще засомневался в его существовании. Бабушка всегда говорила: «Что отдашь, то и получишь, сколько сделал плохого, все к тебе вернется». А я за свою жизнь столько знал подлецов, которые и жили припеваючи, и умерли, купаясь в счастье, и, наверняка, на небесах не жарятся на сковороде. Уже тогда мне казалось, что у религии есть изъян — она обещает вознаграждение на том свете, а ведь хочется и на этом получше пожить. К тому же, верующие стараются не грешить из-за боязни возмездия, а мне хотелось, чтобы в них говорила совесть — самый беспощадный судья внутри каждого из нас.

С довоенного времени ведут отсчет и мои собственные кладбища — тогда я начал хоронить околевших жуков, мышей и птиц. Не помню, с чего началось; кажется, меня надумила мать — она была большой гуманисткой и хотела сделать мое черствое сердце немного нежнее. Она своего добилась, но не учла одного обстоятельства — моей склонности к крайностям, я стал сентиментальным, как кисейная барышня. Чтобы меня приободрить, бабушка говорила, что есть другая жизнь — на небе и там всем воздается, что они недополучили в земной жизни. Это, конечно, несколько приободряло, но и вселяло смуту: я никак не мог понять, почему так нелепо устроен мир? Не проще ли Богу, если он всесилен, всех сделать бессмертными или по крайней мере так, чтобы каждый жил сколько хочет, пока не надоест.

В начале войны нас эвакуировали в Казань. Мы жили на окраине в общежитии около кладбища. Через кладбище я с поселковыми мальчишками ходил на речку Казанку удить рыбу и собирать моллюсков, из которых матери варили похлебку. Перед входом на кладбище калеки-нищие просили подаяние. Многие говорили, что одни из нищих «беспробудные» пьяницы, а другие — «скрытые» миллионеры, — в это второе нам, мальчишкам, естественно верилось больше. За входной аркой кладбища стояла церквушка с блестящими луковичами куполов, над которыми, как бумажный сор, кружили вороны и галки. За церквушкой начинались аллеи кладбища, заросшие акацией и брызгалкой «болиголова».

В начале кладбища изгороди окаймляли довольно приличные территории — некоторые размером с волейбольную площадку, за их решетками высились склепы, холодные мраморные изваяния и плиты с венками из железных цветов. По мере удаления от церквушки огороженные квадраты уменьшались и на окраине, перед спуском к реке, были уже такими крохотными, что казалось, в них хоронили стоя. Но именно там, на склоне оврага, места для усопших считались самыми лучшими. Не для покойника, конечно, — ему все равно, где лежать, — для его родственников. Оттуда, с холма, открывался прекрасный вид на речку и дальние заливные луга, с которых веяло сладким разнотравьем. Там, на холме, можно было посидеть, поразмыслить над жизнью и смертью.

В то время я много раз видел похороны, видел, как священник отпевал желто-синих покойников, их погребение, но по-настоящему слово «смерть» до меня не доходило. Моя жизнь только начиналась, и, казалось, ей не будет конца. Во всяком случае, я не мог поверить, что когда-нибудь умру. Погибнуть — еще туда-сюда. Это еще мог представить, особенно геройски и при свидетелях. Но просто умереть — ни за что! Я был уверен, что буду бессмертным или, по крайней мере, проживу дольше всех.

Наверное, именно этим объясняется моя тогдашняя бешеная храбрость. Мне ничего не стоило броситься вниз головой в незнакомый омут или влезть на высоченную березу и раскачиваться на тонких ветвях. Мне казалось, надо мной постоянно витает ангел-хранитель. Ну, а ребята, разумеется, были уверены в том, что я отчаянный смельчак. Я не переубеждал их, такое мнение меня устраивало. Больше того, я догадывался, что восхищение надо поддерживать, и с этой целью время от времени выкидывал какой-нибудь трюк, явно рассчитанный на публику: влезал по водосточной трубе на крышу двухэтажного дома или на карнизы верхнего этажа. Мои восхождения пользовались огромным успехом у прохожих, ведь я не просто лез, но еще и играл на нервах у зрителей: то делал вид, что соскальзываю, эффектно замирал в воздухе и висел на одних руках, то закрывал глаза и раскачивался — притворялся, что теряю сознание. Эти театральные сцены производили сильное впечатление, как-то я чуть не отправил на тот свет от сердечного приступа свою мать.

Однажды, чтобы закрепить за собой славу храбреца, я объявил, что ночью пройду через кладбище. Это считалось равносильным самоубийству — среди мальчишек только и говорили о разных духах и шатающихся по ночам мертвецах. В ту полночь приятели проводили меня до входной арки, подождали, пока я дошел до церкви, и побежали вокруг кладбища встречать меня у реки.

Как только я вошел в аллею, меня обволокла густая тьма с сырым могильным запахом; от мраморных плит и крестов повеяло таким холодом, что по телу пробежал озноб. На мгновение я пожалел о своей затее — все-таки это было мое первое столь близкое соприкосновение с загробным миром, и детский страх перед могилами и покойниками давал о себе знать. И все же я пересилил себя и пошел в темноту, во владения мертвецов.

Чем дальше я углублялся, тем становилось холоднее, и сильнее сгущалась тьма; но главное, над всем загробным миром стояла жуткая тишина. То тут, то там лопались перезревшие стручки акаций, и глухой звук падающих горошин казался какими-то голосами из-под земли. Где-то, как грозное предупреждение, послышалось карканье вороны. Несколько раз мне чудилось, что за могильными холмами кто-то прячется, но каждый раз я вовремя вспоминал о своем бессмертии и успокаивался.

Я уже прошел половину кладбища, как вдруг услышал сбоку какое-то цоканье — волосы на голове сразу встали дыбом, по спине побежали мурашки. Остановившись, я напряг слух. Цоканье приближалось. Теперь уже отчетливо различалось еще и чье-то дыхание — глубокое, тяжелое, с хрипотой. Меня затрясло, ноги стали ватными. Собрав все силы, я в панике припустился в сторону реки, но, не пробежав и десяти шагов, споткнулся о какую-то железку и упал, а когда поднялся, цоканье раздалось в двух шагах. Заледенев от страха, я закрыл лицо руками и замер. Кто-то огромный затоптался вокруг меня. Я чувствовал ветер, гуляющий по ногам, совсем рядом ощущал чьи-то тяжелые вздохи, но открыть глаза не мог. И только когда моего лица коснулось что-то горячее, я с криком отпрянул и почти хлопнулся в обморок, но увидел перед собой... лошадь! Она стояла рядом, со спутанными передними ногами и обмахивалась хвостом.

Когда я вышел на окраину кладбища, передо мной открылась невероятная картина: на склоне оврага, среди редких могил сидело множество влюбленных парочек; они сидели обнявшись и смотрели на речку, блестящую под луной, и на дальние дуга, из которых тянуло свежескошенной травой. Я смотрел на эту величественную картину, и меня впервые поразила мысль о соседстве жизни и смерти. Тогда я не сообразил, что в нашем городке влюбленным больше нигде уединиться, и эта фантастическая любовная идиллия мне показалась кошунством. А теперь, вспоминая об этом, я думаю о том, что многих из тех влюбленных уже похоронили на том же склоне, только пониже, и что, возможно, теперь около их могил тоже сидят парочки, правда, перед этими последними влюбленными уже должно открываться гораздо меньшее пространство. Впрочем, теперь уже наверняка окраина разрослась, и там появились скверы, и влюбленные находят более изысканные места.

Странно, но тот холм на окраине кладбища остался для меня некой обзорной точкой. Теперь, оглядываясь назад, именно с него я вижу и другие картины детства — например, свое второе кладбище животных.

В общежитие часто приходили похороны; и за годы войны весь окружающий животный мир стал для меня некой ареной вечного боя (чем, собственно, он и является, ведь в небе, в воде и на земле идет постоянная война за выживание). Мертвых жуков, мышей и птиц я рассматривал как павших солдат и сильно сокрушался, когда их находил (даже пропускал занятия в школе) и, как положено, устраивал похороны, даже напевал траурный марш, а дома на стене выводил кресты в память о погибших. К концу войны все наши обои заполняли чернильные и карандашные кресты. Это кладбище не давало мне покоя; стоило взглянуть на стену, как передо мной возникали все, кого я хоронил. Так и жил между жизнью и смертью.

В общежитии обитал ничейный пес Трезор. До войны у Трезора был хозяин — дядя Степан, но в сорок втором году он ушел на фронт. Прощаясь с жильцами общежития, заметил меня, подозвал:

— Уж ты, Лешка, береги моего Трезора, — сказал.

Сказал глуховато, вкладывая в эти слова исключительное доверие мне — мол, только тебе и могу оставить своего друга.

Однажды я услышал во дворе страшный визг — парни татары ловили Трезора. Он стоял у помойки, взъерошенный, испуганный, а один из парней приманивал его куском хлеба; за спиной парень держал железный прут.

— Ну-ка, ты, шкет, давай поймай пса, — угрожающим голосом сказал парень, когда я подбежал. — Сделаем из него шапку, а ты получишь двадцать копеек.

Я чуть не задохнулся от этого безумного требования.

— Не смейте! Это моя собака! — закричал и хотел обхватить Трезора, чтобы парень не смог его ударить.

Увидев меня, Трезор вильнул хвостом, заскулил, но тут же пригнулся и насупился, и вдруг рванул в сторону. Парень бросился за ним, я за парнем. Не знаю, откуда у меня взялись силы, но я догнал парня и вцепился ему в руку.

— Ах ты гад! — рывкнул парень и звезданул мне кулаком в лицо.

Лежа в пыли, размазывая кровь, я увидел, что Трезор побежал к шоссе, где взад-вперед неслись грузовики.

— Трезор! — крикнул я.

Он остановился, обернулся и в этот момент парень ударил его прутом по голове.

Глаза Трезора до сих пор смотрят на меня.

После гибели Трезора, меня преследовал сон: дядя Степан в гимнастерке, с автоматом наперевес, подходит ко мне, горько усмехается, «Эх, ты! — говорит глуховато. — Не убе-рег моего Трезора!».

С гибелью Трезора на наших стенах появилось еще одно кладбище — собачье-кошачье. Оно расширялось гораздо быстрее, чем кладбище насекомых, мышей и птиц, поскольку в то время собак и кошек отлавливали не только на шапки (для этого существовали целые артели), но и уничтожали в порядке борьбы с бродячими животными. Чаще всего их пристреливали, забрасывали в фургон и куда-то увозили (говорили на мыло, клей и костную муку). Таких бедолаг я просто символически отмечал на настенном кладбище. Но еще чаще собакам и кошкам подбрасывали отраву, и они умирали в самых разных местах. Я подбирал их и закапывал в овраге у Казанки, то есть хоронил по всем правилам, с погребальными словами, и опять-таки ставил на стене кресты. Души погибших животных постоянно витали в нашей комнате.

В конце войны нам жилось трудновато, и мать устроила меня на работу в больницу — подносить «утки». В морге при больнице работали два на редкость предприимчивых парня. Внешне они выглядели смехотворно: один коротышка, согнутый пополам ревматизмом, другой фитиль, прямой, как столб. В больнице было всего две каталки, обе стояли в операционной, и эти работники носили покойников на себе. Как-то я наблюдал такую сцену: по коридору морга, напевая далеко не грустный мотивчик, «согнутый» тащил на себе замороженный льдом труп, а навстречу ему шел «прямой». Поравнявшись, «согнутый» прислонил труп стоймя к стене, попросил у приятеля папироску, закурил, начал рассказывать что-то веселое. Такое привычное отношение к смерти явилось для меня шокирующим открытием.

Кстати, те работники морга жили неплохо: потягивали спирт в своем помещении, через черный ход выносили списанную мебель и продавали ее на барахолке. Случалось, в больнице умирал кто-нибудь из дальних деревень, и тогда родственникам покойного работники помогали с похоронами: сколачивали гроб и договаривались о месте на кладбище. Зарабатывали они прилично: кроме зарплаты, получали деньги за гроб, за заморозку трупа и за организацию похорон. А когда хоронили актрису из драмтеатра и гример забыл грим, этих прохиндеев осенила глубокая мысль — раскрашивать покойников. Гримировали они, конечно, ужасно, но старались усердно. Разумеется, за грим тоже сдирали денежки.

Со временем эти ловкачи открыли при морге настоящее похоронное бюро: на стене своего помещения навешали черных полос и объявления «Худоожественное оформление цветами» и «Лучшие похороны за низкую плату», достали люстру, патефон, грустную пластинку, наняли бабку, профессиональную плакальщицу. Бывало, стоит у них гроб, играет музыка, бабка заливается «неподдельными» слезами, за ней родственники промокают платками слезы на щеках, а у двери два гаврика: один, согнувшись, почти касается пола, другой — вытянувшись, подпирает потолок, — оба припечаленные, изображают глубокое горе.

После войны их лавочку закрыли, но, по слухам, они быстро устроились в трамвайное депо и стали процветать там.

Закончив школу, я приехал в Москву поступать в архитектурный институт. На собеседовании мне предложили нарисовать жилую квартиру. Я старательно изобразил комнату с балконом, коридор, санузел и кухню, обставил квартиру мебелью и протянул лист экзаменатору, дряхлому старичку — известному архитектору. Старичок склонился над моим рисунком, понимающе закивал, потом достал из кармана пиджака маленький, со спичечный коробок, продолговатый клочок бумаги и положил его на середину моей «комнаты».

— Это что? — спросил старичок, показывая пальцем на нарисованную тахту.

— Тахта, — ответил я.

— Очень хорошо, — кивнул старичок и подвинул свою бумажку, огибая тахту. — Пойдем дальше. А это что? Стол, да? Очень хорошо, — старичок продвинул бумажку мимо стола в коридор, и она уткнулась в угол между туалетом и входной дверью. — Стоп! А здесь не пройдем! Как гроб будем выносить, любезный?!

Только теперь до меня дошло, что продолговатая бумажка не что иное, как макет гроба.

— Вы еще молоды, конечно, — старичок поднял на меня глаза, — но будущему архитектору не мешает подумать и об этом.

Он достал из другого кармана ручку и перечеркнул мой проект, давая понять, что собеседование я провалил.

Понятно, ничто не проходит бесследно — этот эпизод прибавил мне опыта, я стал рассуждать: раз все живое рано или поздно имеет свой финал, к этому следует относиться как к естественному процессу, и больше того — не мешает подготовиться к нему.

До следующего года я скитался по городу, перебиваясь случайными заработками и ночуя, где придется. Как-то в поисках ночлега очутился у Ваганьковского кладбища и, шатаясь вдоль оград, заметил цветочный лоток и рядом какой-то склад-сарай. Перемахнув через изгородь, я проник в складское помещение, в котором стояли покрытые мхом кресты и венки из бумажных цветов, а на стене висели фанерные щиты с объявлениями: «Корыта под цветники устанавливаются по желанию владельцев», «Запрещается установка крестов и надгробий собственного изготовления». В углу по-

мещения лежали недавно сколоченные, пахнущие морилкой гробы. Я жутко устал, и выбирать не приходилось; поднял воротник куртки и прилег в один из гробов, но вдруг заметил — в помещении не было окна; пол освещала узкая полоса от разошедшейся двери. «Настоящий склеп, — мелькнуло в голове. — Усну и не проснусь. Наверняка Боженька нарочно подкинул мне это ложе, чтобы избавить от дальнейших мытарств». Естественно, к этому времени я уже сомневался в своей бессмертности... Рядом на полу лежали некрологи, написанные от руки: «...утрата, покинул нас... безвременно скончался». «Почему безвременно? — подумалось. — Как будто можно умереть вовремя».

Меня разбудил сторож, парень с одутловатым зеленым лицом. Он не удивился, увидев меня — наверное, и не такое повидал на своем участке.

— Давай поднимайся, — прохрипел. — Лучше подсоби малость. Жмурика привезли. На опохмелку заработаешь.

Сквозь дверной проем я увидел, как в ворота кладбища въезжает автобус с черной полосой на боку. Парень сунул мне в руки лопату, взял чугунный крест, и мы вышли из сарая.

— Чего ж в каморку не заглянул? — парень кивнул в сторону своего жилья. В десяти шагах за деревьями виднелся сруб, выкрашенный синей краской.

— Не страшно тебе здесь? — спросил я.

— А чего страшного-то? Живых надо бояться, а не мертвых... Работа она везде работа. Щас хоть ладно, расценки повысили. Место стоит сто пятьдесят рубликов, не меньше. Могилу выкопать — полста, ограду покрасить — двадцатник... Все думают, мы здесь деньгу лопатой гребем, а ты попробуй-ка выкопай яму. Особенно в мерзлом грунте. Враз ручонки отвалятся...

Целый месяц я работал помощником сторожа на кладбище, но, ясное дело, уже ночевал в каморке, и каждый вечер сторож рассказывал мне замогильные истории, после которых снилась разная чертовщина. И что странно, профессиональное, несколько циничное отношение сторожа к смерти уже не удивляло меня.

Каждое воскресенье на кладбище приходил мужик по прозвищу Гарим. Он был сутулый, с уродливым лицом, плохо одет и всегда нетрезв. Мрачный, угрюмый, он никогда

не общался с посетителями кладбища, старался незаметно пройти центральные аллеи, а углубившись в конец кладбища, в самый запущенный участок, начинал медленно обходить могилы, что-то бормоча и жестикулируя. Мужчины над ним подтрунивали, называли «звезданутым», молодые женщины от него отворачивались, как от полоумного, а пожилые шарахались, как от злодея, на котором лежит некое клеймо.

Однажды на том участке я утрамбовывал тропу толченым кирпичом и внезапно за кустами услышал:

—...Да, выпил... Нет, много не пью... Один, один... Да никого нет... Да не бойся, не женюсь. Верен тебе, сама знаешь... Клянусь... и не собираюсь жениться-то... Да и кто ж теперь за меня пойдет. Я ж мужик пьющий. Только ж ты и могла.

Раздвинув кусты, я увидел Гарима, он стоял над могилой и разговаривал с... покойницей. Переговорив с этой могилой, он подошел к другой.

— Здравствуй, Леха. Как, как... Тружусь помаленьку... Сегодня жуткий день провел... Да, все в порядке... Все там же, где ж еще! Заработок ничего, хватает, да и мне много не надо... Помню, как же... Не далее как вчера о тебе вспоминал... Да все так же, только ноги малость стали побаливать, а так ничего, спасибочко... Баба-то твоя? Я ж тебе говорил... Замужем она... Мужик он ничего, работающий, врать не буду, плохого ничего о нем не скажу... Дочь твою замуж выдали... Когда, когда... Еще не подошел срок, Леха, идти к тебе... Уж не обессудь...

Он пошел к следующей могиле; я, неслышно ступая, двинулся за ним. Он говорил еще с двумя друзьями, погибшими на фронте. И странно, для меня это не было иллюзией общения, он говорил не в пустоту — передо мной вполне зримо вставали его родные и знакомые. Из исповеди Гарима я заключил, что он на редкость душевный мужик, а его угрюмость от одиночества. Видимо, когда-то он пытался наладить контакты с окружающими, но натолкнулся на стену непонимания и ушел в себя. Это он и сам подтвердил позднее, когда я пригласил его в нашу каморку.

Прежде, чем обосноваться в Москве, я перебрал немало профессий: от грузчика до чертежника; снимал комнаты в разных местах (в пригороде), по-прежнему хоронил животных и устраивал настенные кладбища — обычно слабое,

еле различимое, чтоб не ругались хозяева. В конце концов, я освоил профессию художника-оформителя — писал по квадратам афиши в кинотеатре. Как оформитель я преуспел, даже купил подержанный «Москвич», и с того момента по ночам объезжал свой район, подбирал на улицах сбитых животных (иногда еще неостывшие трупы, но чаще пушистый комок — все, что осталось от собаки, кошки или птицы); останки отвозил на окраину и хоронил в лесопосадках. И, разумеется, на стене ставил кресты, и выпивал поминальные рюмки водки «за упокой души братьев наших меньших».

В Москве я обзавелся приятелями; с одним из них, студентом мединститута Котельниковым, сдружился особенно. Котел (так все его звали) серьезно занимался джазовой музыкой и играл на разных инструментах: на фортепиано, аккордеоне и флейте. Он и меня заразил своим увлечением, я стал торчать у него каждый вечер, а позднее, когда он сколотил небольшой ансамбль и начал играть в кафе «Синяя птица», сразу же после работы спешил в их подвальчик. Сам я не играл, только слушал да изображал ликующую толпу.

Не раз Котла и его приятелей-музыкантов приглашали играть на разные «точки»: в открытый цирк парка «Сокольники», на танцверанды и свадьбы. Где только они ни трудились, и я всюду таскался за ними. Как-то их пригласили работать в бане. Только посетители ушли, артель инвалидов, обслуживающая баню, сдвинула лавки в моечной зале и устроила вечеринку. Играли квартетом: бас, ударник, аккордеон и Котел — флейта. В зале стояла ужасная духота: пол еще не высох, с потолка капало, из парной клубами валил пар. Приятелям Котла было еще туда-сюда — они играли руками, а он-то еще и легкими! Чуть не задохнулся!

В другой раз они подрабатывали на кондитерской фабрике. После вечеринки работницы фабрики притащили коробки с конфетами и сказали: «Забирайте, сколько унесете, но спрячьте». Особенно повезло барабанщику — он набил полный барабан сладостей, а что уместится в футляре флейты? Тут, правда, я выручил Котла — предложил свою огромную кепку; он наполнил ее конфетами и нахлобучил на голову.

Но чаще всего ансамбль Котла играл на похоронах. Работники похоронного бюро сильно привязались к музыкантам, а во мне так просто души не чаяли — ведь я уже имел навык

в их работе и всегда бескорыстно им помогал. Помню, после первых же похорон, когда я хорошо поработал лопатой, они дотошно показывали мне новейшие доспехи: ампирные ограды, розовые гробы с черным тюлем.

— С этим жмурикам будет спокойно, — объясняли. — Отдохнут хорошо.

— С кладбищами у меня давние связи, — похвастался я как-то работникам. — Так что, когда откину сандалии, меня должны похоронить по-свойски, по первому разряду.

— Чудак! — усмехнулись работники. — Мертвому ничего не надо. Не все ль равно, куда отнесут?! Хоть на помойку!..

Эти работники были вымогатели те еще! Только родня покойника начнет выбирать могильные украшения, сразу жалуются:

— Все стали лучше жить, никто не мрет, не выполняем план...

У них были свои конкуренты. Как-то оркестранты Котла, вышагивая во главе процессии, заметили, что к кладбищу с другой стороны тянется еще одна группа людей. Работники заволновались, стали торопить возницу катафалка и родственников:

— Свободных могил только две, и одна в хорошем месте, другая – в плохом. Учтите, если подойдем вместе, придется бросать жребий.

Похороны грозили перерасти в спектакль, тем не менее, родственники засустились и прибавили шаг, а оркестранты соответственно заиграли быстрее и подошли к «хорошему месту» первыми. Родственники заплакали, работники для приличия выдержали паузу, затем пробурчали:

— Ну, хватит мучить покойного, отпустите его! — на веревках скатили гроб в яму и быстро заработали лопатами.

Само собой, я не остался равнодушным к их стараниям и помогал в поте лица. В этот момент мимо прошествовала вторая процессия, и ее работники показали кулаки нашим работникам.

Кстати, я думал: «хорошее место» — это могила под рябиной, но мне объяснили, что просто в том месте давно сгнил предыдущий гроб, и родственники могилу не навещают.

На обратном пути у наших работников было отличное настроение. В конторе они достали из-под венков бутылку вод-

ки, выпили и развеселились, будто никого и не отправляли на небеса.

Несколько лет спустя мы с Котлом по пути заглянули в ту контору. Нас встретили как родных: поставили на стол выпивку, а после расспросов показали фотографии в траурных рамках, на которых почему-то все лица были улыбающимися: один даже стоял с гамаком под мышкой и сигаретой в зубах, другой с зонтиком — казалось, они отправлялись не на тот свет, а на пикник.

— Наша школа, — объяснил Котел, когда мы вышли. — Есть такая песня: «Когда святые маршируют». В ней поется: «Что слезы лить, если человек хорошо пожил и оставил кое-что после себя?!». Вот и устраивают в его честь не грустную тризну, а веселые проводы, когда покойник и в могиле смеется над своим крестом. Правда, некоторые перегибают. — Котел кивнул на могилу, которая напоминала грядку, — на ней среди цветов виднелась клубника.

Что и говорить, на том кладбище было весело.

Кстати, теперь вот это веселое, даже ироничное, отношение к смерти мне ближе всего. Разумеется, это касается только пожилых людей, ведь как ни крути, а смерть от старости вполне логична и справедлива. И скажу без ложного кокетства, не хочу, чтобы друзья печалились на моих похоронах. Я живу неплохо, и личная жизнь у меня сложилась — может быть, не совсем так, как хотелось бы, но у кого она складывается идеально? Таких немного, и мне кажется, они специально рождаются для счастья, чтобы другим было к чему стремиться. Зато с работой мне повезло — делаю то, что нравится. Конечно, за свои пятьдесят лет еще не сделал такого, чтобы по-настоящему был доволен, чтобы мог спокойно умереть, а время уже поджимает, и надо спешить, но, может быть, еще сделаю, кто знает. А если не сделаю — сам виноват. Во всяком случае, я выполняю работу в меру сил и с чистой совестью могу сказать: «Это лучшее, на что я способен». Так что не хочу, чтобы меня потом оплакивали — это четкое завещание друзьям.

Оглядываясь назад, на прошлое, я как бы вижу ретроспективу своей жизни. Одна картина наслаивается на другую, некоторые совсем размыты и, как ни силюсь, без осязательных потерь их не восстановить.

В двадцать четыре года я влюбился. Моя избранница не захотела встречаться в «какой-то коммуналке» и сняла комнату... в Ново-Девичьем монастыре. Она была известной манекенщицей, холодной красавицей, которая любила все необычное: необычную одежду, комнату в необычном месте. Она встречалась со мной, потому что я ничего из себя не представлял — для контраста, чтобы лучше выглядеть на моем фоне и чтобы доказать мужу, известному художнику, с которым «рассталась на время», свою непрактичность (он обвинял ее в чрезмерном стремлении к богатству).

В центре монастырского двора стоял деревянный четырехквартирный дом, в котором жили дворники. У одной дворничихи моя возлюбленная и сняла маленькую комнату, метров восемь. До нас в комнате обитала еще одна манекенщица со своим поклонником, а до нее еще какие-то влюбленные — из этого я заключил, что под сводами монастыря совершаются далеко не святые дела. Впрочем, может, наоборот — самые святые.

По вечерам к хозяйке навещался местный участковый милиционер, но за все три месяца, что мы прожили в монастыре, он ни разу нас не побеспокоил, хотя, по общепринятым понятиям, мы выглядели сомнительными жильцами (без прописки). Больше того, у меня с участковым установились вполне дружеские отношения. Мы приезжали в монастырь поздно, после работы, когда из него уходили последние посетители и участковый запирает чугунные ворота. Повесив замок, он никогда не забывал оставить для нас приоткрытой соседнюю дверь и, если мы с ним встречались в монастырском дворе, он улыбался и подмигивал мне, давая понять, что между нами существует тайное соглашение.

После ужина мы с моей подружкой вновь выходили за ворота монастыря, спускались к озеру, и я плавал — хвастался своим «брассом», больше мне нечем было завоевывать любовь женщины. Моя красавица не купалась — ее не устраивала непроточная вода, отсутствие золотого песка и зрителей, которые могли бы оценить ее купальник.

В монастыре я познакомился с полуглухим звонарем, который на колоколах играл Моцарта, и со многими другими интересными людьми, только со старушками, которые с утра до вечера торчали в обители, так и не нашел общего языка;

каждое утро они вереницей проходили мимо наших окон, отчаянно крестились и называли нас «антихристами».

На монастырском кладбище мы побывали всего один раз. Рассматривая могилы знаменитостей, я вдруг заметил в стороне скромное надгробие юной девушки. С фотографии на меня смотрело чистое умное лицо, и я подумал, как обидно, когда человек умирает в раннем возрасте, не испытав ни радостей, ни горестей бытия, и, конечно, ему должно все воздаться там, на небе. Было бы слишком жестоко и несправедливо, если бы жизнь заканчивалась здесь, на земле, ведь многие люди живут не так, как заслуживают, у многих не осуществились мечты, многие не были счастливы.

Через несколько месяцев моя манекенщица хотела было вернуться к мужу (посчитала, что достаточно доказала свою непрактичность), но потом внезапно передумала и выкинула очередную необычность — предложила мне расписаться (этим ошеломляющим поступком она решила убить мужа наповал, ведь им предстояло еще развестись). Короче, вскоре мы расписались, вступили в кооператив на Преображенке и около года жили в новом доме недалеко от кладбища. Понятно, мы были слишком разные, и наша семейная жизнь не сложилась.

Некоторое время я жил в комнате приятеля на Шаболовке... и опять около Даниловского кладбища. Это уже было какое-то предначертанье, определенный рок. Я никуда не мог деться от мест вечного упокоения и чуть ли не каждое утро просыпался от грохота похоронного оркестра. Я был жизнерадостным человеком, но постоянное соседство с кладбищами сделали меня пессимистом. Могилы и кресты постоянно омрачали мою жизнь, я никогда не забывал о потустороннем мире. С годами я уже воспринимал кладбища неотъемлемой частью пейзажа, похороны — будничным делом, а всякую жизнь рассматривал как некую дорогу на небо. Кстати, я и теперь живу около кладбища. Головинского.

За прошедшие годы кое-что произошло, и прежде всего, я побывал в браке еще раз. Я встретил женщину, которая не была красивой и не была стройной, зато любила животных и музыку — то, что и я люблю, но главное, она излучала веселье, смеялась по каждому поводу, что ни скажу — хохочет. «Ее жизнерадостность, как нельзя, кстати, — подумал я. —

Она скрасит мой похоронный настрой, траурный взгляд на жизнь, сумеречное состояние души» (не было дня, чтобы я не подбирал мертвых животных и не выпивал по этому поводу). Короче, я женился на хохотушке, от которой можно было оглохнуть, в хорошем смысле слова. Целый месяц я не выпивал; «Главное, в начале отношений не делать промахов, потом, когда жена привыкнет, делай что хочешь — все простится», — размышлял я в период воздержания, ну, а через месяц, естественно, потихоньку стал наверстывать упущенное.

Первый год все шло неплохо. Как многие жизнерадостные люди, жена испытывала постоянную потребность в празднике, любила не запустение, а процветание, не старые, обшарпанные дома, а новые, сверкающие; и, когда ехала в поезде, смотрела только вперед, как бы в будущее, в отличие от меня, который смотрел на убегающий пейзаж, как на прошлое. Естественно, она не верила в «царствие Божье», и вообще не принимала все мертвое, тусклое, и обожала яркие, звучные краски, больше всего — зеленый жизнеутверждающий цвет (она носила ярко-зеленые платья, ядовитые, до рези в глазах). В моей комнате появились прозрачные зеленые занавески, зеленый торшер, и, наконец, жена принесла связку зеленых обоев.

— В выходные дни оклеим комнату, — сказала с прекрасным лукавством. — Заклеим твои дурацкие кладбища. Эти настенные объекты, печальные списки навевают мрачные мысли. А зеленый цвет — цвет надежды. Я надеюсь, ты перестанешь выпивать и добьешься в работе больших успехов. Мы обменяем твою маленькую квартиру на большую и в зеленом районе и купим новую машину. Желательно зеленого цвета, — жена хохотнула, очевидно, вполне зримо представляя наше прекрасное будущее.

— Все будет, дорогая, но не в одну зарплату, — отвечал я, довольно остроумно, как мне казалось (влияние жены все-таки чувствовалось).

Надо сказать, к этому времени на моих стенах появилось еще одно небольшое, но крайне скорбное кладбище — умерших приятелей; под каждым крестом стояли имя и фамилия покойного и дата смерти. Этому главному кладбищу я отвел самое видное место и, разумеется, часто устраивал поминки по усопшим; отмечал их дни рождения и смерти, именины

и важные события в их жизни, короче, поводов для выпивки набиралось прилично.

Обычно сразу после работы я направлялся в ближайшую забегаловку, а по пути вспоминал кого-нибудь из умерших и, если с ним не было связано никакой знаменательной даты, просто припоминал наши отношения. Как положено, я заказывал две рюмки водки (одну себе, другую покойному), садился в углу, вызывал душу покойного и начинал разговор: рассказывал о себе, докладывал, как поживают общие знакомые и близкие покойного (совсем как Гарим с Ваганьковского кладбища). Потом, с разрешения своего невидимого собеседника, выпивал и его рюмку, но тут же повторял заказ и снова ставил ему водку.

Случалось, после третьей или четвертой рюмки, покойные начинали мне возражать, а то и укорять — будто бы я редко хожу на кладбище и мало забочусь об их живых близких, но это случалось крайне редко, обычно они просто внимательно меня выслушивали — покойные были самыми благодарными слушателями. Прощаясь с ними, я всегда говорил: «Увидимся в другом мире!». Понятное дело, выпивая, я как бы переселялся в безвоздушное пространство и порой начисто забывал, на каком нахожусь свете.

Но я отвлекся, вернусь к разговору с женой. Так вот, раскатило захохотав, жена предложила оклеить комнату зелеными обоями. Я был не против обновления комнаты, но с условием — кладбища перенести на новые обои.

— Хм, ты бездушный человек, — недовольно хмыкнула жена. — Вернее, ты думаешь о мертвых душах, а не о живых. Ты живешь на небесах... — она сказала еще что-то в таком духе и залилась ироничным смехом, но я настоял на своем.

После того, как мы наклеили обои, и я один к одному перенес свои кладбища с засаленных, засиженных мухами мест на светлые зеленые просторы, жена произнесла короткую речь:

— Я вышла замуж, чтобы было прислониться к кому, иметь поддержку, но от тебя не вижу никакой поддержки. Все мои начинания наталкиваются на упрямство. Со своими кладбищами ты как гробокопатель! К тому же, ты никак не можешь бросить пить, у тебя слабая воля, тебя самого надо поддерживать.

Это была сильная и яркая речь. Ее жена произнесла без всякого хохота. И в последующие дни не хохотала, только улыбалась, уничижительно и едко.

Через три года мои кладбища, естественно, разрослись.

— Ты превратил комнату в колумбарий, — ворчала жена (теперь она редко улыбалась). — И вообще, у меня была надежда, что ты чего-то добьешься... Но, похоже, моим надеждам не суждено сбыться. Ты как сидел на своих афишах, так и сидишь. И впереди никаких перспектив... К тому же, ты горький пьяница, с тобой не на что надеяться...

Дальше события развивались стремительно и завершились бурным исходом. Однажды, вернувшись с работы, я не застал жену дома, больше того — исчезли все ее вещи. В растерянности прошелся по комнате и вдруг заметил — на главном кладбище красуется большой жирный крест; под крестом зияли мои инициалы и размашистая подпись: «Ты для меня умер!». И крест, и подпись были выведены зеленой краской, видимо, с надеждой, на мое воскрешение в новом качестве.

И вот здесь я подошел к последнему этапу своих возрастных рассуждений о смерти — кончине близкого человека. За эти годы я похоронил немало родственников и друзей, на моем «главном кладбище» уже много фамилий, и я часто отмечаю грустные юбилеи.

Бывало, хоронил друга моложе себя, и тогда становилось стыдно перед ним — получалось, я задержался в этом мире, а потом думал: «Мне-то еще рановато отправляться на небеса, еще кое-что и здесь нужно доделать».

Первые мои похороны прошли не совсем гладко. Умер мой дальний родственник. В приемной морга мне выдали медицинское заключение и размеры покойного. Из морга, чтобы заказать гроб, я двинул в похоронное бюро, вернее в бюро ритуальных услуг. Оно находилось в загсе на улице Юннатов: из одной двери, под марш Мендельсона, выходили молодожены с живыми цветами, из другой — выносили венки из бумажных цветов с траурными лентами. У обеих дверей плакали, но, понятно, разными слезами.

— У нас все предусмотрено для удобства обслуживания, — вежливо пояснили мне в бюро. — Вам самим ничего не нужно делать. Завтра к вам придет агент и все оформит.

На другой день появился агент, молодой, деловой парень. Сразу извинился и попросил разрешения позвонить приятелю:

— А вы пока посмотрите альбом, выберите гроб.

Альбом просто распухал от цветных фотографий всевозможных гробов: от детских до «колоды»; простые, без украшений и с окантовкой, обитые материалом с оборками. Под фотографиями стояли цены.

— Значит, так, — сказал агент, закончив телефонный разговор. — Свидетельство о смерти можно оформить только завтра, там по очереди. Но, сами понимаете, закон — это столб, который нельзя перепрыгнуть, но можно обойти. Если желаете, сделаем сегодня. Это обойдется недорого. Затем, судя по размерам покойного, нужен гроб «колода». Их сейчас нет, но за определенное вознаграждение гробовщики могут быстро сделать. Как, звонить или нет?

— Ну конечно, если можно.

Он договорился с гробовщиками.

— Теперь, какого числа думаете хоронить? Завтра же? Не знаю, не знаю, найдется ли свободная машина. Но опять же, закон — это столб... Все можно сделать за небольшую плату... звонить, да? Хорошо, звоню на автобазу, заказываю машину. На который час? И на какое кладбище повезем? У вас нет своего места на кладбище? Хуже. В черте города не хоронят. То есть за определенные суммы и тузов. Как вы знаете, у нас и на похороны привилегии. Одних на кладбища, куда и живых не подпускают, других подальше. Но в черте города трудновато... Не надо, да? Хорошо. Значит, в крематорий? Значит, повезем в Николо-Архангельское. Так и запишем.

Он дозвонился до автобазы, жажал трубку рукой.

— Только на вечер. Хотите утром? Но сами понимаете, это сделают только для меня, и шофер не должен быть в накладе.

Положив трубку, агент вздохнул:

— Ну, вот основное сделали.

Аккуратно, каллиграфическим почерком он заполнил квитанцию.

— Так, ну теперь, значит, по какому залу будем хоронить?

— По скромному. Мы не будем устраивать ничего пышного.

— Все понял. Значит, так. По первому залу с музыкой двадцать минут — пятьдесят рублей, по второму тоже с музыкой, но десять минут, по третьему, без музыки, — три минуты.

— Да, да, самый дешевый зал. Простые, скромные похороны. Денег у нас маловато.

— Все понял. Значит, по третьему залу. Боюсь, он весь расписан, но попробуем, закон — это, сами понимаете...

Он переговорил с кем-то из крематория, я заплатил по счету, сверх суммы дал ему тридцать рублей, и мы попрощались.

— Счастливых вам похорон, — улыбнулся агент.

На следующее утро я приехал в морг раньше родственников, привез выходной костюм покойника. Во дворе уже стоял автобус с траурными полосами на бортах. Я поздоровался с шофером и позвонил в приемную. Вышли два парня с помятыми лицами. Взяв костюм, один из них буркнул:

— Жди десять минут.

— В крематории народа много? — спросил я у шофера.

— Много-то много, но идет быстренько. Знаменитостей разных, ясненько, не спешат. Речи говорят. А нашего брата раз-два — и готово.

Крематорий выглядел впечатляюще: строгое плоское здание с красивыми подъездами, но в списках третьего зала нас не оказалось. Нам предложили кремацию по второму залу с доплатой. Я возмутился, и, видимо, не на шутку, потому что девицы из конторы сразу решили пустить нас по второму залу без доплаты, меж списка.

С полчаса мы толпились у дверей зала, дожидались, пока какие-нибудь провожающие не замешкаются. Наконец у одних не завелась машина, мы подогнали свою, быстро поставили гроб на каталку и ввезли в зал. Спокойная деловая женщина в черной мантии с молотком в руках взяла нашу квитанцию и прибила гвоздем к крышке гроба. Потом нажала какую-то кнопку, и гроб медленно поплыл вниз. Играла музыка. Мы бормотали последние слова прощания с покойным... Жалюзи на полу закрылись, пол сровнялся, как будто минуту назад и не было перед нами никакого гроба.

Весь обратный путь родственники пилили меня за плохую организацию похорон; они успокоились только, когда увидели, что я вполне реабилитировал себя, закатив щедрые поминки.

Со временем, набравшись этого малоприятного опыта, я стал по-настоящему профессиональным похоронщиком, можно сказать, приобрел вторую специальность. Если кто умирал — тут же звали меня. Я уже был «подготовлен» к таким событиям всей своей предыдущей жизнью и переносил их более-менее стойко.

Как-то, возвращаясь с кладбища, я вдруг понял всю непоправимость смерти и подумал: «Вот так скоро и меня повезут по этой дороге. И потом уже может больше ничего не быть, никакой загробной жизни. Ничего и никогда! Ну не случайно же все живое так отчаянно борется за жизнь!». Это запоздалое открытие прямо перевернуло мое сознание — я стал, наконец, по-настоящему ценить жизнь. Точно заново родившись, я радовался восходу солнца, гудению пчел над цветами, чириканью воробьев в листве, лаю собаки, разговорам соседей, голосу незнакомой девушки, которая с балкона что-то кричала своему парню, задушевной беседе стариков на скамье перед домом... «Эх, начать бы все сначала, — рассуждал я. — Уж я не совершал бы необдуманных поступков, не выяснял бы отношения с женами, не вел бы с друзьями многочасовых разговоров за бутылкой... экономно тратил бы время — свое бесценное богатство». Но тут же понял, что обманываю себя: была бы у меня вторая жизнь, прожил бы ее точно так же, как первую. Не смог бы я постоянно прикидывать и взвешивать свои поступки — у меня не было опыта; не мог бы не выяснять отношений с женами — был молод и ранним; не мог бы встречаться с друзьями только по праздникам, в пределах благоразумия. Таким уж я родился, таким меня запрограммировала природа. И все мои хорошие и плохие дела, все мои боли и радости — есть моя собственная жизнь, и ее я никогда не променяю на самый прекрасный рай.

И еще теперь знаю точно: нельзя постоянно думать о том, что все имеет конец, и всякие жизненные передраги воспринимать всерьез — иначе никогда не будешь счастливым. Теперь я по-прежнему посматриваю на небо, но только для того, чтобы полюбоваться им.

ПОЕЗДКА НА ДАЧУ

Он был сыном то ли пятого заместителя министра, то ли какого-то референта, я точно не помню, но что помню совершенно точно — он отличался от всех моих знакомых раскованностью, уверенностью в себе, ненаигранным безразличием к собственному благополучию, умением красиво тратить деньги и смешивать серьезное со смешным. Он учился в Институте международных отношений, ежегодно проходил практику за границей и жил с родителями в огромной квартире, обставленной такой мебелью, какую я видел только в музеях.

В институт он ходил в фирменном костюме, но, встречаясь со мной — в то время начинающим художником, носившим одежды, как цыган, до полного износа, — он надевал выцветшую неглаженую рубашку и потертые брюки. Эти переодевания он устраивал не для того, чтобы не ставить меня, голодранца, в неловкое положение, — до высот такого благородства он не поднимался, — просто, как многие чрезмерно богатые люди, не придавал значения такой чепухе, как одежда, и вне своего рафинированного учебного заведения, где полагалась приличествующая внешность, позволял себе надевать то, что попадалось под руку. Это была своего рода пресыщенность богатством, некое неприятие всяких условностей, а скорее — желание расслабиться от официоза.

Он был неглупый, способный от природы парень, и в обществе сокурсников, где в основном говорили о предстоящей карьере атташе или консула, об «иномарках» и зарубежных кинозвездах — да и не говорили, а произносили обтекаемые фразы со стандартными улыбками (боялись стукачей), — попросту изнывал от скуки. Не раз он жаловался, что завидует моей неустроенной «пиратской» жизни. Он тянулся ко мне еще и потому, что имел хобби: изредка занимался живопи-

сю. Помню, мы все планировали съездить на этюды, но дальше планов дело не пошло. Однажды даже укатали за город, но за этюдники так и не сели.

В тот день он совершил две ошибки: во-первых, предложил писать пейзаж на ведомственной даче отца и, во-вторых, пригласил за компанию двух сокурсниц, хотя вовсе не был помешан на девчонках. «Для творческой атмосферы», — пояснил мне. Позднее я понял, почему он так поступил: уже привык вращаться в определенной среде и, несмотря на неприязнь ко многому из того, что его окружало, уже не мог жить иначе, не мог вырваться из четко очерченного круга.

Он заехал за мной на «Чайке» отца — «членовозе», как их называли, огромной машине, похожей на приплюснутый броневик, но сверкающий лаком и никелем. Я не успел и рта раскрыть, как он подтолкнул меня в просторный салон и, когда я плюхнулся на глубокое мягкое сиденье, бросил шоферу:

— На дачу. Но вначале на Кутузовский. Прихватим одних девиц.

— Слушай, — шепнул я ему. — Для чего это все?! Договорились поработать, а ты устраиваешь какой-то пикник. И перед шофером неудобно.

— О чем ты говоришь?! — он поморщился. — Пару часов напишем этюды, потом побалдеем. Там отличный сачкодром, и у меня есть завальные диски, подвигаемся.

Несмотря на внушительные размеры, машина двигалась бесшумно и плавно. Я заметил справа от шофера телефон и поинтересовался у приятеля: можно ли из машины звонить в любое место или только в определенное?

— Хоть куда, — хмыкнул приятель, удивляясь моей наивности. — Хочешь, схохмим, брякнем девицам, что ты сын какого-нибудь посланника. Они кадрят только таких, упакованных.

— Ни в коем случае! — запротестовал я. — Вообще ничего обо мне не говори.

— Ладно, — приятель великодушно хлопнул меня по плечу.

Что мне в нем нравилось, так это ироничное отношение к людям своего круга. Как-то он обронил:

— Богатых тянет к себе подобным, они становятся меркантильными, боятся потерять свои деньги... Хотя, если человек неглуп, богатство его не испортит. А мне вообще не

нужно богатство, я богат духом. И мой дух с художническим уклоном — не зря отец обещал подыскать место атташе по культуре. Интересная работка, между прочим... и на глазах цивилизованного мира.

Он прекрасно понимал, что в жизни, кроме обеспеченности, поездок за рубеж и праздного времяпрепровождения, есть более ценные вещи — иначе не занимался бы живописью; я же говорю, он был умный парень, склонный к творчеству.

Его приятельницы сразу повергли меня в уныние — они были ангелы и принцессы одновременно и в таких роскошных, открытых одеждах, что я боялся на них смотреть. Они тоже не смотрели в мою сторону, но, понятно, по другой причине, только смерили меня взглядами и сразу поняли, что я за фрукт, — так, некий неотесанный довесок к их «утонченной» компании. Усевшись на сиденьях, девицы нарочито высоко закинули ноги, закурили и непринужденно стали обсуждать какой-то закрытый просмотр фильма, потом заговорили о «фирмачах» на выставках, о «штатских шмотках» и «спецпайках» — демонстрировали свою систему ценностей, щеголяли английскими выражениями и разными словечками, принятыми у них в обиходе, вроде: «хипповый парень», «фатальная девчонка»; половину из их болтовни я не понимал вообще — они это чувствовали, и это им явно доставляло удовольствие; они всячески подчеркивали дистанцию между собой и мною, наш разный уровень интересов, свою недоступность для таких, как я.

День выдался жаркий, но шоссе пролегалo в сплошном лесу, и в открытые окна врывалась освежающая прохлада. Что меня поразило — до самой дачи (десяток два незаметно промелькнувших сумасшедших километров) на шоссе не встретилось ни одного грузовика, а редкие легковушки все были «иномарками». Повсюду вдоль дороги виднелись знаки «Остановка запрещена». «Похоже, это какое-то закрытое шоссе», — решил я и мысленно приготовился увидеть огромную дачу, но увидел не просто дачу. Машина свернула на асфальтированную полосу, перед которой стоял знак «Въезд запрещен», и, проехав с километр, остановилась перед каменной оградой, за которой возвышались гигантские, уходящие в небо сосны. Откуда-то из-за кустов появился человек в сером костюме, чуть ли не строевым шагом подошел к чу-

гунным воротам и нажал кнопку. Ворота раскрылись, и машина вкатила на дорогу, усыпанную мелким керамзитом. Человек в сером торжественно отдал нам честь.

— Наш топтун, — пояснил мне приятель, а я почувствовал страх от незаконности пребывания в таком месте.

По участку машина ехала еще около километра, пока не показалось двухэтажное строение с колоннадой и балконами — оно смахивало скорее на санаторий, чем на дачу ответственного работника.

Нас встретила экономка, маленькая, пухлая женщина.

— Ой, пожаловали! — пропела она, вытирая руки о передник и расплываясь. — Ой, и с девочками! А папенька сами не приедут?

Из-за цветника выглянул садовник, лоснящийся старикан, раскланялся с нами и, обращаясь к девицам, проговорил:

— Барышни, для вас подарок. Распустились голландские тюльпаны. Приготовить букеты сейчас или попозже?

На минуту мне показалось, что я очутился в прошлом веке, в имении какого-то помещика, но мой приятель быстро вернул меня в реальность:

— Сразу пойдем писать? Там, в конце участка, клевый вид, спуск к реке, яхты. Или вот что! Вначале перекусим, отдышимся с дороги.

— Что будете кушать? — с готовностью откликнулась экономка и каждому из нас заглянула в глаза.

— Я только сок со льдом, — меланхолично протянула одна девица. — Хотя нет, лучше... — она назвала что-то экзотическое, кажется, кокосовое молоко или что-то в этом роде.

— А я что-нибудь из фруктов, — сказала другая и со скупающим видом развалилась в плетеном кресле.

Приятель заказал себе и мне пиво.

Стол накрыли в беседке, увитой плющом; мы вошли под свод, и у меня разбежались глаза — на столе сверкала целая батарея бутылок с заграничным пивом и железных банок с прохладительными напитками и три вазы со всевозможными фруктами. Я вел себя как неандерталец — рассматривал этикетки, смаковал напитки, пробовал то, о чем даже не слышал никогда — всякие грейпфруты, фейхоа... Именно в тот день я попробовал многое из того, чего впоследствии уже не встречал ни в одной компании. Глядя на меня, девицы криво

усмехались и прыскали, но приятель — молодец, — не переставая, подливал мне что-то новое и подбадривал:

— Давай, пей! Вот это повышает жизненный тонус... Это расслабляет, снижает нервозность... — И не без юмора добавлял: — А это повышает чувство цвета и чувство ответственности... перед всем цивилизованным миром.

Осоловев от выпитого, я встал и направился к этюднику, который оставил около дома. Меня догнал приятель.

— Подожди, сейчас отведем девиц на корт, пусть покидают мяч. Дадим им игрушку, а сами слиняем к реке. Подожди, схожу за ракетками.

Он исчез, а я по подстриженному газону обогнул особняк с целью взглянуть на участок.

За домом начинался настоящий парк; кроме сосен, там, естественно, высились голубые ели, которые разрешалось сажать только у райкомов и на дачах крупных деятелей, и росли какие-то неизвестные мне деревья и кустарники, но все — точно декорации — подрезанные, побеленные от муравьев и на тщательно выверенном расстоянии друг от друга; меж деревьев вились тропы, посыпанные толченым кирпичом. Во всем этом царстве стояла глухая тишина: не пели птицы, не трещали кузнечики, не порхали бабочки — участок выглядел безжизненным заповедником, мертвой зоной. Видимо, деревья подвергались химической обработке, и вся живность перебралась в близлежащий лес — это можно было расценить как своеобразный протест против вопиющего богатства.

По одной из троп я вышел к фонтану, миновал оранжерею, какое-то строение непонятного назначения, потом повернул назад и... заблудился. По моим подсчетам, участок занимал гектара три, не меньше.

Вскоре в стороне послышались тугие удары мяча, возгласы приятеля и хохот девиц; я побрел на голоса и через некоторое время очутился около корта, обрамленного заградительной сеткой.

— Присоединяйся! — крикнул мне приятель — он уже был в шортах и выглядел героем голливудского боевика. — Куда ты пропал? Решил шпионерить, да? Не выйдет! Давай бери ракетку. Разомнемся для творческого настроения, потом на этюды.

До этого в теннис я играл всего два раза — случайно на стадионе кто-то дал помахать ракеткой, но, понаблюдав за

приятелем и девицами, пришел к выводу, что они вообще не способны к этой игре и перекидывают мяч только потому, что это престижно, модно.

Взяв ракетку, я вступил на площадку и уже через полчаса, освоившись, с бесшабашным задором переиграл всех своих соперников. После этого девицы стали смотреть на меня благожелательней, а я решил закрепить успех и предложил сходить к реке, но не для того, чтобы красочным этюдом сбить с них спесь, — что было бы разумней, — а для того, чтобы показать класс в плавании.

— Какая еще река?! — одновременно фыркнули девицы. — Есть же бассейн, — они кивнули в сторону, где за прилизанными клумбами блестела гладь воды.

Приятель повел нас в дом переодеваться.

В холле обстановка была типичной для официального учреждения: кожаный диван и ковер перед ним, пальмы в кадках — то ли живые, то ли муляжи, я так и не разобрал, журнальный столик и, конечно, портрет на стене: в данном случае красовался владелец дачи в парадной форме со множеством орденов. В помещении царила штампованная безвкусица, холодно-чванливый дух.

По мраморной лестнице мы поднялись на второй этаж — открылся длинный коридор, какие-то ниши, уступы, двери.

— Каминная, альков, библиотека, кабинет, — пояснял приятель.

Я плохо разбирался в жилищных пространствах: не знал, что такое альков, чем отличается гостиная от каминной; у меня была всего одна комната, которая служила и столовой, и спальней, и мастерской.

В бассейне приятель проплыл метров пять и сразу лег в шезлонг загорать, а девицы вообще только окунулись и стали вышагивать вокруг бассейна, демонстрируя купальники-бикини. Перед кем они щеголяли — передо мной или другом перед другом, я не понял. Скорее всего, по привычке. Показушность была их сутью — уж это я понял с первой минуты, тем не менее, не спускал с них глаз, они мне жутко нравились (особенно после того, как переоделись в купальники); нравились не только потому что были красивыми — это само собой, но и потому, что были из другого, недостижимого для меня мира. Впрочем, в молодости меня всегда тянуло к стервочкам.

В бассейне я все же показал класс: плавал дельфином и брассом, нырял от стенки к стенке, точно клоун выпендривался перед компанией, пытаюсь обратить на себя внимание, доказать, что многого стою, но все мои старания пошли прахом: приятель дремал, разомлев на солнцепеке, а девицы смотрели в сторону — у них были другие понятия о мужских достоинствах. Правда, после купания одна из них отвесила мне сомнительный комплимент:

— У вас прям дикарский загар.

А другая удостоила меня благосклонной полуулыбкой.

К бассейну подошла экономка и, подобострастно кланяясь, пролепетала елейным голосом:

— Ой, и как хорошо отдыхается вам!

— Здесь здоровско, в Пицунде лучше, — бросила одна из девиц.

— И там хорошо, и тут хорошо, — заученно затараторила экономка. — Здесь деревьев, как в лесу. А какая здесь травка — спокойствие для души. Здесь прямо рай, лучше не придумаешь.

«Что верно, то верно, участки они оттяпали приличные, — подумал я. — И это у заместителя, а какой же надел у министра?»

— А в котором часу будете обедать? — продолжала экономка. — И что будете кушать? Супчик грибной или рыбный, из осетринки? Можно и куриный бульончик сготовить. А на второе есть индейка со сливами. Папенька очень любят. Жаль, не приехали...

— Мне все равно, что есть, — очнувшись, вставил приятель.

Я пожал плечами, а девицы заявили, что вообще-то они на диете, но позднее попробуют «что-нибудь легкое».

До обеда мы так и не выбрались на этюды.

— Подождем, пока спадет зной, — сказал приятель. — Да и во второй половине дня там освещение лучше, этакий впечатляющий ландшафт.

Обедали в гостиной за широким овальным столом, над которым висела огромная хрустальная люстра. Во время обеда одна девица рассказала, как недавно болела и лежала в отдельной палате и как врачи Четвертого управления сбились с ног и досаждали ей вниманием, какие лекарства ей прислали из Америки, а помогла ей... обыкновенная музыка. Не совсем обыкновенная, конечно. Отец подарил ей японский

магнитофон-кассетник с записями «Битлз». Вторая девица, чтобы не остаться в долгу, тоже рассказала про свою «личную массажистку», которую к ней «прикрепили». Они прямо-таки устроили конкурс на привилегии. Я вспомнил очереди в своей районной поликлинике, переполненный общественный транспорт, свою «коммуналку» без телефона и горячей воды, и меня вдруг стала раздражать эта компания. Я им не завидовал, я жил в гуще людей, в водовороте жизни, и у меня была цель — стать живописцем, а они, точно отверженные, просто-напросто существовали, пижонскими развлечениями пытались развеять скуку, и цели у них были недостойные, и ценности дурацкие. «Не надо мне никаких благ и привилегий, — рассуждал я. — Свою пиратскую жизнь я никогда не променяю на этот благоустроенный, фальшивый мир».

На десерт подали сливки и разрезанный арбуз, из которого были вынуты все семечки. «И кому только не лень этим заниматься? — подумалось. — Хотя так, наверно, положено по их этикету». Дольки арбуза без семечек меня рассмешили, и на время я перестал злиться на своих сотрапезников. В какой-то момент мне даже стало жалко их, жалко, что они лишены напряженной работы, творчества, поиска и открытий. Для них и настоящее, и будущее было распланировано, упорядочено, они не знали ни потрясений, ни внезапных удач, не умели страдать и искренне радоваться, то есть жили неполнокровной жизнью, а значит, не могли быть счастливыми. В этом и в том, как бедны их духовные интересы, я окончательно уверился в конце обеда, когда девицы изъявили желание посмотреть «какой-нибудь сногшибательный, умопомрачительный детектив».

— Это можно, — лениво протянул мой приятель (его уже прилично развезло от обильной еды и зноя).

Изрядно нагружившись всякими яствами, я тоже чувствовал тяжесть в теле, но все же пересилил себя:

— А мы пойдем на этюды.

Приятель кивнул, но тут же пододвинулся ко мне:

— Ты видел фильмы Феллини?

Я отрицательно покачал головой.

— Хочешь посмотреть? Можно устроить, — не дожидаясь моего согласия, он направился к двери. — Пойду закажу кинемеханику, пусть сгоняет в Белые Столбы. Дам команду! — он обернулся и подмигнул мне, давая понять, что работает под отца.

Ради Феллини я, естественно, отказался от этюдов. Два часа, пока киномеханик ездил за кинолентами, мы слонялись по дому. Девицы то принимали душ и после него подолгу крутились перед зеркалом в холле, то листали журналы мод. Приятель показывал мне достопримечательности особняка: кабинет отца, библиотеку, «охотничью комнату» с трофеями, добытыми в заповедниках; в какой-то момент он небрежно хмыкнул:

— Все это мишура. Лучше быть последним художником, чем первым начальником, наслаждаться властью и прочее на глазах цивилизованного мира.

«Кто тебе мешает все бросить и серьезно заняться живописью?» — подумал я. Он словно разгадал:

— Если бы я потянул на последнего художника, давно бы... — и не договорил, видимо, усомнился в своем порыве: представил дипломатическое будущее, и «культурный» атташе сразу положил на лопатки безвестного художника.

Появился киномеханик, мужчина неопределенного возраста с лицом вырожденца; как и топтун, он был в сером костюме, в отутюженной рубашке и при галстукe — в нестерпимую жару!

— Все выполнено по высшему разряду, — отчеканил он и объявил названия фильмов.

— Вначале детектив! — оживились девицы. — Мы знаем, это клевый фильм.

Приятель взглянул на меня и по моей гримасе заключил:

— Нет, вначале Феллини. А потом вам прокрутят детектив, а мы пойдем на этюды.

Я благодарно поддал ему кулаком в бок.

Мы прошли в небольшой кинозал, и в обществе трех зрителей я впервые увидел фильм Феллини «Дорога». У меня захватило дух от ленты, я был потрясен, но когда зажегся свет, увидел — мои соседки откровенно зевают, а приятель... спит. Они стали мне противны, и, как только свет снова погас, и на экране появились титры второго фильма, я незаметно прокрался из зала.

Покинув участок, я облегченно вздохнул полной грудью и вслух сказал:

— Они себе уже построили светлое будущее, но мне его не надо.

На шоссе, сколько ни голосовал, не остановилась ни одна машина. Так и добрался до города пешком.

НЕКРАСИВАЯ

Тот дом выглядел несуразно — на нем было множество ассиметричных лепнин и украшений: казалось, где-то разобрали особняк и на новом месте собрали, но кое-что перепутали.

Алексей позвонил в дверь на первом этаже, ему открыла высокая старуха со строгим взглядом, с глубокими морщинами на лице, с папиросой во рту; она была в соломенной шляпе, в свитере, шароварах и мужских сандалиях на босу ногу.

— Вам кого? — пробасила великанша, не вынимая изо рта папиросы.

— Здесь сдается комната?

— Проходите! — старуха развернулась и гулко зашлепала в темноту.

Алексей пошел за ней.

— Комната хорошая, светлая, — гремела старуха. — Говорят «далеко». Меня это умиляет. От чего далеко? От Большого театра или от Кремля?

В глубине коридора виднелась комната, где за столом весело болтали некрасивая девушка и мальчишка. Увидев старуху, они смолкли, и мальчишка показал Алексею язык, а девушка скорчила веселую гримасу.

— Вот, смотрите, — старуха толкнула соседнюю дверь в пустую угловую комнату, где от окна к окну гулял ветер, разметая по полу обрывки газет. — Здесь ветер дует только в одну сторону, — пояснила старуха, попыхивая папиросой.

— Да, вижу, — кивнул Алексей. — Весь сор лежит у одной стены.

— Тут поставим для вас раскладушку, сюда из коридора передвинем стол, и жилье будет что надо! Вы кто по профессии-то?

— Художник.

— Ну ничего. Все лучше, чем столяр. Тот целыми днями заколачивал гвозди. — Старуха засмеялась, ее смех напоминал треск разрываемой ткани.

Алексей подошел к окну: половина асфальтированного двора была заставлена ящиками с осенними цветами, среди ящиков шастал сухой сутулый мужчина, в одной руке держал лейку, в другой — детскую лопатку.

— Сумасшедший старик, — пробурчала старуха. — Бывший учитель. Развел здесь огород. Раньше от него житья не было — с утра скреб метлой под окнами. Но я его припугнула — теперь тише воды.

К вечеру, заплатив за три месяца, Алексей перебрался в угловую комнату. «Ничего, что продувная, зато светлая, — подумал он. — И цветник перед окном».

Утром его разбудил громовой голос старухи: она отчитывала какую-то жиличку за то, что та хлопала дверью. Когда Алексей умывался, она переключилась на парня, который «слишком громко» говорил по телефону-автомату в подъезде. Через полчаса она уже ворчала на соседей, что «их радио досаждают больше всего». Не успел Алексей одеться, в дверь постучали, и в комнату вошла некрасивая девушка с чашкой горячего чая. Дешевое платье, перевязанное в талии шнуром, на голове бабкина шляпа, острый нос, острые колени, движения мальчишеские, угловатые, и вся хрупкая и легкая — вот-вот растворится в воздухе.

— Здравствуйте! Это вам, — приветливо сказала дурнушка. — Бабуля прислала. — Из-под шляпы на Алексея смотрели желтые глаза, в них озорно бегали какие-то иголки — настоящий разбойник, а не девчонка.

— Закрывай скорее дверь, — сказал Алексей, — а то тебя сдует.

— И не сдует. Я крепкая, — сказала, сморщила нос и засмеялась. Потом поставила чай на стол и прикрыла дверь. — Вы похожи на пирата, — она ухмыльнулась, и ее желтые глаза колюче заискрились.

— Это почему же?

— Небрить, и вон шрам на руке.

— Вот те раз! Не успел въехать — уже дали прозвище.

— Так это ж хорошо! — она прищурила глаза. — Имя человека узнаешь, когда знакомишься, а прозвище вешаешь сразу. Прозвище имеет не всякий...

— Лиза! — раздался голос старухи. — Я тут одну тарелку ищу. Было шесть, а осталось четыре. Ты не разбила?

— Не-ет! — крикнула Лиза и тихо усмехнулась. — Пропали две, а ищет одну! Сама куда-то положила и забыла... Меня вообще-то бабуля послала у вас прибрать.

— Давай убирай.

Она сходила за тряпкой и начала протирать окно. Алексей принялся за чай, изредка посматривая на свою «горничную». «Такая худая, что почти сгибается под тяжестью бабкиной шляпы», — усмехнулся он про себя.

— Значит, тебя Лиза зовут?

— Лиза. А вас?

— Дядя Леша.

— Дядя! — она прыснула. — Вам же лет тридцать!

— Побольше.

— А чем вы занимаетесь, дядь Леш? — «Дядь Леш» она произнесла нарочито растянуто.

— Составляю рецепт бессмертия.

— Нет, правда?

— Художник я. Делаю разные этикетки к банкам, коробкам. Иногда дают что-нибудь проиллюстрировать.

— Как интересно! Потом покажете?

— А как же!

— Вон учитель, — она кивнула за окно. — Вы видели его клумбу?

— Видел.

— Он так ухаживает за цветами! Подсыпает в деревянные квадратики чернозем. Если какой стебелек погнулся — ставит палочку и привязывает. Нюхает, гладит, радуется каждому цветку... Я иногда ему помогаю, он называет меня «цветочница». А в прошлом году кто-то оборвал все цветы. Ужасно было жалко. Учитель прямо заболел... Ну вот, окно в порядке, пол подмету вечером, сейчас надо бежать в институт.

— Ты в каком?

— В педагогическом, на первом курсе.

— А где твои родители?

Она вдруг рассмеялась, сморщив уголки глаз.

— Почему ты смеешься?

— Мы оба не выговариваем «р», и кажется, что все время друг друга передразниваем.

— В самом деле.

— Лиза! — опять позвала старуха. — Ты все сделала? Хочешь опоздать в институт?! Ты здесь приготовила капусту, что-то у меня от нее голова разболелась. Ты, наверно, туда валерьянки налила?

Лиза хмыкнула:

— О боже! А родители за границей. Папу послали работать на год, а мы остались с бабушкой. Я и брат Вовка. Ну, я побежала. Пока!

Вечером она зашла снова. Длинноногая, в просторном халате, она выглядела еще более худой. Поставив на стол раковину морского гребешка, она сказала:

— Это вам пепельница, дядь Леш. — «Дядь Леш» опять произнесла нарочито четко, скривив губы. — А почему вы так много курите? Вы нервный, да?

— Просто дурацкая привычка.

— А, по-моему, курить легче, чем не курить. Когда люди курят, у них вроде руки заняты, и этим успокаивают нервы. А когда не курят, надо сдерживаться.

Алексей пожал плечами.

— Вот бабуля просто не вынимает папиросу изо рта. Она очень нервная. Вы заметили, она ведет настоящую войну с шумом.

— Заметил.

— А я для нее — громоотвод. На мне она разряжается. Но я уже привыкла... Бабуля через день работает в библиотеке уборщицей... Она смешная. Ее настольная книга — «Умное слово», сборник высказываний великих людей. О чем бы я ни заговорила, она сразу перебивает: «Извини! А вот Флобер сказал...». Обед начинает с компота. «В желудке, — говорит, — все встретится...». Раньше все время нас с Вовкой пичкала лекарствами. С утра, как просыпались, тащила таблетки. И залечила нас. У Вовки и у меня стал болеть желудок. Потом мама ей запретила... Вот, посмотрите, какую сегодня мне записку оставила. — Она достала из халата листок бумаги и прочитала: — «Лиза! Покорми Вовика, а мне свари кофейный напиток. Налей полтора стакана воды, насыпь две

ложечки сахара, без верха, одну ложечку, без верха, кофейного напитка, потом вари, остуди и поставь вот сюда». Здесь стрелка.

Она рассмеялась.

— А вы, дядь Леш, работаете?

— Угу.

— Можно посмотреть? Вы обещали показать рисунки.

— Смотри! — Алексей протянул ей кипу набросков.

Она скинула туфли и, поджав ноги, села в кресло напротив. Некоторое время щелкала языком от восторга, потом, уткнув подбородок в скрещенные руки, смотрела, как Алексей рисовал. Потом старательно точила ему карандаши.

— А где вы жили до сих пор?

— На другой квартире. Среди музыкантов. Чуть не спятил от них.

— Расскажите!

— Надо мной жил один скрипач, а внизу — пианист. Скрипач пиликал с восьми утра и только начнет — пианист внизу тоже садится за инструмент. Скрипач громче возьмет — и пианист на полную катушку. Представляешь, как мне жилось между ними?

Она внимательно слушала, приоткрыв рот, улыбаясь одними глазами.

— Как-то пианист в час ночи сел за инструмент, я не вытерпел, спустился, показал ему кулак. «Это не я, — замахал он руками. — Зайдите, — говорит, — послушайте». Зашел я к нему, а под ним еще один чудака играет. «А я только ему подыгрываю, — говорит и подмигивает мне. — Чтобы насолить тому», — и показывает наверх, имея в виду скрипача.

Она вновь рассмеялась.

— У нас тоже жила одна певица. Появилась, вся разукрашенная, и сразу спрашивает: «У вас клопов нет? А тараканов?». Я ее чуть не отлупила... Она целыми днями крутила пластинки, заводила на полную мощность и подпевала. Правда, благодаря этой меломанке я теперь знаю наизусть несколько арий.

— Ого!

— Правда, правда... А где вы еще жили?

— Где? Много где! Однажды мне повезло. Один профессор уехал в командировку и оставил мне огромную дачу.

У дома фонтан, фруктовый сад, яблок — хоть завались. На даче был камин, отличная библиотека, шкаф с тонкостенной посудой. В общем, я стал богачом. И не платил за это ни копейки, только за свет и воду. Меня как бы наняли охранять дачу. Надо было только поливать цветы и кормить собаку...

Она слушала с каким-то веселым плутовством, сощурив глаза и постукивая карандашом по зубам.

— А пес тот был жуткий баловень. Хозяйка меня наставляла: «Пожалуйста, молоко ему подогревайте, в сырую погоду выводите только на террасу». А я думал: черта с два! Будет есть все. И точно: дней пять воротил нос, потом все подряд лопал.

Лиза усмехнулась, пододвинулась ближе к Алексею.

— Как-то я решил пошутить: пригласил друзей и объявил им, что все это мне подвалило по наследству. Ох, и пирушку мы закатали! А для чая я поставил на стол алюминиевые кружки. Приятели возмутились: «Вот, стоило тебе разбогатеть, сразу стал жмотом. Давай сюда сервиз!» — и лезут в шкаф. Я их отговариваю: «Это ж наше фамильное, нельзя!» — а они не слушают. Ну и, конечно, кокнули две чашки. Я обошел все комиссионки, приблизительно такие купил.

— А что было потом?

— Что было? Ясное дело, что! Вернулся профессор, и я снова стал бедным. А хозяйка меня ругала. И не столько за чашки, сколько за собаку. «Такой худенький стал», — говорила.

— А еще? Еще вы где-нибудь снимали?

— Снимал. Раз снял комнату, где окно выходило на лестничную клетку... На помойные ведра. Темнота была жуткая. Но я нарисовал на глухой стене солнце, и пальмы, и море... Посветлело.

Лиза поджала губы, усмехнулась.

— А однажды мне предложили целую квартиру на полгода, но... с двумя крокодилами в ванне. Платить было не надо. Хозяева еще собирались давать по тридцать рублей в месяц крокодилам на мясо... Но я отказался.

— Шутите?

— Нет, правда.

— А почему вы так много снимали комнат?

— Очень просто: разошелся с женой.

— А ваша жена, она была... Хотя нет. Не хочу о ней ничего знать. Лучше расскажите еще что-нибудь.

— Хватит. Сейчас все расскажу, а потом и рассказывать будет нечего.

— Когда иссякнете вы, начну рассказывать я, — в ее глазах так и забегали хитринки.

— Рассказывай сейчас, чего там!

— Я пошутила, мне нечего рассказывать. Со мной, как назло, никогда ничего не случается. Учусь, хожу в магазин, помогаю бабуле готовить, а Вовке — делать уроки... Иногда сижу в библиотеке, читаю. Библиотека — лучший институт, правда?

— Точно.

— Мне иногда кажется: то, что я учу, никому не нужно, — все так же шутливо продолжала она. — Педагог из меня не выйдет. Я даже Вовку воспитать не могу... Я вообще-то способная во многом, но ни в чем по-настоящему. И ничего-то у меня такого нет, — она сама над собой рассмеялась и с досады бросила на стол карандаш.

— Ну как это — ничего? Так не бывает. Жених у тебя, например, есть?

— Нет, — очень просто сказала она и улыбнулась. — Да все мои сверстники — идиоты. Только и знают: «Эти джинсы купим, те продадим». Мне никто не нравится. И я — никому. Я же некрасивая. Бабуля, когда рассердится, говорит: «Ты такая чувырла, что уж лучше сидела бы дома и не показывалась на улице»...

Алексей посмотрел на нее. Она сидела, подперев щеки ладонями. Концы ее волос лежали на столе. Только сейчас Алексей заметил, что у нее красивые золотистые волосы.

— Ерунду говорит твоя бабка! У тебя красивые волосы, фигура. А волосы — главное украшение женщины.

Она усмехнулась.

— Волосы, фигура! А лицо?! Да и фигура у меня подкачала. Ем, ем, а все без толку.

— Худая — это здорово, ничего ты не понимаешь!

— Вы много понимаете!.. Нет! Я не такой хотела бы быть. — Она отвернулась к окну, и глаза ее на минуту потухли, а на лице появилась детская мечтательность. — Я хотела бы, чтобы у меня была фигура как у Джинны Лоллобриджиды, а лицо — как у Мишель Мерсье. Я хотела бы стать модельером.

— Так стань! Давай я тебе помогу. Здесь главное — вкус, а он вроде у тебя есть. Халат по цвету — блеск.

— Лиза! — послышался голос старухи. — Куда подевалось мое «Умное слово»? Ты не брала?

— Не-ет! — крикнула Лиза и опять засмеялась. — Есть невозможные вещи. Научиться рисовать, или быстрее всех бегать, или стать красивой...

— Можно, все можно.

— Нет, нельзя... Я с детства такая. А вот подружка у меня была красивая. Она дружила со мной, потому что около меня была еще красивей. Мальчишки всегда носили ее портфель, по вечерам светили в ее окно фонариком... Мы играли в прятки — девчонки прячутся, а мальчишки найдут и целуют. Мы прятались в подвале, там было темно, и мальчишки всегда были недовольны, если попадалась я... Еще мы ставили спектакли: перегораживали комнату одеялом на бельевых прищепках. Это был занавес... Главные роли разбирали красивые девочки, а мне, как уродине, доставались разные старухи, официантки... В одном спектакле я играла несколько ролей — по десять раз переодевалась. Однажды мне достались роли дворника, старухи и рыцаря. И рыцарь должен был плакать. Я вспомнила, как меня мальчишки отталкивали, — разревелась, еле остановили.

Все это она рассказывала искренне, просто, беспечно. Казалось, некрасивость скорее забавляла ее, чем огорчала, и только глаза из весело-желтых становились влажно-медовыми. Но, может быть, это Алексею показалось — ведь, пока они болтали, стемнело.

— Мы с подружкой любили преподавательницу английского языка. Ходили к ней в гости, пили чай. Она рассказывала об Англии. Иногда мы заставляли у нее нашего физика-татарина. Мы ревновали ее и, чтобы ему насолить, не учили физику. А они потом поженились. Смешно, правда?.. В школе на вечерах меня тоже никогда не приглашали танцевать. Я всегда держала сумки подруг... Страшила — вот я кто!

Она рассмеялась. Встала, надела туфли и беззаботно протанцевала что-то веселое, точно ее совсем не интересовала любовь, точно она для нее не созрела. Такого чистого существа Алексей еще никогда не встречал.

— Прекрасная Страшилка! — сказал он, и она остановилась.

Ей стало приятно, что он ее так назвал; она даже покраснела.

Поздно вечером к нему зашла знакомая. Узнав об этом, старуха начала ворчать, а Лиза поманила его и шепнула:

— Вам папирос не нужно? Я могу у бабули стащить. У нее всегда есть.

— Тащи! — Алексей подмигнул ей, она — ему.

За окном выпал снег, засыпал ящики с засохшими цветами, облепил карнизы дома напротив. Лиза заходила к Алексею каждый день. По утрам — ненадолго. Принесет чай, посмотрит новый рисунок, который Алексей набросал, и побежит в институт. После занятий постучит, приоткроет дверь, крикнет: «Как дела?» — и спешит в магазин. Поможет старухе приготовить обед, посидит над учебниками — снова заглянет. Она помогала ему обрезать и наклеивать оригиналы. Иногда рассказывала про дела в институте... С нового года ее должны были послать на стажировку за границу, но не послали. В тот день она зашла к Алексею расстроенной.

— Кого вы, дядь Леш, думаете, послали? Нашего секретаря комсомола и двух активистов. Обидно!

— У тебя еще все впереди, — отозвался Алексей. — Ты еще объездишь весь мир.

— Весь мир не получится, — поджала губы Лиза. — Больше всего я хотела бы побывать в Париже. Я люблю французских писателей, французские фильмы...

— Лиза! — раздался голос старухи из кухни. — Иди-ка сюда!

Она встала:

— Я попозже зайду. Можно? Я вам не надоела, дядь Леш?

— Обязательно приходи.

— Я принесу вам кусок торта. Вчера у Вовки был день рождения. Бабуля дала ему три рубля и сказала: «Купи себе вафельный торт». Она сама его любит.

Лиза распространяла вокруг себя радостное спокойствие; Алексею казалось — рядом с ней все оживает, приобретает краски. Он и не заметил, как привык к своей помощнице и часто ловил себя на том, что посматривает на часы, если она задерживается в институте. И Лиза привязалась к Алексею — с ним было не просто интересно, впервые она очутилась в «художественной среде», и когда Алексей придумывал сюжеты наклеек и советовался с ней, чувствовала себя соавтором его работ... Когда стали продавать консервы с эти-

кетками Алексея, Лиза купила две банки и понесла в институт — похвалиться подругам. Она больше Алексея радовалась его успехам и сильно огорчалась его неудачам. В ней была редкая душевная чувствительность... Когда к нему приходила какая-нибудь женщина, Лиза советовала надеть другую рубашку, купить печенья к чаю. Потом подмигивала и, исчезая, тихо бросала: «Счастливо!». Но тут же за дверью начиналось какое-то шуршанье. Алексей открывал дверь и обнаруживал Лизиного брата. Вовка с дурацким усердием подслушивал. В конце концов, это Алексею надоело, он набрал воды в клизму и брызнул в замочную скважину; открыл дверь — у Вовки все ухо мокрое, но он прыгает на одной ноге и дразнится:

— А мне не больно! А мне не больно!

— Он и за нами шпионит, — сказала Лиза и покраснела, — чтоб мы не целовались... И все докладывает бабуле. Она уже мне сказала: «Ты к жильцу не ходи». Она вас зовет «жилец». «Он, — говорит, — распутник. Тот был лучше, который заколачивал гвозди». Но вы не обращайтесь на нее внимания. Она со странностями... Но вообще она не такая сердитая, как кажется... А Вовке я надаю.

Алексей рассказывал Лизе о своих друзьях, о том, как они летом ловят рыбу, разводят костры, ночуют в палатках. Она слушала, широко раскрыв глаза, то улыбалась и ерзала от возбуждения, то замирала в тихом восхищении. Однажды Алексей сказал:

— Ну, Елизавета, готовься. Сегодня они придут, мои друзья.

— И я буду с вами? — поспешила она выяснить.

— Ну да. Давай в темпе накрывать на стол.

Она даже протанцевала что-то, но вдруг остановилась.

— А как мне себя вести? Я боюсь показаться дурой набитой.

— Будь такой, какая есть.

Она явилась в новом платье, поздоровалась с друзьями Алексея и замечательно улыбнулась; ее янтарные глаза лучились, а волосы были такие красивые, что казались ненастоящими. Только все это заметил один Алексей, а его друзья поздоровались с ней как с обычной девчонкой.

— Я хотела выглядеть получше, но у меня ничего не получилось, — шепнула она Алексею и досадливо махнула рукой.

— Отличный вид! — заключил он и представил ее друзьям: — Мой новый друг!

Она немного смутилась — то ли от ранга, в который он возвел ее, то ли слово «друг» чуть-чуть задело ее женское самолюбие. На всякий случай Алексей добавил:

— Моя хорошая приятельница.

За столом Лиза держалась естественно и просто... Она вся была какая-то легкая: легко ходила, легко ухаживала за гостями и говорила легко, не подбирая слова.

— А чем занимается в нашем мире девушка? — спросил один из друзей Алексея. — И что она думает обо всем этом?

— О чем? — весело откликнулась она.

— Ну вообще о жизни?

— По-моему, жизнь прекрасна. Особенно у вас. Вы так интересно живете.

— А ты?

— А у меня все обычно.

— Заканчиваешь школу?

— Уже закончила. Я в пединституте. На первом курсе.

— Ну-у, блестящее будущее у тебя. Начнешь давать левые уроки — разбогатеешь.

— А мне не нужны богатства. Вообще без многих вещей можно жить счастливо.

Каждому было ясно — она доверчива и беззащитна, и ее на самом деле не привлекают материальные блага. Мужчины продолжали над ней подшучивать, но в душе оценили ее нравственную чистоту. Они прекрасно понимали, что беззащитных нельзя обижать, и подтрунивали мягко, безобидно.

— Ну, а чему вас учат в институте?

— А у нас в институте скучно. Преподаватели — одни старички, лекции читают монотонными голосами, всех клонит ко сну.

— Это ясно. Ну, а как ты относишься к этой, как ее, к любви?

Лиза не смутилась.

— Вы не сердитесь, но я сейчас подумала, что вы похожи на нашего преподавателя по античной литературе. Только он немного старше вас. Он очень любит разговоры о любви. Вызывает самую скромную девушку и расспрашивает о любовных интригах в произведениях. Девушка заикается, краснеет, а он, довольный, усмехается...

— Здорово, Лиза, ты уела моих самоуверенных дружков, — рассмеялся Алексей.

Они засиделись до полуночи. Проводив друзей, Алексей застал Лизу убирающей посуду.

— Ну как, правда, у меня отличные друзья?

— Да, очень хорошие. Только все же вы, дядь Леш, немного их придумали. Про одного вы говорили: «Он все забросит ради друзей», а ведь он первым поднялся, сказал: «Спешу к красотке». А другой, когда смотрел ваши эскизы игрушек, сказал: «Когда же ты, старик, возьмешься за серьезные вещи, сделаешь что-нибудь для взрослых?». Серьезные! Как будто делать рисунки для детей — несерьезно. Ничего он не понимает.

— Он пошутил.

— Нет, он не шутил.

Укладываясь спать, Алексей подумал о том, что в мужской дружбе всегда каждый живет сам по себе, а жизнью друга просто интересуется или, в лучшем случае, участвует в ней. Полностью жить жизнью мужчины способна только женщина. Такая, как Лиза... С тех пор как он появился в угловой комнате, его работа, его планы и увлечения стали чуть ли не смыслом ее существования, и родные, и учеба отошли на второй план. В голове у Алексея даже мелькнуло: «Из нее вышла бы отличная, преданная жена», — но он тут же испугался этих мыслей. «И вообще я слишком много о ней думаю! Жил так спокойно... и вдруг...» Он даже злился. Старался не думать о ней. Никогда такого с ним не было.

Однажды после встречи с друзьями Алексей проснулся с головной болью и, пока одевался, осоловело смотрел на пустые бутылки и пепельницу, забитую окурками. А за окном всю сверкало солнце, и разноцветными водопадами с деревьев сыпался иней. Вдруг пришла Лиза с лыжной прогулки, пахнущая снегом и хвоей, и угловая комната наполнилась ее звонким смехом.

— Как вам не стыдно валяться в такой день?! Вы, наверное, совсем забыли, что такое скрипучая лыжня, накатанные горки, заснеженный лес! И это называется турист!

Она стояла перед Алексеем в спортивном костюме, раскрасневшаяся, с каплями растаявшего снега на ресницах. Стояла и смеялась.

— Дядь Леш! А у нас на курсе маленькая победа. Нашего секретаря сняли!

— Поздравляю.

— А знаете, за что он полетел? Муж одной студентки избил соседа. Его будут судить. А ее хотели выгнать из комсомола за то, что видела и не позвала милицию. А секретарь написал ей записку: «Хочешь остаться в комсомоле, приходи ко мне домой...». В общем, прямо все написал, а она с этой запиской пошла в деканат, — Лиза рассмеялась и хлопнула в ладоши.

«Как приятно на нее смотреть, — подумал Алексей. — Всегда чистая, отглаженная, на одежде ни соринки, ни складки». В самом деле, у Лизы было мало платьев, но она носила их бережно, аккуратно.

— Правду говорят, смех укрепляет здоровье, — пробурчал Алексей. — Вот я и выздоровел... Завидую тебе, Лиза. Ты всегда такая веселая.

— Это только с вами, а когда остаюсь одна... — она не договорила, покраснела от своей смелости и отошла в сторону. Потом снова засмеялась и съязвила: — Не-ет! Вас вечером вылечит любовь. Когда придет очередная женщина. Любовь от всего вылечивает... А вообще все холостяки мнительные и много говорят о своих болезнях. Правда, они чаще болеют и раньше умирают.

— Ого! Откуда ты все это знаешь?

— У нас жили двое холостяков. Только о болезнях и говорили... Вообще мужчины делятся на мужчин и не мужчин. Вот те были нытики, а вы настоящий мужчина.

— Спасибо, но с чего ты это взяла?

— Чувствую.

— Маленький теоретик, — усмехнулся Алексей.

— Я не теоретик. У меня был один поклонник... У него всегда были усталые глаза — ему все надоело. Он был красивый, и девчонки висли на нем. И я, дурочка, влюбилась... А однажды я не позвонила ему, и он сказал моей подруге: «Прибежит, куда денется!». Вот негодяй! И я порвала с ним, — она вздохнула. — Ну вот, теперь вы обо мне все знаете. А вам, дядь Леш, надо жениться. У вас столько хороших женщин.

— Ты и это заметила, что они хорошие?

— Это все заметили. Весь двор. И ваших блондинок, и ваших брюнеток. Они все разные, но все красивые. Бабушка называет их «блестящие женщины».

...В середине зимы у Лизы начались каникулы. Накануне у них в институте был вечер. Она пришла домой переодеться. Потом заглянула к Алексею.

— Дядь Леш! Как вам мое новое платье? — откинула волосы со лба — рот в полуулыбке, а платье пронзительно-белое, больно глазам смотреть, искры с него так и сыпались.

— Отлично выглядишь, — пробормотал Алексей. Сказать больше у него не хватило духу.

— Я нравлюсь вам, правда?

Она ушла, и Алексей заскучал. Последние дни он и работал-то, чтобы заполнить время до встречи с ней. «Девчонка, каких много, — думал он. — Но почему мне так не достает ее? Неужели я потерял голову?! Не хватает еще влюбиться! Так спокойно жил...»

Через час она вернулась встревоженная.

— В чем дело? — спросил Алексей, втайне радуясь ее возвращению.

— Я убежала с вечера, — замирающим голосом откликнулась она.

— Что-нибудь случилось?

— Нет... То есть да, случилось... Пойдемте куда-нибудь...

— Куда?

— Куда хотите, мне все равно.

Это предложение застало Алексея врасплох, он догадывался — его ждет что-то важное.

Когда они вышли, уже стало темнеть, и улицы перемигивались огнями. Лиза просунула руку в карман пальто Алексея и стиснула его ладонь.

— Я собрала все свое мужество, чтобы вас пригласить... А случилось... Случилось необыкновенное... Я влюбилась в вас, — она опустила голову и надолго смолкла.

Они зашли в кафе, где, сталкиваясь друг с другом, танцевали парочки.

Лиза снова стиснула руку Алексея.

— Я так долго ждала этой минуты... Я ничего не могу с собой поделать... Никакие занятия не лезут в голову. Вчера вы обещали позвонить с работы — так я устала ждать, смотреть на телефон. Кто бы ни звонил, злилась и бросала трубку.

Она говорила взволнованно, с дрожью в голосе. Было ясно — все это она давно носила в себе и теперь, выговорив, вздохнула с утомленным облегчением.

— Все девчонки в институте считают меня такой умной, а с вами я такая дура...

Она не умела прятать свои чувства и говорила то, что другие скрывали, и это Алексея обезоруживало и привлекало. Он обнял ее за худые плечи, и она встретила это с радостной готовностью. Ее руки сразу потянулись к нему навстречу, а лицо так осветилось, что стало... красивым.

— Ты маленькая королева, — тихо сказал Алексей, — вернее — принцесса. Королевой станешь потом, когда повзрослеешь. Ты станешь еще более красивой и...

Она не дала ему договорить — закрыла рот ладонью и опустила голову с заблестевшими глазами.

По пути домой она молчала, но тревожные глаза, и полуоткрытый влажный рот, и внезапная улыбка выдавали ее. Алексей догадался — в ней смелость борется со стыдливостью. У подъезда она прошептала:

— Вы не боитесь привидений?

Он покачал головой.

— Тогда ночью к вам придет...

...Она вошла тихо, придерживая дверь. Ее волосы блестели как нити елочных украшений. В широкой ночной рубашке она казалась совсем девчонкой. Плотнo прикрыв дверь, маленькими уверенными шажками подошла к нему.

— По-моему, мы оба сошли с ума, — тихо сказал Алексей. — И почему ты не боишься меня?

— По-моему, вы меня боитесь, — чуть слышно проговорила она.

Все женщины, когда он целовал их, закрывали глаза, а эта — нет, только взгляд ее стал помутневшим, сдавшимся.

— Произошло что-то необыкновенное... Кажется, я очень вас люблю, — прошептала она, и из ее глаз закапали слезы

Через час она ушла, неслышно шлепая босыми ногами.

Весь следующий день она не разговаривала с ним и ходила, не поднимая глаз... А потом при встрече ее глаза загорались, и Алексею становилось трудно дышать. Наконец она стала говорить ему «ты» — еле слышно, еле различимо.

— Так вот оно какое, счастье, — шептала, обнимая его. — Тебя послал Бог. Я такая счастливая!

Они все время были вместе. Даже когда расставались, она все равно была с ним — он постоянно думал о ней. Женщины, с которыми он встречался, выдвигали множество требований, а Лиза была счастлива от небольшого, ей хватало ма-

леньких сиюминутных радостей. Восприимчивая и тонкая, она реагировала не только на интонацию его голоса, но и на каждый его взгляд... Алексей все время открывал в ней что-то новое. Особенно ему нравилась ее готовность ко всяким его вылазкам: поехать ли к друзьям, заглянуть ли в кафе. «Женщина только отвечает на любовь и любит того, кто ее любит», — как-то изрекла она сомнительную истину, и он радовался, что она без всякого противоборства признала его лидерство. Она по-прежнему помогала ему в работе, и он очень любил ее в те минуты, когда она сидела рядом, склонившись над столом.

Наступила весна, и голос у Лизы стал звонким, веселым. Счастье делает людей беспечными, часто и бестолковыми, но и... красивыми. Прямо на глазах из подростка Лиза превратилась в юную женщину с вполне сформировавшейся фигурой, ее фигура стала прямо-таки точеной, взгляд — еще более лучистым, в движениях появились округлость и женственность... Алексею нравилось в ней все. Впервые он встретил женщину, к которой ничего не хотелось прибавить и ничего не хотелось отнять. Лиза ходила совсем без краски и одевалась просто, но когда он смотрел на нее, у него перехватывало дыхание.

Теперь, заметив Алексея, шкет Вовка прыгал на одной ноге и дразнился:

— А я все знаю! Я все знаю!

Только ему и доносить на «жильца» и сестру было не нужно — старуха и так все видела. Она перестала с Лизой разговаривать, а Алексея вообще не замечала и, если он что-нибудь спрашивал, отвечала односложно и зло. Она ворчала, что на кухне он берет ее посуду, жжет много света, плохо закрывает водопроводный кран. В коридоре она повесила зеркало, чтобы видеть, кто приходит в угловую комнату, но влюбленные старались не давать ей такой возможности — теперь Лиза приходила к Алексею только когда старуха засыпала.

Неожиданно для самого себя Алексей снова подумал о том, что из Лизы вышла бы прекрасная жена, но он опять отогнал эту мысль. «Я еще не имею своего угла... В таком положении нельзя заводить семью... Да и наша разница в возрасте».

Весной Лиза стала еще красивей, выплеснулось наружу то, что было скрыто, что видел один Алексей, а другие не замеча-

ли. В короткой юбке, длинноногая — у нее стал такой вид, что прохожие останавливались, а некоторые выходили из автобусов, чтобы только получше ее рассмотреть... Красавица должна держать себя так, точно не знает, что красива, — это придает ей дополнительную привлекательность. Но Лиза была слишком откровенна, чтобы вести столь тонкую игру; она и сама не меньше других удивлялась перемене в своей внешности.

Как-то зашли друзья Алексея и засыпали его вопросами:

— Что происходит с Элизабет? Она так похорошела, стала просто опасна в своей неотразимости!

Когда запустили музыку, у Лизы от приглашений не было отбоя. Она искренне удивлялась неожиданному успеху.

— Они сговорились, да? Ты их подговорил? — шептала Алексею. — Раньше меня никто не приглашал, а сейчас...

Красота избавила Лизу от скованности, от ощущения неполноценности, а в Алексее заронила зерна смутного беспокойства. Эти зерна, точно замедленный яд, вносили в его жизнь тревогу и смуту. Может быть, он все выдумывал, ведь ее отношение к нему не изменилось, изменилась только она сама, но и это как бы разрушало его уверенность в себе.

На майский праздник друзья Алексея устроили вечеринку в кафе; заранее договорились — «явиться с подружками». Алексей пришел с Лизой, но в тот вечер она ему не принадлежала: налево и направо расточала улыбки и слова, не переставая, танцевала со всеми. Разозлившись, Алексей курил одну сигарету за другой. Внезапно Лиза подседа к нему, схватила за руку — глаза тревожные, губы дрожат.

— Что, устала развлекаться? — желчно спросил он.

— Нет. Просто соскучилась по тебе... А ты сердись на меня? Я плохо себя веду?

— Да нет, ты просто предательница.

— Неправда! Я не предательница! Пусть я танцевала с другими, немного болтала, но все равно думала о тебе. Не сердись! Ведь я многого не знаю, но я послушная, и по два раза тебе не приходится повторять, ведь правда? Я все сделаю, как ты хочешь.

По пути домой прямо на улице они так жадно целовались, как в первый раз в его комнате.

Наступили зыбкие дни: Алексей жил в полной ненадежности, между веселым и грустным; невидимый мостик,

связывающий его с Лизой, вдруг стал ветхим, в нем появилась трещинка. Раньше Лиза никогда не заглядывала в зеркало, а теперь могла часами прихорашиваться, осматривать себя... Алексей любил наблюдать, как она расчесывает свои роскошные волосы: как зажимает шпильки губами, как водит расческой и рассматривает себя серьезно и внимательно, точно совершает какое-то таинство, и все же в этом ритуале он усматривал ее новое желание — нравиться другим. Это желание беспокоило его.

У Лизы появилась подруга-манекенщица, пустозвонка, на лице которой было написано: чего-то хочется, чего — не знаю сама; вокруг нее всегда увивались мужчины. Звали ее Пискаля. Эта девица чуть ли не ежедневно заходила к Лизе, притаскивала заграничные шмотки и парфюмерию, журналы мод... После ее ухода Лиза, невероятно счастливая, прибегала к Алексею и демонстрировала новые наряды; от нее пахло французскими духами.

— Тебе нравится это платье? Пискаля сказала — у меня обалденный вид.

С каждым днем походка у Лизы становилась все увереннее и независимее, у нее появился прямо-таки победоносный взгляд. Все чаще Лиза стала задерживаться в институте, а потом подробно рассказывала Алексею о своих очередных победах.

— Представляешь, сегодня в троллейбусе двое молодых людей мне говорят: «Мы отбираем девушек на конкурс красоты и решили пригласить вас». Я сказала им, что не считаю себя такой уж красивой, а они все уговаривают. «У нас, — говорят, — маленький конкурс, камерный».

—...Представляешь, сегодня прямо на улице мне сделали предложение... А Пискаля познакомила меня с одним художником. Он хочет написать мой портрет. Пискаля говорит, он очень талантливый.

— Пискаля говорит, Пискаля познакомила! — вспылел Алексей. Он готов был прибить эту Пискалю.

Лиза затаилась, потом надулась.

— Ты все время, постоянно чем-нибудь недоволен. Я все время чувствую себя виноватой, прямо преступницей какой-то. А что я такого сделала?! — с досады она махнула рукой и вышла из комнаты.

Как большинство вспыльчивых людей, Алексей, погорячившись, быстро отходил, вспоминал о Лизе только хорошее и в конце концов оправдывал ее. А Лиза иногда дулась целый день, при этом припоминала все предыдущие обиды и жаловалась:

— Одно твое грубое слово сводит на нет десятки приятных, — и обнимала его, но уже без прежнего жара.

Ей стали названивать какие-то парни, она постоянно куда-то спешила: то в институт, то в школу на практику, то с Писклей в комиссионный магазин. Часто вообще проявляла к Алексею небрежность: заходила ненадолго, рассказывала о каком-то показе мод или что-нибудь вроде того, что в Японии мужчина разводится с женой, если она спит в некрасивой позе.

—...Вот скажи как художник. Ведь правда, не нужно подчеркивать свои особенности, но и не нужно их скрывать? Когда маленькая женщина носит высокую прическу и огромные каблуки, она только подчеркивает свой маленький рост. А высокой незачем скрывать свой рост и носить туфли на низком каблуке. Все естественное прекрасно, ведь правда?

Алексей злился — Лиза делала культ из своей внешности. К его любви примешивалось раздражение, злость, он чувствовал — Лиза отдаляется от него, и боялся ее потерять.

— Я забыл, когда видел тебя с книгой, — запальчиво выговаривал он. — Ты совсем стала как твоя Пискаля.

— О господи! Сколько обвинений! — морщилась Лиза. — Как мне это надоело! Почему я не могу делать то, что хочется?! Ну почему? И вообще, чем требовать что-то от меня, лучше побольше требуй от себя. В твоём возрасте мужчина уже должен чего-то добиться. А ты даже не имеешь своего жилья. Это несолидно.

— Вот как ты заговорила! — с горечью произнес Алексей. — Какое дурацкое слово — «несолидно». — Внутри у него все похолодело от страшного предчувствия — Лиза разлюбила его.

«Как она изменилась, — подумал он наедине с самим собой. — Она все забыла! Ведь это я открыл ее, сделал из нее красивую женщину. Неблагодарная!»

Ничего особенного не происходило, они ссорились и мирились, но с каждой ссорой все больше сгущался осадок обид, а отношения становились вымученными, тяжеловесными.

— Отношения должны давать радость друг другу, а у нас сплошные огорчения, — уже безнадежно говорила Лиза и с каждым днем все позже возвращалась домой: то «заглянула» в клуб на танцы, то попала на просмотр фильма в Доме кино.

Однажды она не пришла совсем. В ту ночь старуха пять раз под разными предложениями заглядывала к Алексею и, не застав Лизу, успокоено вздыхала, как бы показывая, что все остальные Лизины поклонники менее опасны, чем он.

Всю ночь Алексей прислушивался к шорохам на лестнице.

Лиза явилась под утро; как ни в чем ни бывало сказала: «Привет!» — и прошла в свою комнату. Алексей не выдержал и позвал ее.

— Сейчас переоденусь, — сказала она так спокойно, как говорят, когда все безразлично. — Меня пригласили сниматься в кино, — объяснила Лиза, входя в его комнату. — На студии делали пробы... А в июле я уезжаю на съемки в Прибалтику... Ты рад? — у нее был усталый вид, но голос твердый, решительный.

— Что мне особенно нравится — в твоих планах совсем нет места для меня, — стараясь сдерживаться, усмехнулся Алексей.

— Если хочешь, ты тоже можешь поехать.

— Как приложение к тебе?

— Но я не понимаю, чем ты недоволен. Ты хочешь, чтобы я отказалась? По-моему, это просто глупо.

Наступило лето. Однажды вечером Алексей работал в угловой комнате, Лиза уже привычно где-то задерживалась. Сделав работу, Алексей вышел на улицу, зашел в сквер напротив дома, сел на скамейку, закурил. Было еще светло. Стояла теплая погода, кто-то спешил в кино, кто-то — на свидание, напротив Алексея в тени дерева целовалась парочка, а он курил и посматривал по сторонам — ждал Лизу. Прошел час, другой, уже стемнело, зажигались окна в домах, а ее все не было. Вначале Алексей представил собрание в институте, потом Писклю и какое-нибудь кафе, потом разных парней на танцах — распалил воображение до того, что его стало трясти. Покажись в это время Лиза с провожатым — им несдобровать бы. «И почему она с ними, с этими молодыми балбесами?! — злился Алексей. — Ведь я лучше. Все, что

они знают и могут, я тоже знаю и могу. И могу еще намного больше...» Раньше Алексей всегда оправдывал Лизу, даже поверил в ночные съемки, и сейчас с радостью взял вину на себя, но, как ни размышлял, получалось, что Лиза во всем не права.

Уже начали гаснуть окна в домах, влюбленные, стоявшие под деревом, куда-то исчезли, а Лиза все не появлялась. Алексей впал в какое-то оцепенелое уныние, когда уже и Лизу, и поклонников был готов послать ко всем чертям.

...Она подъехала на машине около полуночи — ее подвез светловолосый парень. Машина остановилась напротив освещенного подъезда, и из темноты Алексею было хорошо их видно. Некоторое время они сидели в машине и о чем-то говорили. Парень закурил, предложил сигарету Лизе, и она закурила тоже. И все это время, пока они курили, Алексей прямо задыхался от волнения. А потом парень обнял ее и поцеловал. Алексей бросился к машине, и в это время она открыла дверь и ступила на тротуар. «До завтра!» — махнула рукой парню и увидела Алексея.

— Ты здесь? Что ты здесь делаешь? — проговорила нетвердым голосом.

Она покачивалась, ее лицо выражало бессмысленную радость — то ли еще не пришла в себя от поцелуя, то ли улыбкой пыталась скрыть растерянность. Машина отъехала, Лиза стояла, смотрела на Алексея, чего-то ждала, а он от боли забыл все слова. Не в силах справиться с ревностью, он только невнятно пробормотал:

— Дрянь!

Лиза заметила, что с ним творится, но ничего не сказала в свою защиту.

В комнате, укладывая вещи в чемодан, Алексей все ждал, что Лиза зайдет объясниться, успокоит его, уговорит остаться... Но она не появилась.

ЖЕНЩИНА ИЗ ТАЙГИ

Р. Кучарьянцу

Она выглядела довольно привлекательно: высокая, с упругой фигурой; у нее были гладкие черные волосы, тонкий нос и большие темные глаза. Держалась она уверенно, но что-то в ее взгляде мне сразу показалось настороженным, какая-то пугливость дикарки, что ли — она смотрела слишком серьезно, с неприкрытым пытливым интересом.

Она села за стол и сразу уставилась на меня темными глазами. Я даже заерзал на стуле. Вокруг было полно свободных мест, но она подошла к моему столу.

— Свободно?

Спросила глуховатым голосом, поставила чашку с кофе, повесила сумку на спинку стула и села.

Не знаю, что уж ей там во мне понравилось. Может, то, что я сосредоточенно смотрел в свою чашку и думал о статье, которую нужно было срочно сделать. Меня поджимали сроки, вот я и сидел в одиночестве и обдумывал статью, а она, наверно, решила, что я вообще жутко деловой и положительный тип.

Некоторое время мы сидели молча, потом она — то ли самой себе, то ли чтобы завести разговор — проговорила:

— Очень крепкий кофе, — сказала без всякой улыбки, с каким-то внутренним напряжением.

— Хороший, — подтвердил я. Будущая статья из головы моментально вылетела, я достал сигареты, предложил ей.

Но она качнула головой:

— Я не курю... И кофе не люблю... Жаль, здесь нельзя выпить чая... Там, откуда я родом, все пьют чай... с брусничным вареньем.

Этим бесхитростным откровением она подчеркивала дистанцию между мной и ею, и мне ничего не оставалось, как спросить:

— Откуда же вы родом?

— Из Иркутской области.

Она была одета вполне современно, говорила по-московски, с «аканьем», и трудно было поверить, что передо мной провинциалка.

— Сибиричка, — заключил я. — А здесь давно?

— Приехала сдавать кандидатский минимум. Поступаю в заочную аспирантуру, а закончила биофак в Иркутске.

— И в Москве впервые?

— Второй раз, — она размешала сахар в чашке, сделала маленький глоток и снова посмотрела мне прямо в глаза. — А вы журналист?

— Да, — нарочито многозначительно и интригуяюще произнес я.

— И москвич?

Я кивнул.

— Я не смогла бы здесь жить, — она поджала губы. — Здесь суэта и неразбериха, а в спешке ничего дельного не делается... А что суетятся, непонятно, только разбрасываются по мелочам. На работе-то канитель, а после работы собираются и говорят о работе... И друг к другу относятся небрежно. А у нас там, на Ангаре, тишина, густая мягкая трава и пряный воздух, около нашего дома лодка...

— У вас есть семья?

— Я живу с отцом и братьями. Они лучшие охотники в области. Я тоже отлично стреляю... Без промаха... Сейчас там талые воды и солнце яркое, жгучее... Бывает, с неба сыплет прямо ледяной душ, и вода в Ангаре белая от ветра... А здесь и весна какая-то вялая...

Все это она сказала с неподдельной искренностью, и я понял, что такая естественность может быть только в значительном человеке. В ней, действительно, угадывалась цельность натуры, какое-то величие. «Лесная дева, дочь природы», — подумал я и разулыбался.

— Чему вы усмехаетесь? — ее глаза недоверчиво сузились.

— Завидую вам, — сказал я, на самом деле подумав, что за свои сорок лет ни разу не был в Сибири.

— В прошлый приезд я сидела в этом вашем кафе, насмотрелась на разных насмешников из литературных компаний,

артистической среды... А привези их к нам в тайгу, они оказались бы слабаками...

— Я тоже один их них, — вставил я.

По-моему, она хотела сказать: «Вы, кажется, другой», но осеклась и, помолчав, продолжала:

— Их бы к моему отцу, он сделал бы из них настоящих мужчин... Хотя нет, наверное, не сделал бы. Из кирпича масло не выжмешь, и на голом месте ничего стоящего не вырастет...

— Нет, все-таки сделал бы, — помолчав, добавила она. — Отец всемогущий, он все может.

— А настоящие мужчины, это какие? — я приосанился и надулся, пытаясь внести в беседу элемент игры, но она ответила серьезно:

— В которых есть стержень... Во взгляде готовность преодолеть трудности... Да, в них сразу видно что-то особенное... С таким мужчиной не страшно оказаться на необитаемом острове. Он построит дом, найдет пищу...

Она вновь пригубила кофе.

— И женщины здесь не такие... Наша женщина прежде думает о своем мужчине, а потом уже о себе. А ваша москвичка вначале выяснит, как он относится к ней... Да что там! Наши женщины ходят по углям! И я могу!..

— Ну, уж не придумывайте.

— Я никогда не вру, — резко бросила она. — Мой отец тебя за такие слова...

Она сказала «тебя», и я понял, как сильно задел ее достоинство.

— Я никогда никого не обманывала, — твердо заявила она. — И не прощу, если обманут меня.

— Застрелите? — я все не терял надежды внести в разговор юмористические нотки, но вновь потерпел поражение — она говорила то, что думала:

— Просто никогда не подам руки такому человеку.

«Как она не вжилась в городскую среду, ведь года четыре училась в Иркутске?» — недоумевал я. Было похоже, что пребывание в городе еще явственней выявило ее суть, ее определенность и самостоятельность, четче обозначило ее моральную основу. Это не соответствовало привычным стан-

дартам. Но, тем не менее, в центре Москвы, в кафе, в одном из «злачных заведений», как говорят мои приятели, передо мной сидела мифическая Диана.

Успокоившись, она снова перешла на «вы» и без всякой манерности произнесла:

— Конечно, здесь много интересного: театры, музеи, но ведь в них вы, наверно, редко ходите?

— Вообще не хожу.

— Ну вот, видите. А от ежедневной суеты можно сойти с ума... На природе — совсем другое дело, там есть время подумать о вечном, проникнуть в таинство мироздания, передать свои наблюдения людям, которые придут за нами на эту землю... В городе люди оторваны от земли, сами себе рубят голову... Конечно, они живут в хороших условиях, но это приедается... Забывают добром квартиры, а добро должно быть внутри нас. Все их добро преходящее, а знания неглубокие, наносные. Сейчас полно таких преуспевающих. Надоели эти преуспевающие... Познать себя, свою связь с остальным миром — вот что главное... У нас люди проще и лучше. Они способны на жертвенность.

«Она права, — мелькнуло в голове. — Настоящие духовные ценности неизмеримо выше разных знаний».

Заметив, что я сник, она сменила тему:

— Поговорим о чем-нибудь другом. О чем вы пишете?

— Сейчас надо написать статью об одном режиссере... — я начал рассказывать про известного театрального деятеля, про его взгляды на искусство и на жизнь вообще.

Она внимательно слушала, наклонившись вперед и подперев щеки руками, потом, когда я смолк, снова откинулась:

— А что такое искусство вообще? Для меня это память народа. Это, прежде всего, ремесла. Приезжайте к нам, вы увидите таких мастеров! У них все подлинное, достоверное. Вот о ком нужно писать... А в театре и в книгах много надуманного, ради красоты. Конечно, там богатое воображение и все такое, но... хороших писателей мало. Большинство все что-то выдумывают, какие-то сказки, — она глубоко вздохнула, еще раз пригубила кофе и, как бы приняв допинг, с новой силой обрушила на меня свой разрушительный настрой: — Вы тоже преуспевающий?

— Ну, по нашим понятиям, я живу неплохо.

Она неопределенно хмыкнула, потом спросила, люблю ли я животных, умею ли бегать на лыжах?.. Ее прямолинейные вопросы ставили меня в тупик. Казалось, я для нее своеобразный стендовый образец, на котором она испытывает москвичей на прочность. В конце концов, меня заело, и я рассказал, что зимой каждое воскресенье хожу на лыжах в парке рядом с домом, а летом отпуск провожу на реке со своей собакой.

— У вас есть собака? — удивилась она, и я понял, что мы нащупали общую почву.

Мы проговорили часа три, не меньше. За это время я выпил несколько чашек кофе и выкурил с десяток сигарет, но, видимо, произвел на нее впечатление — она попросила проводить ее до общежития аспирантов и, прощаясь, придумала хороший повод увидеться на следующий день.

— Я постараюсь уговорить вас съездить к нам, — сказала, протягивая узкую крепкую ладонь. — К тому же, у меня здесь, в Москве, никого нет, а с вами можно поговорить.

Весь следующий день я думал о ней. Статья о режиссере писалась плохо: набросал какой-то сумбурный план, исчеркал пять страниц, потом прочитал — все коряво, уровень школьного сочинения, не выше. Когда пришел в кафе, она уже была там, ходила по холлу и рассматривала фотовыставку; увидев меня, пошла навстречу.

— Мы договорились в шесть, а сейчас уже около семи, — недовольно выговорила она.

— По-моему, мы договорились от шести до семи, — начал оправдываться я.

— Нет, в начале седьмого. У тебя неряшливая память. У вас, — поправилась она.

— Ну, извините, — я примирительно взял ее за локоть, но она отдернула руку.

Только мы сели, как назло, подходит знакомый журналист, любитель посмаковать анекдоты. Мы сели в углу, в укромном месте. Нет, на тебе — этот прилипала! И главное, как нарочно, накануне ни с того ни с сего подумал о нем: «Что-то давно его не видно». И вот — пожалуйста! У меня всегда так: год не вижу человека, стоит о нем вспомнить — на следующий день встречу как пить дать. Ну, этот говорун, ясное дело, мимо не пройдет. Вот и на этот раз подскочил да еще подсуропил:

— Ого! Привет! Ты, как всегда, с новой девушкой!

Этот тип, сколько ни встречал меня одного, делал вид, что не замечает, но увидит с женщиной — сразу подкатит: «Привет! Как дела?»

Но она, молодчина, сразу торопливо вмешалась:

— Извините, нам нужно поговорить.

Я взял себе кофе, ей — яблочный сок. Она, как и обещала, начала рассказывать о себе, о своем таежном поселке, про деревья, прокаленные солнцем, про труднопроходимые тропы и свежескошенные луга, про то, как она учительствует в сельской школе, про своих братьев — «невозмутимых мужчин», которые «никогда не говорят обиняками».

— ...Они сдержанные, понимаешь? Понимаете? — пояснила она. — Не то что городские мужчины, балаболы... А вот мой отец, — она достала из сумки фотографию, и ее лицо просветлело.

На фотографии был высокий прямой мужчина с бородой; в одной руке держал ружье, другую положил на голову лохматой собаки.

— Отца все уважают, — притихшим голосом сказала она, — потому что он справедливый и добрый... Он личность, в нем есть то, чего нет в других, что свойственно только ему.

Она смотрела на снимок, как на икону, и, судя по пронзительному, испытующему взгляду мужчины, делала это не зря.

— А рядом с ним наш Буран. Он отважный, ни секача, ни медведя не боится. И он красивый. Видишь, какая у него длинная седая шерсть?

Она совсем перешла на «ты».

— Он однажды спас мне жизнь. Мы тогда шли на лодке по порожиному притоку. На моторе. Отец, Буран и я. Был сильный ливень, и отец соорудил на лодке навес, натянул брезент, чтобы нас не заливало. Мы шли около отвесного берега. Вдруг услышали гул и поняли: приближается обвал. Отец взял на середину реки, но мы не успели: часть берега отделилась и рухнула в воду. Лодку подкинуло, перевернуло, и она быстро погрузилась. Я оказалась в брезентовом мешке, как в ловушке. Вокруг глина, камни, представляешь? У борта была воздушная подушка, в ней я и дышала. Выход из брезента находился где-то подо мной. Я нырнула в грязь, нащупала выход, выбралась, а там камнепад, бревна плывут,

ветви... Один камень попал мне в голову, и я потеряла сознание... Потом отец сказал, что меня Буран вытащил... Представляю, какие мы были, в грязи и глине, как черти, — она впервые улыбнулась.

У нее была хорошая, открытая улыбка, она по-новому осветила ее лицо. Эта внезапная улыбка выдала в амазонке женственность и добросердечие.

— Я очнулась на берегу, — продолжала она. — У нас все утонуло, а стояла осень, и холод был лютый. Но у отца в кармане всегда был загошник — непромокаемый кисет со спичками. Он развел костер... В ливень это очень трудно. Представляешь, кругом потоки воды и грязи, но он нашел место под елью, уложил прутья, поджег, раздул, костер занялся, и сразу на душе как-то радостно стало... А это наш дом...

Она показала еще одну фотографию, на которой был добротный сруб с крыльцом и резными наличниками.

— У нас чистое жилье... С утра мои мужчины уходят на охоту, я навожу чистоту, готовлю — все как положено: мужчина — добытчик, женщина — хранительница очага.

— А где ваша мать?

— Умерла, — она глубоко вздохнула и убрала фотографии. — Умерла, когда я была совсем маленькой.

Ей явно не хотелось вспоминать об этом, и я пришел ей на помощь:

— У вас, наверно, зимой отлично?

— У нас зимой необыкновенно, — мечтательно произнесла она и снова улыбнулась. — Все укутано снегом, разрисовано. А морозы бывают! Вам такие и не снились. Ночью воздух так промораживается, что избы трещат. У вас здесь чуть двадцать градусов, все боятся нос на улицу показать, занятия в школе отменяют. А у нас под сорок, но ребята бегут. Даже радуются морозу... Бывает, конечно, пурга, снежная круговерть, но редко. В основном у нас тихо. Снег падает, сугробы множатся... Солнце появится над тайгой, и все расцветивается. Необыкновенно красиво, такого нигде не увидишь.

— Да, — согласился я, окончательно решив приехать в тайгу.

По пути к общежитию она некоторое время выспрашивала о моей жизни, потом рассказывала о своей работе в школе. За разговорами я несколько раз пытался ее обнять, но она

каждый раз отстранялась и смотрела на меня с каким-то монашеским укором.

Мы остановились около общежития, и она внезапно смолкла на полуслове, потом посмотрела долгим взглядом и вдруг порывисто поцеловала меня и исчезла за дверью. Я уже ничему не удивлялся.

Возвращаясь домой, я невольно сравнивал ее с другими знакомыми женщинами: она была чище, искренней, прямодушной всех.

Я пришел в кафе раньше времени. Она уже сидела за крайним столом и нетерпеливо посматривала на вход. Ее лицо было непроницаемо, но по блеску глаз я догадался — ее что-то тревожит.

— Я давно здесь, — тихо сообщила она и добавила с обескураживающей прямоотой: — Из-за тебя. Сегодня ночью я поняла — ты назначен мне судьбой... Трудно представить более разных людей, но... кто знает... Я должна тебе кое-что сказать...

Она глубоко вздохнула, как бы собираясь с мыслями.

— Я завтра уезжаю... У нас с тобой сейчас нет времени на привыкание друг к другу, но знаешь, как бывает... До тебя я только два раза увлекалась... Первый раз обратила внимание на учителя в школе. Я тогда была совсем девчонка... Второй раз мне понравился один сокурсник в Иркутске, но он оказался с мелкой душой... И вдруг ты... В тебя я влюбилась... Это самая большая глупость, какую я только могла совершить в Москве... Если хочешь, поедем к нам. Поживешь у нас, если не приживешься, уедешь. Я не буду в обиде...

Все это она сказала вполне осознанно. Видимо, по ее понятиям, женщина вправе первой признаваться в своих чувствах, но я-то не ожидал такого поворота и понял, что накануне принял опрометчивое решение. Я подумал, что ради нее придется изменить свою жизнь, многим пожертвовать. «Одно дело — съездить в тайгу на несколько дней, другое — поселиться там на неопределенное время», — рассуждал про себя. Я кое-куда ездил, но всегда знал, что за спиной остается Москва, и только на минуту представил, что живу в глухомани, без привычной городской сутолоки, без мельканья знакомых лиц, без кафе, где каждый вечер убивал время, и меня передернуло от озноба.

— Конечно, тебе не повезло — ты встретил однолюбку. Я собственница — хочу иметь или все или ничего... Я готова принадлежать мужчине, но чтобы быть для него единственной и чтобы наши отношения были настоящими, без всякой фальши... У нас ведь любят навечно...

После таких слов я почувствовал сильную опасность нашего сближения. И главное, она явно завывала меня, влюбилась в придуманного мужчину. Она и не догадывалась, что я намного слабее, слабее даже, чем она. Я только подумал об ответственности за все дальнейшее, и сразу меня охватило предательское беспокойство.

— Тебе у нас понравится, вот увидишь. А уж писать там есть о чем... Потом, если мы сможем жить вместе... поженимся. Я буду хорошей, верной женой...

Она уже представляла эту истинную любовь, а меня все больше парализовывала трусость.

— Оставь адрес... Я приеду, — промямлил я и отвел глаза в сторону.

НЕ ДОЛГО, НО СЧАСТЛИВО

Закат польхал, как гигантский пожар; казалось, там, на дальнем холме, солнце сжигает верхушки деревьев и крыши домов; в лугах стелился не туман, а знойное марево. Наш раскаленный за день остров напоминал духовку — воздух стоял густой, липкий, тягучий. И соседство воды не спасало; даже наоборот: испарения от рукавов реки создавали определенный занавес, который, точно некий стеклянный колокол, превращал наш клочок земли в удушливый парник. Только когда начало темнеть, от воды потянуло прохладой, и мы наконец смогли передохнуть.

Искупавшись, дочь собрала на поляне щепу, развела костер и стала готовить ужин. Я некоторое время любовался фундаментом нашего будущего жилья, который мы сложили из отполированных водой камней, потом подтащил к нему несколько небольших сосен (из числа топляка).

— Как ты думаешь, мать разыщет нас? — спросила дочь. — И к ее приезду мы успеем все закончить?

— Сегодня мы хорошо поработали. Если так пойдет и дальше, то дней за пять закончим. Главное — поставить стены и навесить крышу, а остальное доделаем быстро.

— Вот она ахнет. А то говорила, у нас ничего не получится.

— Она нас недооценивает.

— Это точно.

Мы выбрали исключительно удачное пристанище. Остров лежал посередине речного русла; с южной стороны, меж каменистых уступов, открывался пляж, с северной — течение нанесло груды топляка, отличного строительного материала — то, что нам было нужно. Кусок суши выглядел достаточно внушительно: имел в длину не меньше двухсот метров,

на нем стояло с десяток берез и сосен, местами рос орешник, а среди цветов и трав виднелось множество грибов и ягод.

Утром, когда мы прибыли в деревню, которая теперь еле виднелась на горизонте, местные советовали остановиться выше по течению, где, по их словам, были обширные лесистые склоны, но нам сразу понравился этот заброшенный остров. Первой его увидела дочь. Мы пробирались с тяжелыми рюкзаками и этюдниками среди прибрежных зарослей, и вдруг она крикнула, показывая в сторону излучины:

— Отец, смотри! Райский уголок! Какая выразительная колоритная листва! Вот с этой точки надо написать этюд.

Издали остров, действительно, отлично смотрелся: светлое мелководье, солнечная поляна и шапка зелени над ней.

— Этюды будем писать потом. Вначале надо застолбить место и обжиться.

В городе мы с дочерью решили провести отпуск как робинзоны: взять минимум необходимых вещей и попробовать пожить в экстремальных обстоятельствах. До этого мы примыкали к доблестному племени туристов и не раз ходили на байдарках по всяким рекам, жили в палатках, питались продуктами, которых всегда брали с избытком, купались, загорали, занимались живописью. Но в это лето решили поставить эксперимент, проверить себя, доказать самим себе, что мы что-то можем, что не зря каждое лето проводим на природе. Нас влекла опасность; мы хотели рискнуть, побывать на шаткой грани между возможным и невозможным.

— Ничего у вас не получится, — заявила моя бывшая жена. — Через три дня как миленькие придете в деревню. Да и к чему обрекать себя на такие мучения, не понимаю! Вы едете отдыхать, писать картины или мучиться?! Просто смешно! Смешно и глупо! Ну ладно отец, но от тебя, Олеся, я этого не ожидала.

— Тебе, конечно, не понять, — сказала дочь и заговорщицки улыбнулась мне.

Дочери двадцать два года, она студентка Строгановки, одаренный художник; в ее работах все отмечают яркий, неумный цвет, искреннее веселье. Она и в жизни такая: восторженная, нетерпеливая, непоседливая, немного взбалмошная, со склонностью к разного рода авантюрам. Говорят, она в меня и внешне, и по характеру. Возможно. Не случайно

же ее тянет ко мне?! И она не скрывает, что я «ближе всех по духу». Наверно, это происходит, оттого что ее мать занимается неприметными будничными делами, а я веду пространные рассуждения о смысле жизни. Так или иначе, но дочь считает свою мать мещанкой, которая, правда, имеет хороший вкус и умело ведет хозяйство, а я, по понятиям дочери, — некий носитель возвышенных идей. Я не обольщаюсь на этот счет, знаю — такое разграничение во многих семьях. Дети до подросткового возраста всегда с матерью — срабатывает связь с телом, а позднее тянутся к отцу, который для них выполняет духовную функцию, как бы осуществляет связь с миром. Но главное, моя дочь общается с матерью ежедневно, а меня видит раз в месяц, а то и реже.

Мы с ее матерью развелись вот уже более десяти лет назад. Это не мешает нам оставаться друзьями; известное дело — дети в любом случае связывают родителей чуть ли не на всю жизнь. А у нас с бывшей женой за давностью времени давно притупились всякие обиды. Порой кажется, и не было никаких разногласий и ссор; просто мы пожили вместе, а когда надоели друг другу, тихо и мирно разошлись по взаимному согласию.

У меня неплохие отношения и с теперешним отчимом дочери, инженером Анатолием. При случае я помогаю Анатолию отремонтировать его «Жигули», он делает мне магнитофонные записи — у него заграничная аппаратура и отличная фонотека. Вообще, мы с ним одного возраста, у Анатолия есть сын от первого брака, ровесник моей дочери, — так что нам есть о чем поговорить. Дочь считает отчима «слишком правильным», но я думаю, в ней говорит резкачество, неприемлемость ко всему упорядоченному. К тому же, у дочери непростой характер, и я догадываюсь, что Анатолию с ней нелегко.

Когда мы готовились к поездке и я приехал к ним, чтобы проверить амуницию дочери, Анатолий сказал;

— Я тоже не одобряю вашу затею. Да и опасно это. Хотя бы не забирайтесь в глухомань. Остановитесь недалеко от деревни. В случае чего, дадите знать, я приеду, привезу, что надо.

— Ничего нам не понадобится! — вспыхнула дочь. — Что вы, в самом деле, паникуете! Надоели эти разговоры!

Анатолий подбросил нас на машине к вокзалу и тепло попрощался.

— Ну что ж, благополучного вам отдыха. Через неделю мы поедем в Крым. Будем проезжать мимо и обязательно заглянем. Но, думаю, к этому времени вы уже вернетесь. Не выдержите.

— Посмотрим! — торжествующе заявила дочь; она была уверена в нашей победе.

Все, что мы взяли непосредственно для себя, уместилось в рюкзаке дочери: спальные, надувные матрацы, плащи, котелки, кружки, ложки, рыболовные снасти, спички, соль, сахар и пакет муки. Мой рюкзак был забит строительным инструментом, рулоном полиэтилена, проволокой и веревками, гвоздями и скобами. Мы решили обосноваться на природе обстоятельно, то есть строить не какой-нибудь шалаш, а настоящий дом-временку. Этот воображаемый дом не давал нам покоя, мы только и говорили о нем.

Рюкзаки и этюдники составляли не такой уж большой вес, но все же, добравшись до реки, мы порядком устали.

Остров от коренного берега отделяла широкая, неглубокая протока. За два перехода вброд мы перенесли все наши вещи и легли отдышаться на поляне под деревьями. День был безветренный, солнечный. Уже в десять часов утра небо прямо дышало жаром, а горячая трава так и обжигала тело.

Прежде всего мы натаскали плоских камней для фундамента, потом разметили на поляне квадрат два на три метра, вбили в землю колья, натянули бечевку, и дочь начала складывать из каменных плит основание будущего дома. Я выбирал в прибрежном завале строительный материал: стволы небольших деревьев, более-менее прямые и толстые ветви.

Во второй половине дня дочь насобирала грибов и приготовила на костре суп, а в кружках заварила чабрец — получился душистый чай. И еще испекла на углях несколько лепешек — устроила прямо-таки королевский обед. Когда я ее похвалил, она не без гордости ответила:

— Я заранее сделала выписки из книг о съедобных травах. Оказывается, можно жить на одном подножном корме. Кашу будем варить из осота и клевера — их здесь полно, а варенье — из лопуха. Он сладкий.

— Как бы не протянуть ноги от такой пищи.

— Ничего страшного, — невозмутимо хмыкнула дочь. — И вообще, не уподобляйся матери. Она только и говорит о еде и шмотках. Противно!

— Конечно, можно и поголодать немного, — сказал я. — Это даже полезно. Мне давно надо ввести разгрузочные дни.

— Мне тоже, — откликнулась дочь, уминая лепешки.

А жара все наступала: сникала листва, от цветов било такими терпкими запахами, что перехватывало дыхание.

После обеда я продолжал разбирать скопление топляка, обтесывал и распиливал то, что подходило для строительства; дочь раскладывала заготовки вдоль фундамента. К вечеру основной набор для стен и стропил был готов.

Ночевали в спальниках; на случай дождя я сделал полиэтиленовый навес, но страховался напрасно — наутро небо оставалось безоблачным. Встали с трудом: все-таки накануне взяли слишком резвый темп и изрядно наломались.

— Лучший способ размять мышцы, войти в форму — искупаться! — неунывающим голосом воскликнула дочь и, разбежавшись, плюхнулась в воду.

Я последовал ее примеру и совершил заплыв на обрывистый берег, от которого нас, островитян, отделяла бурная протока. На берегу я обнаружил поваленное дерево и, не мешкая, сплавал за пилой, а вернувшись, напилил чурбанов-кругляшей, чтобы использовать их вместо стола и стульев. Потом переправил «мебель» на остров и, пока дочь занималась завтраком, положил на фундамент самые толстые сосны, сделал некий цоколь.

День снова начинался жаркий, безветренный. Перекусив вчерашними лепешками с чаем, мы принялись возводить стены жилища. Работали увлеченно, особенно дочь; поправляя волосы и смахивая капли пота, она с неизмеримой отвагой хваталась за тяжелые, непосильные вещи. Мне все время приходилось ее останавливать.

— Ничего особенного! — горячилась она. — Я сильная, не думай!

— Я и не думаю, но к чему надрываться?! Силу надо тратить экономно, иначе быстро выдохнемся, а нам еще делать и делать. Да на такой жарнице!

— Экий ты рационалист! Совсем как один студент в нашей группе, такой изнеженный, символический художник.

Все подъезжает ко мне. У него слабые нервы и отсутствует характер, а на лице бесконечная усталость. И что он такое сделал, от чего устал — непонятно. Для него рисование — чисто механический процесс. Я уверена, он никогда не состоится как личность, но определенного положения добьется. Терпеть не могу таких!.. Представляешь, поехал к матери в деревню. Старушка обрадовалась — сын приехал. А он приехал не повидать ее, а написать ее портрет маслом, ему для картины портрет старухи понадобился.

— Но я-то не такой рациональный, — защищался я и, используя старый педагогический прием, добавил: — Мои деловые приятели вступают в садовые товарищества, обзаводятся дачами, машинами, а я вот с тобой строю дом на острове.

— Не хватало еще, чтобы и ты стал деловым! Хватит мне матери и Толи. Он, кстати, ужасно ограниченный. Только и знает, что меняет свои машины. Уже третью приобрел. Понаделал в ней всяких блестящих штучек-дрючек. Противно смотреть!

Я приколачивал к стойкам жерди, слушал дочь и вдруг впервые серьезно осмыслил, что до сих пор отношусь к ней как к девчонке, а она уже стала совсем взрослой, юной женщиной. Я подумал, что сейчас ее мучают противоречия, она мечется, пытается понять людей и саму себя, и что именно сейчас я особенно ей нужен. Только я могу научить ее разбираться в людях, общаться с ними, и этому самому сложному не учат в вузе, для этого нет учебников. Я подумал о том, что в последнее время мы виделись урывками и что, в сущности, только сейчас и познаем друг друга по-настоящему. У нас была чисто внешняя близость, а не глубокое внутреннее понимание. Наши отношения были сродни дому, который мы строили: в нем уже наметились стены, но не было крыши, окон и дверей — того, что придает жилью основательность и законченность.

— Вот видишь, мы прожили здесь всего сутки, а ты уже открыла во мне какой-то рационализм, — с горькой ухмылкой произнес я. — А поживем подольше, начнешь говорить, что я вообще недалеко ушел от этого твоего студента и Толи.

— Нет, этого не скажу, — примирительно улыбнулась дочь.

Контуры дома уже вырисовывались; в среднем за полчаса мы ставили по две жердины на каждую из трех стен. На четвертую, выходящую к песчаной косе, укладывали короткие обрезки — там я запланировал навесить дверь. Мы так увлеклись, что пропустили время обеда; только в четыре часа я отослал дочь к костру.

По-прежнему сильно пекло. На мелководье уже вскипала вода, пересоший ил трескался и вспучивался, земля обваливалась, рассыпалась; чернели листва и хвоя, в траву падали обожженные мухи. Жестоко палящее солнце искажало природу, всему живому причиняло мучительную боль. Но мы крепились, и после обеда — на этот раз уши с лепешками (дочь поймала пару рыбешек) — принялись достраивать стены.

— Нам нельзя останавливаться, выпадем из ритма, — сказала дочь, забираясь на леса и глотая горячий воздух. — Как говорит наш педагог, «остановился, и время уже отбросило тебя назад». Самое страшное — это дни, проведенные в бездействии, правда, отец?

Став студенткой, дочь называла меня только так, на модный среди молодежи, небрежно-дружеский манер.

— Верно. Но действовать надо с четкой целью и осмотрительно, а не суетиться без толку.

— О господи! Опять эта твоя осмотрительность, программа. Все же ты сильно изменился. Твой рационализм прямо выводит меня из себя!

Целый час она со мной не разговаривала. Хмурясь, молча подносила жерди, а после того, как я приколачивал их, с ожесточением запиховала в щели мох. И все время нервно покусывала травинки, а в какой-то момент отбросила стамеску и молоток и заявила, что пойдет купаться, а потом будет писать этюд.

Тут уж я не выдержал.

— Делай что хочешь, а инструмент не швырай! Каждая вещь должна знать свое место. Все раскидаешь, а мне потом ищи!

— Зануда! — зло проговорила дочь и, нарочито громко засвистев, побежала к мелководью.

Я тоже прекратил работу и закурил — эта размолвка сразу испортила мне настроение. В наших отношениях шло какое-

то смутное брожение, они все больше напоминали полупостроенный дом, в котором даже была печь, но забыли вывести трубу, и дым шел не вверх, а стелился в комнатах и ел глаза.

Покурив и успокоившись, я решил объяснить дочери разницу между рационализмом и благоразумием. Про себя я сформулировал четкую позицию, в основе которой лежали понятия о ценностях в жизни творческого человека. Я опирался на свой опыт, и на этот счет ко мне даже пришли какие-то важные мысли, но пока дочь плавала, все вылетело из головы. «А-а, ерунда! — подумал. — Важные мысли не забываются, поскольку редко приходят в голову. Раз забыл — значит, ничего стоящего».

Вода охладила агрессивный пыл дочери. Стряхивая с себя капли воды, она сказала потеплевшим голосом:

— А все-таки дом у нас получается потрясающий! Издали посмотрится — невозможно передать словами. Первое, что я здесь напишу, так это именно его.

— Ты же сейчас хотела писать, — едко пробурчал я, все еще готовый защищать свои убеждения.

— Успеется! Сперва надо все почувствовать, а потом переносить на холст. Кстати, можно писать и по памяти, и если что-то сделаешь не так — не беда. Художник имеет право на поиск. И вообще, это ерунда, что надо ежедневно набивать руку! Я знаю полно людей, которые работают как одержимые, самозабвенно, а делают посредственные вещи. А другой, посмотришь, вроде ходит, раскачивается, бездельничает, а на самом деле все копит в себе, а потом — раз! И выплеснет. И сделает такое, что все ахают... Я уверена, если что-то в человеке заложено, это все равно прорвется, разве не так?!

— Так, но ты сама себе противоречишь. Час назад говорила, что нельзя останавливаться, — усмехнулся я.

Дочь погрустнела, и до меня запоздало дошло, что я выбрал слишком неравноценного соперника. Пожиная горькие плоды победы, я лихорадочно перебирал способы взбодрить дочь. «Идиот, — мелькнуло в голове. — Ее непримиримость, беспокойный дух и есть самое прекрасное в молодости. Ведь я и сам был таким, да, собственно, таким и остался. А ее призываю к трезвости и практичности. Нет, чтобы

все свести к шутке или терпеливо все объяснить, завелся как мальчишка!»

— Противоречия свойственны всем талантливым натурам, — попытался я поправить дело.

— Хм! Не говори со мной как с душой. Я прекрасно знаю, что не талантлива. Просто способная. В тебя, кстати.

— Спасибо.

— А почему я всегда спешу, могу сказать, — дочь окончательно повеселела. — Потому что второй-то жизни не будет.

— Это точно, — серьезно согласился я, и мы продолжили работу.

Закончив стены, мы установили стропила, сколотили каркас крыши и натянули на него полиэтиленовую пленку. Наше жилище все больше обрастало необходимыми атрибутами, шаг за шагом мы шли к своей цели.

К исходу третьего дня мы уже расставили в доме чурбаны-мебель, перенесли вещи и по случаю новоселья закатали пир. Дочь наловила рыбы и запекла ее в тесте, а из ягод приготовила отличный кисель. Впервые мы ужинали не на поляне, а в собственной обители, почти законченном доме — оставалось только обтесать половые жерди, забить фронтоны, вставить окно и навесить дверь. Уплетая ужин, я подумал: «Главное в нашем строении — крыша уже есть, и теперь нам никакие дожди не страшны, хотя, похоже, они и не предвидятся, погода стоит сухая, жаркая, за все время не появилось ни одной тучки». Точно угадав мои мысли, дочь сказала:

— Нам удивительно повезло с погодой. Посмотри, как я загорела! Да и ты тоже... Говорят, что загар вреден, ну и пусть. Зато красиво, правда?.. У нас в Строгановке есть одна девица, она круглый год ходит смуглая. Лето проводит на юге, а зимой катается в горах. У нее папаша туз какой-то... Эта Катька, ее Катькой зовут, живет отдельно от родителей. У нее квартира обставлена заграничной мебелью, в институт она приезжает на собственном «Москвиче»... Она такая красotka! Когда идет по институту, все бросают работу... «По утрам, — говорит, — у меня на лице косметические изменения». Это так она называет припухлости под глазами. Она все вечера праздно проводит. Она ветреница. И голос у нее бесчувственный. А художник — вообще никакой. И вкусик

у нее того — чересчур продуманная одежда, а надо одеваться скромнее. Ее украшения так и говорят: «Взгляните на меня, полюбуйтесь!». И как не понимает, для каждой женщины есть свое украшение, ведь верно?

Я поддакнул. Мы уже закончили ужин, и, откинувшись, я закурил.

— Катька прямо не знаю, какая рациональная, — продолжала дочь. — «У меня, — говорит, — все есть, мне надо просто мужчину-работягу. Лишь бы любил меня и не был пьяницей. У кого есть такой знакомый?» Представляешь? Не понимает, что истинное счастье не построишь на богатстве, верно?

Я кивнул.

— Наш натурщик взял на себя миссию сводника, решил ее познакомить с приятелем, скромным инженером. «Только не вздумай говорить ему, как я живу, — предупредила Катька. — Вообще обо мне ничего не говори, понял?» Они встретились в каком-то сквере. Натурщик с приятелем пришли вовремя, Катька чуть опоздала. Нарочно... И явилась... в драном пальто и сбитых туфлях. Представляешь? Натурщик возмутился, отвел ее в сторону: «Под кого ты замаскировалась? — спрашивает. — Под дворника, что ли? Тебе что, надеть нечего?» «Молчи, ничего не понимаешь», — нахмурилась Катька. Вот хитрюга! Ну, в общем, они прошлись, натурщик поговорил с ними немного для приличия, потом ушел. А Катька, что ты думаешь, вдруг и говорит этому инженеру: «Знаете что, здесь недалеко живет моя тетя. Сейчас она ушла в театр. Мы можем у нее посидеть». Инженер вошел в Катькину квартиру и ахнул. Увидел китайский фарфор, дорогую стереоустановку и растерялся. А тут еще Катька открыла бар, достала виски, поставила модную пластинку. Ну, в общем, больше они не встречались. Как ты думаешь, почему?

— Наверняка инженер понял, что попал в Катькину квартиру, и подумал, что не сможет удовлетворить ее запросы. Видимо, он ищет женщину, для которой существуют другие ценности.

— Я тоже так думаю, — заключила дочь и продолжила: — У нас в институте полно смешных девиц. Одна, Тамара, работает на кафедре рисунка. Ей тридцать лет, у нее есть ребенок, но с ним сидит ее мать-пенсионерка. Тамаре все время зво-

нят поклонники. Как-то целый месяц звонил один, но Тамара извела его дурацкими вопросами. Где они познакомились, никто не знает. Он был журналист... Все началось с первого звонка, когда Тамара спросила в трубку: «А скажите, вы знаете журналиста?..» — и назвала какую-то фамилию, но мужчине, видимо, эта фамилия ничего не говорила. Тогда Тамара назвала еще одну. «Вспомнила, — прямо кричит. — Уж этого вы должны знать, его все знают». Вот дуриха, да? Ну, в общем, она все же нашла общих знакомых и потом по телефону сообщила журналисту: «Ваш приятель хорошо о вас отзывался». И тут же спросила: «А какие статьи вы написали? Назовите и оставьте ваш телефон, я сама позвоню». И не поленилась, пошла копаться в библиотеку, представляешь? Потом звонит ему: «Вы знаете, мне понравились ваши работы. А скажите, под каким созвездием вы родились?». Умора! Совсем спятила — и как ей не надоело все вычислять? Короче, журналист больше не звонил. И правильно! Что за унижительные проверки, верно?

Дочь говорила без умолку, но внезапно притихла. Было нетрудно догадаться, о чем она задумалась, и я спросил напрямую:

— Ты мне не говорила, но, наверно, у тебя тоже есть ухажер?

— Нет, — быстро ответила дочь, точно ожидая этого вопроса. — Я вообще не собираюсь замуж. Не хочу, чтобы кто-то вникал в мою жизнь. Надо перестраивать себя и быт... И с матерью жить не хочу. Вот бы жить отдельно, как Катька...

«Все-таки она еще ребенок. Большой ребенок», — подумал я, забираясь в спальник.

Весь следующий день я занимался оконной рамой и дверью: делал бруски, замерял и прилаживал их друг к другу, сбивал гвоздями. Дочь плела корзины, изгибала туески, делала из глины горшки, которые мы позднее намеревались обжечь на костре и использовать как подсобную посуду. Дочь была задумчивой. Судя по ее припухшему лицу, она плохо спала. Несколько раз она тревожно посматривала в мою сторону, и я чувствовал, ей не терпится о чем-то поговорить, но она никак не решится.

А над островом все стоял зной. Затяжной, сухой и резкий — до звона в ушах.

На обед дочь приготовила новое блюдо — кашу из клевера с запеченными грибами. Каша получилась не ахти какая, но я все равно похвалил дочь, чтобы немного ее встряхнуть. После предыдущего вечернего разговора между нами уже было полное взаимопонимание, оставалась какая-то маленькая недомолвка, какая именно, я и сам не мог понять. Дом наших отношений был почти готов, ему не хватало только двух-трех деталей, которые придали бы жилью тепло и уют.

— А к вечеру, если хочешь, я приготовлю пирог с ягодами. На том конце острова я обнаружила большой малинник... Сварю еще варенье. Будем пить заваренную череду и есть пирог с вареньем и... — она осеклась, но я понял — «и разговаривать».

Дочь сделала все, как обещала, и я похвалил ее еще раз, заметив, что как бы она ни ругала мать, а кулинарные способности все же унаследовала от нее, поскольку я единственное, что умею — это жарить картошку.

Дочь вздохнула и прижалась к шершавой коре «стола».

— Отец, я давно хотела тебя спросить...

— Давай, спрашивай. Я уже вполне могу выступать в роли всезнающего мудреца, — шутливым тоном я попытался снять тяжеловесную атмосферу ужина.

— Почему вы с матерью все-таки разошлись? Я знаю, что ты ее любил. Она сама не раз об этом говорила.

Такого вопроса я не ожидал и вновь попытался отшутиться, но получилось неуклюже.

— О, да! Это была любовь на небесах. Но мы слишком высоко взлетели, потому сильно грохнулись.

— Я серьезно. Ведь настоящая любовь не умирает. Значит, ты любишь ее до сих пор.

Я понял, дочь знает только половину моей жизни с ее матерью. Мои юмористические запасы сразу иссякли, и я твердо ответил:

— Нет, не люблю. Ты права: «Настоящая любовь не умирает», и раз я не люблю ее — а это мне совершенно ясно, — значит, и все у нас было ненастоящее...

Дочь недоверчиво посмотрела на меня. Я закурил.

— Видимо, наш брак был недоразумением, ошибкой, — я усмехнулся. — Правда, в результате этой ошибки появилась

ты. Но если честно, то мы были зациклены друг на друге, хотели переделать друг друга, но все наши старания шли впустую. Мы просто слишком разные...

— Я на твоём месте разошлась бы с ней ещё раньше. Она меня раздражает. Особенно когда устраивает приемы... У них все так искусственно, фальшиво... И чего ты с ними дружишь?

— Из-за тебя. И потом, не дружу, а поддерживаю товарищеские отношения. Мы действительно разные, но почему все должны быть такими, как мы с тобой?!

— А почему ты не женишься снова?

Тут уж я вздохнул и, затянувшись, выпустил длинную струю дыма.

— В жизни каждого мужчины бывают увлечения, которые не меняют его жизнь, только, ну, скрашивают ее или, наоборот, доставляют огорчения. Но однажды мужчина встречает свою главную женщину. И она, эта женщина, для него как озарение. Она наполняет всю его жизнь каким-то новым смыслом, что ли... Я еще не встретил такой женщины.

— Вот и я не встретила своего главного мужчину, — тихо проговорила дочь.

— Но у меня еще есть время впереди, — без всякой игры сказал я. — А у тебя вообще жизнь только начинается. Я уверен, у тебя все сложится гораздо удачней, чем у меня. Ведь ты хорошая девушка. Способная, добрая и... красивая.

Дочь вся зарделась.

— Ты действительно так считаешь? Ведь я так вовсе не считаю. И характер у меня поганый.

— Ты станешь помягче... когда влюбишься.

Рассвет был прямо-таки ликующий. В ветвях громко кричали птицы. Как всегда, наш остров затопляло солнце, но впервые за все дни из лугов тянул прохладный ветер. Он стелился по земле, как бы подкрадывался к нашей хижине, и робко влетал в проем двери, и, описав полукруг, исчезал в окне.

— Какой сегодня приятный ветерок, — потягиваясь, праздничным голосом пропела дочь. — И как дивно пахнет! Эти запахи мне напоминают детство. Странно, ведь я выросла в городе.

— Когда ты была маленькой, мы каждое лето снимали комнату в Купавне, — подал я голос, вылезая из спальника и растирая небритое, заспанное лицо.

— Ах да, помню. Там было много всяких цветов и трав. Не так много, как здесь, но все же. Видимо, во мне говорит память запахов. Бывает такое?

— Еще как! Иногда по одному незначительному запаху встают целые картины. Ведь у человека не только зрительная память... У всех пяти чувств своя память. И еще генетическая, как у животных. Некоторые, особо чувствительные люди, возможно, видят то, что происходило не с ними, а с их предками. Вполне возможно и такое.

— Как интересно!

Дочь побежала в глубину острова, и вскоре я услышал ее возглас:

— Отец, иди скорее сюда! Ахнешь, что я нашла!

Когда я подошел, она протянула мне несколько мелких яблок.

— Смотри, дикая яблоня! — она показала в сторону, где стояло низкорослое плодородное дерево-дичок. — Как же она сюда попала?!

— Выросла из семечка, — не очень умно сказал я, покусывая желто-зеленый кислый плод с вяжущей мякотью. — Ну вот, теперь у нас есть свой сад: малинник, орешник, яблоня.

— А давай потом еще посадим здесь груши и сливы. Ведь мы теперь сюда будем приезжать каждое лето, верно?

После легкого немудреного завтрака из чая с яблоками и ягодами мы некоторое время бездельничали: бродили по острову, подробней познакомились со своими владениями. Из вылазки принесли ежа и ящерицу и поселили их около дома.

— Теперь у нас и своя живность, — сказал я. — А когда окончательно обживем остров, разведем и крупнорогатый скот.

— А террасу, террасу мы будем строить? Для нее я сделаю плетеную мебель. Скажи, ведь корзины получились вполне приличные?

— Отличные корзины! Ты у меня молодчина, рукодельница что надо! И террасу поставим, и туалет, и душ, и выкопаем погреб и смастрячим сарай — все будет, дай только срок. Но

вначале надо доделать окно и дверь, а главное — чердачные фронтоны, а то косой дождь зальет наши апартаменты. Смотри, ветер-то все поднимается. Как бы тучи не нагнал.

Ветер и в самом деле становился все порывистей. Ближе к полудню уже всю шумела листва, по воде бежала зыбь. Мы в спешном порядке стали заделывать чердак, но когда сделали половину работы, со стороны обрывистого берега, из-за леса показалось нагромождение туч и послышались далекие раскаты грома.

— Ты прямо сглазил, — усмехнулась дочь. — Но это даже неплохо. У нас есть возможность проверить прочность нашего дома.

— Так-то оно так, но одного денька нам явно не хватило. Поди-ка завесь окно и дверь полиэтиленом, а то еще зальет. Я здесь и один управлюсь.

Во второй половине дня небо полностью затянуло тучами, налетел шквальный ветер, все чаще с треском полыхала молния, гремел гром, и на землю падали тяжелые капли дождя. Но внезапно все стихло, и остров окутали предгрозовые сгустки тьмы, а в воздухе появилась удушливая влажность. Наступила долгая, тягостная тишина; листва замерла, смолкли птицы, вода стала темной, какой-то чернильной — на острове воцарилось напряженное ожидание. И вдруг послышался нарастающий шум — и с оглушительным грохотом на поляну обрушился затяжной ливень... Он лил весь вечер и всю ночь. Мы с дочерью молча лежали в спальнях мешках, но ни я, ни она не могли уснуть: все прислушивались к происходящему на крыше, где неистово хлопал полиэтилен и скрипели жерди, — наше сооружение явно еле выдерживало натиск проливного дождя. Изредка сверкала молния, высвечивая провалы во тьме, и я видел настороженный взгляд дочери.

— Наш дом, как крепость, выдержит любую стихию, — стараясь казаться беспечным, сказал я, но вдруг под полом услышал бульканье и тут же почувствовал, как над еще не обтесанными жердями выступила вода.

Дочь вскочила раньше меня. Схватив спальники, вслепую шлепая по воде, мы выбрались из дома наружу. Вся поляна уже была затоплена, стойки нашего дома шатались под напором течения, мимо несло сорванные ветви. Дождь стихал,

светлело, но вода все прибывала с невероятной скоростью. Я ступил за порог дома, но сразу очутился по пояс в черной жиже.

— Давай забирайся на чердак! — скомандовал дочери и посадил ее к верхним поперечинам. Потом влез сам.

В дом то и дело ударяли поваленные деревья, он весь содрогался, трещал, но не разваливался. Постепенно небо совсем посветлело, и на востоке появилась розовая полоса, а вода все поднималась. Мутная, глинистая, с искромсанной листвой и древесной трухой. Сквозь разодранный полиэтилен мы отчетливо видели только один возвышенный берег; второй, низменный, где еще днем были луга, исчез под разлившейся рекой. Над огромным водным пространством одиноко торчали сосны и крыша дома — нашего последнего прибежища. Это было все, что осталось от острова.

Первой рухнула стена с дверным проемом. Потом, ломая ветви, повалилась одна из сосен; ее макушка зацепила вторую стену дома, и неожиданно образовалась своеобразная плотина, за которой прямо у нас на глазах скапливалась масса воды. Я попытался сдвинуть дерево в сторону, но вдруг услышал за спиной крик дочери:

— Смотри!

Обернувшись, я увидел ее глаза, наполненные страхом. Она остекленело уставилась на противоположную стену, от которой медленно отделялись верхние жерди — невесомо, точно прутья, они падали в воду, увлекая за собой чердачное перекрытие.

— К деревьям! — крикнул я, и мы бросились вплавь к стоящим в воде соснам.

В это время лавина воды снесла остатки нашего строения. Когда мы доплыли до сосен и, вцепившись в ветви, обернулись, на месте дома уже бурлили пенистые водовороты.

Под утро вода стала спадать, постепенно обнажая стволы сосен, верхушки берез и елей, прибрежные бугры. С восходом солнца показали основные очертания острова и часть низменного берега. Кругом лежали поваленные деревья, вырванные с корнями кусты; на них, как бахромы, висела тина.

А день опять начинался безветренный, жаркий, и все, что произошло, казалось нелепой, глупой случайностью, против которой мы оказались бессильны. Снова засверкали позо-

лотой сосны, распрямились березы и ели; снова на острове появились птицы, вот только вместо пышной растительности на поляне зияли комья грязи, но вскоре и они просохли, рассыпались, и один за другим, как из небытия, появились цветы... А потом мы вдруг увидели... ежа!

— Непостижимо! Неужели это наш?! — воскликнула дочь, подбегая к зверьку. — Как он уцелел?!

«Ну что ты? Этого просто принесло течением», — чуть было не брякнул я, но вовремя спохватился и сказал:

— Конечно, наш. В норе отсиделся... Жизнь продолжается!

Мы рассматривали ежа, как вдруг услышали сигналы автомашины. Поднявшись, увидели на обрывистом берегу сверкающие лаком и никелем «Жигули» и рядом красиво одетых мужчину и женщину. Они махали нам руками и что-то кричали.

— Мать с Толей прикатили, — хмыкнула дочь. — Прощай дружище! — дочь с грустью кивнула ежу и пошла по мелководью к берегу. Я поплелся за ней.

Увидев нас, ободранных, Анатолий и моя бывшая жена рассмеялись.

— О господи, ну и видок у вас! Мы знали, что у вас ничего не получится. Хорошо еще, что не умерли с голода... Мы все предвидели, и взяли вам палатку и десять банок тушенки.

Мы с дочерью переглянулись, и она, уставшая после бессонной ночи и всего пережитого, широко улыбнулась мне. Мы оба подумали о том, что выжили, победили. И пусть чуть-чуть не успели достроить дом, зато выстроили свои отношения.

СЛОВЕСНЫЙ ПОРТРЕТ ОДНОГО ЧУДАКА

В юности я был уверен: Гоголь своих персонажей придумал; теперь, к старости, доподлинно знаю — не придумал, а списал с реальных людей. Во всяком случае, я встречал живых Маниловых и Ноздревых, а с Плюшкиным до недавнего времени жил в одном доме. Ему было за пятьдесят, но все, даже дети, звали его Коля, а меж собой Долгоносик — за необычную внешность: квадратное туловище, короткие ноги и вытянутое лицо, на котором выделялся карикатурно длинный нос. Благодаря своей колоритной внешности, Коля одно время снимался в кино — участвовал в мелких комических эпизодах (без текста); в те дни нам, соседям по дому, он напыщенно объяснял:

— Хм, чтобы пародировать, надо все делать лучше любого актера.

Но затем Колино мастерство несколько поблекло — он стал повторяться, «выкидывать штампы», и его приглашали только в массовку.

— Коля, давай! — кричали на съемочной площадке.

И Коля давал — строил гримасы, участвовал в драках, а то и просто шастал взад-вперед перед камерой, изображая «прохожего». Случалось, столь незначительные роли вселяли в Колю глубокое уныние; однажды, просмотрев старую ленту, где у него была «приличная роль», он сказал мне, что «как актер кончился, жизнь потеряла смысл» и объявил, что покончит с собой — к счастью, на следующий день забыл о своей угрозе.

На самом деле смысл жизни для Коли заключался совершенно в другом, но об этом чуть ниже — необходимо еще упомянуть об основной профессии незадачливого актера.

Специальность у Коли была самая что ни на есть прозаическая — электротехник, тем не менее он считал ее неким

продолжением своей привязанности к кино: его мастерская находилась при киностудии, и он отвечал за осветительную аппаратуру. Ко всему, работники съемочных групп то и дело заглядывали в мастерскую что-либо подремонтировать, и недостатка в левых заказах у Коли не было, то есть он выжимал немало выгоды из своей скромной профессии; не случайно, мастерскую (обычный хозблок) Коля называл высокопарно — «электростудия», что приближалось к истине.

В общем-то, Колю можно было охарактеризовать бесхитростным чудаком и, безусловно, неплохим работником (к своим обязанностям он относился добросовестно, на работе не пил — только после работы и исключительно пиво), можно было бы считать электрика-актера и неплохим человеком, если бы не его крохоборство. Он скручивал показания счетчика, чтобы меньше платить за электричество; экономил деньги на еде — старался позавтракать у одних соседей, поужинать у других (заходил как бы по делу) — благо все мы считали за честь побеседовать с «актером», узнать киношные сплетни.

Пиво Коля пил в двух местах — в театрах и в консерватории, заходил в буфет во время перерыва (когда уже не проверяли билеты), покупал пару бутылок и садился за столик.

— Хм, там и пиво дешевое и сиди хоть до конца спектакля, концерта, и публика культурная, не то, что разная пьянь в пивбаре, — объяснял он.

Как-то Коля подобрал породистую собаку — думал получить вознаграждение, но объявлений о пропаже не появилось, и Коля решил в выходной день продать пса на Птичьем рынке, а до выходного, чтобы избавить себя от лишних расходов, собирал для собаки объедки в столовой киностудии и, по слухам, однажды отнял у вороны рыбу...

В автобусах Коля ездил без билета и не раз бегал от контролеров.

— Неужели тебе не стыдно? — как-то спросил я. — Ты же не мальчишка!

— Хм, государство обдирает нас как липы. Во всем. Обкрадывает налогами, зарплатами подачками, — дальше, распалившись, Коля готов был разнести «государство» в пух и прах, но, вспомнив о своем актерстве, «демонстрировал искусство паузы» и закончил более-менее спокойно: — И я

буду его надувать везде, где можно. Скажешь тоже — стыдно! Государству должно быть стыдно перед народом.

Вот такая у Коли была идеологическая позиция, и многие с ним соглашались, но почему-то не шли по его пути и ничего не делали для того, чтобы приструнить это самое «государство», точнее чиновников, которые, по словам Коли, «разжирили за наш счет».

Однажды умерла какая-то дальняя родственница Коли — одинокая старуха, которая все свое состояние (никчемное барахло) завещала наследникам (Коле и его двоюродной сестре). Через некоторое время я спрашиваю у Коли:

— Ну как, ты разбогател?

— Хм, знаешь, сколько государство припаяло за наследство?! Я взвесил, да еще перевозка — и плюнул на это дело... Хм, государство за все гребет проценты, — после «необходимой паузы» Коля продолжил: — Вот ты подаришь мне что-то, а часть я должен отдать в казну. С какого хрена?! Кукишь ему, государству нашему!

Коля зарабатывал неплохо, и долгое время я не мог понять, на что он тратит деньги, тем более, что семьи у него не было, никаких увлечений (кроме актерства) он не имел, никаких ценностей не приобретал (в его квартире была не мебель, а рухлядь), но однажды Коля разоткровенничался.

В тот выходной день мы с ним сидели на лавке во дворе: Коля высматривал, кто что притащил к бойлерной (туда наши жильцы частенько выкидывали поломанные вещи), я глазел на женщин, которые время от времени пересекали двор. Все началось с того, что я поставил Коле несколько бутылок пива (его любимого — жигулевского) и думал, что он ответит портвейном (моим любимым напитком), но прикончив пиво (я хлебнул всего два глотка за компанию), он и не заикнулся о портвейне. Я и сам мог купить, но дело упиралось в этику собутыльничества нашего двора, которую никому не позволялось нарушать; вернее, можно было, только следовало оправдаться отсутствием денежных средств или еще чем-либо, и непременно реабилитировать себя в следующий раз, но никак нельзя было нарушать этику из-за скупости. Короче, я намекнул Коле про свой любимый напиток, а он сделал вид, что не понял, и начал рассказывать очередную киношную сплетню — кто там у них с кем спит. Порядком

обозленный, я сам купил портвейн и, опорожнив полбутылки, высказал Коле все, что думал о его ненасытном жмотстве. На этом этапе выпивки он и разоткровенничался:

— Хм, понимаешь... у меня была тяжелая молодость... и я стал откладывать денежки, чтоб черный день не застал врасплох... Сам понимаешь, от нашего государства можно ожидать чего угодно, — здесь, как всегда, Коля выдержал затяжную «паузу», затем заключил с блаженной улыбкой: — А так у меня лежат кое-какие сбережения и как-то греют... Вот выйду на пенсию, заживу в свое удовольствие, куплю дачку, машинку...

После этого глупого откровения мне сразу стало ясно, почему Коля жил закоренелым холостяком — ну какая нормальная женщина такое выдержит? Впрочем, одна такая нашлась — года два-три она навевывалась к Коле, а изредка — и он к ней. Внешне она была страшновата и возраст имела под стать Колиному, если не больше — возможно, поэтому и привязалась к нему. Бывая у Коли, я не раз слышал, как она звонила, звала к себе, а он, наглец, почесываясь и зевая, бормотал:

— Дорогу оплатишь, приеду.

А потом, обращаясь ко мне, небрежно бросал:

— Хм, надоела! Ей от меня только одно надо... Не успею прийти, бросается в ноги и раздевает меня (да простит мне читатель вольную трактовку Колиного монолога — дурацкая стеснительность не позволяет передать его истинные словечки).

Два-три года Коля только и жаловался на эту свою знакомую — что «с ней нет задушевных бесед», что «ей не понять актерскую душу»; в конце концов, эта женщина не выдержала Колиных завышенных требований и бросила его. В их последнюю встречу Коля и вовсе выкинул отвратительный номер: после ее ухода вдруг обнаружил пропажу какого-то медальона (скорее, то что осталось от медальона, который кто-то выбросил за ненадобностью, а барахольщик Коля подобрал), позвонил своей подружке и проворчал:

— Как ты посмела?! Я тебе его показывал, а теперь он исчез. Кроме тебя, никто не заходил!

Это было последней каплей, переполнившей терпение несчастной женщины. А через год, когда в доме меняли тру-

бы отопления, Коля обнаружил злосчастную штукювину за шкафом.

И вот, надо же, на удивление всего нашего дома, в пятьдесят с лишним лет Коля объявил, что женится, и привел в свою захлавленную хибару довольно красивую девицу. Тут же любопытные разузнали, что они познакомились на съемках фильма, где она была статисткой (а Коля уже только таскал софиты), что она из провинции, хочет стать актрисой, но провалилась в театральное училище; будто бы согласилась расписаться с Колей ради жилья и прописки и поставила условие — не прикасаться к ней и вообще не стеснять ее свободу (она рассматривала свою молодость как бесценный капитал); будто бы Коля пошел на это с тайной надеждой, что рано или поздно уломает барышню, и фиктивный брак плавно перейдет в эффективный.

Как ни странно, но именно так и произошло. Вначале Коля приучил свою супружницу пить пиво, и в роли собутыльницы она оказалась гораздо талантливей, чем на съемочной площадке, — уже через месяц стала требовать от Коли крепких и (к его ужасу!) дорогих напитков и сигарет (здесь Коле пришлось потрясти свои сбережения — но цель оправдывала средства).

Освоившись в новой роли, девица существенно расширила ее диапазон — вошла в образ капризной особы: то ей нужны новые туфли, то деньги, чтобы сходить с подругами в кафе. Пританцовывая, она говорила:

— Не забывай, старикашка (так она называла Колю в настроении, в гневе — «старый черт»), у меня огромное будущее. Все говорят — у меня лицо Аллы Ларионовой, а фигура как у Людмилы Гурченко, а танцую я получше ее. Когда стану кинозвездой, о тебе не забуду — куплю тебе хорошую квартиру.

Обычно заблуждения на свой счет приводят к разочарованию, но, похоже, девица ничуть не огорчилась поражению в театральном училище, была уверена — несмотря ни на что, звездная слава ей обеспечена.

Коля выполнял все желания будущей кинозвезды, но его тревожили сбережения — они катастрофически таяли, и тогда он в свою очередь поставил условие молодой жене: выполнять кое-какую работу по хозяйству. Это было грубейшей

ошибкой. В первый же день, когда Коля ушел на работу, его суженая выкинула из квартиры мебель-рухлядь на помойку (в общем-то, там ей и было место). Я думал, Коля убьет новоиспеченную хозяйку. Ничего подобного — промолчал и, скрепя сердце, раскошелился — выдал денежки на новую мебель, девица настолько запудрила ему мозги своими талантами, что он уже смотрел на нее разинув рот, а нам, его соседям, то и дело говорил о ее гениальности.

Дальше девица обнаружила недюжинные хозяйские способности: потребовала от Коли отдавать ей всю зарплату и деньги за левые приработки. Все это будущая кинозвезда высказала в повышенном тоне, поставленным актерским голосом, а для большей убедительности под конец вскрикнула:

— Ты жадный, старый черт! Трясешься над каждым рублем! У тебя нет сердца!

Чтобы осмыслить ее слова, Коля впервые выпил вина и, набравшись алкоголя и храбрости, без всяких «пауз» выдал зарвавшейся женушке:

— Хм, я докажу, что у меня есть сердце. Я готов на все. Могу даже потратить все сбережения, но давай это... выполнять супружеские обязанности. Главные... Хотя бы изредка (я вновь недостаточно откровенно передал его прямолинейные слова).

Неожиданно девица согласилась, причем с такой легкостью, словно речь шла о выпивке, и в дальнейшем более-менее соблюдала договор.

С этого момента Колина семейная жизнь и пошла наперекосяк: во-первых, он умопомрачительно влюбился в молодую жену, во-вторых, в нем пробудился неистовый ревнивец, он следил за каждым ее шагом, подслушивал ее телефонные разговоры, копался в ее сумке, закатывал скандалы, когда она возвращалась поздно (она по-прежнему не ограничивала свою свободу), а наутро просил прощения, задаривал подарками и, что совсем невероятно, за полгода их совместной жизни растранижил почти все, что скопил за многие годы. От постоянной нервозности Коля весь извелся, высох, сильно постарел, стал ощущать боли в сердце.

Его жену это мало заботило; на киностудии она в открытую заводила романы, а дома, выслушивая Колины упреки, отвечала раздраженно и дерзко:

— Ты становишься нахалом, все больше и больше требуешь от меня! Маршировать перед тобой не надо?! Ты забыл, старый черт, что у нас с тобой договор! Остальное тебя не касается.

— Побереги себя, — сказал я как-то Коле. — Эта кукла угробит тебя.

— Хм, наверно, — устало кивнул он. — Зато я с ней живу, как следует. И хрен с ними, с деньгами.

Похоже, от женитьбы Коля поумнел, до него дошло, что жизни на пенсии «в свое удовольствие» может и не быть, и в его возрасте ничто не гарантировано, кроме дряхления.

Вскоре его благоверная с киногруппой отправилась на съемки в другой город. Два дня после ее отъезда Коля прямо задыхался от тоски и ревности, перед ним вставали жуткие сцены измены жены; на третий день, не выдержав, он взял отпуск за свой счет и тайно последовал за киногруппой, причем, как опытный детектив, заранее достал на работе бинокль, фотоаппарат, магнитофон, чтобы документально изобразить жену «в развратном образе жизни».

Он снял комнату напротив гостиницы, где остановилась съемочная группа, и с утра до вечера наводил бинокль на ее номер. И однажды увидел, как она обнимает мужчину. Пока бежал в номер, придумал несколько вариантов мести, но открыв дверь, обнаружил совершенно чужую парочку — оказалось, накануне киношники внезапно уехали.

В какой-то момент Коля возненавидел жену и в приступе злости решил отомстить «за все» — вздумал за «бешеные деньги» (последние из сбережений) изменить ей с ее подругой, известной блудницей киностудии (свою известность она приобрела в постели одного известного режиссера); но в последний момент, когда блудница пришла к нему и разделась, явилась жена и объявила, что они все подстроили, чтобы уличить его в гнусности.

Дальнейшая судьба Коли мне неизвестна — несколько лет назад я уехал из того дома.

По одним рассказам его раскаленное сердце не выдержало перегрузок, и будто бы, лежа в гробу, он погрозил жене кулаком. По другим — красотка жена ушла от него к молодому преуспевающему бизнесмену, забросила кино и просто катается на «Мерседесе»; Коле не только не подарила квар-

тиру, даже не сказала «спасибо», но, вроде, Коля переживал недолго, а выйдя на пенсию, начал увлеченно разводить аквариумных рыбок.

Этим последним рассказам хочется верить — ведь, в сущности, Коля, как все безобидные чудаки, скрашивал жизнь нашего двора и был моим сотоварищем по безделью в выходные дни и каким-никаким собутыльником, и надо отдать ему должное — он красиво расстался со своим «богатством», ну разве что ему не хватило размаха.

ЧТО ТАМ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ?

Они познакомились ночью, на пожаре, когда стояли среди зрителей, потрясенных происшествием; стояли рядом и смотрели, как на противоположной стороне улицы полыхал двухэтажный сруб.

Дом загорелся в глухую полночь. Огненная волна вырвалась с нижнего этажа, взмыла вверх и понеслась по стене, зажигая наличники окон один за другим; перекинулась через оградительную решетку и растеклась по крыше. Потом вспыхнула другая стена. Два огненных потока схлестнулись на коньке крыши, послышался гул, в черное небо взлетел сноп искр, над улицей повисло зарево. Отражая пламя, стены близлежащих домов забликовали сполохами, окна заблестели, точно красная слюда. Раздались крики, хлопанье — в соседних домах жильцы выбегали из подъездов поглазеть на редкое событие.

Пламя росло, рев огня усиливался... Уже через пятнадцать минут жар от горящего дома достиг места, где толпились погорельцы, навьюченные узлами и сумками. Несколько смельчаков метались около горящего дома, оттаскивали вещи, наспех выброшенные из окон.

Вскоре появились пожарные машины. Без суеты, слаженно пожарные раскрутили шланги и принялись струями сбивать пламя.

Они стояли под деревьями. Он одной рукой держал за поводок собаку, другой опирался на палку; она, прижавшись к дереву, поживалась от адского зрелища.

— Вы слышали, говорят, жильцы сами его подпалили? — спросил он, не поворачиваясь.

— Что вы такое говорите! Как можно?! — откликнулась она.

— Да, да... Я думаю, именно так и было. Сейчас все возможно... Знаете, есть практичные люди. Они рассуждают как? Чего там ждать неизвестно сколько очереди на новую квартиру. А так — раз! И пожалуйста, вам ордер. Есть такие!

— Ну, я так не думаю! А как же вещи?! Неужели они ради квартиры готовы сжечь свои вещи, все, что нажито с таким трудом. Это невозможно!

— Хм, какая вы наивная... Ценные вещички они давно припрятали. Что вы! Там все четко продумано.

— Нет, нет, все-таки это чудовищно, то, что вы говорите!..

— А я уверен, что именно так все и было. Не случайно и пожарные приехали уже к шапочному разбору. Взгляните, что уж тут тушить! Они вон и поливают так, для вида.

— Что вы этим хотите сказать?

— А то, что их поздно вызвали... Извините меня, но в таком доме сколько квартир, как вы думаете? На нижнем этаже штуки четыре и на верхнем столько же, так? И что ж получается? Никто из жильцов не уловил запах дыма?.. Такое только в сказках бывает! Меня не проведешь. Я таких хитрецов вижу насквозь.

— Не знаю, не знаю. Как-то все это странно.

— Ничего здесь странного нет. Все ясно, как в Божий день. Спрятали вещички, а дом подпалили; подождали, пока разгорится получше, чтобы нечего было ремонтировать, и потом уже вызвали пожарных. Ловкачи те еще! Ишь, стоят припечаленные! Вроде даже расшмыгались, расхлюпались. Актеры!

— Какой вы жестокий!

— Я не жестокий, сударыня, я справедливый... Во всем должен быть порядок. Я, извините меня, фронтовик. У меня обе ноги перебиты, — он возбужденно ударил палкой по ноге. — Но ждал квартиры пять лет, как все очередники. А эти прохиндеи, извините за выражение, все норовят в обход закона. Не годится такое! Я на месте райжилотдела заставил бы их жить на этом пепелище. В шалашах, не иначе... Безобразие! Есть люди — в подвалах живут, и то ничего. А эти такой дом имели!

— Но он старый, деревянный.

— Ну и что?! Да деревянный дом, скажу вам, в сто раз лучше тепло держит, чем эти наши, блочные. И летом приятней — дерево дышит... А уж сколько он стоит? Лет пятьде-

сят, не меньше. Я помню, мы там, на чердаке мальчишками лазили. Задолго до войны. И он еще столько же простоял бы. Наши блочные развалятся, а он все стоял бы. Сейчас ведь все делают тяп-ляп, на соплях, на скорую руку, для плана, а раньше все делали на совесть, без спешки, добротнo, навечно...

— Да, — согласилась она. — Это вы верно сказали.

Одна из стен горящего дома завалилась и рухнула. В небо, крутясь и сгорая, взвились щепки и раскаленная древесная труха; отлетев в сторону и остынув на лету, они посыпались на землю черными хлопьями.

— Надо же, никогда не думала, что стекло плавится, — помолчав, кивнула она на оставшуюся часть дома, где стекло оконное стекло.

— Железо горит, а то стекло, — хмыкнул он. — Танк, знаете, как горит?! Вот, пожалуйста, — он засучил рукав пиджака и показал на ожог. — Эти отметины мне до сих пор о себе напоминают... Сколько лет прошло, а вот нет-нет, да так разболятся, хоть на стену лезь. Делаю примочки, компрессы...

— Разве за вами некому ухаживать? — поинтересовалась она.

— Жена моя умерла. А детей у нас не было, не успели завести. Все она виновата...

— Кто?

— Война, кто же еще!

В лужах вокруг догорающего дома еще польхали отблески, но небо уже начало светлеть. Пожар стихал. Пожарные уже разгребали дымящиеся развалины. Обугленные бревна стреляли и шипели, поднимая столбы красного дыма.

— И вот что интересно, — продолжал он. — Только заболят эти мои ожоги, занеют раны на ногах, сразу передо мной — мои боевые товарищи. Поверите ли, вижу их как живых, разговариваю с ними... Они ведь так и сгорели в нашей «тридцать четверке». Весь наш «экипаж машины боевой», как пели тогда.

— Как же вам удалось спастись? — торопливо спросила она.

— Просто повезло... Меня выбросило из машины взрывной волной... У нас, как вам объяснить, ну, в общем, башню сорвало снарядом, и взорвался наш боеприпас... Лежал без сознания, горел, пока наши не добрались...

— Господи! — вздохнула она.

— Да, вот так, сударыня... Ничего, подремонтировался в полевом госпитале, снова воевал, но уже в другой машине...

Повременив, он продолжил:

— Сейчас вот, я смотрю, люди измельчали... У нас в бойлерной... Я работаю в бойлерной, дежурю посменно. Понимаете ли, и приработок к пенсии, да и не могу я без дела. Как вам сказать, ну такой уж я человек.

— Это мне понятно, я тоже не могу без работы. Уж несколько лет, как могу уйти на пенсию, но не собираюсь. Чего дома-то сидеть? Но, простите, вы что-то рассказывали про вашу работу...

— Да, собственно, ничего особенного. Просто мой сменщик, молодой мужик, а представляете, копит перегорелые лампочки.

— Зачем?!

— Как зачем? В бойлерной выкручивает хорошие, вставляет перегорелые. Крохобор! Да еще вечно крутится возле начальства. Подлое унижение! Это я к тому, что люди сейчас измельчали... А мои фронтовые друзья, они ко мне иногда заходят, это люди настоящие. Люди старого закала... Нас все меньше остается. Дают о себе знать раны, переживания... А самые лучшие погибли. Самые отчаянные, самые честные, кто не прятался за спины других.

Пожар совсем затих. На месте бывшего дома виднелись тлющие остовы комнат и груды пепла; пахло гарью. Пожарные уехали, и все разошлись, а они все стояли под деревьями — старик с суровым лицом и пожилая женщина с добрыми глазами и грустной улыбкой.

Наконец он повернулся:

— Позвольте вас проводить?.. Нам с Диком все равно пора прогуляться.

— Если это вас не затруднит, — она опустила голову.

Они пошли по тротуару в сторону ее дома.

— А я смотрю — в наших домах появилась новая женщина... Я не мог вас не заметить. Вы ведь недавно сюда приехали?

— Да, всего три месяца... Здесь хорошо. Зелени много... Я вас тоже видела, когда вы гуляли с собакой. Его Дик зовут?

— Дик, — он потрепал собаку по загривку, и пес завилял

хвостом.

— Ну, вот мы и пришли.... Вон мой дом, — она показала на новую, недавно построенную пятиэтажку.

— Если вы не спешите, может, мы погуляем еще? — предложил он.

— В другой раз с удовольствием. Меня ждет моя кошка.

Он жил в однокомнатной квартире, окна которой выходили в небольшой сквер. Обстановка в комнате была простой, без всяких излишеств, и жил он тихо, никому не досаждая, своими проблемами ни с кем не делился, но все равно считался старым брюзгой, стариком с тяжелым характером. Так случилось, что раза два он делал замечания молодым людям, которые по вечерам слишком веселились у подъезда, и с тех пор на него повесили это клеймо.

Соседи по лестничной клетке по нему проверяли время: в шесть утра он, стуча палкой, шаркал в ванну и там громко фыркал; в половине седьмого выгуливал собаку, в семь гремел чайником — готовил завтрак, в восемь отправлялся на работу. В полдень он приходил снова и, прихватив судки, шел в столовую, где брал обеды со скидкой. Вернувшись, обедал с собакой, минут десять с ней прогуливался около дома и опять ковылял на работу. Вечером все повторялось, только с собакой он гулял дольше. Перед сном он слушал по радио «последние известия» и погоду на следующий день, при этом бормотал:

— Не климат, а не поймешь что... Всю природу загубили. Потом спохватятся да поздно будет...

После демобилизации он работал мастером на заводе. Заработок и пенсия по инвалидности позволяли им с женой жить довольно прилично, они даже приобрели садовый участок. Но потом у жены обнаружили туберкулез, и все их накопления, в том числе и участок, ушли на санатории и поездки к морю. Когда жена умерла, он уволился с завода и пошел работать в бойлерную.

Собака была подстать ему: старый кобель с узловатыми лапами. Как и хозяин, пес при ходьбе шаркал и кряхтел.

По воскресеньям к старику приходили фронтвые друзья. Они долго и шумно застольничали, пели военные песни. Поздно вечером он провожал гостей до автобусной остановки.

Она работала на почте, выдавала корреспонденцию... В пятиэтажке имела маленькую, но чистую, ухоженную ком-

нату со множеством вышивок. Когда-то у нее была хорошая, дружная семья: муж офицер, две дочери. Но в начале войны муж ушел на фронт и вскоре был тяжело ранен. Она приехала в прифронтовой город, разыскала мужа в одном из госпиталей, слышала бормотанье:

— ...Знаю, не выживу... просьба к тебе... не выходи больше замуж... расти наших дочек и люби меня.

Ей было двадцать пять лет, но всю оставшуюся жизнь она прожила одна, выполняя эту просьбу... Всю жизнь заботилась о детях, работала даже во время отпусков и в выходные и праздничные дни; питалась плохо, ни разу не отдохнула по-человечески в доме отдыха; все деньги тратила на дочерей. Жили они в однокомнатной квартире на пятом этаже, в доме без лифта.

Одно время к ее окну на почте повадился ходить мужчина: в день по два-три раза протягивал паспорт. Протянет и улыбнется. Ему не было писем, но он все равно ходил, а однажды протянул в окно билеты в театр и смущенно проговорил:

— Мне никто не может написать, у меня никого нет... Я хожу сюда из-за вас. Вы такая серьезная, аккуратная.

Она прибежала к подруге, кассирше:

— Прямо не знаю, что делать: идти или не идти в театр? Вроде, человек приличный, порядочный, не какой-нибудь там...

— Обязательно иди!

— Но у меня нет хорошего платья. Да и неудобно как-то.

Кассирша дала ей платье, но к театру она так и не подошла.

А ее дочери выросли эгоистками. Старшая вышла замуж, уехала к мужу и запретила матери появляться в своем доме, заявив: «Ты внука неправильно воспитаешь и говоришь глупости». Младшая приводила парней, а мать спраживала: «Пойди в кино... И до чего ты надоела, никого сюда пригласить не могу. Хоть бы комнату себе сняла, что ли!».

Почтовикам долго было непонятно, почему вдове фронтовика не предоставят отдельную жилплощадь, но однажды пронесся слух: будто бы ее муж вовсе и не умер, а выписался из госпиталя и остался в том городе. Будто бы завел новую семью и даже появлялся в Москве, хотел взглянуть на дочерей, но бывшая жена якобы его не приняла. Злой слух, лож-

ный и обидный.

В конце концов, она разменяла квартиру на две комнаты в коммуналках и отдала дочери большую комнату, а сама переехала в маленькую.

На другой день на улице все только и говорили о пожаре... Она сидела на лавке во дворе своего дома и обсуждала с соседями подробности случившегося. К ее ногам ластилась пушистая кошка.

Он с собакой появился к вечеру. Еще издали поприветствовал женщин, приподняв кепку. Она взяла кошку на руки и пошла навстречу.

— Добрый вечер, сударыня... Мы с Диком за вами. Приглашаем с нами прогуляться.

— С удовольствием, только я сейчас отнесу Машу домой.

Увидев собаку, кошка спрятала голову под локоть хозяйки.

— Конечно, конечно... Если не возражаете, я подожду вас в том скверике, — он показал в сторону своего дома. — Здесь, извините, еще не совсем приглядный вид. У нас ведь как? Дом поставят, а убрать мусорные кучи не удосудятся. Посмотрите, что творится! Ну, неужели нельзя все привести в порядок?!

— Да, да, я с вами полностью согласна, но где же ваша терпимость? Поберегите ваши нервы. Экий вы, право!.. Но... сейчас я приду.

— Я вас жду, — повторил он. — Я человек обязательный.

Она вернулась в новой кофте, и это он не оставил без внимания...

— Должен вам сказать, — продолжил он прерванный разговор, — я такой человек: если что мне не по душе, я об этом говорю прямо в глаза. Не люблю всякую скрытность, разные недомолвки. Согласитесь, перед вашим домом никудышный вид, а здесь тихо, и деревьев достаточно.

— Да, здесь красиво!..

— Вот я и говорю, здесь можно спокойно поговорить.

Они пересекли сквер и сели на лавку, перед которой бродили голуби.

— Предательское время, — она улыбнулась, поправляя седой пучок на голове. — Кажется, еще совсем недавно я сидела вот так, в сквере, с подругами, и было нам всего по двадцать лет... Мы с матерью жили на Цветном бульваре, знаете?

Он кивнул, отстегнул поводок.

— Иди, Дик, пройдишь! — и повернулся к ней: — Я вас внимательно слушаю...

— Да я ничего особенного и не могу рассказать. В моей жизни давным-давно нет ничего интересного... Мой муж погиб на фронте, дочери вышли замуж, а я работаю... доживаю свой век.

— Ну, зачем вы так, зачем? — поспешно сказал он. — Вы еще вполне молодая женщина.

— Ой, не смешите меня!.. Взгляните на вещи трезво. У таких, как мы с вами, все уже в прошлом... Сдается мне, пора составлять завещание, приводить в порядок письма.

Он строго поджал губы.

— Я не спешу отправляться на небеса... Еще успеется, так я думаю. Скажу, не хвалясь, мне еще рано складывать оружие. А вам и подавно. Как можно такое говорить еще совсем молодой женщине?! И потом, понимаете ли, в старости есть свои радости. Смею вас уверить, есть. Взять хотя бы то, что уже на все смотришь философски.

— Какие радости?! О чем вы говорите?! Что за радость возиться со своими болезнями, быть всем помехой! — удрученно вздохнула она. — А невольно так получается. Я все время это чувствую. А вы разве нет?

— Как вам сказать? Вопрос серьезный... Если вникнуть, кому-то, может, мы и в тягость, а кому-то и нужны позарез. Не забывайте, на нашей стороне опыт и прочее. А потом, и у нас есть кое-что впереди.

— Что? — она вопросительно повернулась. — Что там еще впереди? О чем вы говорите?!

— Да, есть, — твердо сказал он. — Мы ведь в молодости были многим обделены. Сами знаете, нашему поколению досталось. А теперь надо наверстывать. К примеру, почаще выезжать на природу. Чего мы все шастаем по улице... Так получилось, что я почти не отдыхал в жизни. Все по врачам, санаториям с женой ездил... Она сильно болела. А там, в санатории, доложу вам, гнетущая обстановка. Увидишь такое, от чего еще больше разболеешься... Я вот все хочу присмотреть за городом небольшой домишко... Сад развести... Другое дело одиночество. Это незавидное положение. В этом весь секрет... Общими-то усилиями можно всего добиться,

а одному трудновато... Не мешает рядом иметь друга, понимающего тебя человека... Сказать по совести, я давно об этом подумываю и, когда вас увидел, сразу решил...

Он осекся, потом показал рукой на балкон напротив.

— Квартира у меня не хуже, не лучше других. Но есть, конечно, кое-что интересное... И, вдобавок, я все делаю своими руками. Не считаю зазорным починить там туалет или еще что... Так что со мной необременительно, я много хлопот не доставлю...

От него на самом деле исходили уверенность и сила, некая крепкость еще не сдавшегося старика, но она недоуменно откинулась и ответила взволнованным смешком:

— Что вы этим хотите сказать?

— Ну, что мы... Ну, почему бы нам не вести совместное хозяйство? По сути дела... У меня особых сбережений нет, но я... не смотрите, что хромаю и прочее. Я еще достаточно крепок, смею вас уверить, — он хрипло засмеялся.

— Что вы такое говорите? — в замешательстве она передернула плечами, покраснела и как-то неловко улыбнулась. — Как вы додумались до такого? Образумьтесь! Это в нашем-то возрасте? Да нас с вами засмеют, скажут «молодящиеся развалины».

— Мне все равно, что скажут. Умные не осудят, а на дураков не стоит обращать внимания. Короче, я все обдумал... Перебирайтесь ко мне!

— Вы сошли с ума, — дрогнувшим голосом проговорила она и слегка побледнела от волнения. — Это простительно юноше, а вы такой серьезный, осмотрительный, и вдруг... Вы забыли, по сколько нам лет. Это просто смешно. Просто смешно. В этом нет надобности... И потом, послушайте! Мы же совсем не знаем друг друга... Еще преждевременно об этом говорить.

Он обиженно смолк и сторбился. Возникла мучительная пауза. Она растерялась от неожиданного натиска, этакое дерзкого вторжения в размеренный уклад ее жизни, но немного успокоившись, заговорила уже потеплевшим голосом:

— И как же вы все это себе представляете?

— Я все продумал, — снова воспрянул он. — Мы с вами подаем заявление, составляем список, что надо подкупить...

— Просто и не знаю, что вам и ответить. Все это так неожиданно...

— Я не тороплю вас с ответом, — почувствовав внезапное облегчение, он снова заговорил ровным голосом. — Хорошо все обдумайте.

Вечером следующего дня они встретились, стесненно улыбаясь.

— Смех меня разбирает, когда представляю нас женихом и невестой, — сказала она. — Я подумала... И впрямь вдвоем легче вести хозяйство, и вообще есть с кем поговорить вечером за чашечкой чая... Но давайте все-таки чуточку повременим.

— Конечно, конечно. Немного можно повременить, но особенно и затягивать не стоит. Раз вы в принципе не против, то мы должны все подробно обговорить, — довольный, что все улаживается, он взял ее за локоть. — Нужно решить, что подкупить, и прочее...

Она только улыбнулась:

— К чему такая горячность, такая спешка? И потом, я не знаю, смогут ли ужиться Маша с вашим Диком?

— Я так думаю, что вполне смогут... У Дика покладистый характер, разве вы не заметили?

ГОВОРЯТ...

Говорят, наши дома стоят на болоте, и воздух у нас пузырчатый, и лягушки прыгают перед дверями, и комары летают по комнатам. Лягушки — это уж слишком, но в пасмурные дни туман на самом деле скрывает первые этажи, и, когда идешь с автобусной остановки, издали дома как бы парят в воздухе.

Говорят, дома стоят на месте бывшего имения Головина — кое-где действительно сохранились постройки из тесаного кирпича: часть ограды, ворота в парк и купальня на озере. Ограды обрамляют небольшой парк, пруды и озера с протоками и деревянными мостами, речушку Лихоборку и два ступенчатых водопада — и все это в черте города!

Наши дома находятся в низине; от большого, главного озера их отделяет плотина — живем, как в Голландии: прорви плотину — и между домами можно кататься на лодках. Плотины все время укрепляют бетонными сваями и поговаривают о строительстве набережной; по вечерам на месте будущей набережной сидят удильщики и прогуливаются парочки.

На большом озере имеется лодочная станция, и летом акваторию заполняют десятки лодок, и, конечно, на озере полно пловцов и загорающих. Однажды я поднялся на плотину и не поверил своим глазам — по воде скользил парусник, двое парней выделявали галсы на сборной яхте... А зимой по замерзшим озерам катаются лыжники.

Как-то я тоже надел лыжи, подошел к главному озеру, а там толпа зевак глазеет на лыжника, который носится взад-вперед... с пропеллером за спиной. Я подошел ближе — лыжником оказался старик в старомодном костюме; за его спиной на ремнях виднелся мотоциклетный моторчик с бензобаком и плоский обруч вокруг лопастей. Моторчик отча-

янно тарыхтел и дымил, но тянул лыжника на довольно приличной скорости. Отъехав по прямой метров триста, старик гасил обороты двигателя, разворачивался, снова включал газ и катил назад.

— Это кто, Карлсон? — спросил я у крайнего зрителя.

— Карлсон, Карлсон, — серьезно подтвердил он, как само собой разумеющееся. Видимо, старик не первый раз демонстрировал свое изобретение.

— На его лыжню не вставайте, — предупредил меня другой зритель. — Не разрешает.

Говорят, в доме у озера живет генерал. Я, и правда, не раз видел его «Чайку» с черными занавесками. Летом около того дома солдаты мотыжат и поливают деревья, подрезают кусты, разбивают клумбы, а зимой от автобуса к генеральскому подъезду расчищают снег и посыпают песком тротуар. После метели от автобусной остановки все идут к этому дому, а дальше по сугробам недалеко и до своих. Говорят, и плотину укрепляют благодаря генералу, и на месте свалки разбивают парк, и даже обновили асфальт на всем бульваре. Жаль, не построили кафе для молодежи, хотя оно вроде генералу ни к чему.

В наших домах любят животных — чуть ли не в каждой семье держат собаку или кошку, и это свидетельствует о гуманизме наших жителей. Пожалуй, по количеству животных в доме можно точно определить процент интеллигентных людей, ведь интеллигентность не что иное, как состояние духа, в основе которого лежит гуманизм. И это состояние не дается образованием — можно закончить два университета и быть неинтеллигентным человеком. Именно поэтому некоторых необразованных старушек в наших домах я считаю вполне интеллигентными.

Под нами живет семья, у которой есть и собака, и кошка. Вначале они держали одну кошку, потом хозяйка взяла из своего НИИ худого замызганного пса, которого привезли для опытов — ей стало жаль бедолагу, она забрала его домой, отмыла, откормила, и пес превратился в красавца, а своей преданностью хозяйке удивлял весь дом. Кстати, этот пес, видимо, был домашним — два дня его не выводили из вивария, и он все терпел, не мочился, а когда, наконец, его вывели во двор — стоял под деревом чуть ли не полчаса.

С кошкой пес подружился — теперь едят из одной миски, вылизывают друг друга и спят в обнимку, а на улице носятся наперегонки меж кустов. Бывает, на кошку бросится какой-нибудь пес-чужестранец, но она не лезет на дерево, не выгибает спину, не шипит, а подбегает к своему другу и трется о его лапы. Незнакомый пес только захочет ее цапнуть, а телохранитель вздыбит шерсть на загривке, оскалится, рыкнет — пес сразу стушется и долго стоит ошарашенный, не в силах понять, почему его собрат защищает заклятых врагов.

Дома собака с кошкой играют в прятки: кошка спрячет голову под занавеску и замрет; пес видит ее, но заглядывает под стулья, нарочито глубоко вздыхает, потом все же подходит и носом толкает кошку в спину; она оборачивается, игриво бьет его лапой по носу и потягивается, выпуская когти из мягких лап, довольная, что перехитрила друга. Каждое утро они встречаются так, словно не виделись несколько недель: целуются и, в знак особой радости, слегка валтузят друг друга.

Над нами — другая семья, он работает на заводе, она — в поликлинике; у них двое детей подростков, вся семья тихая, вежливая, кроме собаки — черного пуделя Чарли. Чарли целыми днями сидит на подоконнике у раскрытого окна и облаивает улицу; иногда разойдется — вот-вот выпрыгнет с третьего этажа и всех перегрызет. Я долго думал: чего старается?! Может, бриллианты в сундуке охраняет. Потом понял — пес страдает от одиночества.

Когда подростки приходят из школы, Чарли, точно ошпаренный, летит на улицу, торопливо освобождается у каждого угла, потом усаживается у парадной двери и высматривает «подозрительных»; если кто идет с мешком или с палкой — заливается. Я заметил: Чарли особенно не любит людей в форме — наверно, памятуя о строгом домашнем режиме, является противником всякого порядка.

В соседнем доме живет собачник: у него старый беспородный кобель и молодая сучка, симпатяга эрдельтерьер. Веселая и ласковая эрдель то и дело убегает играть с бездомными собаками, и кобель ревниво оберегает ее от этого общения: забегает вперед, предупредительно ворчит, разгоняет ухажеров, а неразумную подругу сердито покусывает за лапу.

— Толковый пес, — говорит о нем владелец. — Любого

впустит в квартиру, но сразу ляжет у двери на коврик и без моей команды не выпустит. А эрдель я купил у одних по дешевке. Она уже себя оправдала: жена связала себе шапку, мне шарф и варежки. Очень выгодная собака, четыреста граммов шерсти в год дает. И шерсть хорошая, от радикулита помогает.

Этот практичный человек держит дома кошек, скворца, ворону с перебитым крылом — его балкон являет собой вольтер с певчими птицами, которых он приобретает неизвестно где и перепродает на Птичьем рынке.

Он называет себя художником и оформляет наш агитпункт: по клеткам рисует портреты известных людей, которые так далеки от оригиналов, что я удивляюсь, как не боятся их выставлять. Пишет он и натюрморты — не наивные примитивы, а зализанные рыночные поделки; «произведения» тоже носит на рынок и предлагает жильцам из ближайших домов. Трудно сказать, любит ли этот человек животных, или они для него только средство наживы. Скорее всего, и то, и другое: ну какая ему выгода от вороны с перебитым крылом?! Вряд ли он может ее кому-нибудь всучить даже в придачу.

Есть в нашем доме и чудачки, вроде одинокой старушки, у которой в квартире живут три собаки и семь кошек, да еще она подкармливает кошек, живущих в подвалах, и к ней то и дело ребята притаскивают бездомных щенков. Каждый раз, открывая ребятам дверь, старушка вздыхает:

— Куда же его возьму? Вон сколько их у меня. А пенсию получаю тридцать рублей, да из них за квартиру и за свет плачу. Если только на время, а потом к хорошим людям пристрою.

Поворчит, но возьмет щенка. На старушку жаловались соседи, приходила милиция, а мне кажется, таким людям стоило бы повысить пенсию и бесплатно выдавать кости с мясокомбината, и уж, конечно, такая старушка намного лучше тех бабок, которые нацепят повязки дежурных и весь вечер сидят на лавке перед домом в ожидании грабителей, и обсуждают «кто с кем» да «кто в чем», и гоняют влюбленных из подъездов.

Кстати, нашим влюбленным и деться некуда — вокруг ни одного кафе, вот и собираются они в подъездах, а чтобы баб-

ки их не гнали, по ночам уносят лавки подальше от домов, к Лихоборке, но на следующий день бабки снова приносят лавки, и война продолжается.

Есть в наших домах и пижоны, которые помешались на любви к собакам, например, бездетные супруги музыканты. Своего голубого пуделя они кормят из серебряной тарелки и только процеженным бульоном с фрикадельками, да еще уговаривают этого баловня, а он забьется под стол и смотрит на хозяев страдальческим взглядом. В прохладные дни пуделя наряжают в жилетки, во время прогулок переносят через лужи; ему не разрешают играть с детьми и обнюхивать других собак, но он все равно набрасывается на молодых и маленьких собак, а увидев большого пса, просится на руки. Пуделя моют французским шампунем, вычесывают, подстригают, целуют в морду и укладывают спать в свою постель.

Ясное дело, и старушка, и музыканты перегнули, но всякая чрезмерная любовь лучше даже маленькой ненависти.

На нашей лестничной площадке живет пенсионерка с зычным голосом, она считается общественницей: собирает всех на субботники, чертит и вывешивает графики дежурств, пишет на повязках масляной краской «дежурные» и раздает повязки бабкам. Как только я завел щенка, общественница мне заявила:

— Ваша собака наступает на наш коврик.

— Я скажу ей, чтобы не наступала, — попытался я пошутить.

— И по ночам она гавкает, спать мешает. Если не уймете, призовем к порядку.

Каким образом она собиралась меня со щенком призвать к порядку, я так и не понял.

А двумя этажами выше проживает майор в отставке с нервной склочной женой. Майорша тоже постоянно сыпет угрозы в адрес жильцов: запрещает заводить пластинки студентам, детям — бегать по лестнице, курильщикам — курить в коридоре. Майорша дружит с общественницей — у них много общего: обе не терпят животных и детей и обе рвутся к власти над нашим домом. Говорят, именно из-за этого рвения в прошлом майорша видела в общественнице опасную конкурентку, и они не раз ссорились, правда, быстро мирились — известное дело, ничто так не сближает, как общая

ненависть к чему-то. В конце концов, они поделили сферу влияния: общественница стала «присматривать» за нашим домом, а майорша за всем микрорайоном.

Кстати, сам отставной майор, не меньше жены, ненавидит животных; вокруг нашего дома он разбил садово-огородный участок: посадил яблоню, помидоры, капусту и только на одном квадратном метре — видимо, чтобы немного успокоить общественное мнение, развел цветы. Участок майор обнес изгородью из водопроводных труб и колючей проволоки. Этому майору жить бы в деревне, там и земли полно, и с его энергией он был бы руководящим работником, а он нет — живет в городе и все свободное время ковыряется на участке. Если в его владения случайно заходит собака с ошейником, он орет на нее, кидает камни, а если забредет бездомный пес — целится в собаку лопатой. Когда я первый раз вышел погулять со своим щенком, мой несмышленный пес подлез под изгородь и побрызгал на яблоню.

Сразу же около щенка упала увесистая железка, и я услышал голос майора:

— Эй! А ну не води здесь собак. Развели тут псарню!.. Вон он налил на дерево, теперь дерево завянет.

Против этого нелепого довода я не нашел, что возразить.

И живет в наших домах тихая старушка, безмерно вежливая, даже собак называет на «вы». Раньше она всегда приветливо улыбалась мне и сторонилась, когда мы со щенком встречали ее на тропах вокруг озер. Однажды вечером я заметил, как старушка аккуратно раскладывает косточки на тропах, и подумал: «Надо же, какая сердобольная бабуля!». Только вдруг подошли две бездомные собаки, потом мальчишки нашли дохлую ворону. Я взял одну из косточек, отнес в лабораторию к приятелю-химику, и в ней обнаружили мышьяк. При следующей встрече я подошел к тихой старушке вплотную:

— Я решил подкладывать к дверям бабушек отравленные кексы. А вам — отравленный торт.

Старушка попятилась, улыбка с ее лица сошла. С тех пор я не встречал ее, хотя мальчишки доложили мне, будто видели, как она подсыпала на тропу битое стекло.

А как я покупал щенка — целая история. Поехал на Птичий рынок; у меня было рублей тридцать, и я мог бы купить

более-менее породистую собаку, но я люблю дворняг — они самые сообразительные; к тому же, главное не порода, а душа собаки. Я выбрал лопоухого щенка, который отчаянно вилял хвостом и ко всем лез целоваться. Его держал на веревке подвыпивший мужчина в форме пожарного — он торопливо совал мне в руки конец веревки:

— Давай десятку, и собака твоя! Здоровая будет, охранять будет... Давай бери скорей... Некогда мне...

Я наклонился к щенку.

— Ладно, давай пятерку... Бери быстрее, времени в обрез.

Я взял собаку, сел с ней в трамвай и только отъехал, смотрю — на шее у моего цуцика лишай. Заехал в ветеринарную клинику на улице Юннатов. Врач осмотрел щенка и сказал:

— Вообще-то щенков лечить от лишая трудно. Ему месяца два. В одном месте залечим, в другом появится. А потеряет часть волосяного покрова, подохнет. Лучше усыпить.

— Как же так?! Попробуйте что-то сделать. Очень вас прошу.

— Ну ладно, попробуем. Направлю его в больницу на Ло-синаостровской.

Я отвез щенка в больницу. Поместили его в огромную железную клетку с зацементированным полом. В соседних клетках сидели дог и собачонка с лишайным пятнышком над бровью. Когда я уходил, щенок прыгал на железные прутья, тревожно лаял и смотрел на меня как на предателя.

— Чем их здесь кормят? — спросил я у медсестры, толстой сонной женщины.

— Кашей. Некоторые доплачивают, и тогда даем и ливер.

Я сунул ей в руки деньги и попросил кормить, как следует.

— Лучше не приезжайте неделю, он быстрее к нам привыкнет, — посоветовала мне медсестра.

Но я приехал через два дня, привез щенку мясо и игрушку — резинового барана. Щенок похудел, в его миске лежала одна геркулесовая каша, но главное — он не был намазан мазью. Я забрал собаку. «Сам, — думаю, — вылечу». А если и заражусь, ничего — все равно у меня на голове волос мало осталось.

Я вылечил его мазью «амиказол» за три дня — быстрее, чем рассчитывал. А позднее узнал, что в деревнях лишай просто прижигают йодом.

Я жил с матерью, и имя щенку мы придумывали вдвоем. Назвали Челкашом в честь собаки, которая у нас была когда-то.

Первое время со щенком хватало мороки: он делал лужи, где попало, по ночам скулил, днем требовал внимания. Потом у него стали выпадать молочные зубы и прорезаться новые; он грыз обувь, ножки стульев, но и в эти дни радости доставлял гораздо больше, чем огорчений: и когда играл в свои игрушки, то и дело неуклюже заваливаясь на бок, и когда, с дурашливым выражением на мордахе, ловил мух, и когда серьезно вслушивался в слова, изо всех сил пытаясь понять их смысл, и когда на улице впервые встречал собак, кошек, птиц, бабочек.

Однажды мы с ним гуляли, и неожиданно хлынул дождь; Челкаш замер, начал растерянно озираться и вдруг прижал уши и припустился к дому. В другой раз на него кинулись две вороны, отгоняя от какой-то еды; Челкаш попятился, прижался к моим ногам; я замахнулся на ворон, а он начал подпрыгивать на одном месте и звонко гавкать — пугал нахальных птиц.

Челкаш ел то же самое, что и мы, только почему-то не пил молоко — из этого мать заключила, что он волчонок, и во дворе с кем-то поделилась своим выводом. С тех пор, когда я с Челкашом выхожу на улицу, мальчишки подбегают, обнимают моего друга и перекидываются словами:

— Челкаш! У него мать волчица.

— Много знаешь! Он щенком жил у волков.

— Нет, его отец волк, а мать овчарка, правда, дядь Леш?

Я хмыкаю что-то неопределенное; в общем-то, меня устраивает таинственное происхождение Челкаша.

Каждое утро перед работой я бегал с Челкашом до озер и обратно, а потом он выходил на балкон и провожал меня взглядом до автобуса; а по вечерам у окна ждал моего возвращения: разляжется на подоконнике, всматривается в остановку; надышит на стекло пятно, станет совсем плохо видно, но все равно меня заметит и с визгом бросается к двери. Мать по лаю узнавала, что я иду — мой дружище никогда не ошибался. Позднее, когда Челкаш подрос, он уже не умещался на подоконнике, тем не менее, упорно пытался пристроиться.

Однажды зимой мать пошла с Челкашом гулять, и он от нее убежал, увязался за мальчишками и пропал. Целые сутки я бегал по окрестностям. Зайду домой, погреюсь, снова выхо-

жу и всех выпрашиваю, особенно ребят — они в подобных делах всезнающие.

Знакомые мальчишки тоже включились в поиски. «Может, забрали собаколовы», — подумал я и на следующее утро приехал на улицу Юннатов; разыскал двух собаколовов, мужиков с лиловыми носами; они еще не отошли от очередной выпивки, но подробно расспросили о собаке и твердо, в один голос клялись, что такой не было. Я усомнился — помнят ли?

— Обижает, хозяин, — протянули собаколовы. — Мы их всех в лицо помним. Ты что?! Это ж наша работа... Ты это, шибко-то не переживай. Дворняга она и есть дворняга. Мы вот тут выловили пуделя. Завтра утречком его на опыты загребут. Хотишь, тебе отдадим? Давай на бутылец, и пес твой. Хороший, породный. Такой на рынке, знаешь, сколько стоит?

Я только махнул рукой.

Мать написала объявления о пропаже собаки, и я расклеил их на столбах в нашем районе. Все оказалось бесполезно. Мать очень переживала — на каждый шум выходила за дверь, а я так расстроился, что не мог работать — все мерещился знакомый лай. Кто-то надоумил сходить в школу, но из-за каникул школа оказалась закрытой. Я еле дождался начала занятий, пришел к директрисе школы, сказал, что в последний раз собаку видели с ребятами, и попросил помочь.

— Я вас понимаю, — спокойно сказала директриса. — У меня у самой собака. Я сообщу по классам.

На следующий день мать звонит мне на работу:

— Приезжай скорей! Челкашка нашелся! — радостно кричит.

Я примчался, открываю дверь — на полу сидит чужой здоровенный пес. «Ну, — думаю, — мать перепутала или, чтобы я так не переживал, купила другую собаку — считает, она заменит мне Челкаша». Но пес бросился ко мне, чуть не сбил с ног, облизал лицо, руки. Присмотрелся я — он, чертяка! Все его пятна, и уши-лопухи, и глаза с крапинками — да уж я-то знаю сотню его черточек! Ну и вымахал он за это время!.. Оказалось, ребята держали его в школьном подвале: подкармливали, выводили гулять и снова запирали. Директриса нашла верный ход — обошла все классы и в каждом сказала:

— Я знаю, собака у кого-то из вас. Чтобы через час она была у меня в кабинете!

Через час она позвонила матери:

— Забирайте!

Ну, а потом Челкаш два месяца чумился, и я делал ему уколы, и давал таблетки, а мать ухаживала за ним: выводила гулять, кормила из ложки и, чтобы успокоить, все время разговаривала с ним.

Мы выходили его; пес окреп, у него появилась густая, блестящая шерсть коричнево-черной окраски с желтыми подпалинами на груди и белыми отметинами на всех четырех лапах. Конечно, по разным там законам кинологии, его экстерьер нельзя принимать всерьез, да и уши-лопухи сразу выдают дворнягу, но он мне дороже всех породистых собак — он добрый и ласковый, у него умные глаза и легкий, незлобивый характер. Всех родных и знакомых он знает по именам, при встрече прыгает, лезет целоваться; кто бы к нам ни зашел — монтер или водопроводчик — крутится, лупит по мебели хвостом, тащит свои игрушки похвастаться. Думаю, если к нам однажды влезут грабители, их тоже встретит как самых закадычных приятелей.

Говорят, больше всех Челкаш любит меня. Может, так и есть — в благодарность за то, что я его лечил, хотя при виде коробки с лекарствами, сразу лезет под стол. Но скорее всего, потому что мы с ним устраиваем игры: что-то среднее между борьбой самбо и прятками. Надо отдать должное Челкашу — в борьбе он никогда не теряет голову и покусывает меня легко, больше пугает рыком и, пытаюсь повалить, колошматит лапами; я нарочно падаю, и он победоносно потягивается — делает «ласточку». А если я нечаянно отдавлю ему лапу, взвизгнет, обидится и отойдет, и не смотрит в мою сторону, а то и пойдет к матери жаловаться. Но уже через несколько минут начисто забывает все обиды, подходит с какой-нибудь веревкой в зубах и предлагает ее перетягивать или притащит мячик и тербит меня лапой: давай, мол, поиграем.

В общем, Челкаш стал моим самым близким другом. Никто никогда так меня не ждал и так не радовался, когда я приходил. И главное, он любит меня всегда, независимо от моих успехов или неудач. Куда бы я ни пошел, он отправляется за мной. Лягу почитать — и он пристраивается рядом, выйду покурить на балкон — и он тут как тут. И мое настроение моментально передается ему. Да что там! Дома мы нераз-

лучны, даже спим на одной тахте. Укладываясь спать, Челкаш подолгу крутится, вытаптывает ложе, потом плюхнется и обязательно навалится на мои ноги. Но попробуй я немного прижать его — сразу недовольно заворчит.

Снятся Челкашу в основном неприятности: он стонет, дергает лапами, пыхтит, отдувается, а то и рычит так, что приходится его расталкивать; только иногда во сне виляет хвостом и улыбается...

Случается, ночью мы с Челкашом толкаемся: я тащу из-под него одеяло, или он упирается лапами в стену и норовит меня спихнуть, но по утрам у него всегда отличное настроение.

Он просыпается рано и первым делом усаживается у окна — смотрит, каких собак уже выгуливают; время от времени оборачивается — не открыл ли я глаза? Он точно знает время, когда мне вставать, и если я немного залеживаюсь, начинает тактично напоминать о себе: дуть мне в лицо и поскуливать. Если не просыпаюсь, легонько носом тычется в мое лицо, нарочито громко вздыхает, осторожно прислоняется к моим векам шершавые подушечки лап, пытается приоткрыть глаза.

Я встаю, и Челкаш потягивается — безмерно доволен, что все-таки разбудил меня. Мы отправляемся на прогулку; я машу руками — разминаю расслабленные мышцы, а Челкаш «читает» собачьи метки и оставляет свои, при этом брызгает как можно выше, предельно задирая лапу и привставая на носки, чтобы другие кобели, унюхав его метку, думали — ого, какой гигант!

Благодаря Челкашу и мать почувствовала себя лучше. Раньше ее частенько скручивал ревматизм, но вот стала прогуливаться с собакой — и боли уменьшились.

Конечно, Челкаш — пес домашний, но дворовая кровь дает о себе знать: больше всего он любит гулять, и не с матерью — она его водит на поводке, — а со мной, без поводка, когда можно поноситься, как следует. Бывает, работаю за столом, он лежит у ног, иногда встает, подходит к окну, смотрит на улицу, потом бросит взгляд на меня, вздохнет и лезет под стол. Через полчаса снова подходит к окну и уже смотрит на меня пристально и долго — выдержу ли его взгляд. Я делаю вид, что не замечаю его намеков. Тогда он подходит и кладет

мне лапу на колено, а если и на этот жест я не реагирую, начинается бодаться. Если я прогоню его, идет к матери, уговаривает ее — конечно, с ней прогулка не та, но все же, и мать говорит мне из своей комнаты:

— Прогулялся бы с Челкашкой.

Челкаш сразу срывается, бежит в коридор, хватается ошейник и подбегает ко мне: Пошли, — гавкает, — хватит ерундой заниматься! Вон в окно вижу, уже и Ринга вышла (его приятельница, сучка из соседнего дома), а мы все дома торчим!

Больше всего Челкаш любит гулять около озер. Обычно метров за сто до первого озера уже разбегается, влетает в воду и делает небольшой заплыв, а потом радостно носится по мелководью, то и дело лакая воду. Кстати, именно там, на озерах, Челкаш в какой-то момент немного разочаровался во мне, когда заметил, что я и бегая, и прыгаю хуже, чем он. Тогда на его мордахе вначале появилось крайнее удивление, потом что-то вроде насмешливой ухмылки, под конец он радостно выпятил грудь и закрутился на месте.

И все же, несмотря ни на что, в наших отношениях Челкаш с самого начала неизменно признает меня лидером — подчиняться хозяину у него в крови; и без сомнения, он считает меня самым лучшим человеком на свете.

Когда Челкашу исполнилось три года, он уже понимал больше ста слов и даже некоторые выражения. «Принеси то-то» или «Посмотри в окно, кто там гуляет» — это для него раз плюнуть, об этом его и просить неудобно, сам догадывается; только подумаешь — уже идет выполнять, прямо угадывает желания. Бывает, говоришь с кем-нибудь, а Челкаш прислушивается, улавливает знакомые слова, остальные домысливает по интонации голоса, по выражению лица. Он понимает абсолютно все.

Благодаря Челкашу я начал учить английский язык. Я подумал: уж если мой пес знает сотню выражений по-русски, неужели я столько же не выучу по-английски? И выучил, черт возьми. Правда, мой приятель, преподаватель английского языка, говорит, что у меня произношение дремучего фермера из Техаса, но, по-моему, он просто завидует мне: ведь сам-то ухлопал на это дело лет пять, не меньше.

Английский я выучил вовремя — Челкаш стал все понимать по-русски, при нем уже было невозможно говорить

о некоторых вещах. Например, о погоде: сразу тащил мои сапоги — пойдём, мол, прогуляемся, чего рассусоливать-то; ясное дело, погодка блеск (ему и в дождь, и в слякоть — все блеск). Или только заикнешься: «Надо бы собраться у нас вечером», — он уже усаживается за стол. Ужасно любит компании и все старается быть в центре внимания: одному принесет газету, другому сигареты или тапки — выслуживается, кланчит все со стола. Начнешь рассказывать о летней поездке — растягивает рот до ушей, ложится на пузо, показывает, как летом плавал, а то и подбегает к тюку с надувной лодкой и лаёт: давайте, мол, надувайте да поплыли! Челкаш уверен, что мои знакомые приходят в основном к нему, и лишь отчасти ко мне, и ужасно обижается, если я иногда выпроваживаю его из комнаты. В отместку даже покусывает мои ботинки в коридоре.

Так вот, кое о чем при Челкаше я теперь говорю с приятелями по-английски, а Челкаш разинет пасть, наклонит башку набок и прислушивается. Я все боюсь, что он и по-английски начнет понимать.

Некоторым моим знакомым не нравится чрезмерная общительность Челкаша.

— Невоспитанный у тебя пес, — говорят они. — Собака должна знать только хозяина, не брать еду из чужих рук и вообще сторожить дом. А он у тебя размазня, а не пес.

— Невоспитанный, правда, — соглашаюсь я. — Но он член семьи, а не сторож. Сторожить у нас нечего. Да и почему собака должна знать только хозяина? Собака от природы дружелюбное животное, и чаще всего злость ей прививают. Или она становится злой от жестокости людей. Кто-нибудь ударил — и она уже настороже. Потом ударили еще раз, и пес обзлился.

Слыша эти разговоры, Челкаш прижимается ко мне, выражая полное согласие, а на моих собеседников посматривает исподлобья и недовольно бурчит.

Кстати, по Челкашу я проверил многих своих знакомых. Некоторые увидят собаку и шарахаются:

— Ой! Не укусит?

Или фыркнут:

— Не подходи, собака! Испачкаешь костюм!

И мне ясно — такие люди далеки от животных. А некоторые запросто потреплют Челкаша по загривку, и я сразу думаю — мой человек.

Говорят, собака перенимает черты хозяина. Челкаш тоже кое-что у меня перенял — у него явно повышенный интерес к сородичам женского пола, только завидит, начинает молодцевато подпрыгивать и скалиться, хвастая белыми зубами. Ему нравятся сучки всех пород и возрастов, но полный восторг вызывают овчарки. И надо же — к ним-то его, беспородного, и не подпускают!

В доме у водопада живут две сестры-овчарки: изящная Джемма и толстуха Ринга. Хозяин Джеммы, кучерявый паренек-десятиклассник, жил с матерью, но неожиданно ушел к молодой женщине с ребенком, бросил школу, устроился на завод. Его мать осталась одна с Джеммой. С утра женщина уходит на работу, и Джемма целыми днями тоскливо смотрит в окно, но никогда ни на кого не лает, не то, что наш сосед, дуралей Чарли.

Хозяин Ринги — тоже десятиклассник, более серьезный парень: готовится поступать в институт, вечерами разносит газеты по подъездам — копит на гоночный велосипед.

Джемма любит Челкаша: чуть завидит — несется; подбежит, крутится перед ним, лижет его в морду, а он вильнет хвостом для приличия, отбежит к стене дома, задерет лапу, побрызгает и спешит к Рингиному подъезду. Усядется, ждет, когда толстуха выйдет... Часами просиживал, его даже окрестили Ромео.

Когда Рингу выводят на прогулку, Челкаш изо всех сил старается заинтересовать ее: ползает перед ней на животе, подпрыгивает, как козел, закатывает глаза, выделяет разные пируэты, а она, вроде и не замечает ничего — дает понять, что все это уже не раз видела. В общем, Челкаш унижается — больно смотреть, а она, стоит, уставившись вдаль холодно-безразличным взглядом, похоже, изображает из себя принцессу.

Много раз я объяснял Челкашу его заблуждение. Бывало, слушает, опустив башку, вроде все понимает — а на другой день прямо рыдает, увидев Рингу. Не знаю, может, когда я втолковывал ему разницу между Рингой и Джеммой, он

про себя смеялся — кто их, собак, знает! Может, у них совсем другие понятия о красоте.

Кстати, толстуха Ринга нравится не только Челкашу, около ее дома всегда простаивает несколько поклонников, а случается, и внутри дома. Как-то я направился к ее хозяину (парень просил занести какие-то книги), открыл дверь и чуть не наступил на маленького кобелька — он лежал на коврик; подошел к лифту — сидит еще один пес, покрупнее; поднялся на лифте — у квартиры Ринги топчется третий, огромный, с теленка. Этот здоровяк оказался жутко настырным — даже пытался зайти в квартиру вместе со мной.

По вечерам к нашим домам подходят дворняги: гаражная Альма, которую шоферы зовут «всеобщая радость», быстрогогий вертлявый Валет из бойлерной, добродушный флегматик Степа с трикотажной фабрики и его брат — дремучий бородатый Остап с овощной базы, который не любит всякие нежности, поглаживания и прочее. Днем эти собаки служат сторожами и сидят на цепи, вечером их ненадолго отпускают «размяться» — все они друзья Челкаша, и мои тоже.

Одно время около наших домов было много и бездомных собак, среди них — старожил Рыжий, любимец детворы, большая лохматая дворняга — он жив до сих пор. Говорят, его привели строительные рабочие, когда еще только осушали болото и закладывали фундаменты первых домов. Потом строительство закончили, рабочие уехали, а Рыжего, как водится, бросили... Он уже старый — зубы желтые, источенные, глаза слезятся, одно ухо отморозено, передняя лапа перебита, он ходит прихрамывая. Целыми днями Рыжий спит у подъездов; просыпается, только когда кто-нибудь выгуливает маленьких собачонок: тут Рыжий приподнимается и, припадая на больную лапу, сопровождает гуляющих — охраняет от случайно забредших к нам незнакомых собак. Лает Рыжий редко, только когда завидит «газик», бросается вперед и сипло басит. Говорят, такая машина когда-то сбила его подругу. Рыжего подкармливают все, а некоторые и прячут в подъездах от собаколовов.

У бездомного Букета когда-то был хозяин, но однажды собаку вырвало, а хозяин подумал — нагадила, и жестоко отлупил пса. Букет сбежал и поселился в кустах у Лихоборки. Дворники выносят помойные ведра, и он с ними ходит

взад-вперед — вроде помогает; выйдут доминошники — он с ними посидит.

Еще один полупородистый пес Сандал стал ничейным после смерти хозяйки. Сандал был мрачный, замкнутый — никогда не лаял, ни к кому не приставал, но если собаки затевали драку, подходил и молча хватал за загривок.

Собак на другой стороне Лихоборки владельцы бросили, когда сносили деревянные дома, а жильцов переселили на новое место. Обычно днем собаки прятались в подворотнях, а с наступлением темноты шастали по помойкам. Только две маленькие дворняжки — крутолобый Уголек и его подружка хромоножка Найда и днем бродили между домов, бежали с ребятами в магазин и на озеро, а зимой провожали до школы.

Мы с Челкашом дружили с этими собаками; он с ними играл, я их подкармливал, и, понятно, мы нешуточно привязались к ним, а они к нам и подавно, даже сопровождали нас во время прогулок к озерам. Случалось, я и лечил наших бездомных друзей: Найде замазывал лишай, Угольку промывал глаза марганцовкой, у Сандала вытащил рыблю кость из пасти, у Букета занозу из лапы. После этих «лечений» собаки уже воспринимали меня как вожака их стаи; во всяком случае ходили за мной по пятам и постоянно заглядывали в глаза, ожидая приказаний.

Как-то зимой, прогуливаясь с Челкашем, я обнаружил под котельной теплый подвал и, купив дешевой колбасы, стал туда приманивать «ребят» — так я называл бездомных собак; за несколько дней собрал всю окрестную собачью братию. Было смешно смотреть, как, перекусив, собаки укладывались в подвале, ссорились из-за лучших мест, толкались, ворчали, потом засыпали, прижавшись друг к другу.

Старушка, у которой было много собак и кошек, почему-то считала меня ветеринаром, при встрече раскланивалась и говорила:

— Вы знаете, Сандала кто-то ударил по голове. У него кровоподтек возле уха. Пожалуйста, подлечите его и возьмите под свою защиту.

Я уже и на самом деле всерьез вошел в роль лекаря и опекуна, но вскоре убедился, что являюсь всего лишь бесправным любителем животных.

Однажды весной во время собачьей свадьбы Альма увела часть собак в парк за гаражи; вместе со сворой убежали Чарли и наш Челкаш. Я кое-что знал о методах собаколовова, знал — они промышляют на рассвете, и именно во время собачьих свадеб, что выглядит особенно жестоко.

Целый день до полуночи и все следующее утро я искал собак и нашел их вовремя: в парке уже стоял зеленый фургон, и знакомые «лиловые носы» с улицы Юннатов «обложили» стаю, перекрыли выход из парка и приманивали своих жертв колбасой — ничего не подозревающие собаки доверчиво подходили к мужикам. Часть бедолаг уже была в машине за решеткой. Я подбежал в тот момент, когда «лиловые носы» запихивали в фургон... Челкаша!

— Стойте, мужики! Это мой пес.

— Чего ж отпускаешь без ошейника?!

— Сбежал. Сами понимаете — свадьба. Вот вам.

Я протянул собаколовам три рубля; Челкаш бросился ко мне, начал прыгать, лизаться, а в фургоне — Букет, Уголек, Найда, еще разгоряченные, не отошли от своих игр, но уже в глазах страх, топчутся, дышат тяжело.

— Мужики, — говорю, — давайте договоримся. Выпустите их всех. Сейчас принесу рублей пятнадцать.

— Это можно, но у нас план. Есть постановление... Не сегодня, так завтра отловим. Ну, тащи четвертной, а там разберемся.

Я отвел Челкаша домой, занял у соседей деньги, принес «носам», они отъехали за гаражи, подальше от любопытных глаз, и выпустили пленников — те сразу дунули за Лихоборку.

— Зря стараешься, — сказали собаколовы, отъезжая. — У нас ведь план... Надо поставлять в институты. Все одно выловим.

А потом собаки стали исчезать. Первым пропал Букет; говорят, его какой-то алкаш отнес за пятерку на опыты.

...Однажды утром я проснулся от громкого воя Челкаша — он тревожно бегал по комнате, стаскивал с меня одеяло. Я выглянул в окно и увидел зеленый фургон. Челкаш уловил далекий призыв своих собратьев и отчаянно будил меня, звал на выручку, но когда я выбежал из дома, фургон уже вырুলивал на шоссе...

В тот же день выяснилось — майорша все-таки пронюхала про подвал в котельной и долго поносила «всяких любителей животных», которые «с жиру бесятся, а их собаки разносят заразу», а потом вызвала собаколовов, навела их на собак и сама руководила облавой. Загребли незнакомого пса и Уголька с Найдой.

Говорят, Найда спряталась за коробками на помойке, но ее выдал торчащий хвост. Уголек долго отбивался и сумел-таки забежать в подъезд, но собаколовы накинули на него веревку и выволокли на улицу.

— Что же вы делаете, при детях-то?! — покачал головой какой-то старичок.

Летом, когда я был в отъезде, собаколовы наведались еще раз, и около наших домов не осталось бездомных собак. Говорят, в то утро «носы» решили забрать всех животных, но Рыжего успели спрятать жильцы, сильный Сандал вырвался и убежал к каналу; один парень днем его видел уже в Химках — с подбитым глазом, разорванным ухом он бежал, весь в слюне: видимо, решил спрятаться в загородных лесах... Альму будто бы избили, но она успела скрыться в своей гаражной будке... Одни говорят, что Валета увезли, другие — что на него накинули петлю, но он оборвал ее и с обрывком веревки на шее кинулся на проезжую часть улицы, и что за ним погнался один из «носов» с сачком на шесте, и что Валет сообразил бежать по осевой линии между потоками машин, и что ему удалось убежать от преследователя, но в конце улицы он попал под грузовик. Я сам ничего этого не видел. Говорят.

ЖЕНЩИНА МОЕЙ МЕЧТЫ

Прежде всего, скажу вам, ребята, вот что: как многие пожилые люди, я противник всяких перемен в быту — привычные, обжитые вещи мне гораздо дороже любых новинок. К примеру, свой старый рабочий стол, в шрамах и ожогах от сигарет, я никогда не променяю на новый, самый современный. И не променяю на антикварный, уникальный, даже если за ним работал сам Лев Толстой.

Понятно, это касается не только стола. Лет десять назад приятели-литераторы (из числа молодых) стали уговаривать меня приобрести компьютер, но я и слушать их не хотел — меня вполне устраивала пишущая машинка «Эрика», добротный, проверенный временем механизм. Большинство приятелей махнули на меня рукой, обозвав «непробиваемым упрямым стариканом», но некоторые продолжали наседали:

— Пойми, голова! — втолковывали мне эти молодцы, без всякого почтения к моему возрасту (что обычное дело в писательской среде). — На компьютере проще простого внести в текст правку — щелкнул «мышкой», и порядок, все готово. Компьютер подчеркивает ошибки, делает переносы, абзацы...

Я отчаянно сопротивлялся, говорил, что привык к машинке и осваивать компьютер мне уже поздно. Я сравнивал себя с верблюдом, который, как известно, брыкается, когда на стоянках ему пытаются поменять ношу, — он хочет нести именно то, что нес. Разумеется, приятелей-литераторов я сравнивал с настырными погонщиками.

Но спустя два-три года мое сопротивление ослабло. Дело в том, что в магазинах исчезла копирка и лента для печатных машинок, а в издательствах и вовсе стали принимать рукописи только в электронном виде. В общем, пришлось купить

недорогой компьютер и, естественно, «Справочник для чайников».

Что мне сразу не понравилось в компьютере, так это множество обозначений (на клавиатуре) и заставок (в программе Word) на английском языке. Особенно раздражали заставки, в которых я ничего не понимал. В сердцах я называл их «заплатками» и никак не мог взять в толк, почему наши инженеры не могут создать собственную «машину» и программу полностью на русском языке?

И не понравилось, что в Wordе одну и ту же операцию можно выполнять двумя, а то и тремя, способами (например, выходить из файла, менять шрифт, копировать текст и прочее). Было непонятно, зачем такие усложнения? Я-то считал, что и в механизмах, и программах ничего не должно быть лишнего, во всем надо стремиться к простоте, идти «от колеса». Кстати, позднее я заметил, что для работы с текстом (набор и верстка) многие значки на полосе Word и часть клавиш на клавиатуре вообще не нужны — они лишь приводят в замешательство неподготовленного пользователя. Собственно, и сейчас, освоившись в Wordе, я спокойно обхожусь без них. Правда, теперь знаю, что программа создана не только для литераторов, и у нее огромные возможности.

Но все по порядку. С первых дней, ребята, я понял — в железном ящике сидит какой-то суровый надзиратель. Посудите сами. От этого субъекта то и дело сыпались грозные окрики: «Ошибка!», «Это грубо!», «Заменить!», при этом на экране появлялась «заплата» с крестом, и раздавался страшный удар колокола — казалось, меня хотят прибить.

Так продолжалось около месяца, и все это время тип в ящике постоянно унижал меня, пытался доказать, что его интеллект выше моего. Не скрою, я злился не на шутку, ругался с компьютером, пару раз, выйдя из себя, стукнул кулаком по ящику. Случалось, чтобы не трепать себе нервы, вообще выключал его. Но что бы вы думали? Компьютер оказался мстительной штуковиной — при следующем включении он «зависал», то есть никак не хотел загружаться. Только с третьей попытки, нехотя, как бы делая мне одолжение, начинал работать, как ему и положено.

Но все это цветочки, дальше последовали ягодки. Как только я стал набирать свои рассказы, надзиратель превратился

во вьедливого редактора, который дотошно, даже с какой-то издевкой, подмечал мои промахи. И если бы только ошибки в словах, ему не нравились и мои предложения. То и дело появлялись «заплатки»: «Это стилистически не верно!», «Это грубое просторечие! Поменяйте на литературный язык!». Или: «Слишком длинно! Разбейте на несколько предложений!». Похоже, редактор вообще не терпел длинных предложений, так что, Гоголю с Тургеневым от него досталось бы. Короче, редактор мне представлялся тираном, который мучил литераторов, душил их свободу. Бывало, только хочу взлететь, как он привязывает гири к моим ногам. Понятно, в такие моменты я посылал его к черту.

Но кое в чем, конечно, компьютер удобная вещь. Во-первых, отпадает надобность стучать по клавишам (что делаешь на машинке), достаточно легких прикосновений на клавиатуре. Во-вторых, не слышится треск «каретки» — текст бесшумно автоматически переходит на следующую строку. В-третьих, компьютер следит за орфографией и опечатками. Но только через год до меня по-настоящему дошло, что компьютер — великое изобретение. Подумать только! Все, что написали наши классики, можно уместить на нескольких дисках, величиной с блюдце! А на какую-то фитюльку (меньше зажигалки), называемую «флэшкой», можно скачать всю библиотеку им. Ленина!

Что и говорить, прогресс шагает семимильными шагами. Кто знает, может вскоре компьютер вообще отойдет в прошлое, изобретут какие-нибудь таблетки — проглотил, и перед тобой разворачивается действие романа Толстого или пьесы Шекспира. Возможно, к таблеткам будет приложена инструкция: «Глотать перед сном», чтобы обогащаться знаниями во сне и не тратить попусту ночное время. Все может быть, ребята, все может быть.

Ну, ладно, не будем отвлекаться на фантазии, пойдем дальше, ведь на этом моя история с компьютером не заканчивается. Дальше мой «умный» железный ящик привел меня в пространство, от которого захватывает дух. Но вначале небольшое отступление.

Все знают, в девяностые годы, когда рухнула наша страна, и закрылись государственные издательства, большинство литераторов оказались в бедственном положении. Новые частные издательства рассматривали книгу, как обычный

товар, на котором можно заработать, и печатали в основном детективы, скандальные истории из жизни известных людей, сексуальные романы. Серьезная литература уже была не нужна. Это продолжается и сейчас. Многие поэты и прозаики издают книги за свой счет, издают небольшим тиражом, чтобы только подарить друзьям и отнести в библиотеки. В книжные магазины книги от авторов берут неохотно, один-два экземпляра, да и то не везде.

Я тоже, влезая в долги, издал четыре книги; большинство из них лежат у меня дома. А в это время уже всюду процветал Интернет, и мои приятели литераторы (опять-таки из числа молодых — кто ж еще, они всегда идут в ногу со временем) вновь стали меня обрабатывать:

— Пойми, голова! За свой счет издают книги только графоманы! Давай, подключайся к Интернету и там выставляй свои рассказы. Интернет — это беспредельное мировое пространство, у тебя сразу появится тьма читателей, они будут писать отзывы!..

— Заманчиво, — откликнулся я, но, узнав, что это удовольствие стоит не меньше трехсот рублей в месяц, категорически отказывался (для меня, пенсионера, это накладно).

Однажды Московская писательская организация поместила в Интернете (в «Библиотеке Кирилла и Мефодия») рассказы нескольких прозаиков (и мои тоже). Но вскоре у своего друга, однофамильца Владимира Олеговича, поэта и инженера, я увидел эту «Библиотеку»: текст не отформатирован, без абзацев и переносов, строчки в беспорядке: в одной десять слов, в другой — два.

— Как можно это читать? — хмыкнул я.

— Сложновато! — засмеялся Владимир. — А теперь посмотри другие сайты — «проза.ру» и «стихи.ру». Там у каждого своя страница, и можно, сколько хочешь, править рукопись.

Он вошел на «проза.ру», где, действительно, все выглядело более-менее прилично, но оказалось, что на этом сайте восемьдесят тысяч литераторов, и большинство из них литераторами можно назвать с натяжкой. Естественно, такое соседство не очень радовало.

— Я на сайте «стихи.ру», — сказал мой друг. — Представляешь, выставил всего несколько стихов, но за год на

мою страницу зашли тысячи читателей! Фантастика! Кстати, здесь открыть свою страницу может каждый. И, учти, совершенно бесплатно! Так что не тяни, подключайся к Интернету и вперед!

Слова Владимира Олеговича произвели на меня сильное впечатление, я почти сдался, но меня по-прежнему останавливала оплата за Интернет. И вдруг появляется новый вид оплаты — через телефонную сеть всего за сто одиннадцать рублей в месяц. Тут уж, ясное дело, я подключился к Интернету и завёл свою сайт-страницу в новом портале «Библиотека профессиональных писателей», который как раз в это время открыл мой друг Валерий Иванович Шашин.

И случилось невероятное. Если за последние годы мои книги прочитало не больше ста человек (хочется верить, все, кому дарил), то всего за неделю на мой сайт зашло более двухсот читателей! Стало ясно, Интернет для литератора — самый простой путь к тем, для кого, собственно, он пишет.

Теперь об отзывах читателей. Это, ребята, скажу вам, забавная штука. К примеру, моему приятелю-поэту один читатель написал: «Вы большой талант. Почти как Лермонтов». А другой (по-видимому, слегка тронутый) выдал несколько гневных тирад с громовой концовкой: «Не пиши стихов. Сдохни!»

Еще одному моему приятелю-прозаику какой-то остряк посоветовал: «Давайте в рассказах побольше секса и поменяйте фамилию на женскую. Лучше на звучный псевдоним, типа «Рекса» или «Ритца». Сразу станете известным».

Мне повезло — я не получал ни разгромных рецензий, ни дурацких советов. Правда, не получал и похвальных отзывов. Я уж подумал, что мои писания не производят никакого впечатления, как вдруг некая Анна Александровна написала: «Здравствуйте, Леонид Анатольевич! Я в восторге! Не думала, что у нас есть такие замечательные писатели. Над вашими рассказами я смеялась и плакала...» — и дальше множество слов в превосходной степени, и слова сожаления: «Как жаль, что на Вашем сайте всего несколько рассказов. Вы нарочно так мало представили своих произведений или Вас редко посещает муза?»

Ради любопытства (все-таки единственный откликнувшийся читатель) я зашел на сайт этой Анны Александровны и увидел фотографию далеко не молодой женщины, попро-

сту говоря — старушечки. Она выглядела лет на шестьдесят, но, наверняка, как это принято у женщин, выставила снимок двадцатилетней давности, а на самом деле ей было под восемьдесят. Фотография запечатлела интеллигентное лицо, умный взгляд и доброжелательную улыбку. Одежда старушки, без всякой вычурности и украшений, выдавала неплохой вкус.

А вкус, ребята, немаловажная вещь, вкус — это определенный взгляд на жизнь вообще. Короче, было бы свинством не ответить этой читательнице, и я написал: «Спасибо за добрые слова. Специально для Вас помешу еще с десятков рассказов. Что касается «музы», то она меня посещает, но обычно не застает дома».

Самое неожиданное произошло, как только я отправил это послание. На экране вдруг появилась «заплатка»: «Она женщина твоей мечты!» Я обалдел — что за ядовитая насмешка? Тип в ящике решил не просто вмешаться в мою личную жизнь, но и поглумиться надо мной! Выругавшись, я выключил компьютер, но долго не мог прийти в себя — тип в ящике разозлил меня по-настоящему.

Через пару дней Анна Александровна написала мне снова: «Уважаемый Леонид Анатольевич! Прочитала Ваши новые рассказы. У меня нет слов, чтобы выразить свое восхищение, я просто очарована Вашим творчеством...» — и дальше опять кучу восторгов, а под конец признание: «Я тоже недавно начала писать рассказы, но еще никому их не показывала. Буду Вам безмерно благодарна, если Вы найдете время прочитать мои литературные опыты и напишите — стоит ли мне продолжать писать или бросить? Ваше мнение для меня значит очень много».

К этому посланию было прикреплено два рассказа. Я прочитал их и, представьте ребята, был немало удивлен — для начинающего литератора они выглядели вполне сносно. Даже больше скажу, они подкупали живописностью, и искренностью, и простотой изложения. В первом рассказе сентиментальная героиня верит в чудеса, привидения и ангелов и непременно видит хорошее даже в самом плохом человеке. Всякую несправедливость и вражду она воспринимает как недоразумение, как недопонимание между людьми. Такое великодушие.

Другой рассказ (автобиографический) производил впечатление, что его писала молодая женщина — столько в нем было задора и оптимизма: «Неудачи есть у всех, но одни с ними борются, а другие подчиняются судьбе. В сложных ситуациях я стараюсь не терять присутствие духа и думаю о хорошем. Прежде всего, о родных, ведь счастье в семье, в простых человеческих радостях. И думаю о своих замечательных друзьях и об удачах, которые ждут впереди».

«Что у нее, старушечки, впереди?» — усмехнулся я, но оценил ее «дух» и, благословляя на новые опусы, написал одобрительную рецензию. А когда послал ее, на экране вновь появилось: «Она женщина твоей мечты!». Причем на этот раз тип в ящике сопровождал «заплатку» романтической мелодией — уже как изощренное издевательство. Похоже, он прямо упивался своим всемогуществом. Особенно раздражало то, что он, видите ли, знает мои мечты!

Между прочим, ребята, если уж на то пошло, скажу — я всю жизнь мечтал о тургеневской женщине. Красивой, среднего возраста, тонкой, впечатлительной, музыкальной, с золотым характером — ну, сами понимаете, я имею в виду идеальную женщину. Кстати, и сейчас — не смейтесь! — иногда мечтаю о ней. И вот скажите мне — причем здесь эта бабуся?!

Тем не менее, мы продолжали переписываться (я уже взвалил на себя ношу наставника и отступить было поздно). Старушка присылала свои рассказы, я добросовестно их читал, отмечая удачные места и погрешности, с которыми, кстати, старушка соглашалась безоговорочно, в отличие от большинства начинающих авторов. Ну, а тип в ящике все морочил мне голову, все гнул свое, твердил про «мою мечту». Несколько раз даже добавлял: «Не валяй дурака, встретиться с ней!». А однажды совсем обнаглел — вдруг выдал: «Женись на ней!». И запустил свадебный марш Мендельсона. Я чуть не свалился со стула. Это уж было слишком! Мое терпение лопнуло, и я зло отстучал на клавиатуре: «Сам женись!». И выключив компьютер, с усмешкой подумал: «Уж если надумаю жениться, найду пусть не тургеневскую женщину, но близкую к ней и, разумеется, намного моложе».

Я, ребята, конечно, старый, но душа-то у меня молодая, я достоин женщины лет сорока — сорока пяти. Знаете, как в Англии выбирают себе жену? Делят возраст мужчины попо-

лам и прибавляют семерку. Это считается лучшей разницей. Мне семьдесят, пополам тридцать пять, плюс семь — то есть, мне нужна женщина не больше сорока двух лет. А учитывая, что я еще в неплохой форме, можно и помоложе.

Но что меня поражало не меньше зловредного типа в ящике, так это сама старушка-литераторша. Во-первых, в ее рассказах постоянно ощущался тот «молодой дух», о котором я уже говорил. Как-то, с потугой на юмор, я даже написал ей: «Судя по всему, вы неплохо сохранились для своего возраста». И знаете, что она ответила? «Я тоже так считаю!»

Во-вторых, каждый свой рассказ старушка сопровождала «посланием», где делилась со мной некоторыми мыслями, и, как ни странно, эти ее мысли часто совпадали с моими. То есть в какой-то мере старушка оказалась моей единомышленницей. К примеру, она с презрением относилась к «новым русским», особенно к обитателям «Рублевки». «Согласитесь, — писала она, — их стремление к роскоши, желание перещеголять друг друга в богатстве, показное поведение — все это выглядит нелепо. Вчерашние бездарности, внезапно нечестно разбогатев, возмнили себя аристократами. Но им не хватает воспитания и вкуса, у них нет врожденной культуры, не так ли?»

Спустя несколько недель, прочитав два десятка рассказов старушки, я отобрал лучшие из них и написал своей заочной великовозрастной «студентке»: «Анна Александровна! Эти рассказы вполне профессиональные, они способны утереть нос некоторым членам Союза писателей. Советую Вам издать книжку за свой счет. Сто экземпляров будут стоить примерно пять тысяч рублей. Понимаю, для Вас, пенсионерки, это большая сумма, но, может быть, Вам помогут родственники. Желаю удачи!»

В ответ получаю: «Уважаемый Леонид Анатольевич! Мне очень приятны Ваши слова, но, по-моему, я не заслуживаю их. Деньги у меня есть, но о книжке я и не мечтала, об этом даже страшно подумать. Вы уверены, что надо мной не будут смеяться?»

«Абсолютно уверен!» — отстучал я.

Начиналось лето, и на два месяца я укатил на дачу, а когда вернулся, на своем сайте обнаружил письмо, которое ждало меня уже не один день: «Уважаемый Леонид Анатольевич!

Я послушалась вас, книжка у меня на руках, и я хочу ее Вам подарить. Когда Вы сможете со мной встретиться?»

Я назначил ей встречу «в подвале», как мы называем нижний буфет ЦДЛ. В тот вечер «в подвале» собралось немало завсегдатаев, в том числе и моих дружков-стариканов. Подсев к ним, я выпил пару рюмок водки, разговорился и на какое-то время забыл о старушке, но вдруг почувствовал на плече чью-то ладонь. Обернулся: передо мной стояла молодая, красивая особа — белокурая, с челкой, с прекрасной улыбкой и неотразимым прищуром; она была в сером костюме, за которым угадывалась прямо-таки точеная фигура.

— Здравствуйте, Леонид Анатольевич! — сказала она. — А я Анна Александровна.

Я растерянно поднялся:

— Как? На фотографии вы...

— Сейчас все объясню, — красавица показала на свободный столик в углу. — Мы можем там посидеть?

— На фотографии моя мама, — пояснила Анна, когда мы расположились в углу. — Вначале я разместила свою фотографию, но мне стали поступать непристойные предложения...

— Так и писала мне ваша мама? — обескуражено протянул я.

— Нет, писала я. И рассказы мои... Я вам так благодарна, что вы серьезно отнеслись к ним... Вот книжка, — Анна достала из сумки брошюру с симпатичной обложкой и протянула мне.

На титуле я прочитал: «Леониду Анатольевичу, с огромной благодарностью за все!». Пока я просматривал брошюру, Анна внимательно смотрела на меня, подперев щеки руками и улыбалась. Потом тихо произнесла:

— Я ждала этой встречи все время, пока мы переписывались. Я сразу влюбилась в вас, как только прочитала ваши рассказы.

— Не в меня, а в автора рассказов, — усмехнулся я. — Вы просто не знаете, что литератор в творчестве и в жизни — два разных человека. Вы еще молоды, вам, наверно, лет тридцать...

— Сорок, — поправила Анна и продолжила: — Я уверена, что писать такие необыкновенные рассказы может только

хороший человек. К тому же, на сайте ваша фотография, а я физиономистка, я сразу поняла, что у нас родственные души, что вы — мужчина моей мечты.

Я немного стушевался и пошел к стойке буфетчицы.

Потом мы с Анной потягивали вино, и она рассказывала о своей матери, друзьях и подругах, рассказывала искренне, увлеченно и страстно, с неизменной улыбкой. В ней была какая-то магическая притягательность — я смотрел на нее и тоже начинал улыбаться, и чувствовал, что возвращаюсь в молодость. Вспомнив типа в ящике, я понял, что он не зря посылал мне «заплатки» относительно Анны — она, действительно, была тургеневской женщиной.

В общем, ребята, по пути к дому у меня разбушевалась фантазия, и я уже представлял Анну своей женой. Но дома в меня вселилось сомнение — а что, если с ее стороны это всего лишь жестокое развлечение? С мучительным нетерпением я еле дождался следующей встречи и сразу, с размаху, предложил Анне пожениться. И она, не раздумывая, согласилась. Согласилась с лучезарной улыбкой и, запрокинув голову, выдохнула:

— Я сегодня такая счастливая!

Что касается типа в ящике, то, после нашей с Анной первой встречи, он похвалил меня: «Молодец!», а после второй, торжественно объявил: «Поздравляю!».

Теперь у меня с компьютером самые дружеские отношения. Теперь он уважительно относится к моим писаниям, и если и делает замечания, то в деликатной форме: «Может быть, это слово заменить?» — и предлагает несколько синонимов. И всегда передает привет Анне. Я, в свою очередь, постоянно протираю его и, оберегая от солнечных лучей, закрываю плотной накидкой.

Ну, а мы с Анной, как вы, ребята, догадываетесь, купаемся в счастье. Нам завидуют все знакомые Анны и все мои знакомые. Особенно дружки-стариканы «в подвале» — они просто кусают локти от зависти.

ВСЕ КАК-ТО НЕ ТАК

Г. Лихачевой, А. Храменкову, Е. Покровской

Моя мать жила в коммунальной квартире, где вечно происходили воинственные стычки, грозившие перейти в судебные разбирательства. В этих диких сценах участвовали все: от стариков до детей, только мать сохраняла стойкий нейтралитет. Больше того, своим спокойствием и рассудительностью она не раз примиряла враждующие стороны. Она и меня старалась примирить с разведенной женой, никак не веря, что наш разрыв давно решенное дело и что мы живем вместе только потому, что никак не можем разменять квартиру.

Мать работала в прачечной; от долгой изнурительной работы во влажном воздухе, на сквозняках у нее часто болели почки — каждую весну начиналось обострение, и ее увозили в больницу.

В то воскресенье я, как обычно, навестив мать в больнице, зашел в «стекляшку» около трамвайной остановки, выпил чашку кофе, закурил и стал дожидаться трамвая. День был яркий, теплый. Я стоял в раздумье: ехать домой еще было рано — по воскресеньям к бывшей жене приходил новый поклонник; близкий приятель уехал отдыхать на юг. Среди ожидающих трамвай я вдруг заметил молодую женщину — она стояла в стороне, в солнечной дымке и, опустив голову, сосредоточенно смотрела под ноги. Упавшие волосы почти закрывали ее лицо, виднелся только профиль, острый и белый, словно вырезанный из бумаги. Я подошел и, стараясь быть ненавязчивым, спросил:

— Вы тоже из больницы?

Женщина порывисто подняла голову, откинула со лба волосы, внимательно посмотрела на меня; у нее оказались удивительные глаза — золотистые с коричневыми крапинками.

— Да, из больницы.

Кроме ее необычных глаз, я сразу отметил ее настороженность, внутреннее напряжение. Мне захотелось немного взбодрить печальную особу, сказать какие-то хорошие слова, что-нибудь вроде того, что все плохое проходит и что в такой замечательный день просто нельзя предаваться унынию, но я выдал совсем другое, да еще бесцеремонным тоном:

— Давно ни с кем не знакомился.

Женщина смутно улыбнулась.

— Непохоже. У вас это получается вполне профессионально.

— Ну, что вы! — я даже обиделся. — Не до этого было. У меня больна мать. Правда, она уже чувствует себя получше. Наверно, на той неделе выпишут. А у вас кто в больнице?

— Знакомый, — женщина понизила голос.

— С ним что-нибудь серьезное?

Она уклончиво пожала плечами.

Показался трамвай.

— Давайте пройдемся до метро? — я показал на тропу вдоль трамвайной линии. — Погода отличная. Вы не очень спешите?

— Спешу, — женщина покачала головой... — Поговорим в следующий раз. До воскресенья! — она слабо повела рукой и вошла в вагон.

В следующее воскресенье погода была пасмурная, с спокойным небом. Я приехал к матери одним из первых и вышел из отделения раньше обычного; около больничных ворот сел на лавку, закурил. Вскоре показалась она, женщина с бумажным профилем. Приветливо поздоровалась, села рядом и тоже закурила.

— Как ваша мама? Она давно в больнице? — мягко сложив руки на груди, она повернулась и приготовилась слушать.

Я рассказал о матери, назвал свое имя, спросил, как зовут ее.

Она глубоко вздохнула.

— Дай Бог, чтобы все обошлось с вашей мамой... Меня зовут Лена... А мой знакомый лежит в неврологическом отделении.

Она достала из сумки фотографию мужчины и взволнованно посмотрела на нее. Потом протянула мне.

— Он журналист.

На снимке был запечатлен мужчина среднего возраста с пухлым, безвольным лицом, на котором выделялись длинные, прямо-таки женские, ресницы. Взгляд мужчины выражал какую-то важность, а может, утомленность не понятно от чего.

— Внешне он не мой тип, — сказала Лена. — Мне нравятся мужчины высокие, худые. А он среднего роста, и у него слишком картинные черты лица. Но он личность. Очень одаренный человек, который так и не нашел себя.

— Несостоявшаяся личность, — вставил я.

— Не совсем так, — внезапно Лена оживилась, даже повернулась ко мне. — Представьте себе юношу, выросшего в обеспеченной семье. Его мать работала в Министерстве культуры, отец — полковник. После развода родителей Толя — его зовут Анатолий — остался с матерью в хорошо обставленной квартире. Он учился в ГИТИСе на театроведческом факультете; в их доме вечерами собирались студенты, актеры. После окончания института мать устроила его в ВТО инспектором по периферийным театрам. В провинции, как вы догадываетесь, его встречали лучше нельзя — ведь все хотят, чтобы о них в Москве написали хорошо... А разные актрисы просто висли на нем. У него было множество романов, — она все теребила в руках фотографию журналиста. — Он прекрасно знает женщин и говорит им то, что они хотят слышать, и с каждой ведет себя по-разному... А говорит он красиво! «Люди познаются в проживании», «я завышаю женщин», «каждый имеет право на непонимание», «охранность»... Когда я с ним познакомилась, он прямо околдовал меня.

— Словесный треп, — заключил я.

— Не совсем так... он много знает и способный от природы, пишет хорошие стихи и рассказы о любви... используя свой богатый опыт, — Лена горько усмехнулась. — Неплохо рисует, немного играет на фортепьяно, но ему не хватает усидчивости... Берется за несколько дел одновременно и ни одного не доводит до конца. Он непостоянный, немного капризный. Но, представляете, все делает выше среднего уровня. Он очень способный. И потом — интеллигентный, а интеллигентность — это духовность, духовные интересы, ведь так? — Лена сузила глаза.

Я неопределенно хмыкнул и чуть не сказал вслух: «Чувствуется, все это вы долго держали в себе и теперь обрушили на меня. Только зачем?»

— В своих командировках он постоянно заводил романы, вовремя не возвращался... Конечно, у мужчины работа должна быть на первом месте, а он просто отписывался, и все... Мать не раз его выгораживала. А потом она умерла. И Толю в первый же загул выгнали из ВТО... Вам не надоело все это? — Лена посмотрела мне прямо в глаза. — Сама не знаю, почему я рассказываю, ведь вообще-то я скрытная, а вам почему-то доверяю... А моим родителям Толя не нравится. Они думают, что с ним все кончено. Даже не знают, что я сюда хожу... Но дослушайте о нем... Мне просто интересно, вам будет смешно, или вы поймете меня?

Она пристально взглянула на меня, и я подумал — уж не устраивает ли она мне экзамен?

— После ВТО он недолго работал завклубом, потом еще кем-то. И все это время романы, романы. Он жил то у одной женщины, то у другой, ведь всегда полно одиноких женщин, готовых пригреть неудачников... Он сочинял им стихи, писал их портреты. Они уходили на работу, а он лежал на тахте, разбирал свой архив, читал книги. Ну, еще ходил в магазин на их деньги, готовил. Готовит он прекрасно, лучше многих женщин... Время от времени он прогуливал деньги своей очередной жены, и тогда случались скандалы. Бывало, женщина его выгоняла, но он тут же находил другую.

— Так он просто негодяй! — вспыхнул я, испытывая сильное отвращение к этому Толе.

— Не совсем так, — Лена поморщилась и вскинула голову. — Понимаете, ведь он отдавал этим женщинам душу, по-настоящему любил их и был предан им. Просто он не может найти себя... Так и получилось, что у одной стоит его стол, у другой — одежда, у третьей — книги. Он был два раза официально женат, имеет двух дочерей, но алименты не платит. Ему нечем платить — он весь в долгах.

«Подонок!» — чуть не вырвалось у меня, но я успел сдержаться и только едко бросил:

— По-моему, он отпетый лентяй и вообще какой-то мерзкий тип. Легче всего лежать на тахте и читать книжки. Вот вы работаете?

— Да, переводчицей.

— И я работаю. Инженером. Согласитесь, и вам, и мне на работе часто приходится делать то, к чему не лежит душа,

и не знаю, как вы, а я на работе устаю, а хочется еще и почитать, и посмотреть фильм. И потом, есть статья о тунеядстве, почему этого вашего знакомого...

— Он член Союза журналистов. Он же раньше писал статьи о театре.

— Хорошая ширма, — меня уже начинала злить расплывчатая позиция Лены, ее оправдывание безделья и праздности.

— Да, согласна... Мы познакомились в Доме журналистов. Это какой-то психодром. Сидят взрослые люди, изощряются в красноречии. Но Толя все-таки не такой. Послушайте... Сейчас он живет у Марии Ивановны, шестидесятилетней бухгалтерши. Она добрая, любит побеседовать об искусстве. Толя говорит, что Мария Ивановна поселила его у себя, потому что он напоминает ей погибшего сына... Она живет у Тишинского рынка в маленькой комнатке. Кроме нее, в квартире еще две старушки... У них очень смешно! Одна старушка называет себя баптисткой, другая — протестанткой. А Мария Ивановна православная. Старушки ревнуют Толю друг к другу, даже если он вобьет гвоздь одной, другой привяжет фикус. Это, кстати, стоит ему больших усилий. Он с детства не приобрел никаких навыков к физическому труду.

Я откровенно рассмеялся, но Лена остановила меня жестом и продолжила, повысив голос:

— Да, я понимаю, я сама презираю таких мужчин, но все в мире перемешано. Согласитесь, когда даже плохому человеку отдаешь много своего, он становится дорогим, ведь так? А Толя не плохой. Он не может вбить гвоздя, зато умеет ухаживать за женщинами, умеет сделать сказку, боготворить женщину. Это немногие могут... Я говорила, у него есть дочери. Вот я думаю, мужчина, у которого есть дочь, относится к женщинам лучше других мужчин. Может, он представляет, что на месте этих женщин могла быть и его дочь...

Лена на минуту смолкла и закурила вторую сигарету. Я не мог понять — она саму себя уговаривает, что этот Толя невероятная личность, или оправдывается передо мной за свою странную привязанность. Но, главное, ее затянувшееся излияние устанавливало между нами какие-то нелепые отношения. Я познакомился с ней, потому что тяготило одиночество, потому что наступила весна, и я ощутил в себе прилив

новых будоражащих сил, потому что она оказалась симпатичной женщиной; я надеялся, что это знакомство наполнит жизнь новым смыслом, а получилось — она видела во мне только благодарного слушателя, некоего соучастника ее безысходного романа.

— У него есть два друга, две Гали, — продолжала Лена. — Я иногда сталкиваюсь с ними здесь, в больнице. Одна Галя работает в библиотеке, вторая где-то в газете. Они считают его непризнанным гением. Первая Галя покупает ему одежду, вторая — приглашает на обеды, ужины. Эта вторая Галя — уродка и сильно близорукая, всех Толиных женщин считает врагами. И меня тоже. Она постоянно чернит всех женщин, раскрывает их подноготную, только напрасно старается — он не хуже ее знает женщин, ведь у него такая практика! Просто для этой Гали он предстает таким наивным, непрактичным... Говорит, что пишет пьесу о романтической любви... Кое-какие наметки у него действительно есть, но все это так, несерьезно... Теперь то я понимаю, что он никогда ее не напишет.

Лена глубоко вздохнула и, помолчав, продолжила:

— Он может выставить себя каким угодно: сильным, мужественным и скромным, застенчивым, робким... Он моментально чувствует женскую слабость и играет на этом... О Господи! Надо же было с ним познакомиться! Я так спокойно жила... Ну ладно, хватит о нем. Заговорила я вас. Пойдемте!

Я облегченно вздохнул и по пути то и дело обращал внимание Лены на яркую зелень в скверах, на галдящих скворцов, но она на все смотрела рассеянно, будто сквозь туман.

Она жила недалеко от Пушкинской площади; мы подошли к ее дому, и она сказала:

— Если хотите, зайдём к нам. По воскресеньям мама устраивает отличный обед. Только о больнице ни слова, договорились? Мама с отцом и слышать о Толе не хотят. Ведь мы с вами могли познакомиться где-нибудь еще.

Мать Лены, великанша с громовым голосом, страдала одышкой, и у нее были больные ноги: распухшие, с темными вздутыми венами; она с трудом передвигалась по комнатам, а вернувшись из магазина, подолгу отсиживалась в кресле. Большую часть времени она лежала, или читала, или раскладывала пасьянс и отдавала приказания домочадцам — тихоне мужу или дочери, которую, словно служанку, держала

в полном, безоговорочном повиновении. Заядлая курильщица и картежница, мать Лены по вечерам играла с соседями в карты — в «кинга». Она научила играть в карты весь дом — создала некую картежную империю. Разумеется, в первую очередь вовлекла в эту империю мужа и дочь. Она готова была сражаться в карты всю ночь, но не столько ради победы, сколько из желания находиться среди единомышленников. Попыхивая папиросой, руководила битвой, как опытный полководец: если партнер слишком разошелся и уже потирает руки, предвкушая победу, она метала в его сторону гневный взгляд, невероятно смелыми, четко рассчитанными ходами молниеносно выигрывала партию и сбивала спесь с зарвавшегося простака; если партнер заскучал и посматривает на часы, почти отдавала ему партию и подогревала интерес к игре. Но только почти! Всю партию не отдавала никогда. Это было бы семейной трагедией. Она ни разу не вставала из-за стола побежденной. Можно было только догадываться, что произошло бы с Леной и ее отцом, если бы вспыльчивый мстительный вождь сдал партию.

Отец Лены, полный седой мужчина с добродушным лицом, испытывал стойкое отвращение ко всяким азартным играм, но ради мира в семье каждый вечер усаживался с женой за карты. Он работал в Комитете по науке и технике и слыл специалистом в своей области, человеком неукоснительной точности. Любитель выпить, он искренне обрадовался, что дочь пришла с молодым человеком, — жена разрешала ему выпивать только с гостями. Предвкушая предстоящее застолье, он даже предложил жене сыграть партию в карты и, как я заметил, нарочно быстро проиграл, чтобы поднять настроение супруги — что, кстати, вызвало у нее легкое раздражение. Известное дело, закаленным бойцам легкие победы не приносят должного удовлетворения, они их только расхолаживают и притупляют бдительность.

В начале обеда мать Лены подозрительно присматривалась ко мне и задавала прямолинейные вопросы: «Где работаю? Почему развелся с женой?». Где-то в середине застолья, немного размякнув от выпитого и прикинув, что я все-таки лучше Толи, уже более дружелюбно посматривала в мою сторону, а после обеда, в знак полного расположения, вызвалась научить меня играть в «кинга». Отдав дочери приказание

убрать все со стола, она с невероятной поспешностью сходилала в спальню и принесла нераспечатанную колоду карт.

Мы играли вчетвером. Отец Лены играл безучастно, машинально бросая карты, правда, при этом сохранял благопристойный вид. Время от времени он уходил на кухню «размяться», и я слышал звук откупориваемой бутылки. Лена была слишком откровенна для хитроумных баталий и своей игрой вызывала у матери вполне понятные ухмылки. А я, неожиданно для самого себя, обнаружил явные способности к картам. До этого времени не играл по простой причине — не подворачивался случай научиться. И вдруг такой опытный мастер, как мать Лены. Я с невероятной скоростью освоил карточное ремесло, так стремительно прогрессировал от партии к партии, что мать Лены сразу почувствовала рождение опасного конкурента и уже через час перестала раскрывать мне секреты игры. Как большинство магов, она только приоткрывала завесу таинственности, но основную тайну оставляла в себе.

После карт пили чай. За столом Лена с задумчивым взглядом посматривала в окно, но позднее, провожая меня до метро, неожиданно повеселела.

— Кажется, вы моим понравились. Мама сказала: «Пригласи своего ухажера к нам на дачу». Так что, если хотите, в следующее воскресенье после больницы можем поехать... Мой отец скучный человек, чрезмерно смиренный, а у мамы тяжелый характер. В нашей семье вообще как-то все не так... А вот дед с бабкой у меня замечательные. Они вам очень понравятся, вот увидите... А Толя им тоже не нравился, потому что не работал в саду. Лежал в гамаке и читал... Да еще выдумывал разные истории. Каждый раз, когда мы приезжали, говорил деду с бабкой: «Жаль, что мы вчера не приехали. Уже купил вам торт и шампанское. Вчера я получил немного денег. За одну статью. Но пришли друзья-актеры, все выпили и слопали. Потом я повел всех в ресторан. Прокутили семьдесят рублей, развез всех на такси, Марии Ивановне подарок сделал...». Он это выдумывал. Ему хотелось, чтобы так было...

— Извините, ни черта не понимаю, — я перешел на резкий тон. — Этот ваш Толя не просто беспросветный неудачник, он негодяй. И почему же вы его романтизируете и любите?

— Я вам не говорила, что его люблю. И он не негодяй. Вот вы не понимаете! — она с досады махнула рукой. — Он добрый. Когда у него бывали деньги, рублей десять—пятнадцать, он на все мог купить мне цветы... Понимаете, каждый как бы поворачивается той стороной, которую в нем вызываешь. Ко мне он относился прекрасно... И мне жалко его. Он какой-то беззащитный... Кое-кому он кажется твердым, уверенным, но это так — он надевает на себя доспехи, защищается от обвинений, нападков...

«Опять этот Толя! — с усталой безнадежностью подумал я. — Не может выкинуть его из головы. Дома весь вечер молчала, а сейчас вспомнила про него и опять оживилась».

— Ну, так как, поедем в воскресенье к нам на дачу? — спросила Лена, когда мы подошли к метро. — Вы сможете?

— Смогу, — сухо произнес я, чувствуя себя чуть ли не униженным.

— До воскресенья! — Лена протянула руку и слабо улыбнулась.

По пути к дому мне пришло в голову: «А не нарочно ли она так много говорит про этого Толю? Может, хочет вызвать у меня ревность?» Но тут же я отбросил это предположение — беспричинно в больницу не катаются, да и она явно бесхитростна и не способна на притворство и интриги.

В воскресенье после больницы мы поехали за город. В электричке Лена начала было рассказывать о своем последнем переводе, но вскоре опять заговорила о Толе.

—...Как-то он устроил праздник. Его приятель дал ему ключи от дачи. Мы целую неделю жили вдвоем на этой даче. Она была запущенной, неухоженной, но это были лучшие дни... По ночам мы бродили по саду... Там были кусты в светляках... Однажды подхожу к террасе — а на ней незабудки в блюдцах... Он говорил, что я несовременная, «неразбуженная женщина, живущая в картонном замке», «бабочка с опаленными крыльями»... А себя называл «разрушителем», который ворвался в мою жизнь, разморозил и приручил к себе. И это правда. До него я была какая-то закомплексованная... И я действительно привязалась к нему. Со временем он прямо закабалил меня, сделал какой-то рабыней, я только сидела и ждала его звонка. А он стал относиться ко мне небрежно: то опоздает на свидание, то вообще не позвонит — загуляет

с приятелями-актерами. И всегда придумывал такие красивые истории, что нельзя не поверить...

Я и слушал и не слушал Лену. В моей голове никак не укладывалась ее двойственность, я никак не мог совместить в одной женщине здравомыслие и слепую наивность, безотчетное простодушие. Привязанность Лены выглядела каким-то заклятьем, безропотным повиновением судьбе. Этот идиот Толя так и стоял между нами.

—... А потом он вообще поступил подло. Мы с мамой уехали отдыхать, так он продал все мои книги, которые брал у меня читать, и позвонил моей подруге, которая была должна мне деньги, сказал, что я разрешила ему взять долг, и те деньги промотал тоже. Правда, ему совсем было не на что жить... Но последнее время он стал много выпивать, Мария Ивановна говорила, по ночам он кричал, что в окно лезут красные слоны... Вот так и попал в больницу. Сейчас-то ему лучше...

«Лучше бы он окочился», — злорадно подумал я.

Дача находилась в Фирсановке, на участке с высоченными елями и представляла собой деревянный дом с террасой и лестницей на второй этаж, с кухней, погребом и чуланом. Все это много лет назад дед Лены сделал своими руками в одиночку, сделал добротню, талантливо, с любовью к дереву. На дом ушли все сбережения и драгоценности его жены. Он начал с однокомнатного сруба, и за тридцать лет дом оброс еще одной комнатой, и террасой, и вторым этажом с двумя комнатами. А на участке появились фруктовые деревья и сарай, в котором помещалась столярная мастерская с надежными отлаженными устройствами, вроде пилы с бензодвигателем, набор плотницкого инструмента и целый арсенал различных садовых принадлежностей.

День был пасмурным, но участок казался солнечным. Все выглядело желтым: и дача, и сарай, и забор были пропитаны золотистой олифой, на террасе лежали прошлогодние желтые яблоки, меж деревьев бродили куры-желтухи, над ярко-желтыми цветами порхали лимонницы, даже вода в бочке была ржаво-желтой.

Дед с бабкой жили на даче с апреля по ноябрь, «весь оздоровительный период», — как выразился дед. Ему исполнилось восемьдесят два года, бабке — семьдесят девять, но они были на редкость молодыми людьми. Особенно дед, он даже

сохранил чувство юмора. Они вставали в шесть утра, во время завтрака пересказывали сновидения, подтрунивали друг над другом, потом дед в сарае что-то ремонтировал, мастеририл, поливал из шланга деревья в саду. Бабка спешила на станцию за продуктами, а вернувшись, колготилась на кухне. Для тяжелых работ (пилить дрова, возить на тачке песок) дед нанимал глуховатого Касьяна — мастерового «левака» из соседней деревни. Касьян ходил по поселку с будильником, брался за любое дело, не гнушался ничем; за час работы требовал семьдесят копеек. Как только будильник звенел, Касьян собирал инструмент и уходил.

Дед опытным взглядом сразу оценил мои технические навыки — стоило мне только починить тачку; а после того, как я зацементировал в саду яму для полива, стал относиться ко мне с особым расположением (возможно, сказалось и то, что у нас с дедом оказалась одна фамилия!).

— Лучшего мужа и не пожелаю тебе, — нашептывал он внучке. — Золотые руки у парня! Только ему и доверил бы дачу! Ведь на тебя ее записал, сама знаешь!

Лена только загадочно улыбалась.

Дед водил меня по саду и подробно рассказывал о каждом дереве: где купил, у кого, за сколько, как сажал, ухаживал, подрезал, когда и как оно плодоносило. В доме показал все заготовки и в мельчайших подробностях рассказал, как устанавливал ту или иную балку, какое использовал крепление. Дед радовался, как мальчишка, когда я домысливал его старания и досказывал то, что он упустил из виду.

— Приятно беседовать с понимающим человеком, — смеялся он и вытирал вспотевшее от волнения лицо.

К обеду приехали родители Лены. Отец дружелюбно поздоровался со мной и заговорщицки кивнул на бутылку водки в своей сумке, мать Лены также приветливо протянула руку и пробасила:

— Как вы насчет «кинга» после обеда? Я забыла вам рассказать еще про одну особенность, когда на руках три туза.

Обедали на террасе. Рассаживаясь, дед, чтобы подчеркнуть наш с ним тесный контакт, усадил меня рядом с собой. Отец Лены и я пили водку, Лена и ее мать выпили по рюмке наливки, бабка тоже пропустила полрюмки, дед только пригубил — больше всего он любил чай с тортом. Прихлебывая

чай, дед пыхтел и, не отрываясь, смотрел на меня и рассказывал, как прошел всю «гражданку» и не получил ни одной царапины, как работал на оборонном заводе во время Второй мировой войны и как они с бабкой бедствовали...

Родители Лены отметили словоохотливость деда и уже смотрели на меня почти по-родственному, чуть ли не с нежностью. Внезапно Лена тоже стала задерживать на мне взгляд, и в ее глазах уже читалась явная заинтересованность. «Наконец-то до нее дошла разница между словоблудом и бездельником Толей и мной, настоящим мужчиной», — подумал я и расправил плечи.

После обеда, когда все, кроме стариков, закурили, дед, по-прежнему обращаясь только ко мне, рассказал, как начинался поселок, как делили участки, как разрешалось спиливать только сухие деревья, и его соседи подливали под корни живых елей керосин; как застройщики ловчили, доставая водопроводные трубы, как завозили «левый» лесоматериал, как «некоторые пронырливые партийные боссы» получали огромные участки и завозили заграничный стройматериал, а такие, как он, мыкались по пустым базам. После каждого рассказа дед многозначительно поднимал палец:

— А до революции!..

И хихикал. Он не рассказывал, как обстояли дела раньше, не делал сравнений, только хихикал и подмигивал мне, и это было лучшим ненавязчивым выводом. «Когда достаточно точно показывается какая-нибудь нелепость, за ней всегда видится, как должно быть, — подумал я. — Наверно, это называется нравственной идеей».

— Здесь ведь мужики-дачники, народ ушлый, — продолжал дед. — Вначале думают о пристройках, потом о плодовых деревьях, ну и, наконец, о чем?

— О выпивках и женщинах? — осторожно предположил я.

— Какие женщины?! О навозе! Где его достать для парников. Здесь лучший подарок — ведро навоза, — дед снова засмеялся.

— А потом, наверно, думают, чем забить дачи, — я все смелее поддерживал разговор.

— Ну, да, — кивнул дед. — Я понимаю, все от бедности нашей. Обеспеченный человек не придает большого значения таким ценностям. Но ведь эти ценности не главное, разве не так? Вот и получается, поговорить здесь за жизнь не с кем...

Со мной-то ему хотелось говорить до бесконечности — это было ясно всем за столом, даже Лене; она уже смотрела на меня достаточно тепло, если не сказать восхищенно.

В это время я заметил — у калитки топчется, вглядываясь и принохиваясь, небритый мужик в драном пиджаке. Увидев его, дед заспешил к изгороди.

— Завтра приходи, Касьян! — крикнул он мужику в ухо. — Завтра!

Вернувшись на террасу, дед усмехнулся:

— Глухой, глухой, а будильник слышит, никогда не зевнет. Знаем мы этих глухих! Наполеон тоже притворялся глухим... А вообще, скажу — они, деревенские, нас, дачников, недолюбливают. Считают интеллигентами, у которых денег полно... Войдешь в их сельмаг, так продавщица делает вид, что тебя не замечает, продукты припрячет, да еще нагрубит... У нас здесь у одних дачу спалили, а уж стекла за зиму завсегда побьют, а то и влезут, стащат чего-нибудь... Все сейчас как-то не так. А до революции... эх-хе-хе!.. Ну ладно, пойду отдохну часок. А то бабке-то давно Боженька сны показывает. Сейчас вскочит, начнет рассказывать, а мне и рассказать нечего.

Нарочито побряхтев, он ушел в соседнюю комнату, лег на широкую пружинную кровать с блестящими шарами на стойках, надел очки, взял газету и задремал.

— Ну, а мы перекинемся в картишки, — объявила мать Лены и резко повернулась ко мне, ожидая утвердительного ответа.

Мне хотелось прогуляться с Леной по окрестностям, но, почувствовав гипнотическую власть «великой картежницы», я непроизвольно кивнул.

К вечеру мы с Леной все же выбрались из-за карточного стола и направились к озеру около санатория «Мцыри».

— Правда, здесь очень красиво? — Лена обвела рукой простиравшуюся лесную зону. — Если хотите, мы иногда будем сюда приезжать. Дедуля в вас прямо влюбился.

«И дедуля, и родители, а вы?» — чуть не вырвалось у меня, но помешала скованность. И все же, идя рядом с Леной по тропе, я подумал, что именно сейчас наконец наши встречи приобретают естественный смысл, романтическое состояние. «До этого все складывалось как-то не так, по-дурацки. Но теперь, выговорившись, Лена наверняка почувствовала облегчение и окончательно решила порвать с этим Толей».

Радостное предчувствие охватило меня. Мы подошли к воде и сели на одну из пустынных скамеек. Смеркалось, из санатория слышались музыка и голоса.

— Похоже, там танцы, — тихо сказала Лена. — И отдыхающих не видно. Наверно, все на танцах.

— Вы тоже хотите потанцевать? — я подумал, что было бы совсем неплохо и нам покружиться под музыку среди веселящихся парочек.

— Нет, не хочу. Здесь так хорошо, — Лена опустила голову, и упавшие волосы почти закрыли ее лицо, совсем как тогда, на трамвайной остановке в день знакомства. Я обнял ее, но она отстранилась и, запинаясь, проговорила:

— Не нужно, пожалуйста... Мы должны быть только друзьями...

— Но почему?

— Понимаете... ведь между нами не возникло того притяжения, которое сразу должно возникать между женщиной и женщиной. Нас просто сблизило общее несчастье... Вот с Толей у нас...

— Перестаньте говорить о нем! — почти вскричал я. — Он не стоит...

— Может быть, — Лена тяжело вздохнула, на ее лице появилась гримаса напряжения, измученным голосом она произнесла: — Много раз я давала себе слово не встречаться с ним и... все равно встречалась... Наверно, все-таки я его люблю... Ненавижу и люблю.

К даче мы возвращались молча. Около изгороди я остановился.

— Извинитесь за меня, что я уехал не попрощавшись.

Не оглядываясь, я пошел к станции, бросая по пути:

— С меня хватит! Пошла ты к черту со своим Толей!

...Странно, но теперь, спустя немало лет, в этой истории мне больше всего жаль деда. И не потому, что он хотел доверить мне дачу — она мне ни к чему, жаль его надежду на будущее внучки. Дай Бог, если дурацкая любовь Лены прошла, и она встретила человека, который понравился ее деду!

САМЫЙ ПЛОХОЙ НА СВЕТЕ

— Вы не предупредительный мужчина, — с шуточной приветливостью сказала она, когда они вышли из троллейбуса, и он не подал ей руку.

А до этого, пока они ехали на задней площадке, и троллейбус дергался, он два раза наступил ей на ногу, извинялся, краснел, а она с улыбкой замечала:

— Ничего страшного, но вы очень неуклюжий мужчина, — и смотрела на него выразительно, как ему казалось, — многообещающим взглядом.

Так и произошло их знакомство. Позднее, при первом свидании на бульваре, когда он пришел без цветов, она бросила легкий упрек:

— Вы самый невнимательный ухажер на свете. Мне не нужно ничего особенного, всего лишь маленький букетик цветов... Поверьте, я не каждый день хожу на свидания...

— Понимаете, я никогда не умел ухаживать за женщинами, — простодушно оправдывался он.

— Это чувствуется, — без всякой иронии кивнула она. — Серьезное упущение, но учитесь. Это совсем не сложно, если обожаешь женщину... Ведь даже в природе воробей ухаживает за воробьихой, собака-мальчик за собакой-девочкой, разве не так?

Они зашли в кафе, причем инициативу проявила она, предложила «посидеть за столиком»: то ли устала целый час ходить по бульвару на высоких каблуках, то ли ей наскучил его рассказ о «полупроводниках» и инженерах сослуживцах — короче, без всякого уважительного повода предложила «посидеть за столиком и выпить по бокалу вина».

— Вам очень не идет этот костюм, — сказала она за столом. — Вы в нем словно в скафандре. Носите свитер, в сви-

тере будете выглядеть намного привлекательней, поверьте мне.

— Я не придаю большого значения одежде, — попытался он оправдаться.

— Напрасно. Ведь вкус в одежде — это и отношение к жизни, определенное мировоззрение... А так какой-то официальный вид и манеры скованные. К тому же, этот костюм старомоден, вы в нем как будто выпали из времени... И потом, какой же вы все же наивный. Неужели вы думаете, что женщине-филологу интересно слушать о каких-то «проводниках»? Расскажите лучше о своей личной жизни, о том, как проводите свободное время, чем увлекаетесь? У вас есть хобби?

Она сразу взяла тон великодушной учительницы, поддружески распекающей незадачливого ученика, и как бы давала понять, что не прочь взять над ним шефство, если он будет послушным. И странное дело — он готов был подчиниться этой красивой, уверенной в себе женщине; ему даже нравилось выслушивать колкости — они свидетельствовали о заинтересованности им, желании сделать из мужлана — каким он и сам себя представлял и от чего страдал — современного мужчину и, разумеется, не для кого-то, а для себя, то есть ее слова являлись неким любовным авансом, несомненным знаком серьезного отношения к нему.

Он никогда не отличался говорливостью, но с ней, такой разумной, испытывал потребность излить все, что долго держал в себе: рассказал о затянувшейся холостяцкой жизни и «оборонительной позиции» в этом вопросе, поскольку привык к определенному укладу своей жизни, рассказал о коллекции книг по фантастике, и увлечении «неопознанными летающими объектами», и о самом интересном на его взгляд, чем мог завоевать сердце женщины, — о байдарочных походах с друзьями во время отпуска. Она внимательно слушала, подперев щеки руками; вначале жадно вопрошала:

— Вы внушаете доверие, но почему вы не женаты, не понимаю. Неужели у вас нет желания о ком-то заботиться, кому-то отдавать тепло души?

Дальше, по мере его рассказа, вставляла:

— Это интересно... Это заманчиво... Пригласите как-нибудь меня в поход...

Но в какой-то момент ее внимание рассеялось — она стала посматривать то на оркестрантов, то на танцующих, а перед закрытием кафе горько усмехнулась:

— Я все думала, пригласите вы меня танцевать или нет? Все ждала. Видимо, не дождусь — уже последний танец. Пойдемте потанцуем. Я вас приглашаю.

— К сожалению, я никудышный танцор, — он уныло хмыкнул.

— Я догадываюсь, — она встала и взяла его за руку. — Но расслабьтесь, ведь танец — это радость. Люди танцуют, когда им хорошо. Ведь вам хорошо сейчас, ну скажите?!

— Вы в самом деле неважный танцор, — проговорила она, улыбаясь, во время танца. — Но, это не самый чудовищный недостаток.

На следующее свидание он подарил ей огромный букет роз — почти куст, только без корней. Она засмеялась, зажмурилась и выдохнула с радостным удивлением:

— Вы делаете первые успехи. Только зачем такой гигантский букет? И что за расточительство, что за царский подарок?! Ведь главное — внимание. Мне было бы достаточно и трех гвоздик.

Через два дня гуляний по летнему бульвару и посиделок в кафе, она вскинула глаза:

— А почему вы не пригласите меня в кино? Сейчас идет новый итальянский фильм. Я, правда, больше люблю французский кинематограф... Хотя бы на экране посмотреть замечательную жизнь... Самое поразительное — на Западе люди гордятся успехом, благополучием, богатством, а у нас это скрывают, боятся, о них подумают: «Проныры, все получили по знакомству». Там умеют восхищаться; если кто-то добился успеха, им восхищаются и думают: «Я тоже могу этого добиться», — и добиваются. А у нас равноправие привело к тому, что людей душат зависть и злость, если кто-то выделится, добился успеха, ему стараются насолить...

Он не смог достать билеты на итальянский фильм. «Перед носом кончились, — объявил расстроено. — Кассир сказала: «Может, что-то останется от брони».

— Господи, какой же вы неэнергичный! — она взяла его под руку. — У них всегда есть билеты. Пойдемте!

Она подвела его к администратору и просто сказала:

— Пожалуйста, помогите нам! Мы так хотим посмотреть этот фильм!

Ее искренность и обаяние обезоружили администратора, он, словно загипнотизированный, протянул билеты.

Выйдя из кинотеатра, они некоторое время взволнованно обменивались впечатлениями; он вспомнил эпизод из одного своего путешествия, напоминавший то, что они видели на экране. Около ее дома припомнил еще один захватывающий случай на порожистой реке, когда был на волосок от гибели. В кульминационный момент его рассказа, она внезапно вцепилась в его рукав:

— Поцелуйте меня!.. Поцелуйте меня, бесчувственный мужчина! — и потянулась к нему, закрыв глаза.

Он поцеловал ее, легко обняв за плечи.

— Не так! — взмолилась она. — По-настоящему!

На следующий день он встретил ее после работы, протянул три гвоздики, билеты на французский фильм и, набравшись решимости, совершил отчаянный поступок: сказал, что «из-за нее не спал всю ночь», потом невнятно пробормотал, что «и на работе у него все валится из рук и вообще от нее потерял голову»; недвусмысленно дал понять, что его «оборонительная позиция» затрещала. Это выглядело блестящим признанием в любви: и она была счастлива:

— Сколько приятных, прекрасных слов! Но где самое прекрасное?! — на мгновение она поджала губы, но тут же смягчилась. — Ну, да Бог с вами!..

Так он и проходил школу любви, и она, взыскательная учительница, знающая рецепт счастья, переводила его из класса в класс, как прилежного, старательного, подающего большие надежды ученика. Естественным завершением его учебы стал их брак — спустя некоторое время, без особых сердечных излишаний, но достаточно пылко, он попросил ее руки и, получив согласие, предложил переехать к нему.

— Вы непрактичный, — улыбнулась она. — Зачем нам устраивать себе сложности? Жить у меня гораздо удобнее. Посудите сами: к вам нужно завозить мебель — у вас полупустая квартира, и вообще в ней нужно делать ремонт, а у меня есть все необходимое, уютно и чисто... Вашу квартиру оста-

вим как запасной вариант, если в моем районе случится землетрясение, — она рассмеялась, довольная удачной находкой некоего руководства в браке.

Она убедила его и с трезвой рассудительностью дала понять, что в житейском плане решающее слово всегда безоговорочно будет принадлежать ей. В качестве добавления она как бы напоминала, что он уже закончил школу любви и теперь перешагнул порог университета семейных отношений, где требования к учащимся значительно выше, что ему следует приумножать знания, неустанно работать над собой, приложить немало усилий, чтобы стать образцовым мужем.

Он перевез к ней одежду, книги, ящик с инструментом, наполовину собранный радиоприемник и, как символ их будущего процветания, — проект катамарана, который планировал построить.

Медовый месяц они провели у моря, где поклялись в «любви навсегда» и до конца дней не говорить друг другу грубых слов. За весь месяц она лишь однажды сделала ему замечание, и то в мягкой форме:

— Умоляю, кури поменьше. И не в комнате! У меня от дыма болит сердце... Я и не предполагала, что у тебя масса вредных привычек: отдуваешься, когда ешь, перед сном чешешь локти... Отвыкай, дорогой, от этих дикарских привычек...

Ее любовь имела странное свойство — нетерпимость к недостаткам супруга. По ее понятиям, он должен был неустанно совершенствоваться, стремиться к некоему идеальному образу, твердо уразуметь, что не исчерпал свое счастье до конца и впереди море блаженства.

Когда они вернулись в город, она все чаще стала обвинять мужа в неаккуратности, в том, что он «захламил квартиру напильниками, паяльниками и проводками», говорила, что «собирать радиоприемники нужно в мастерской, но никак не дома... и, кстати, зачем их собирать, если у нее уже есть один, вполне приличный?!». С каждым днем она настойчиво, методично усиливала натиск, высказывала недовольство даже по пустякам, когда он и не понимал, в чем провинился. Как преподаватель университета семьи, она давала задания, явно превосходящие способности студента, она не понимала, что нельзя от человека требовать больше, чем он может дать.

—...Приготовила грибной суп, старалась специально для тебя, а ты и не заметил, что съел.

Он слабо защищался:

— Извини, дорогая, но, понимаешь, я безразличен к еде и не понимаю людей, которые делают культ из еды.

— Культ здесь ни при чем. Здесь элементарное неуважение к моему труду. Подумай, пожалуйста, над этим... Ты так часто огорчаешь меня. Неужели не понимаешь, что огорчать легче, чем радовать.

Здесь проводилась и попутная мысль: «Почему ты учишься в университете семьи с большим внутренним сопротивлением и не стремишься к быстрому эффективному результату?». Каким-то непонятным образом способный школьник прямо на глазах превращался в медленно соображающего, упрямого студента, который совершенно не желал исправляться, и если с чем соглашался, то как-то устало, с оговорками, его согласие всегда было шероховатым, словно он не доверял преподавателю.

После этих размолвок он напряженно осмысливал себя, но как все ни взвешивал, приходил к выводу: она постоянно подчеркивает свое превосходство и тем самым просто закабаляет его.

На свой день рождения он пригласил друзей, инженеров сослуживцев, заядлых байдарочников, отчаянных курильщиков и балагуров. Некоторые пришли с женами — полными копиями мужей, с незначительными отклонениями. Событие отметили как нельзя лучше, но когда гости разошлись, она сказала с уничижительной гримасой:

— Они хорошие люди, но у них нет высоких побуждений. Говорили только о работе и туризме. Это неплохо, конечно, но где их необычные взгляды, желание создать что-нибудь необыкновенное, стать яркими личностями?!

— Не всем же быть яркими личностями, — хмуро отозвался он. — Мои друзья отличные специалисты и веселые, компанейские люди. У нас много общего...

— Ты слишком доверчив, — продолжала она с небольшой долей ревности. — Взбалмошность своих друзей принимаешь за эмоциональность, начитанность за ум... Эрудиция — ведь это только знания, а ум — умение анализировать, обобщать, иметь собственное мнение...

В один из осенних вечеров, когда он корпел над радиоприемником, она сказала с обидой в голосе:

— Все-таки ты нечуткий, даже толстокожий и черствый. Никогда не подойдешь, не обнимешь, не скажешь ласковое слово, только и знаешь свою работу... Весь вечер можешь просидеть с паяльником и не спросишь: «Как я, чего мне хочется?». Раньше хотя бы рассказывал о путешествиях, а теперь... как домовый. За последнее время мы всего один раз сходили в театр, да и то под моим нажимом.

Он промолчал, ему уже стали надоедать постоянные обвинения и придирки, все чаще ему приходили тяжелые мысли, что университет семьи сильно смахивает на рабство.

С наступлением зимы он начал строить катамаран; все выходные дни напролет проводил в гараже приятеля. Домой возвращался уставший, правда, за ужином, рассказывая жене о ходе строительства, несколько приободрялся. Она старалась не смотреть на него, всем своим видом показывая, что ее обиды множатся. Однажды, не выдержав, сказала:

— Конечно, чтобы любить, надо иметь терпение, но сколько можно терпеть? Никак не могу приручить тебя к дому. Ты не домашний мужчина, — и демонстративно вышла на балкон, давая понять, что ее обиды приобретают угрожающий оттенок.

А в эти дни у него на работе появилась новая сотрудница, воплощение доброты и кротости.

— Вы самый воспитанный в отделе, — сказала она ему в первые же часы совместной работы. — И такой серьезный, умный...

Он давно не слышал таких слов и от неожиданности почувствовал что-то вроде приятного озноба, словно его обдала теплая волна.

После работы новая сотрудница пригласила его «погулять по вечерним улицам»; они бродили до полуночи, и все это время ему казалось — он плавает в теплой реке.

— Где же ты был? — тихо, с ужасом в голосе встретила его жена.

Он пробормотал что-то невразумительное.

— Неужели нельзя позвонить, чтоб я не волновалась?! Ты всегда был точным и вдруг... Ты такой жестокий!

— Я такой, я сякой, весь набит недостатками! — вырвалось у него. — Сколько можно это выслушивать?! Я чувствую себя прямо пришпиленным к стене, ущербным, преступником, привязанным к чугунной решетке... К счастью есть женщины, которые видят у меня тучу достоинств!

— Я догадывалась! — затаилась она. — Ты хочешь, сказать — у тебя появилась другая женщина?! Ты оказался еще и непорядочным! — с горьким презрением она ушла на балкон и закрыла за собой дверь.

Два дня он ночевал в своей холостяцкой квартире. Новая сотрудница непрерывно звонила ему, изливала нежности, а на работе, когда они встречались взглядами, прямо-таки вся светилась и при случае шептала:

— Вы такой мужественный и тонкий... Вы самый талантливый инженер в отделе... Вы обалденный мужчина...

Он чувствовал, что теплая река уже выносит его в открытое море, где его ждут ослепительные романтические приключения, но перед ним все время возникало лицо жены, и, странное дело, ему вдруг стало не хватать ее обвинений и упреков... Почему-то теперь, издалека, его требовательный преподаватель казался не таким уж и требовательным, и даже немного беззащитным без него, «толстокожего и черствого». Он вспомнил отдых у моря и клятву в «любви навсегда»...

На третий день он вернулся к жене. Открыв дверь, она сбивчиво, сквозь слезы, выговорила:

— Ты самый ужасный на свете, но у меня и в мыслях никогда не было тебе изменить... Уйти от тебя... Я не представляю свою жизнь без тебя, а ты!.. — она бросилась к нему, он обнял ее, и это были их самые горячие объятия: с ее стороны — объятия измученного преподавателя, с его — объятия настоящего мужчины, блестяще закончившего университет семейных отношений, и аспирантуру, и... короче, это были профессорские объятия.

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК

Теперь, когда я стал старым и смотрю на прожитые годы с огромной высоты, так хотелось бы забыть многие свои слова и поступки. Не тут-то было — они насаждают со все возрастающей силой, и я только догадываюсь, какая жестокая расплата ждет меня на небесах. Вспоминая прошлое, даже и не знаю, чего я сотворил больше — хорошего или плохого. Правда, недавно припомнился один случай, когда поступил вполне достойно. Это не было героическим подвигом — всего лишь незначительное действие, серьезный писатель и не взялся бы за такой сюжет, но я не писатель, а просто литератор и расскажу об этом случае, не заботясь о чистоте жанра — пусть это будет нечто среднее между рассказом и очерком.

В молодости, после женитьбы, я некоторое время жил у родителей жены — мы ютились в одной комнате, перегородженной шкафом, да еще в коммуналке.

Теща во мне души не чаяла; единственно, в чем меня обвиняла, — это в том, что я не умею «хозяйствовать» (она работала продавщицей в «хозтоварах»), и время от времени рассказывала про «обеспеченных» поклонников, от которых ее дочь-«дуреха» отказалась ради меня — «художника-голодранца», что было правдой: весь мой капитал состоял из мольберта и байдарки. А в остальном, повторяю, теща не чаяла во мне души.

С тестем мне повезло особенно — он был великим молчаливником, и у нас сразу установились тонкие деликатные отношения, построенные на придыханиях тестя:

— Хм!.. Да уж!.. Чего там!..

Меня вполне устраивал этот птичий язык.

Тесть крепко верил в Бога, и домашних, и соседей считал грешниками, не достойными его внимания; если он с ними

и говорил, то поучал или клеймил, и все наставления заканчивал безнадежным вздохом:

— Да, чего уж там!

И дальше адресовал сам себе:

— Слово не воробей — выпустишь, не поймашь.

Или:

— Слова — серебро, молчанье — золото.

Раза два в неделю мы с тестем выпивали. Исключительно портвейн. Но во время постов, которые тесть частично соблюдал, переходили на ликер. В трезвости тесть на умного не тянул, точнее — выглядел угрюмым дураком, но после первого стакана становился разговорчивым и даже умным. Как-то изрек свою теорию:

—...Бог все сделал прекрасно на земле и хотел, чтоб человек стал ему подобным. Но человек не стал. От человека все зло на земле... И искусство от дьявола. Лучше Бога все равно не сделаешь.

После второго стакана у тестя начинались отклонения в две стороны: он или засыпал на стуле, или шел в киоск за «Вечеркой»; по пути проветривался, обретал второе дыхание и, вернувшись, предлагал мне «освежиться» еще раз.

Соседнюю комнату занимали тихие супруги. Он — какой-то завбазой, — постоянно хвастался невероятными «левыми» заработками. Помнится, я устал подсчитывать его доходы и никак не мог взять в толк, почему он не купит отдельную квартиру. Его жену — «самую глупую женщину на свете» (выражение тестя) — отличала лень: целыми днями она лежала на тахте и смотрела телевизор. Ради справедливости следует отметить: раз в месяц она пекла яблочный пирог и вкладывала в него всю душу. Известное дело, ленивые люди если уж что делают, то добросовестно.

С завбазой я покуривал на кухне, и, бывало, в момент нашего наивысшего кайфа, на кухне появлялась его жена. Демонстрируя счастливую семейную идиллию, она обнимала мужа, целовала, а он отмахивался:

— Полно тебе, экая ты смелая!

Она все ластилась, тянула его в комнату:

— Дорогой, пойдем посмотрим телевизор.

— Спасибо! Насмотрелся до тошноты, — бурчал завбазой и, слабо сопротивляясь, все-таки шел, при этом успевал

мне подмигнуть, как бы говоря: «Ничего не попишешь! Ради мира в семье пойдешь не только к телевизору!».

В комнате, примыкавшей к кухне, обитало семейство «скандалистов» (выражение тестя): шофер Виктор, вся фантазия которого упиралась в бутылку водки, его жена бухгалтер Татьяна, грузная женщина с низким задом, и их сын Вовка, светлоголовый ушастый второклассник.

В отличие от наших с тестем невинных выпивок, Виктор хлестал водку стаканами — полными гранеными стаканами (по его понятиям, наливать неполный — неприлично), и выпивал каждый день после работы во дворе за бойлерной, и каждый раз с новыми собутыльниками (и где их откапывал?).

В подпитии Виктор был безумен; его безумие проявлялось по-разному: в будние дни на его лице появлялись какие-то ненормальные гримасы — похоже, они означали отвращение ко всему, что его окружало. В конце недели он непременно бил жену. Отлупить в пятницу жену он считал святым делом.

Татьяна стойко переносила побои — вероятно, считала их некой священной войной, необходимым ритуалом каждой нормальной семьи. Но иногда она все же выходила из себя и отправлялась в крестовый поход на мужа: называла его «неотесанным увальнем», «алкоголиком», а получив за это очередную оплеуху, кричала:

— Убирайся из дома, скотина! — и убежала в ванную.

Минут через десять, немного остыв, она снова заглядывала в комнату и, увидев спящего мужа, восклицала:

— Ты еще здесь, скотина?! Фьють отсюда!

Эта игра слов, необычная комбинация «скотины» и «фьють» приводила меня в восторг, но не нравилось, что дикие семейные сцены видит малолетний Вовка. Случалось, зареванный мальчишка прибежал к нам, и теща с моей женой Валентиной всячески успокаивали его, совали конфеты, а я рисовал ему зверей.

Надо сказать, Виктор временами производил впечатление толкового, башковитого парня; временами у него даже проскальзывало чувство юмора, естественно, грубоватого — на свой шоферской манер. Как-то тесть, пропустив стакан портвейна, сказал Виктору:

— Что ж ты пьешь водку? Ты ж мусульманин! (У шофера мать была татарка).

— Во-первых, у меня отец русский — Кочетов, — объявил Виктор, состроив свою ненормальную гримасу. — Во-вторых, в коране написано про вино, про водку ничего не сказано. И вообще, религия — сказка для взрослых.

Как-то Вовка при отце на кухне ляпнул:

— А наш папка вчера опять был пьяный!

— Я притворялся, — пропыхтел Виктор.

— Нет! — качнул головой Вовка, твердо отстаивая правду. — Ты был пьяный.

— Что ты городишь, чертенок?! — возмутилась Татьяна, явно не желая «выносить сор из избы», как будто пьянство ее мужа было для нас новостью.

— Тебе уже девять лет, и пора научиться отвечать за свои слова, — проговорил Виктор, завышая требования к сыну. — Иди делай уроки, — он легко шлепнул Вовку по затылку.

Скандалы и драки в том семействе продолжались до тех пор, пока Виктор не завел на стороне «тихую собутыльницу» (определение тестя) и стал все реже появляться в семье. Вскоре он вообще перебрался к «sobutyльнице», правда, часть полочки приносил Татьяне, а по праздникам дарил Вовке шоколадки.

Однажды накануне Нового года Виктор объявился, передал жене деньги, спросил у сына, «как дела в школе», и направился к выходу, но Вовка схватил его за руку.

— Пап, а Генке вызвали из фирмы «Заря» Деда Мороза со Снегуркой. А мне ты даже билет на елку не купил.

— Да на кой черт тебе эта елка?! Ты уж взрослый парень, тебе уже не Деда Мороза надо вызывать, а одну Снегурку, — Виктор ухмыльнулся, довольный своим шоферским юмором. — Из другой фирмы.

— А зачем? — Вовка вскинул на отца чистые, невинные глаза.

— Спроси у дяди Леши, — Виктор кивнул на меня и, поспеиваясь, удалился.

Долго я выкручивался перед Вовкой, пытаюсь объяснить, что его отец имел в виду: говорил, что Дед Мороз старенький, часто болеет и прочее; что бывает, Снегурке приходится ездить одной. Вроде убедил мальчишку.

Под Новый год Татьяна затеяла уборку в комнате, Вовка без дела слонялся по квартире. Мы с тестем приняли по стакану портвейна, и мне в голову пришла замечательная идея.

— Давай-ка устроим Вовке праздник, — сказал я жене. — Сходи купи краски или пластилин, а я наряжусь Дедом Морозом.

— Чтой-то в тебе взбрыкнуло детство? — хмыкнула теща.

— Ты большой мальчишка, и, наверно, никогда не повзрослеешь, — вздохнул тесть. — Романтики неплохие люди, но они отгораживаются от действительности (я же говорю, после первого стакана тесть умнел).

Но жена Валентина поддержала мою замечательную идею — она ждала ребенка и при случае репетировала роль матери, а здесь такая затея! С моей подачи она сходила в магазин, купила краски, добавила к ним печенье, конфеты, все уложила в пакет и обвязала красивой лентой. Затем намазала мой нос и щеки помадой, приклеила из ваты бороду и усы, накинула на меня простыню и сзади заколола ее булавками; на голову я натянул красную кофту жены — сделал что-то вроде шапки; посмотрел на себя в зеркало и увидел вылитого Деда Мороза.

Под каким-то предлогом Валентина вызвала Вовку на кухню (он все слонялся по коридору взад-вперед), и я незаметно прошмыгнул на лестничную площадку. Выдержал паузу и позвонил. И услышал голос жены:

— Вова, открой, пожалуйста!

Открыв дверь, Вовка онемел: разинул рот, его глаза расширились до невероятных размеров.

— Здесь живет мальчик Вова Кочетов? — густым басом произнес я.

Потрясенный Вовка еле шевельнул губами:

— Это я.

— Ты хорошо учишься?

Вовка только и смог кивнуть, и все смотрит на меня снизу вверх ошеломленно-восторженно.

— Молодец! Вот тебе подарок! (на большее у меня не хватило фантазии, к тому же, я боялся перестараться и выдать себя голосом).

Протянув Вовке подарочный пакет, я стал ждать, когда он закроет дверь, поскольку сам повернуться не мог — простыня еле держалась на булавках.

Но Вовка не шевелился, словно обмороженный; он был в шоке — все смотрел на меня, распахнув глаза и разинув рот, даже побледнел от прилива чувств.

— Может, у тебя есть какие желания? — выдавил я, надеясь, что Вовка попросит какую-нибудь заводную машинку, которую я ему позднее «пришлю», но он вдруг сглотнул и тихо сказал:

— Дед Мороз, сделай так, чтобы папка снова жил с нами.

Мне только и оставалось пробормотать «постараюсь», после чего я толкнул дверь, и когда она захлопнулась, послышался душераздирающий вопль:

— Мама! Ко мне Дед Мороз приходил!

Как мы договорились заранее, Валентина пошла за Вовкой в их комнату — как бы рассмотреть подарок, а я бесшумно открыл дверь и проскользнул в нашу комнату; быстро снял маскарадные атрибуты, стер с лица «грим», лег на тахту и уткнулся в книгу.

— Ну вот, теперь можешь подрабатывать на елках, — усмехнулась теща. — Все лучше, чем малевать картинки.

Тесть лишь вздохнул:

— Да уж!

Через пару минут к нам влетел торжествующий, покрасневший Вовка.

— Дядь Леш! Ко мне только что Дед Мороз приходил! Вот подарок!

— Очень хорошо, — стараясь быть невозмутимым, сонно протянул я. — А что ж ты не пригласил его к нам?

Я давал понять, что все это время безмятежно лежал на тахте и вполне мог бы побеседовать с Дедом Морозом. Чтобы придать еще большую реальность случившемуся и открытостью от бородатого гостя, спросил:

— А он какой?.. Высокий или маленький, тонкий или толстый?

Теща с тестем одновременно хмыкнули, но надо им отдать должное — не выдали меня.

— Высокий! — горячо выпалил Вовка, высоко поднимая руки и привставая на цыпочках. — Выше вас!..

Это мне понравилось больше всего — какое же сильное потрясение испытал мальчишка, если я даже стал выше ростом!

На секунду Вовка замешкался и вдруг понесся к входной двери.

— Может, он еще не ушел?!

Вовка оглядел лестницу, снова вбежал к нам и пробормотал:

— Куда же он так быстро делся?

— Наверняка пошел к другим ребятам. Ты же у него не один. Ему, знаешь сколько, ребят надо обойти! — я уткнулся в книгу.

— Побегу к Славке! Может, и к нему приходил! — Вовка вновь ринулся на лестничную площадку.

Славка жил этажом выше, и через две-три минуты Вовка вернулся — растерянный, встревоженный.

— А к Славке не приходил. Почему только ко мне?

— Возможно, еще зайдет, — спокойно откликнулся я. — И потом, может, Славка учится плохо?

В этот момент щелкнул замок входной двери, и в коридор вошел вдрызг пьяный Виктор. Вовка бросился к отцу:

— Пап! Ко мне Дед Мороз приходил!

— Да ладно... врать-то, — отмахнулся Виктор.

— Правда, правда! Спроси у кого хочешь! Щас подарок покажу!

Вовка сбегал за подарком.

— Вот!

Виктор скорчил «ненормальную» гримасу и стал шарить по карманам.

Вовка обратился к моей жене:

— Теть Валь, скажите папке! Он не верит!

— Да, приходил, — с серьезным видом подтвердила моя жена. — Я даже его немного видела.

Вовка хотел призвать на помощь мать, но передумал.

— Хватит меня дурачить! — буркнул Виктор. — Небось, Лешка нарядился, — он сунул сыну шоколадку и зигзагом направился к двери. — Ты, Вовка, дуралей! Взрослый парень, а веришь в сказки!

Вовка остался в коридоре, сжимая подарок. Его взгляд метался от отца к Валентине, от входной двери к нашей комнате; в нем шла страшная борьба между верой и сомнением. Он заглянул в нашу комнату — его лицо вновь стало белым, как маска.

— Дядь Леш, а ты куда не уходил?

— Никуда, Вовка! — сказал я, глядя ему прямо в глаза, твердо зная, что никто никогда не заставит меня признаться в обмане, даже если на меня наведут пистолет.

Содержание

Мой великий друг	3
Колыбельная для усталой души	12
Зверинец в угловой комнате	18
Тот самый чудак	31
Заколдованная	38
Вечерние бульвары	65
Трава у нашего дома	91
Закрой дверь в прошлое, или Привет с кладбища!	102
В горах идут дожди	116
В подвале	129
Ангел пролетел	136
Ночной ливень	141
Еще увидимся! (<i>Что-то вроде дорожных впечатлений</i>)	147
Ведьма	152
Теплый летний вечер	159
Танцующие собаки	167
Для нас счастье начнется в июле (<i>поверхностный обзор семейной жизни</i>)	173
До завтра!	186
Под снегопадом	212
Маленький остров, обдуваемый со всех сторон ветрами	218
В полдень на улице	232
Оборотная сторона удачи	243
Мост над обрывом	254
Затемненная часть леса	264
Чаепитие с привидением	273
Прекрасный человек	280
Вечерние сказки	290
Смеется и плачет	299
Пусть завидуют!	307
Счастливец с нашей улицы	317
Вид с холма	326
Поездка на дачу	348
Некрасивая	357
Женщина из тайги	378
Не долго, но счастливо	387
Словесный портрет одного чудака	404
Что там еще впереди?	412
Говорят... ..	422
Женщина моей мечты	440
Все как-то не так	450
Самый плохой на свете	464
Новогодний подарок	472

Литературно-художественное издание

Леонид Анатольевич Сергеев

Особняк в городе

Рассказы

Компьютерная верстка – С.А. Королева
Дизайн обложки – А.Б. Розанова
Корректурa – М.Ю. Виноградова

Подписано в печать 01.06.2013 г.
Формат 84×108 1/32.
Гарнитура «Constantia».
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 15.
Тираж 2000 экз.

Московская городская организация Союза писателей России
121069, Москва, ул. Б. Никитская, 50А/5, стр. 1

Оригинал макет ИПО «У Никитских ворот»

ISBN 978-5-91366-659-8



Отпечатано в «ИПО «У Никитских ворот»
121069, г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 50а/5, стр. 1
тел.: (495) 690-67-19,
www.uniki.ru